А.П. КЕРН

ВОСПОМИНАНИЯ ДНЕВНИКИ ПЕРЕПИСКА

ВОСПОМИНАНИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ

А.П. КЕРН
(Маркова-Виноградская)

ВОСПОМИНАНИЯ ДНЕВНИКИ ПЕРЕПИСКА

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1989

84 Р 1
К 36

Составление, вступительная статья и примечания
А. М. Гордина

К $\frac{4702010100-1880}{080(02)-89}$ 1880—89

АННА ПЕТРОВНА КЕРН
И ЕЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Анна Петровна Керн... Ее имя обессмертил Пу́шкин своим «Я помню чудное мгновенье...».

Перед читающим эти пушкинские стихи встает образ женщины удивительного обаяния, способной внушить чувство самое чистое и глубокое, стать источником высочайшего вдохновения.

И если даже образ этот не столько реальный, сколько идеальный, рожденный фантазией поэта, первоосновой его все же была женщина вполне реальная — Анна Петровна Керн.

Пушкин совершенно конкретен и точен биографически, когда говорит в своем стихотворении о встречах с этой женщиной, ставших незабываемыми событиями его жизни.

Нельзя сказать, что в жизни поэта А. П. Керн занимает первостепенное место. Но она, несомненно, принадлежит к тем близким Пушкину людям, без которых биография его была бы, кажется, неполной, обедненной, которые помогают лучше понять какие-то существенные стороны его жизненного облика. Да и в поэзии его оставили след немаловажный.

Даже рядом с самыми выдающимися современниками Пушкина Керн остается личностью заметной, сохраняет свою характерную индивидуальность, свое неяркое, но отчетливое своеобразие.

Это человек безусловно незаурядный — и не только по редкому женскому обаянию, но и по живости ума, образованности, широте интересов, самостоятельности суждений, наконец, явным литературным способностям. В непрестанной борьбе с крайне неблагоприятными жизненными обстоятельствами эта поначалу робкая женщина, простодушная мечтательница, проявила завидную стойкость, силу воли и твердость характера. Она поднялась много выше той среды, которая ее воспитала и влияние которой, естественно, не могло на ней не сказаться. Более того — фактически порвала с этой средой, вошла как равная в круг людей совсем иных, составлявших цвет прогрессивной русской молодежи своего времени.

Среди близких друзей или восторженных почитателей А. П. Керн были Пушкин и Глинка, Дельвиг и Веневитинов, Подо-

линский и Никитенко... Позднее, до самой старости, ее окружали и считали духовно сродни себе люди, связанные с демократическими кругами.

Сведения о Керн, которыми мы располагаем, противоречивы и не всегда достоверны. Единственный документированный ее портрет (миниатюра) дает лишь весьма приблизительное представление о ее внешности. Наиболее существенный источник достоверных сведений, позволяющих оценить личность А. П. Керн,— ее переписка, дневники и воспоминания, богатые фактами, на редкость точные и выразительные.

В первую очередь — воспоминания о Пушкине.

В нашем сознании сегодня А. П. Керн существует, конечно, именно как спутница Пушкина, оставившая заметный след в жизни поэта, в его поэзии и сумевшая рассказать о нем так содержательно и искренне.

К А. П. Керн в полной мере относятся слова лицеиста Илличевского, сказавшего о Пушкине: «...лучи славы его будут отсвечиваться и в его товарищах».

* * *

Жизнь Анны Петровны Керн — жизнь трудная, полная превратностей и лишений, едва ли не трагическая. И в то же время она удивительно насыщена значительными событиями и переживаниями, яркими впечатлениями, богатыми, разнообразными духовными интересами — всем тем, что дало ей многолетнее общение с людьми примечательными.

А. П. Керн, как она говорила, «родилась вместе с веком» — в самом начале (11 февраля) 1800 года. Ее родина — город Орел, где дед ее с материнской стороны И. П. Вульф был губернатором. Но девочке едва исполнилось несколько месяцев, когда родители покинули губернский Орел, и все ранние годы ее прошли в захолустном городке Лубны на Украине и в тверском имении И. П. Вульфа Бернове.

Родители ее принадлежали к кругу состоятельного чиновного дворянства. Отец — полтавский помещик и надворный советник П. М. Полторацкий — был сыном известного еще в елизаветинские времена начальника придворной певческой капеллы Марка Федоровича Полторацкого, женатого на Агафоклее Александровне Шишковой, женщине богатой и властной, одинаково деспотично управлявшей и своей огромной семьей, и своими многочисленными деревнями. Петр Маркович был человеком энергичным, неглупым, начитанным, но самодурство и легкомыслие, граничащее с авантюризмом, нередко приводили его к поступкам самым необдуманным, причи-

нявшим массу бед и ему самому, и окружающим. Мать — Екатерина Ивановна, рожденная Вульф, женщина добрая, нежно привязанная к детям, но болезненная и слабохарактерная, находилась всецело под началом у мужа.

Много разных людей окружало наблюдательную, впечатлительную девочку и как-то повлияло на формирование ее характера, ее жизненных понятий. Кроме родителей, это и благодушный сановный дедушка Иван Петрович, и добрая бабушка Анна Федоровна, и жестокая, своенравная Агафоклея Александровна, бесчисленные дяди, тетки, двоюродные сестры и братья, и ласковая няня Васильевна, и патриархальные лубенские обыватели... Впоследствии Анна Петровна склонна была несколько идеализировать этих людей, но и из ее описаний отчетливо видно, как невысок был интеллектуальный уровень этой окружавшей ее помещичьей и уездно-обывательской среды, как узки интересы, ничтожны занятия.

Четыре года (с 8 до 12 лет) девочку вместе с ее двоюродной сестрой и самой близкой подругой на всю жизнь Анной Вульф воспитывала и обучала иностранным языкам и различным наукам m-lle Bénoit. Приглашенная в Берново из Петербурга, m-lle Bénoit, судя по всему, выгодно отличалась от большинства иностранных гувернанток тех времен. Умный и знающий педагог, она строго-систематической работой сумела завоевать уважение и любовь своей воспитанницы, не только обучить ее многому, но, главное, пробудить любознательность и вкус к самостоятельному мышлению. Все занятия проходили на французском языке; русскому обучал приезжавший на несколько недель из Москвы во время вакаций студент.

С самых ранних лет, как вспоминала Анна Петровна, не покидало ее страстное увлечение чтением. «Каждую свободную минуту я употребляла на чтение французских и русских книг из библиотеки моей матери». Увлечение это, всемерно поощряемое m-lle Bénoit, со временем стало жизненной потребностью. «Мы воспринимали из книг только то, что понятно сердцу, что окрыляло воображение, что согласовано было с нашею душевною чистотою, соответствовало нашей мечтательности и создавало в нашей игривой фантазии поэтические образы и представления».

И еще одна воспитательница, по свидетельству самой Анны Петровны, оказала большое и благотворное влияние на формирование ее духовного облика — природа. Тверские поля и рощи, полтавские степи... Когда в Бернове встретились две восьмилетние двоюродные сестры — Анна Полторацкая и Анна Вульф, — «обнялись и начали разговаривать. Она описывала красоты Тригорского, а я — прелести Лубен...».

До шестнадцати лет Анна Петровна жила с родителями в Лубнах. Как она рассказывает, «учила брата и сестер, мечтала в рощах и

за книгами, танцевала на балах, выслушивала похвалы посторонних и порицания родных, участвовала в домашних спектаклях... и вообще вела жизнь довольно пошлую, как и большинство провинциальных барышень».

Некоторые биографы А. П. Керн, в том числе и автор книги о ней — Б. Л. Модзалевский[1], утверждают, будто бы в воспоминаниях ее содержатся свидетельства какой-то особой ее склонности с ранних лет к кокетству и флирту, развившейся впоследствии. С этим нельзя согласиться. Все те мелкие обиды, огорчения, смущения, о которых простодушно рассказывает Керн, характерны для всякой девочки-подростка. Беспристрастный читатель «Воспоминаний о моем детстве» на протяжении многих страниц видит перед собою привлекательные черты натуры доброй и искренней, живой и впечатлительной, скромной и робкой, хоть и разделявшей «пошлую жизнь» своей среды, но по уму, развитию, запросам заметно отличавшейся от «большинства провинциальных барышень». Такой, по всей видимости, и была в свои 12—16 лет писавшая эти страницы.

Устоявшаяся, привычная жизнь в родительском доме оборвалась неожиданно и печально.

Восьмого января 1817 года не достигшую еще семнадцати лет девушку обвенчали с пятидесятидвухлетним дивизионным генералом Ермолаем Федоровичем Керном. Самодуру-отцу льстило, что его дочь станет генеральшей. Е. Ф. Керн был старым служакой, вышедшим в генералы из нижних чинов, человеком недалеким, не знавшим иных интересов, кроме фрунта, учений, смотров. Не только по солидному возрасту, но и по ограниченности, грубому нраву он никак не подходил к своей юной невесте, светски образованной, мечтающей о жизни, освещенной благородными идеалами и возвышенными чувствами. Многие «уездные барышни» ей завидовали: найти жениха-генерала было не просто. Она же покорилась воле родителей с отчаянием. Керн не только не пользовался ее расположением, но вызывал отвращение. Она понимала, что все ее мечты рушатся и впереди нет ничего, кроме будней, самых серых и безрадостных.

Так, по существу, едва начавшись, жизнь оказалась сломанной, «прибитой на цвету», трагически исковерканной.

Почти десять лет вынуждена была Анна Петровна переезжать вслед за мужем из одного города в другой, в зависимости от того, где квартировала часть, которой командовал генерал Керн. Елизаветград, Дерпт, Псков, Старый Быхов, Рига... Из среды провинциально-обывательской, мелкопоместной она попала в среду провинциально-военную. Что представляла собою эта среда аракчеевского време-

---

[1] См.: Модзалевский Б. Л. Анна Петровна Керн (по материалам Пушкинского дома). Л., 1924.

ни — известно. Даже высшее офицерство, как правило,— люди грубые и невежественные. Интересы самые ничтожные: учения, смотры, продвижение по службе...

События сколько-нибудь значительные, запоминающиеся выпадали крайне редко. Особо запомнились Анне Петровне празднества по случаю окончания больших маневров в Полтаве и Риге (в 1817 и 1819 годах), где она была представлена императору Александру и удостоилась его благосклонного внимания; поездка в начале 1819 года в Петербург, где в доме своей тетки — Е. М. Олениной она слышала И. А. Крылова и впервые встретила Пушкина; посещения родных в Лубнах, иногда довольно продолжительные.

Здесь в 1824—1825 годах она познакомилась и дружески сблизилась с соседом по имению — А. Г. Родзянко, по ее словам, «милым поэтом, умным, любезным и весьма симпатичным человеком». Родзянко был знаком с Пушкиным. У него Анна Петровна нашла незадолго перед тем вышедшие «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан» и приняла даже участие в переписке поэтов. Она всячески тянулась к людям умным, душевным, талантливым — непохожим на тех, что постоянно окружали ее в собственном доме. В Киеве она знакомится с семьей Раевских и говорит о них с чувством восхищения. В Дерпте ее лучшими друзьями становятся Мойеры — профессор хирургии местного университета и его жена — «первая любовь Жуковского и его муза». Летом 1825 года она предпринимает поездку к тетке П. А. Вульф-Осиповой в Тригорское, чтобы познакомиться с ссыльным Пушкиным.

Жизнь в атмосфере казарменной грубости и невежества с ненавистным мужем была ей невыносима.

Еще в «Дневнике для отдохновения» 1820 года она в выражениях самых пылких высказывала свою ненависть к этой атмосфере, чувства глубочайшей неудовлетворенности, близкие к отчаянию: «Какая тоска! Это ужасно! Просто не знаю, куда деваться. Представьте себе мое положение — ни одной души, с кем я могла бы поговорить, от чтения голова уже кружится, кончу книгу — и опять одна на белом свете, муж либо спит, либо на учениях, либо курит. О боже, сжалься надо мной!» Со временем конфликт между натурой честной, впечатлительной, не выносящей лжи и фальши, и пошлой, грязной повседневностью все более обострялся.

В начале 1826 года Анна Петровна оставила мужа, уехала в Петербург и поселилась там с отцом и сестрой (дочери ее Екатерина, род. в 1818 году, и Анна, род. в 1821 году, воспитывались в Смольном институте).

Конец 20-х — начало 30-х годов, хотя и были нелегкими для А. П. Керн (необходимость самой устраивать свою судьбу, материальная зависимость от мужа), явились в то же время лучшими года-

ми ее сознательной жизни. Она вошла в круг людей, о которых мечтала, видела с их стороны внимание, дружеское участие, а подчас и восторженное поклонение.

Среди ее ближайших друзей была вся семья Пушкиных — Надежда Осиповна, Сергей Львович, Лев, которому она «вскружила голову», и особенно Ольга, которой сердечно помогала в трудный момент ее тайного замужества и в честь которой назвала Ольгой дочь. Своим человеком была Анна Петровна у Дельвигов, некоторое время даже снимала квартиру в одном доме с ними. Она была в курсе всех начинаний и забот пушкинско-дельвиговского кружка. «Северные цветы» и «Литературную газету» читала в корректуре. Сама пробовала переводить французские романы. Являлась непременной участницей дружеских литературных вечеров, на которые в небольшой квартирке Дельвигов собирались Пушкин и Вяземский, Крылов и Жуковский, Веневитинов и Мицкевич, Плетнев и Гнедич, Подолинский, Сомов, Илличевский[1]... Никогда, ни раньше, ни потом, А. П. Керн не жила такой богатой духовной жизнью, как в это время.

Молодой поэт Д. В. Веневитинов, любивший ее общество, вел с нею беседы, «полные той высокой чистоты и нравственности, которыми он отличался», хотел написать ее портрет, говоря, что «любуется ей, как Ифигенией в Тавриде...»[2]. А. В. Никитенко, впоследствии известный критик, профессор Петербургского университета, а в ту пору еще студент и начинающий литератор, переживший непродолжительное, но сильное увлечение Керн, интересовался ее мнением о своем романе и, получив отзыв, содержащий серьезные критические замечания, вступил с нею в пространную полемику «на равных»[3]. Замечания Анны Петровны показывают зрелость ее литературных вкусов, сложившихся, разумеется, не без влияния Пушкина и Дельвига.

У Дельвигов встречалась Керн с М. И. Глинкой. Здесь установились между ними те дружеские отношения, которые сохранялись много лет[4].

В 1831 году, со смертью Дельвига и женитьбой Пушкина, оборвалась связь А. П. Керн с этим кругом особенно близких и дорогих ей людей. Она по-прежнему была близка с О. С. Пушкиной (Павлищевой), навещала Н. О. и С. Л. Пушкиных, где встречала и Александра Сергеевича. Но не существовало уже того тесного дружеского

---

[1] См.: Гаевский В. Дельвиг. Статья четвертая // Современник, 1854. № 9. С. 7—8.

[2] См.: Пятковский А. П. Князь В. Ф. Одоевский и Д. В. Веневитинов. СПб., 1901. С. 129.

[3] См.: Никитенко А. В. Дневник в 3-х томах. Т. 1. 1955, С. 46.

[4] См.: Глинка М. И. Литературное наследие. Т. 1. Л.-М., 1952.

кружка, той атмосферы непринужденного творческого общения, которые делали жизнь полной и интересной, позволяли забыть каждодневные невзгоды и огорчения.

Последующие годы принесли А. П. Керн множество огорчений. Она похоронила мать. Муж требовал ее возвращения, отказывал в материальной поддержке. Лишенная всяких средств, обобранная отцом и родными, она, по словам Н. О. Пушкиной, «перебивалась со дня на день». После смерти матери, в 1832 году, пыталась хлопотать о возврате своего имения, проданного П. М. Полторацким графу Шереметеву. В хлопотах принимали участие Пушкин и Е. М. Хитрово. Но добиться ничего не удалось. Пробовала заняться переводами, снова обращалась за содействием к Пушкину, но не хватало опыта, умения, и из этого тоже ничего не вышло. Однако и в таких обстоятельствах она держалась стойко и независимо.

В начале 1841 года умер Е. Ф. Керн, а полтора года спустя, 25 июля 1842 года, Анна Петровна вторично вышла замуж — за своего троюродного брата А. В. Маркова-Виноградского. Муж был много моложе ее, но их связывало чувство большой силы и искренности. Александр Васильевич, еще будучи воспитанником Первого Петербургского кадетского корпуса, без памяти влюбился в свою кузину, моложавую, по-прежнему привлекательную в свои 36—37 лет. Выпущенный в армию, он прослужил всего два года и вышел в отставку в чине подпоручика, чтобы жениться. В жертву было принесено все — карьера, материальная обеспеченность, благорасположение родных. Анна Петровна отказалась от звания «превосходительства», от солидной пенсии, назначенной ей за Керна, от поддержки отца и не побоялась неустроенности, необеспеченности, туманно-неопределенного будущего. Это был смелый шаг, на который решилась бы далеко не каждая женщина ее круга.

Без малого сорок лет прожили Марковы-Виноградские, почти не разлучаясь. Вырастили сына.

Материальная необеспеченность, доходившая временами до крайней нужды, всевозможные житейские невзгоды неотступно преследовали их. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, они вынуждены были многие годы жить в маленькой усадьбе близ уездного города Сосницы Черниговской губернии — единственной родовой «вотчине» Александра Васильевича. Место заседателя, дающее средства для безбедного существования, или возможность переезда на жительство в город Торжок, а то и полфунта кофе являлись предметом мечтаний. Однако никакие жизненные трудности и невзгоды не могли нарушить трогательно-нежного согласия этих двух людей, основанного на общности духовных запросов и интересов. Они, по собственному их выражению, которое любили повторять,— «выработали себе счастье». Об этом убедительно свидетельствуют письма

А. П. и А. В. Марковых-Виноградских из Сосниц к сестре Александра Васильевича — Елизавете Васильевне, по мужу Бакуниной. Так, например, в сентябре 1851 года Анна Петровна писала: «Бедность имеет свои радости, и нам всегда хорошо, потому что в нас много любви... Может быть, при лучших обстоятельствах мы были бы менее счастливы». И год спустя, 17 августа 1852 года: «Муж сегодня поехал по своей должности на неделю, а может быть, и дольше. Ты не можешь себе представить, как я тоскую, когда он уезжает! Вообрази и пожури меня за то, что я сделалась необыкновенно мнительна и суеверна; я боюсь, — чего бы ты думала? Никогда не угадаешь! — Боюсь того, что мы оба никогда еще не были, кажется, так нежны друг к другу, так счастливы, так согласны!»[1]

Редкое письмо не содержит перечисления, а то и критического разбора совместно прочитанных книг. Среди них романы Диккенса и Теккерея, Бальзака и Жорж Санд, повести Панаева и Барона Брамбеуса (Сенковского), почти все толстые русские журналы: «Современник», «Отечественные записки», «Библиотека для чтения»... Духовная жизнь этих людей, заброшенных в деревенскую глушь, была поразительно полна и разнообразна.

Это отразилось и в дневнике А. В. Маркова-Виноградского, который он вел многие годы[2].

В конце 1855 года Марковы-Виноградские переехали в Петербург, где Александру Васильевичу удалось вначале получить место домашнего учителя в семье кн. С. А. Долгорукова, а затем столоначальника в Департаменте уделов. Десять лет, проведенные ими в Петербурге, были едва ли не лучшими в их совместной жизни: сравнительно благополучными материально и чрезвычайно насыщенными умственной и общественной активностью. Окружавшие теперь Анну Петровну люди были хотя и не столь блестящи, как когда-то, но далеко не заурядны. Самых близких друзей нашла она в семье Н. Н. Тютчева, литератора, человека либеральных взглядов, в прошлом приятеля Белинского. В обществе его жены Александры Петровны и свояченицы Констанции Петровны де Додт проводила много времени. Здесь встречалась с Ф. И. Тютчевым, П. В. Анненковым, И. С. Тургеневым. Тургенев вместе с Анненковым посетил Анну Петровну в день ее именин 3 февраля 1864 года. Это отмечает в дневнике А. В. Марков-Виноградский и сам Тургенев рассказывает в письме к П. Виардо. Его отзыв в целом более чем сдержанный. Но есть в нем и такие слова: «В молодости, должно быть, она была очень хороша собой... Письма, которые писал ей Пушкин, она хра-

---

[1] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, 27259/CXCУб54.

[2] Обширный дневник этот хранится в Рукописном отделе ИРЛИ АН СССР.

нит как святыню... Приятное семейство, немножко даже трогательное...»[1] В петербургские годы Анна Петровна вновь обратилась к занятиям переводами и просила содействия в их публикации у М. И. Глинки, с которым возобновила знакомство.

В это же время были написаны почти все ее мемуары.

В ноябре 1865 года Александр Васильевич вышел в отставку с чином колллежского асессора и маленькой пенсией, и Марковы-Виноградские покинули Петербург.

Все последующие годы они вели жизнь странническую — жили то у родных в Тверской губернии, то в Лубнах, Киеве, Москве, бакунинском Премухине. По-прежнему преследовала их ужасающая бедность. Анне Петровне пришлось даже расстаться с единственным своим сокровищем — письмами Пушкина, продать их по пяти рублей за штуку. Невозможно равнодушно читать строки письма Александра Васильевича А. Н. Вульфу, приславшему в критическую минуту помощь — сто рублей: «Бедная моя старушка прослезилась и поцеловала радужную бумажку, так она пришлась кстати...»[2] И по-прежнему с поразительной стойкостью переносили они все удары судьбы, не озлобляясь, не разочаровываясь в жизни, не утрачивая к ней прежнего интереса.

Двадцать восьмого января 1879 года А. В. Марков-Виноградский скончался в Премухине. Неделю спустя сын сообщал А. Н. Вульфу: «Многоуважаемый Алексей Николаевич! С грустью спешу уведомить, отец мой 28 генваря умер от рака в желудке при страшных страданиях в д. Бакуниных в селе Премухине. После похорон я перевез старуху мать несчастную к себе в Москву — где надеюсь ее кое-как устроить у себя и где она будет доживать свой короткий, но тяжело-грустный век! Всякое участие доставит радость бедной сироте-матери, для которой утрата отца незаменима»[3].

В Москве, в скромных меблированных комнатах на углу Тверской и Грузинской, Анна Петровна прожила около четырех месяцев, до своей кончины 27 мая того же 1879 года.

Известен ставший легендой рассказ о том, что «гроб ее повстречался с памятником Пушкину, который ввозили в Москву»[4]. По другой версии, она незадолго до смерти из своей комнаты услышала шум, вызванный перевозкой огромного гранитного постамента для памятника Пушкину, и, узнав, в чем дело, сказала: «А, наконец-то!

---

1 Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 5. М., 1963. С. 222—223.

2 Рукописный отдел ИРЛИ АН СССР 22922/С2Х636.

3 Рукописный отдел ИРЛИ АН СССР 22921/С2Х635.

4 «Русский архив», 1884, № 6, с. 349.

Ну, слава богу, давно пора!..»[1] Какая бы из этих двух версий ни была ближе к действительности, знаменателен сам факт существования подобной легенды.

* * *

Рассказывая о своем посещении дома Олениных зимою 1819 года, А. П. Керн вспоминала выразительное чтение И. А. Крыловым одной из его басен. «В чаду такого очарования,— писала она,— мудрено было видеть кого бы то ни было, кроме виновника поэтического наслаждения, и вот почему я не заметила Пушкина».

Прошло несколько лет. Именно то, что так захватило девятнадцатилетнюю провинциалку на вечере у Олениных — «поэтическое наслаждение», «очарование» поэзии,— стало причиной ее живого интереса к личности не замеченного ею тогда некрасивого курчавого юноши. Прогремевшие на всю Россию «южные поэмы» донесли имя Пушкина и до далекого украинского городка Лубны. О своем восхищении пушкинскими стихами Анна Петровна писала в Тригорское, Анне Николаевне Вульф, зная, что слова ее дойдут до ссыльного поэта. Анна Николаевна, в свою очередь, сообщала ей «различные его фразы» о встрече у Олениных. «Объясни мне, милый, что такое А. П. Керн, которая написала много нежностей обо мне своей кузине? Говорят, она премиленькая вещь — но *славны Лубны за горами»,* — обращается Пушкин к А. Г. Родзянко в конце 1824 года, а в ответ получает послание от Родзянко и А. П. Керн. Так началась их переписка.

Она прерывается приездом Анны Петровны в Тригорское летом 1825 года.

Месяц (с середины июня до середины июля) гостила Керн у тетушки П. А. Вульф-Осиповой на живописных берегах Сороти, и весь этот месяц Пушкин почти ежедневно являлся в Тригорское. Он читал ей своих «Цыган», рассказывал «сказку про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров», слушал, как она пела баркаролу на стихи слепого поэта И. И. Козлова «Венецианская ночь», и писал об этом пении П. А. Плетневу: «Скажи от меня Козлову, что недавно посетила наш край одна прелесть, которая небесно поет его Венецианскую ночь на голос гондольерского речитатива — я обещал известить о том милого, вдохновенного слепца. Жаль, что он не увидит ее — но пусть вообразит себе красоту и задушевность — по крайней мере дай бог ему ее слышать!» В ночь накануне отъезда А. П. Керн из Тригорского поэт показывал ей свой Михайловский парк, а в день отъезда подарил 1-ю главу «Евгения Онегина», в неразрезанных листках, между которыми она нашла вчетверо сложенный лист почтовой бумаги со стихами: «Я помню чудное мгновенье...».

---

[1] Модзалевский Б. Л. Анна Петровна Керн. С. 124—125.

«Каждую ночь гуляю я по саду и повторяю себе: она была здесь — камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе, подле ветки увядшего гелиотропа, я пишу много стихов — все это, если хотите, очень похоже на любовь, но клянусь вам, что это совсем не то»,— полушутя, полусерьезно признается Пушкин Анне Николаевне Вульф, уехавшей вместе с Анной Петровной, матерью и младшей сестрой в Ригу.

Вслед Анне Петровне Пушкин шлет одно за другим пять писем, она отвечает и становится партнером поэта в своего рода литературной игре, его соавтором в создании своеобразного «романа в письмах». Письма поэта по-пушкински остроумны, блестящи и всегда шутливы. «...Если вы приедете, я обещаю вам быть любезным до чрезвычайности — в понедельник я буду весел, во вторник восторжен, в среду нежен, в четверг игрив, в пятницу, субботу и воскресенье буду чем вам угодно, и всю неделю — у ваших ног...» Пушкин достигает истинно высокого комизма, дополняя письма, обращенные непосредственно к Керн, письмом, написанным о ней к третьему лицу — якобы к тетушке Прасковье Александровне, а на самом деле предназначенным все той же Анне Петровне.

Нам неизвестны письма А. П. Керн к Пушкину. Но нужно думать, что они были писаны в тон его посланиям.

Ироничность пушкинского тона не позволяет определить меру серьезности любовных признаний поэта. Можно предполагать, что увлечение его не было особенно глубоким. Однако вне зависимости от этого совершенно несомненно, что и для Пушкина, и для его корреспондентки было приятно, интересно, весело поддерживать эту переписку.

Шутливым пушкинским письмам непосредственно предшествовало обращение к той же самой женщине в стихах высокого лирического строя.

Если в письмах к А. П. Керн перед нами — внешняя, бытовая сторона человеческих отношений, то в стихотворении «Я помню чудное мгновенье...» открывается потаенная духовная жизнь поэта.

Несколько дней спустя после того, как Пушкин в Тригорском подарил Анне Петровне листок со стихами, ей адресованными, он закончил письмо к одному из друзей такими знаменательными словами: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить». Это сказано в связи с «Борисом Годуновым», работа над которым была тогда в разгаре. То был момент особого подъема творческих, душевных сил, момент радостного «пробуждения» души. И в это-то время «в глуши, во мраке заточенья» вновь явился Пушкину прекрасный, светлый образ из далеких лет — как отрадное воспоминание бурной, вольной молодости и как надежда на близкое освобождение, надежда, которой ссыльный поэт не переставал верить...

Уже не несколько часов, как когда-то у Олениных, а много дней провел Пушкин в Тригорском подле Анны Петровны, но от этого яркое впечатление той первой, мимолетной встречи с ней не стерлось, не потускнело — напротив, образ прекрасной женщины приобрел в глазах поэта новое очарование. И потому-то в июльские дни 1825 года Пушкин написал одно из лучших своих лирических стихотворений — «Я помню чудное мгновенье...».

Если встреча их у Олениных была случайной, то летом 1825 года Анна Петровна направлялась в Тригорское, хорошо зная, что встретит там автора «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана», и горячо желала знакомства с первым русским поэтом.

Много лет спустя, в письме к родным (Бакуниным) Анна Петровна и Александр Васильевич Марковы-Виноградские писали о себе: «...Мы, отчаявшись приобрести когда-нибудь материальное довольство, дорожим всяким моральным впечатлением и гоняемся за наслаждением души и ловим каждую улыбку окружающего мира, чтоб обогатить себя счастием духовным. Богачи никогда не бывают поэтами... Поэзия — богатство бедности...»[1]. Способность и стремление жить напряженной духовной жизнью, жажда «поэтического наслаждения», ярких впечатлений для ума были всегда свойственны А. П. Керн.

Осенью 1825 года Анна Петровна вновь побывала в Тригорском с Е. Ф. Керном, и Пушкин, по ее словам,— «очень не поладил с мужем», а с нею «был по-прежнему и даже более нежен...».

К концу 1820-х годов относятся разрозненные, но несомненные свидетельства той близости, которая установилась тогда между Керн и Пушкиным. Это и шуточные стихи, вписанные поэтом в ее альбом, и экземпляр «Цыган» с надписью: «Ее Превосходительству А. П. Керн от господина Пушкина, усердного ее почитателя...», посвященное ей стихотворение «Приметы» и, наконец, несколько строк в пушкинских письмах.

Искреннее, дружеское общение А. П. Керн с Пушкиным, конечно, не могло быть случайностью, оно имело предпосылкой незаурядность и своеобразие ее личности.

Позже изменившиеся жизненные обстоятельства отдаляют Керн от пушкинского круга, от Пушкина. Но неизменными остаются ее восхищение пушкинской поэзией и горячая симпатия к самому поэту, неизменным остается — до конца его жизни — и дружеское расположение к ней Пушкина.

Этому не противоречат несколько резких и насмешливых слов, сказанных поэтом в письме к жене 29 сентября 1835 года по поводу записки Керн, в которой она просила ходатайствовать перед Смирди-

[1] Рукописный отдел ИРЛИ АН СССР, 27259/СХСУ654.

ным об издании ее перевода романа Жорж Санд. Не следует прежде всего забывать, что записку Пушкин получил через Наталью Николаевну, ревновавшую мужа ко всем его прежним приятельницам, а также и то, что Пушкину было трудно в данном случае помочь Анне Петровне — к 1835 году он порвал всякие деловые сношения со Смирдиным. Зато Анна Петровна вспоминает, с каким искренним участием Пушкин утешал ее и старался ободрить после смерти матери — в одну из самых тяжелых минут ее жизни: «...Пушкин приехал ко мне и, отыскивая мою квартиру, бегал, со свойственною ему живостью, по всем соседним дворам, пока наконец нашел меня. В этот приезд он употребил все свое красноречие, чтобы утешить меня, и я увидела его таким же, каким он был прежде». Мы знаем, что Пушкин вместе с Е. М. Хитрово помогал А. П. Керн в деловых ее хлопотах по выкупу имения. С другой стороны, когда заболела маленькая дочь Пушкиных и срочно понадобился доктор Арендт, поэт обратился за содействием именно к Керн.

1 февраля 1837 года Анна Петровна плакала в темном углу Конюшенной церкви на отпевании убитого поэта. И потом много лет ревностно хранила все, что хоть в какой-то степени было связано с его памятью — от стихов и писем к ней до маленькой подножной скамеечки, на которой ему случалось сидеть в ее доме. И чем дальше уходила в прошлое эпоха их знакомства, тем сильнее чувствовала Анна Петровна, как щедро была она одарена судьбой, которая на жизненном пути свела ее с Пушкиным.

* * *

Воспоминаниям о Пушкине, естественно, принадлежит центральное место в литературном наследии А. П. Керн. Успех этого первого ее произведения, попавшего в 1859 году в печать и встреченного с горячим сочувствием многочисленными читателями, вызвал к жизни все дальнейшее — воспоминания о Дельвиге, Глинке, императоре Александре I и последние автобиографические записки. Пробудил интерес к личности самой мемуаристки и открыл путь публикации спустя много лет, даже десятилетий, тех ее сочинений, которые не предназначались для печати, — дневников, писем.

Писать письма Анна Петровна, как сама рассказывает, любила с детства. Девочкой же начала вести дневник, который, однако, был использован отцом как оберточный материал на его горчичной фабрике. Поверять бумаге свои мысли, чувства, наблюдения было для А. П. Керн потребностью, и потребность эта сохранялась у нее на протяжении всей жизни. С годами она становилась все более настоятельной и определенной. И когда в 1857 или 1858 году одна из петербургских знакомых, поэтесса Е. Н. Пучкова, обратилась к Анне

Петровне с предложением рассказать о ее встречах с Пушкиным, она сделала это охотно и быстро.

Давно признано, что «Воспоминания о Пушкине» А. П. Керн (Марковой-Виноградской) занимают «одно из первых мест в ряду биографических материалов о великом поэте»[1].

Благодаря им стали впервые известны или получили необходимую конкретность многие существенные факты жизни Пушкина, которые сейчас мы привыкли встречать на страницах каждой его биографии. Как юный Пушкин рассыпает остроты в петербургском салоне Олениных или скачет верхом на неоседланной лошади с почтовой станции в имение старого приятеля Родзянко; как поэт, сосланный в псковскую деревню, каждодневно является из своего Михайловского в гостеприимный тригорский дом Вульф — Осиповых, чтобы побыть среди друзей, развлечься и отдохнуть, или как, вернувшись в столицу после шести лет ссылки, трогательно-нежно встречается с любимым Дельвигом, на его литературных собраниях или на квартире у Керн ведет «поэтические разговоры». Обо всем этом и о многом другом мы узнали из рассказа А. П. Керн — безыскусственного, искреннего, увлекательного.

Рассказ этот познакомил и с неизвестными дотоле стихами и письмами Пушкина, его мыслями, высказанными в дружеских беседах.

Тонко подмечены мемуаристкой многие свойства характера, манеры, привычки поэта. «...Он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен,— и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту». «...Он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его... Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностью его речи». Здесь перед нами реальный, живой Пушкин, каким могла изобразить его только хорошо его знавшая, умная, наблюдательная современница. Во множестве разбросанных по воспоминаниям эпизодов, казалось бы, мелких и случайных, но, по существу, очень значительных, мы видим этого живого Пушкина, представленного, несомненно, с горячим сочувствием и тонким пониманием. И тогда, когда он робеет при первом знакомстве с молодой дамой; и когда, довольный стихами брата, говорит «очень наивно»: «Il a aussi deaucoup d-ésprit» («И он тоже очень умен»); и когда, «как гений добра», является к Керн в тяжелый час, чтобы утешить и помочь; и когда, «усевшись на маленькой скамеечке» в ее квартире, пи-

---

[1] Майков Л. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899. С. 234.

шет стихотворение «Я ехал к вам // Живые сны...», а потом «напевает их своим звучным голосом». Голос Пушкина — «певучий, мелодический» — мы слышим, когда А. П. Керн рассказывает о чтении поэтом «Цыган» в Тригорском или о том, как он «в минуты рассеянности» напевает беспрестанно «Неумолимая, ты не хотела жить...».

Чрезвычайно интересны и важны некоторые суждения Керн — о душевном состоянии Пушкина в последекабрьском Петербурге («Он был тогда весел, но чего-то ему недоставало...», «...бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным»), о значении жизни в Михайловском для его творческого развития («Там, в тиши уединения, созрела его поэзия, сосредоточились мысли, душа окрепла и осмыслилась... Он приехал в Петербург с богатым запасом выработанных мыслей»). Не раз брали под сомнение свидетельство Керн о добрых отношениях Пушкина и его матери, но, вероятно, она и здесь не отступает от истины — отношения поэта с матерью, особенно в зрелые годы, были иные, чем с отцом.

Особо заслуживает быть отмеченным тот «верный такт», с которым представляет Керн свои отношения с Пушкиным. «...Только одна умная женская рука,— писал П. В. Анненков,— способна так тонко и превосходно набросать историю сношений, где чувство своего достоинства, вместе с желанием нравиться и даже сердечною привязанностью, отливаются разными и всегда изящными чертами, ни разу не оскорбившими ничьего глаза и ничьего чувства, несмотря на то, что иногда слагаются в образы, всего менее монашеского или пуританского свойства».

Пушкин предстает перед нами в воспоминаниях Керн столь достоверно еще и потому, что он окружен здесь не менее достоверно представленными современниками.

Лаконично, иногда несколькими фразами рисует Керн удивительно точные и живые портреты людей того круга, духовным вождем которого был Пушкин. Таков, например, в «Воспоминаниях о Пушкине» портрет А. Мицкевича.

Прямым продолжением воспоминаний о Пушкине явились воспоминания о Дельвиге и Глинке, где эти два замечательных деятеля пушкинской эпохи охарактеризованы так полно и выразительно, как ни в одном другом мемуарном документе. Антон Антонович Дельвиг — «душа всей этой счастливой семьи поэтов», собиравшихся в его доме, «соединяющий в себе все качества, из которых слагается симпатичная личность», человек спокойного, ровного характера, безгранично добрый, гостеприимный, добродушно-остроумный, знающий цену веселой шутке. И Михаил Иванович Глинка — болезненный, до робости скромный и деликатный, но притом всегда самый желанный гость благодаря своему уму и сердечной доброте, владеющий вели-

кой творческой силой, даром потрясать своим искусством души людей. Читая воспоминания Керн, с удивлением видишь, например, что в ее рассказе о поездке на Иматру летом 1829 года, написанном много лет спустя после самого события, все участники поездки, да и обстоятельства самого пути, картины величественной северной природы запечатлены точнее, выразительнее, нежели в очерке профессионального литератора О. М. Сомова, напечатанном в 1830—1831 годах.

Керн сообщает впервые многие факты из биографии Дельвига и Глинки. Благодаря ее сообщениям стали известны шуточные стихи Дельвига: «Друг Пушкин, хочешь ли отведать...», «Хвостова кипа тут лежала...», «Я в Курске, милые друзья...», «Там, где Семеновский полк...». Пародия на балладу В. А. Жуковского (перевод из В. Скотта) «Смальгольмский барон», очень близко к авторскому тексту, была приведена А. П. Керн задолго до того, как стал известен автограф Дельвига. Вряд ли кто-либо еще из слышавших гениальные импровизации Глинки, его особое исполнение своих и чужих произведений поведал о них с такой ясностью и глубочайшей симпатией, как А. П. Керн. Как верны и точны характеристики музыки Глинки, например, три строки об арии Людмилы из оперы «Руслан и Людмила»: «Ах, какая чудная музыка! Какая душа в этой музыке, какое гармоническое соединение чувства с умом и какое тонкое понимание народного колорита»...

Трудясь над воспоминаниями о Дельвиге, о Глинке (они затем были объединены и увидели свет в 1864 году), вновь возвращаясь к Дельвигу (напечатано только в 1907 году), А. П. Керн как бы выполняла обещание, данное в начале первых своих воспоминаний,— «выдвинуть... еще кроме Пушкина, несколько лиц... всем известных». Но и о Пушкине она, естественно, продолжала думать все время. Обнародовала здесь несколько записок к ней Пушкина и Е. М. Хитрово. Вспомнила и рассказала о встречах с поэтом, когда он вместе с нею благословлял вышедшую замуж против воли родителей Ольгу Сергеевну, и позже, когда он с женою навещал смертельно больную Надежду Осиповну. Передала слышанные от него суждения о стихах Дельвига и некоторых книгах — повестях Павлова, романах Бульвера, Манцони. Дополнила прежнюю характеристику душевного состояния Пушкина в конце 20-х — начале 30-х годов: «...У Пушкина часто проглядывало беспокойное расположение духа... Его шутка часто превращалась в сарказм, который, вероятно, имел основание в глубоко возмущенном действительностью духе поэта». Определяя характер Дельвига, она делает это, сравнивая его с характером Пушкина.

В некоторых случаях рассказ Керн грешит известным субъективизмом, идеализацией «доброго старого времени». Можно ли согла-

ситься, например, с таким утверждением: «Весь кружок даровитых писателей и друзей, группировавшихся около Пушкина, носил на себе характер беспечного, любящего пображничать русского барина... В этом молодом кружке преобладала любезность и раздольная игривая веселость»?.. Разве такими беспечными, «избегавшими тягости труда» весельчаками и кутилами были в ту пору Пушкин, Дельвиг, Веневитинов, Мицкевич?.. И о жизни Дельвига в последние годы вряд ли можно сказать: «...Он, среди тишины семейной жизни, услажденный друзьями, поэзией и музыкою, мог назваться счастливейшим из смертных». Здесь трезвость и объективность взгляда изменяют мемуаристке. Но таких случаев очень немного, и рассказ А. П. Керн в целом воссоздает вполне достоверную, объективную картину жизни того круга русской художественной интеллигенции 20—30-х годов, признанным главою которого был Пушкин.

Значительно больше грешит Керн идеализацией прошлого, когда в последних опубликованных при ее жизни воспоминаниях обращается не к пушкинскому кругу, а к императору Александру I и встречам с ним во время смотров войск 1817—1820 годов. Она начинает со ссылки на изображение в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» «страстного, благоговейного чувства, ощущавшегося всеми молодыми людьми к императору Александру Павловичу в начале его царствования», не замечая иронии, которая скрыта в изображении Толстого, и забывая, что в 1817—1820 годах отношение лучшей части дворянской молодежи к императору было уже отнюдь не таким благоговейным (оно превосходно выражено в эпиграммах и «Noël» Пушкина).

Керн полвека спустя вспоминает об этой эпохе с наивным «упоением», но в рассказе ее так много верных бытовых зарисовок, живописных деталей, точных характеристик — идет ли речь о самом императоре или о семье Раевских, «милом Дерпте» или бале в Риге,— что он приобретает цену подлинного исторического документа, позволяющего реально ощутить время.

Ценность подлинного исторического документа, в целом и в деталях, имеют автобиографические записи Керн, завершающие цикл ее воспоминаний и напечатанные уже после смерти — в 1884 году. Длинный ряд типических образов, представляющих различные слои русского общества начала прошлого века, картины быта дворянской усадьбы и уездного городка нарисованы откровенно и очень убедительно. Иногда рассказ о людях и событиях прошлого прерывается размышлениями автора, некими выводами из ее жизненного опыта — о воспитании и роли в нем труда, слепого послушания и самостоятельности, силы воли, о браке и вообще отношениях между людьми. И эти страницы записок также представляют несомненный интерес.

Не раз указывалось на исключительную точность, с какой А. П. Керн в своих мемуарах излагает факты полувековой давности. Ошибки встречаются крайне редко. Она сама подчеркивает свое стремление к максимальной точности — то оговоркой в тексте («дальше не помню, а неверно цитировать не хочу»), то эпиграфом («То зеркало лишь хорошо, которое верно отражает»). Такое количество имен, фамилий, названий мест, различных высказываний и даже стихотворных строк сохранила удивительная память А. П. Керн, что может возникнуть предположение — не пользовалась ли она какими-то своими старыми дневниковыми записями. Но, по всей видимости, если такие записи и существовали когда-то, то ко времени, когда создавались воспоминания, они не сохранились.

В ее распоряжении были лишь два не имеющих прямого отношения к содержанию воспоминаний дневника — «Дневник для отдохновения» 1820 года и «Рассказ о событиях в Петербурге...» 1861 года. Оба не предназначались для печати и увидели свет через много-много лет после того, как были написаны: первый — более чем через сто лет, в 1929 году, второй — почти через пятьдесят лет, в 1908 году. Публикация их оправдывалась значительным их интересом как документов эпохи и самовыражения того поколения, к которому принадлежала А. П. Керн.

«Дневник для отдохновения» Анна Петровна вела, когда ей было двадцать лет и она жила в Пскове, где генерал Керн командовал бригадой. (Всего четыре года спустя туда попал Пушкин.) Писала для «отдохновения», для того, чтобы забыть на время горечь повседневности. Писала по-французски, лишь изредка пользуясь родным языком (с одной стороны, вероятно, так было привычнее, удобнее, с другой — легче уберечь записи от глаз мужа, не читавшего по-французски). В большей своей части дневник состоит из жалоб на невыносимо тягостное существование с ненавистным мужем — грубым солдафоном в генеральских эполетах, излияний горьких чувств и переживаний, воспоминаний о прежней жизни с родными, которая теперь кажется ей идеальной. Но в нем немало и колоритных зарисовок из быта офицерской среды и губернского общества, метких характеристик и портретов. Встречаются даже упоминания, правда, довольно наивные, о революционных событиях в Европе, которыми был столь богат 1820 год. Особое место занимают в дневнике многочисленные выписки из прочитанных книг — не только чувствительных французских романов, но и таких серьезных сочинений, как книга Ж. де Сталь «О Германии», которую молодая генеральша прочитала с редкой для того времени заинтересованностью и пониманием[1].

[1] См. статью П. Р. Заборова в сб. «Ранние романтические веяния» «Жермена де Сталь и русская литература первой трети XIX века». Л., 1972. С. 195.

«Сентиментальное путешествие» Л. Стерна она читала не один раз по-русски и по-французски[1].

Не без влияния писателей сентиментального направления сложился стиль, который отличает записи А. П. Керн в «Дневнике для отдохновения», особенно те, где речь идет о герое ее полувыдуманного «романа» — молодом офицере, именуемом то Eglantine — Шиповником, то Jmmortelle — Бессмертником. Керн часто пользуется модным «языком цветов» для иносказательного выражения своих чувств. Подчас явно входит в роль героини того или иного из прочитанных романов. Но за этим наивно-сентиментальным способом выражения можно разглядеть подлинную трагедию женщины с запросами и идеалами неординарными, способной на жизнь разумную, полезную, чувства глубокие и чистые, а вместо этого обреченную на пошлое существование в среде чуждой, даже враждебной,— довольно обычную трагедию незаурядного человека в России прошлого века.

«Рассказ о событиях в Петербурге...» отделяют от «Дневника для отдохновения» четыре десятилетия. Многое изменилось за это время в жизни русского общества, изменилась и сама Анна Петровна (теперь уже давно Маркова-Виноградская). Из начинающей жить восторженной мечтательницы она превратилась в женщину, умудренную опытом, познавшую горечь одиночества, несправедливых преследований, материальной необеспеченности и радость духовного удовлетворения, которое давало ей общение со многими лучшими людьми эпохи. Ни время, ни обстоятельства не заглушили в ней горячих общественных интересов и устремлений. Живя в Петербурге в знаменательное десятилетие 1855—1865 годов, среди интеллигентных, либерально настроенных людей, она так же активно и непосредственно переживала атмосферу общественного движения шестидесятых годов, как когда-то двадцатых. Свидетельство тому — «Рассказ о событиях в Петербурге...», где точно зафиксированы и чрезвычайно энергично оценены события, связанные с известными студенческими волнениями 1861 года, получившими широкий резонанс в столице и по всей стране. Позиции автора дневника типично либеральные: крайне левые, «красные» элементы не вызывают ее симпатий. Но ее активно сочувственное отношение к протестующим студентам, даже к Михайлову, Герцену, Бакунину, несомненно. Сочувственно относится она и к новой демократической литературе, приветствуя роман Помяловского «Молотов», сатирические выступления «Искры». А выражения, в которых она говорит о правитель-

[1] Следует заметить, что интерес к Стерну характерен для передовой русской молодежи 1810—1820-х годов. (См.: Азадовский М. К. Стерн в восприятии декабристов. «Бунт декабристов». Л., 1926. С. 383—392.)

ственной реакции, таковы, что даже при публикации дневника в 1908 году были вымараны цензурой и не увидели света. Это в первую очередь относится к самому императору Александру II, о котором в рукописи дневника можно прочитать: «...*его* манеру (куда какая разумная манера!) поцеловать прежде, а потом и дать пинка!» Или: «...легко *было властию, богом нам дарованною,* рассечь этот гордиев узел — всех их выпустить хоть на поруки, а потом судить и рядить. Самое-то простое никогда на ум не всходит дуракам!» Или: «Я ненавижу *его* и все это!..»

«Рассказ о событиях в Петербурге...», сочетающий, как обычно у Керн, яркую образность, живость описаний с фактической достоверностью, неоднократно фигурировал в качестве исторического документа при изучении эпохи 60-х годов.

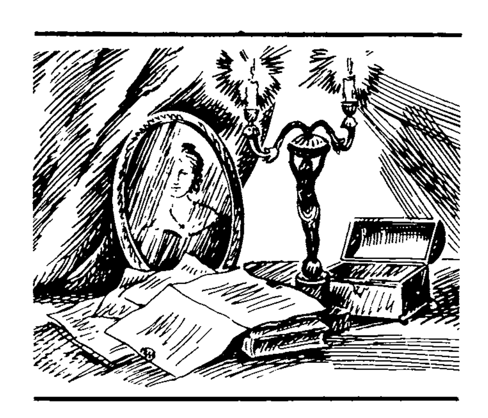
Оба дневника — 1820 и 1861 годов — имеют по форме своей одну общую особенность — это дневники-письма, обращенные к определенным лицам, с которыми автор записей как бы делится своими мыслями, переживаниями, наблюдениями. Такая форма оказалась избранной не случайно. Эпистолярный стиль был близок Анне Петровне с ранних лет — и по книгам, и по собственному опыту. Как известно, она охотно и часто обменивалась письмами с Анной Николаевной Вульф и другими близкими людьми.

Из переписки ее мы знаем очень мало. Но и то, чем мы располагаем, представляет несомненную ценность. Не только столь бережно сохраненные ею письма Пушкина, о которых шла речь выше, но и письма к ней М. И. Глинки, А. А. и С. М. Дельвигов, А. В. Никитенко, Н. О. и С. Л. Пушкиных, П. В. Анненкова, ее — к Никитенко, Анненкову и родным. Они вносят новые штрихи в известный нам портрет самой Анны Петровны, дополняют новыми существенными фактами ее воспоминания и дневниковые записи, наши представления о том круге явлений русской общественной жизни прошлого века, о которых она нам поведала.

П. В. Анненков в письме к А. П. Керн (Марковой-Виноградской), написанном вскоре после опубликования «Воспоминаний о Пушкине», дал справедливую оценку достоинств и значения ее труда, а саму ее объявил претендентом на звание «летописца известной эпохи и известного общества», имя которого «уже связалось с историей литературы, т. е. с историей общественного нашего развития».

В тесной связи с историей нашего общественного развития, с поэзией Пушкина, музыкой Глинки живет в благодарной памяти последующих поколений эта примечательная женщина — незаурядная дочь своей эпохи, ставшая и ее летописцем.

А. М. Гордин



ВОСПОМИНАНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ

ам захотелось, почтенная и добрая Е. Н., узнать некоторые подробности моего знакомства с Пушкиным. Спешу исполнить ваше желание. Начну с начала и выдвину перед вами, еще кроме Пушкина, несколько лиц, вам очень знакомых и всем известных.

Я воспитывалась в Тверской губернии, в доме родного деда моего по матери, вместе с двоюродною сестрою моею, известною вам Анною Николаевною Вульф, до 12 лет возраста. В 1812 г. меня увезли от дедушки в Полтавскую губернию, а 16 лет выдали замуж за генерала Керна.

В 1819 г. я приехала в Петербург с мужем и отцом, который, между прочим, представил меня в дом его родной сестры, Олениной. Тут я встретила двоюродного брата моего Полторацкого[1], с сестрами которого я была еще дружна в детстве. Он сделался моим спутником и чичероне в кругу незнакомого для меня большого света. Мне очень нравилось бывать в доме Олениных, потому что у них не играли в карты, хотя там и не танцевали, по причине траура при дворе[2], но зато играли в разные занимательные игры и преимущественно в charades en action*, в которых принимали иногда участие и наши литературные знаменитости — Иван Андреевич Крылов, Иван Матвеевич Муравьев-Апостол и другие.

В первый визит мой к тетушке Олениной батюшка, казавшийся очень немногим старше меня, встретясь в дверях гостиной с Крыловым, сказал ему: «Рекомендую вам меньшую сестру мою». Иван Андреевич улыбнулся, как только он умел улыбаться, и, протянув мне

---

* шарады *(фр.)*.

обе руки, сказал: «Рад, очень рад познакомиться с сестрицей». На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина[3] и не заметила его: мое внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались и в которых участвовали Крылов, Плещеев[4] и другие. Не помню, за какой-то фант Крылова заставили прочитать одну из его басен. Он сел на стул посередине залы; мы все столпились вкруг него, и я никогда не забуду, как он был хорош, читая своего *Осла*! И теперь еще мне слышится его голос и видится его разумное лицо и комическое выражение, с которым он произнес: «Осел был самых честных правил!»[5]

В чаду такого очарования мудрено было видеть кого бы то ни было, кроме виновника поэтического наслаждения, и вот почему я не заметила Пушкина. Но он вскоре дал себя заметить. Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль *Клеопатры,* и, когда я держала корзинку с цветами, Пушкин, вместе с братом Александром Полторацким, подошел ко мне, посмотрел на корзинку и, указывая на брата, сказал: «Et c'est sans doute Monsieur qui fera l'aspic?»* Я нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла.

После этого мы сели ужинать. У Олениных ужинали на маленьких столиках, без церемоний и, разумеется, *без чинов.* Да и какие могли быть чины там, где просвещенный хозяин ценил и дорожил только науками и искусствами? За ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и старался обратить на себя мое внимание льстивыми возгласами, как, например: «Est-il permis d'être ainsi jolie!»** Потом завязался между ними шутливый разговор о том, кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал брату: «Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких, там можно будет играть в шарады. Спроси у m-me Керн, хотела ли бы она попасть в ад?» Я отвечала очень серьезно и несколько сухо, что в ад не желаю. «Ну, как же ты теперь, Пушкин?» — спросил брат. «Je me ravise***, — ответил поэт, — я в ад не хочу, хотя там и будут хорошенькие женщины...» Вскоре ужин кончился, и стали разъезжаться. Когда я уезжала и брат сел со мною

* А роль змеи, как видно, предназначается этому господину? *(фр.)*
** Можно ли быть такой хорошенькой! *(фр.)*
*** Я раздумал *(фр.)*.

в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал меня глазами.

Впечатление его встречи со мною он выразил в известных стихах:

Я помню чудное мгновенье,
и проч.

Вот те места, в 8-й главе *Онегина*[6], которые относятся к его воспоминаниям о нашей встрече у Олениных:

...Но вот толпа заколебалась,
По зале шепот пробежал.
К хозяйке дама приближалась...
За нею важный генерал.
Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязанья на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей;
Все тихо, просто было в ней.
Она, казалось, верный снимок
Du comme il faut... прости,
Не знаю, как перевести!
К ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей,
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взор ее очей,
Девицы проходили тише
Пред ней по зале: и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
. . . .
Но обратимся к нашей даме.
Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола.
. . . .
Сомненья нет, увы! Евгений
В Татьяну, как дитя, влюблен.
В тоске любовных помышлений
И день и ночь проводит он.
Ума не внемля строгим пеням,
К ее крыльцу, к стеклянным сеням,
Он подъезжает каждый день,
За ней он гонится, как тень;
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо,
Или коснется горячо
Ее руки, или раздвинет
Пред нею пестрый полк ливрей,
Или платок поднимет ей!

Прожив несколько времени в Дерпте, в Риге, в Пскове, я возвратилась в Полтавскую губернию, к моим родителям. В течение 6 лет я не видела Пушкина, но от многих слышала про него, как про славного поэта, и с жадностью читала: *Кавказский пленник, Бахчисарайский фонтан, Разбойники* и 1-ю главу *Онегина*[7], которые доставлял мне сосед наш Аркадий Гаврилович Родзянко, милый поэт, умный, любезный и весьма симпатичный человек. Он был в дружеских отношениях с Пушкиным и имел счастие принимать его у себя в деревне Полтавской губернии, Хорольского уезда. Пушкин, возвращаясь с Кавказа, прискакал к нему с ближайшей станции, верхом, без седла, на почтовой лошади, в хомуте...[8]

Во время пребывания моего в Полтавской губернии я постоянно переписывалась с двоюродною сестрою моею, Анною Николаевною Вульф, жившею у матери своей в *Тригорском,* Псковской губернии, Опочецкого уезда, близ деревни Пушкина *Михайловского.*

Она часто бывала в доме Пушкина[9], говорила с ним обо мне и потом сообщала мне в своих письмах различные его фразы; так в одном из них она писала: «Vous avez produit une vive impression sur Pouchkine à votre rencontre, chez Olenine; il dit partout: elle était trop brillante»*. В одном из ее писем Пушкин приписал сбоку, из Байрона: «Une image qui a passé devant nous, que nous avons vue et que nous ne reverrons jamais»**. Когда же он узнал, что я видаюсь с Родзянко, то переслал через меня к нему письмо, в котором были расспросы обо мне и стихи:

Наперсник Феба иль Приапа,
Твоя соломенная шляпа
Завидней, чем иной венец,
Твоя деревня Рим, ты папа,
Благослови ж меня, певец!

Далее в том же письме он говорит: «Ты написал *Хохлачку,* Баратынский *Чухонку,* я *Цыганку,* что скажет Аполлон?» и проч. и проч.[10], дальше не помню, а не-

---

* Ты произвела сильное впечатление на Пушкина во время вашей встречи у Олениных; он всюду говорит: она была ослепительна *(фр.).*

** Промелькнувший перед нами образ, который мы видели и никогда более не увидим *(фр.).*

верно цитировать не хочу. После этого мне с Родзянко вздумалось полюбезничать с Пушкиным, и мы вместе написали ему шуточное послание в стихах. Родзянко в нем упоминал о моем отъезде из Малороссии и о несправедливости намеков Пушкина на любовь ко мне. Послание наше было очень длинно, но я помню только последний стих:

Прощайте, будьте в дураках!

Ответом на это послание были следующие стихи, отданные мне Пушкиным, когда я через месяц после этого встретилась с ним в Тригорском.

Вот они:

Ты обещал о романтизме,
О сем Парнасском афеизме
Потолковать еще со мной;
Полтавских муз поведать тайны,—
А пишешь лишь об ней одной.
Нет, это ясно, милый мой,
Нет, не влюблен Пирон Украйны.
Ты прав, что может быть важней
На свете женщины прекрасной?
Улыбка, взор ее очей
Дороже злата и честей,
Дороже славы разногласной;
Поговорим опять *об ней.*

Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей,
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу,
Не наведет она зевоту.
Дай бог, чтоб только Гименей
Меж тем продлил свою дремоту!
Но не согласен я с тобой,
Не одобряю я развода,
Во-первых, веры долг святой,
Закон и самая природа...
А во-вторых, замечу я,
Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы:
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои,
Одно другому помогает,
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви.

Михайловское *А. Пушкин*[11].

Восхищенная Пушкиным, я страстно хотела увидеть его, и это желание исполнилось во время пребывания моего в доме тетки моей, в Тригорском, в 1825 г.[12], в июне месяце. Вот как это было. Мы сидели за обедом и смеялись над привычкою одного г-на Рокотова[13], повторяющего беспрестанно: «Pardonnez ma franchise» и «Je tiens beaucoup à votre opinion»*. Как вдруг вошел Пушкин с большой, толстой палкой в руках. Он после часто к нам являлся во время обеда, но не садился за стол; он обедал у себя, гораздо раньше, и ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками, chien-loop**. Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила, он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость видна была в его движениях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться: он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен,— и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Раз он был так нелюбезен, что сам в этом сознался сестре, говоря: «Ai-je été assez vulgaire aujourd'hui!»*** Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его... Так, один раз мы восхищались его тихою радостью, когда он получил от какого-то помещика при любезном письме *охотничий рог* на *бронзовой цепочке,* который ему нравился. Читая это письмо и любуясь рогом, он сиял удовольствием и повторял: «Charmant! Charmant!»**** Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностью его речи. В одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про *Черта,* который ездил на извозчике на Васильевский остров[14]. Эту сказку с его же слов записал некто *Титов* и поместил, кажется, в *Подснежнике.* Пушкин был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать

* «Простите за откровенность» и «Я весьма дорожу вашим мнением» *(фр.).*

** волкодавами *(фр.).*

*** До чего же я был неучтив сегодня! *(фр.)*

**** Чудесно! Чудесно! *(фр.)*

и занимать общество. Однажды с этой целью явился он в *Тригорское* с своею большою черною книгою, на полях которой были начерчены ножки и головки, и сказал, что он принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих *Цыган*[15]. Впервые мы слышали эту чудную поэму, и я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу!.. Я была в упоении как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения; он имел *голос* певучий, мелодический и, как он говорит про Овидия в своих *Цыганах:*

И голос шуму вод подобный.

Через несколько дней после этого чтения тетушка предложила нам всем после ужина прогулку в *Михайловское*[16]. Пушкин очень обрадовался этому, и мы поехали. Погода была чудесная, лунная июльская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах: тетушка с сыном в одном; сестра, Пушкин и я в другом. Ни прежде, ни после я не видала его так добродушно веселым и любезным. Он шутил без острот и сарказмов; хвалил луну, не называл ее глупою[17], а говорил: «J'aime la lune quand elle éclaire un beau visage»*, хвалил природу и говорил, что он торжествует, воображая в ту минуту, будто Александр Полторацкий остался на крыльце у Олениных, а он уехал со мною; это был намек на то, как он завидовал при нашей первой встрече А. Полторацкому, когда тот уехал со мною. Приехавши в *Михайловское,* мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый, запущенный сад. «Приют задумчивых дриад»[18], с длинными аллеями старых дерев, корни которых, сплетясь, вились по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать. Тетушка, приехавши туда вслед за нами, сказала: «Mon cher Pouchkine, faites les honneurs de votre jardin à Madame»**. Он быстро подал мне руку и побежал скоро, скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться. Подробностей разговора нашего не помню; он вспоминал нашу первую встречу у Олениных, выражался о ней увлекательно, востор-

---

* Я люблю луну, когда она освещает прекрасное лицо *(фр.).*

** Мой милый Пушкин, будьте же гостеприимны и покажите госпоже ваш сад *(фр.).*

женно и в конце разговора сказал: «Vous aviez un air si virginal; n'est ce pas que vous aviez sur vous quelque chose comme une croix?»*

На другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрою Анной Николаевной Вульф. Он пришел утром и на прощанье принес мне экземпляр 2-й главы *Онегина*[19], в неразрезанных листках, между которых я нашла вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами:

Я помню чудное мгновенье

и проч. и проч.

Когда я сбиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю. Стихи эти я сообщила тогда барону Дельвигу, который их поместил в своих *Северных цветах.* Михаил Иванович Глинка сделал на них прекрасную музыку и оставил их у себя[20].

Во время пребывания моего в Тригорском я пела Пушкину стихи Козлова:

Ночь весенняя дышала
Светлоюжною красой,
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной

и проч.[21]

Мы пели этот романс Козлова, на голос *Benedetta sia la madre***, баркаролы венецианской. Пушкин с большим удовольствием слушал эту музыку и писал в это время *Плетневу:* «Скажи старцу Козлову, что здесь есть одна прелесть, которая поет его *ночь.* Как жаль, что он ее не увидит! дай бог ему ее слышать!»[22].

Итак, я переехала в Ригу. Тут гостили у меня сестра, приехавшая со мною, и тетушка со всем семейством. Пушкин писал из *Михайловского* к ним обеим; в одном из своих писем тетушке он очертил мой портрет[23] так:

«Voulez vous savoir ce que c'est que M-me K...? elle est souple, elle comprend tout; elle s'afflige facilement et se

---

* Вы выглядели такой невинной девочкой; на вас было тогда что-то вроде крестика, не правда ли? *(фр.)*

** Пусть благословенна будет мать *(ит.)*.

console de même; elle est timide dans les manières et hardie dans les actions; mais elle est bien attrayante»*.

Его письмо к сестре очень забавно и остро, выписываю здесь то, что относилось ко мне:

«Tout Trigorsky chanle. *Не мила ей прелесть* NB: *ночи,* et cela me serre le coeur; hier M-r Alexis et moi, nous avons parlé 4 heures de suite. Jamais nous n'avons eu une aussi longue conversation. Devinez ce qui nous a uni tout à coup? Ennui? *conformité de sentiment?* je n'en sais rien; je me promène tontes les nuits dans mon jardin, je dis: alle était là; la pierre qu'elle a heurtée est sur ma table auprès d'une héliotrope fanée. J'écris beaucoup de vers. Tout cela, si vous voulez, ressemble beaucoup à de l'amour, mais je vous jure qu'il n'en est rien. Si j'étais amoureux, j'aurais eu *dimanche* des convulsions de rage et de jalousie et je n'ai été que piqué... cependant l'idée que je ne suis rien pour elle, qu'après avoir éveillé, occupé son imagination, je n'ai qu'amusé sa curiosité; que mon souvenir ne la rendra pas un moment plus distraite au milieu de ses triomphes, ni plus sombre dans ses jours de tristesse, que ses beaux yeux s'attacheront sur quelque fat de Riga avec la même expression déchirante et voluptueuse... non, cette idée m'est insupportable, dites lui que j'en mourrai; non, ne le lui dites pas; elle s'en moquerait, cette délicieuse créature. Mais dites lui, que si son coeur n'a pas pour moi une tendresse secrète, un penchant mélancolique et mystérieux, je la méprise, entendez vous? oui, je la méprise, malgré tout l'étonnement que doit lui causer un sentiment aussi nouveau... 21 juillet»**.

---

* Хотите знать, что такое г-жа К...? — она изящна: она все понимает; легко огорчается и так же легко утешается; у нее робкие манеры и смелые поступки,— но при этом она чудо как привлекательна *(фр.).*

** Все Тригорское распевает: *не мила ей прелесть ночи,* и сердце мое сжимается, слушая эту песню. Вчера я четыре часа сряду говорил с Алексисом; никогда еще не было у нас такого длинного разговора. Что же вдруг соединило нас? Скука? Сродство чувств? Право, и сам не знаю. Каждую ночь я гуляю в своем саду и говорю себе: «Здесь была она... камень, о который она споткнулась[1], лежит на моем столе подле увядшего гелиотропа[2]. Наконец я много пишу стихов. Все это, если хотите, крепко похоже на любовь, но божусь вам, что о ней и помину нет. Будь я влюблен,— я бы, кажется, умер в воскресенье от бешеной ревности,— а между тем мне просто было досадно[3]. Но все-таки мысль, что я ничего не значу для нее, что, заняв на минуту ее воображение, я только дал пищу ее веселому любопытству,— мысль, что воспоминание обо мне не нагонит на нее рассеянно-

Вскоре ему захотелось завязать со мной переписку, и он написал мне следующее письмо[24]:

«J'ai eu la faiblesse de vous demander la permission de vous écrire et vous — l'étourderie ou la coquetterie de me le permettre. Une correspondance ne mène à rien, je le sais; mais je n'ai pas la force de résister au désir d'avoir un mot de votre jolie main. Votre visite à Trigorsky m'a laissé une impression plus forte et plus pénible, que celle, qu'avait produite jadis notre rencontre chez Оленин. Ce que j'ai de mieux à faire au fond de mon triste village, est de tâcher de ne plus penser à vous. Vous devriez me le souhaiter aussi pour peu que vous avez de la pitié dans l'âme — mais la frivolité est toujours cruelle, et vous autres, tout en tournant les têtes à tort et à travers, vous êtes enchantées de savoir une âme souffrante en votre honneur et gloire.

Adien, divine. J'enrage et je suis à vos pieds. Mille tendresses à Ермолай Федорович et mes compliments à M-me Voulf, 25 juillet.

Je reprends la plume, car je meurs d'ennui et ne puis m'occuper que de vous — j'espère que vous lirez cette lettre en cachette — la cacherez vous encore dans votre sein? me répondrez vous bien longuement? écrivez moi tout ce qui vous passera par la tête, je vous en conjure. Si vous craignez ma fatuité, si vous ne voulez pas vous compromettre, contrefaites votre écriture, signez un nom de fantaisie — mon coeur saura vous reconnaitre. Si vos expressions seront aussi douces que vos regards, hélas! je tâcherais d'y croire, ou de me tromper, c'est égal.— Savez-vous bien qu'en relisant ces lignes, je suis honteux de leur ton sen-

---

сти среди ее триумфов и не омрачит сильнее лица ее в грустные минуты,— что прекрасные глаза ее остановятся на каком-нибудь рижском фате с тем же пронзающим и сладострастным выражением,— о, эта мысль невыносима для меня... Скажите ей, что я умру от этого... нет, лучше не говорите, а то это восхитительное создание станет смеяться надо мною. Но скажите ей, что если в сердце ее не таится сокровенная нежность ко мне, если нет в нем таинственного и меланхолического влечения, — то я презираю ее — слышите ли — презираю, не обращая внимания на удивление, которое вызовет в ней такое небывалое чувство. 21-го июля *(фр.)*.

[1] Никакого не было камня в саду, а споткнулась я о переплетенные корни деревьев. *(Прим. А. П. Керн.)*

[2] Веточку гелиотропа он точно выпросил у меня. *(Прим. А. П. Керн.)*

[3] Ему досадно было, что брат поехал провожать сестру свою и меня и сел вместе с нами в карету. *(Прим. А. П. Керн.)*

timental — que dira* Анна Николаевна? Ах вы чудотворка или чудотворица!»

Получа это письмо, я тотчас ему отвечала и с нетерпением ждала от него второго письма; но он это второе письмо вложил в пакет тетушкин, а она не только не отдала его мне, но даже не показала. Те, которые его читали, говорили, что оно было прелесть как мило.

В другом письме его было:

«Ecrivez-moi et beaucoup en long, et en large et en diagonale»**

Мне бы хотелось сделать много выписок из его писем; они все были очень милы, но ограничусь еще одним:

«N'est-ce pas que je suis beaucoup plus aimable par poste qu'en face? hé bien, si vous venez, je vous promets d'être extrêmement aimable.—Ja serai gai lundi, exalté mardi, tendre mercredi, leste jeudi, vendredi, samedi et dimanche je serai tout ce qu'il vous plaira et tonte la semaine à vos pieds *Adieu. 28 aôit»****.

---

* Я имел слабость просить у вас позволения писать к вам, а вы, по ветрености или кокетству, позволили мне это. Я знаю, что переписка не ведет ни к чему; но у меня нет силы устоять против искушения — иметь у себя хоть одно слово, написанное вашей хорошенькой ручкой. Ваш приезд в Тригорское произвел на меня впечатление гораздо живее и тягостнее, чем некогда наша встреча у Олениных. Теперь, в глуши моей печальной деревни, мне ничего не остается лучше, как перестать думать о вас. Если бы в душе вашей была хоть капля жалости,— вы должны бы сами желать мне этого; но ветреность всегда жестока; и вся ваша братья, вертя как попало чужие головы, восхищается сознанием, что есть на свете душа, страдающая в честь и славу вам.— Прощайте, божество; я мучусь от бешенства и целую ваши ножки... Тысячу любезностей Ермолаю Федоровичу и сердечный поклон Вульф. 25 июля.

Я снова берусь за перо, потому что умираю от скуки и могу заниматься только вами. Надеюсь, что вы прочтете это письмо украдкой... Скажите, спрячете ли вы его опять на груди? станете ли отвечать мне подробно? Ради бога, пишите мне все, что придет вам в голову. Если вы боитесь моей нескромности, если не хотите компрометировать себя,— перемените почерк, подпишите какое хотите имя, сердце мое и так узнает вас.— Если слова ваши будут так же сладки, как и ваши взгляды, тогда, увы! я постараюсь поверить им, или же обмануть себя — это одно и то же. Знаете что, я перечитываю то, что написал, и стыжусь их сентиментального тона — что скажет... *(фр.)*

** Пишите мне, да побольше, и вдоль, и поперек, и по диагонали *(фр.)*.

*** Не правда ли, что в письмах я гораздо любезнее, чем в натуре? Но приезжайте в Тригорское, и я обещаю вам, что буду необыкновенно любезен. Я буду весел в понедельник, экзальтирован во вторник, нежен в среду, проворен и ловок в четверг, пятницу, субботу и воскресенье — я буду всем, чем вы прикажете, и целую неделю у ваших ног. Прощайте. 28 августа *(фр.)*.

Через несколько месяцев я переехала в Петербург и, уезжая из Риги, послала ему последнее издание Байрона, о котором он так давно хлопотал, и получила еще одно письмо, чуть ли не самое любезное из всех прочих, так он был признателен за Байрона! Не воздержусь, чтобы не выписать вам его здесь:

«Je ne m'attendais guère, enchanteresse, à votre souvenir, c'est du fond de mon âme, qui je vous en remercie. Byron vient d'acquérir pour moi un nouveau charme — toutes ses héroines vont revêtir dans mon imagination des traits qu'on ne peut oublier. C'est vous que je verrai dans Gulnare et dans Leila — l'idéal de Byron lui même ne pouvait être plus divin. C'est donc vous, c'est toujours vous que le sort envoie pour enchanter ma solitude! Vous êtes l'ange de consolation — mais je ne suis qu'un ingrat, puisque je murmure encore... Vous allez à Pétersbourg, mon exil me pèse plus que jamais. — Peut être que le changement qui vient d'arriver me repprochera de vous, je n'ose l'espérer. Ne croyons pas à l'espérance, ce n'est qu'une jolie femme, elle nous traite en vieux maris. Que fait le vôtre, mon doux génie? — Savez que s'est sous ses traits que je m'imagine les ennemis de Byron, y compris sa femme. 8 décembre.

Je reprends la plume pour vous dire que je suis à vos genoux, que je vous aime toujours, que je vous déteste quelquefois, qu'avant-hier j'ai dit de vous des horreurs, que je vous baise vos belles mains, que je les rebaise encore en attendant mieux, que je n'en peux plus, que vous êtes divine etc.»*.

* Я никак не ожидал, что вы вспомните обо мне,— и благодарю вас за это от всей души. Теперь Байрон получил в глазах моих новую прелесть, и все героини его примут в воображении моем те черты, которых нельзя позабыть. В Гюльнаре и Лейле я буду видеть вас... Итак, вы, опять вы посылаетесь мне судьбою и проливаете очарование на мое уединение,— вы, ангел утешения... Но я неблагодарный — потому что смею еще роптать... Вы едете в Петербург — теперь мое изгнание тяжелее для меня, чем когда-либо.— Может быть, недавно случившаяся перемена сблизит меня с вами — но я не смею надеяться на это.— Надежде нельзя верить: она — хорошенькая женщина, которая обращается с нами, как со старым мужем... Кстати, моя милая фея, что делает ваш? Знаете ли, что в его образе я представлял себе всех врагов Байрона, в том числе и жену его? 8 декабря.

Я снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю вас, а подчас ненавижу, что третьего дня я рассказывал о вас ужасные вещи, что я целую ваши прекрасные ручки, и снова целую их, в ожидании больших благ,— что положение мое невыносимо, что вы божественны и пр. и пр. и пр. *(фр.)*.

С Пушкиным я опять увиделась в Петербурге, в доме его родителей, где я бывала почти всякий день и куда он приехал из своей ссылки в 1827 году, прожив в Москве несколько месяцев [25]. Он был тогда весел, но чего-то ему недоставало. Он как будто не был так доволен собою и другими, как в Тригорском и Михайловском. Я полагаю, что император Александр I, заставляя его жить долго в Михайловском, много содействовал к развитию его гения. Там, в тиши уединения, созрела его поэзия, сосредоточились мысли, душа окрепла и осмыслилась. Друзья не покидали его в ссылке. Некоторые посещали его, а именно: Дельвиг, Баратынский и Языков [26], а другие переписывались с ним, и он приехал в Петербург с богатым запасом выработанных мыслей.

Тотчас по приезде он усердно начал писать, и мы его редко видели. Он жил в трактире Демута [27], его родители на Фонтанке, у Семеновского моста, я с отцом и сестрою близ Обухова моста [28], и он иногда заходил к нам, отправляясь к своим родителям. Мать его, Надежда Осиповна, горячо любившая детей своих, гордилась им и была очень рада и счастлива, когда он посещал их и оставался обедать. Она заманивала его к обеду *печеным картофелем,* до которого Пушкин был большой охотник. В год возвращения его из Михайловского именины [29] свои праздновал он в доме родителей, в семейном кружку и был очень мил. Я в этот день обедала у них и имела удовольствие слушать его любезности. После обеда Абрам Сергеевич Норов [30], подойдя ко мне с Пушкиным, сказал: «Неужели вы ему сегодня ничего не подарили, а он так много вам писал прекрасных стихов?» — «И в самом деле,— отвечала я,— мне бы надо подарить вас чем-нибудь: вот вам кольцо моей матери, носите его на память обо мне». Он взял кольцо, надел на свою маленькую, прекрасную ручку и сказал, что даст мне другое. В этот вечер мы говорили о Льве Сергеевиче, который в то время служил на Кавказе [31], и я, припомнив стихи, написанные им ко мне, прочитала их Пушкину. Вот они:

Как можно не сойти с ума,
Внимая вам, на вас любуясь;

Венера древняя мила,
Чудесным поясом красуясь,
Алкмена, Геркулеса мать,
С ней в ряд, конечно, может стать,
Но, чтоб молили и любили
Их так усердно, как и вас,
Вас спрятать нужно им от нас,
У них вы лавку перебили!

А. Пушкин

Пушкин остался доволен стихами брата и сказал очень наивно: «И он *тоже* очень умен. Il a aussi beaucoup d'ésprit!»

На другой день Пушкин привез мне обещанное кольцо с тремя бриллиантами и хотел было провести у меня несколько часов; но мне нужно было ехать с графинею Ивелич[32], и я предложила ему прокатиться к ней в лодке. Он согласился, и я опять увидела его почти таким же любезным, каким он бывал в Тригорском. Он шутил с лодочником, уговаривая его быть осторожным и не утопить нас. Потом мы заговорили о Веневитинове[33], и он сказал: «Pourquoi l'avez vous laissé mourir? Il était aussi amoureux de vous, n'est ce pas?»* На это я отвечала ему, что Веневитинов оказывал мне только нежное участие и дружбу и что сердце его давно уже принадлежало другой. Тут, кстати, я рассказала ему о наших беседах с Веневитиновым, полных той высокой чистоты и нравственности, которыми он отличался; о желании его нарисовать мой портрет и о моей скорби, когда я получила от Хомякова[34] его посмертное изображение. Пушкин слушал мой рассказ внимательно, выражая только по временам досаду, что так рано умер чудный поэт... Вскоре мы пристали к берегу, и наша беседа кончилась.

Коснувшись светлых воспоминаний о Веневитинове, я не могу воздержаться, чтобы не выписать стихов Дельвига, написанных на смерть его в моем черном альбоме, рядом с портретом Веневитинова: они напоминают прекрасную душу так рано оставившего нас поэта.

---

* Отчего вы позволили ему умереть? Он ведь тоже был влюблен в вас, не правда ли? *(фр.)*

НА СМЕРТЬ ВЕНЕВИТИНОВА

Дева

Юноша милый! на миг ты в наши игры вмешался.
Розе подобный красой, как филомела ты пел.
Сколько любовь потеряла в тебе поцелуев и песен,
Сколько желаний и ласк новых, прекрасных, как ты!

Роза

Дева, не плачь! я на прахе его в красоте расцветаю.
Сладость он жизни вкусив, горечь оставил другим.
Ах! и любовь бы изменою душу певца отравила!
Счастлив, кто прожил, как он, век соловьиный и мой[35].

Зимой 1828 года Пушкин писал *Полтаву*[36] и, полный ее поэтических образов и гармонических стихов, часто входил ко мне в комнату, повторяя последний, написанный им стих; так, он раз вошел, громко произнося:

Ударил бой, Полтавский бой!

Он это делал всегда, когда его занимал какой-нибудь стих, удавшийся ему, или почему-нибудь запавший ему в душу. Он, напр., в Тригорском беспрестанно повторял:

Обманет, не придет она!..[37]

Посещая меня, он рассказывал иногда о своих беседах с друзьями и однажды, встретив у меня Дельвига с женою, передал свой разговор с Крыловым, во время которого, между прочим, был спор о том, можно ли сказать: *бывывало?* Кто-то заметил, что можно даже сказать *бывывывало. «Очень можно,* проговорил Крылов, *да только этого и трезвому не выговорить!»*

Рассказав это, Пушкин много шутил. Во время этих шуток ему попался под руку мой альбом — совершенный слепок с того *уездной барышни альбома,* который описал Пушкин в *Онегине,* и он стал в нем переводить французские стихи на русский язык и русские на французский.

В альбоме было написано:

Oh, si dans L'immortelle vie
Il existait un être parfait,
Oh, mon aimable et douce amie,
Comme toi sans doute il est fait etc., etc.

Пушкин перевел:

Если в жизни поднебесной
Существует дух прелестный,
То тебе подобен он,
Я скажу тебе резон:
Невозможно!

Под какими-то весьма плохими стихами было написано: «Ecrit dans mon exil»*. Пушкин приписал:

Amour, exil! ** —
Какая гиль!

Дмитрий Николаевич Барков[38] написал одни, всем известные стихи не совсем правильно, и Пушкин, вместо перевода, написал следующее:

Не смею вам стихи Баркова
Благопристойно перевесть
И даже имени такова
Не смею громко произнесть!

Так несколько часов было проведено среди самых живых шуток, и я никогда не забуду его игривой веселости, его детского смеха, которым оглашались в тот день мои комнаты.

В подобном расположении духа он раз пришел ко мне и, застав меня за письмом к меньшей сестре[39] моей в Малороссию, приписал в нем:

Когда помилует нас бог,
Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног,
В тени украинских черешен.

В этот самый день я восхищалась чтением его *Цыган* в Тригорском и сказала: «Вам бы следовало, однако ж, подарить мне экземпляр *Цыган* в воспоминание того, что вы их мне читали». Он прислал их в тот же день, с надписью на обертке всеми буквами: *Ее Превосходительству А. П. Керн от господина Пушкина, усердного ее почитателя. Трактир Демут, № 10*[40].

* Написано в моем изгнании *(фр.)*.
** Любовь, изгнание *(фр.)*.

Несколько дней спустя он приехал ко мне вечером и, усевшись на маленькой скамеечке (которая хранится у меня как святыня), написал на какой-то записке:

Я ехал к вам. Живые сны
За мной вились толпой игривой,
И месяц с правой стороны
Осеребрял мой бег ретивый.

Я ехал прочь. Иные сны...
Душе влюбленной грустно было,
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло!

Мечтанью вечному в тиши
Так предаемся мы, поэты,
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души[41].

Писавши эти строки и напевая их своим звучным голосом, он, при стихе:

И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло! —

заметил, смеясь: *Разумеется, с левой, потому что ехал назад!*

Это посещение, как и многие другие, полно было шуток и поэтических разговоров.

В это время он очень усердно ухаживал за одной особой, к которой были написаны стихи: «Город пышный, город бедный...» и «Пред ней, задумавшись, стою...»[42] Несмотря, однако ж, на чувство, которое проглядывает в этих прелестных стихах, он никогда не говорил об *ней* с нежностью и однажды, рассуждая о маленьких ножках, сказал: «Вот, например, у *ней* вот какие маленькие ножки, да черт ли в них?» В другой раз, разговаривая со мною, он сказал: «Сегодня Крылов просил, чтобы я написал *что-нибудь* в ее альбом».— «А вы что сказали?» — спросила я. «А я сказал: *Ого!*» В таком роде он часто выражался о предмете своих воздыханий.

Когда Дельвиг с женою уехали в Харьков[43], я с отцом и сестрою перешла на их квартиру. Пушкин заходил к нам узнавать о них и раз поручил мне переслать стихи к Дельвигу, говоря: *«Да смотрите, сами не читайте и не заглядывайте».*

Я свято это исполнила и после уже узнала, что они состояли в следующем:

Как в ненастные дни собирались они
Часто.
Гнули, бог их прости, от пятидесяти
На сто.
И отписывали, и приписывали
Мелом.
Так в ненастные дни занимались они
Делом[44].

Эти стихи он написал у князя Голицына, во время карточной игры, *мелом на рукаве.* Пушкин очень любил карты и говорил, что это его единственная привязанность. Он был, как все игроки, суеверен, и раз, когда я попросила у него денег для одного бедного семейства, он, отдавая последние 50 руб., сказал: *«Счастье ваше, что я вчера проиграл».*

По отъезде отца и сестры из Петербурга я перешла на маленькую квартирку в том же доме, где жил Дельвиг[45], и была свидетельницею свидания его с Пушкиным. Последний, узнавши о приезде Дельвига, тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия; они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях.

В эту зиму Пушкин часто бывал по вечерам у Дельвига, где собирались два раза в неделю лицейские товарищи его: Лангер, князь Эристов, Яковлев, Комовский и Илличевский*[46]. Кроме этих, приходили на вечера:

* Илличевский написал мне следующее послание:

Близ тебя в восторге нем,
Пью отраду и веселье.
Без тебя я жадно ем
Фабрики твоей изделье[1].
Ты так сладостно мила,
Люди скажут небылица,
Чтоб тебя подчас могла
Мне напоминать горчица.
Без горчицы всякий стол
Мне теперь сухоеденье;
Честолюбцу льстит престол —
Мне ж — горчичницей владенье.
Но угодно так судьбе,
Ни вдова ты, ни девица,
И моя любовь к тебе
После ужина горчица.

Он называл меня:

Сердец царица,
Горчичная мастерица!

[1] Отец мой имел горчичную фабрику. *(Прим. А. П. Керн.)*

Подолинский, Щастный[47], молодые поэты, которых выслушивал и благословлял Дельвиг, как патриарх. Иногда также являлся Сергей Голицын[48] и Михаил Иванович Глинка, гений музыки, добрый и любезный человек, как и свойственно гениальному существу.

Тут кстати заметить, что Пушкин говорил часто: *«Злы только дураки и дети».* Несмотря, однако ж, на это убеждение, и он бывал часто зол на словах, но всегда раскаивался. Так, однажды, когда он мне сказал какую-то злую фразу и я ему заметила: «Ce n'est pas bien de s'attaquer à une personne aussi inoffensive»*,— обезоруженный моею фразою, он искренно начал извиняться. В поступках он всегда был добр и великодушен.

На вечера к Дельвигу являлся и Мицкевич[49]. Вот кто был постоянно любезен и приятен. Какое бесподобное существо! Нам было всегда весело, когда он приезжал. Не помню, встречался ли он часто с Пушкиным, но знаю, что Пушкин и Дельвиг его уважали и любили. Да что мудреного? Он был так мягок, благодушен, так ласково приноровлялся ко всякому, что все были от него в восторге. Часто он усаживался подле нас, рассказывал нам сказки, которые он тут же сочинял, и был занимателен для всех и каждого.

Сказки в нашем кружке были в моде, потому что многие из нас верили в чудесное, в привидения и любили все сверхъестественное. Среди таких бесед многие из тогдашних писателей читали свои произведения. Так, например, Щастный читал нам *Фариса,* переведенного им тогда, и заслужил всеобщее одобрение. За этот перевод Дельвиг очень благоволил к нему, хотя вообще Щастный как поэт был гораздо ниже других второстепенных писателей. Среди этих последних видное место занимал Подолинский, и многими его стихами восхищался Пушкин[50]. Особенно нравились ему следующие:

ПОРТРЕТ

Когда, стройна и светлоока,
Передо мной стоит она,
Я мыслю: Гурия Пророка
С небес на землю сведена.

---

* Нехорошо нападать на такого беззащитного человека *(фр.).*

Коса и кудри темно-русы,
Наряд небрежный и простой,
И на груди роскошной бусы
Роскошно зыблются порой.
Весны и лета сочетанье
В живом огне ее очей
Рождают негу и желанье
В груди тоскующей моей.

И окончание стихов под заглавием: *К ней.*

Так ночью летнею младенца,
Земли роскошной поселенца,
Звезда манит издалека,
Но он к ней тянется напрасно...
Звезды златой, звезды прекрасной,
Не досягнет его рука.

Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным. В минуты рассеянности он напевал какой-нибудь стих и раз был очень забавен, когда повторял беспрестанно стих барона Розена [51]:

«Неумолимая, ты не хотела жить»,—

передразнивая его и голос и выговор.

Зима прошла. Пушкин уехал в Москву [52] и хотя после женитьбы и возвратился в Петербург, но я не более пяти раз с ним встречалась. Когда я имела несчастие лишиться матери [53] и была в очень затруднительном положении, то Пушкин приехал ко мне и, отыскивая мою квартиру, бегал, со свойственною ему живостью, по всем соседним дворам, пока наконец нашел меня. В этот приезд он употребил все свое красноречие, чтобы утешить меня, и я увидела его таким же, каким он бывал прежде. Он предлагал мне свою карету, чтобы съездить к одной даме [54], которая принимала во мне участие; ласкал мою маленькую дочь Ольгу [55], забавляясь, что она на вопрос: «Как тебя зовут?» — отвечала: «Воля!» — и вообще был так трогательно внимателен, что я забыла о своей печали и восхищалась им, как *гением добра.* Пусть этим словом окончатся мои воспоминания о великом поэте.

ВОСПОМИНАНИЯ
О ПУШКИНЕ, ДЕЛЬВИГЕ, ГЛИНКЕ

> То зеркало лишь хорошо,
> которое верно отражает.

При воспоминании прошедшего я часто и долго останавливаюсь на том времени, которое ознаменовалось поэтическою деятельностью Пушкина и отметилось в жизни общества страстью к чтению, литературным занятиям и, если не ошибаюсь, необыкновенною жаждою удовольствий. И тогда снова оживает передо мною доброе старое время, кипевшее избытком молодых сил. Я вижу веселый, беспечный кружок поэтов той эпохи, живший грезами о счастии и по возможности избегавший тягости труда. Из него выделяются в моем воспоминании с особенною ясностью: Пушкин, Дельвиг и Глинка.

Художественные создания Пушкина, развивая в обществе чувство к изящному, возбуждали желание умно и шумно повеселиться, а подчас и покутить. Весь кружок даровитых писателей и друзей, группировавшихся около Пушкина, носил на себе характер беспечного, любящего пображничать русского барина, быть может, еще в большей степени, нежели современное ему общество. В этом молодом кружке преобладала любезность и раздольная, игривая веселость, блестело неистощимое остроумие, высшим образцом которого был Пушкин. Но душою всей этой счастливой семьи поэтов был Дельвиг, у которого в доме чаще всего они и собирались[1].

Дельвиг соединял в себе все качества, из которых слагается симпатичная личность. Любезный, радушный хозяин, он умел счастливить всех, имевших к нему доступ.

Благодаря своему истинно британскому юмору он шутил всегда остроумно, не оскорбляя никого. В этом отношении Пушкин резко от него отличался: у Пушкина часто проглядывало беспокойное расположение ду-

ха. Великий поэт не был чужд странных выходок, нередко напоминавших фразу Фигаро: «Ah, qu'ils sont bêtes les gens d'esprit»*, и его шутка часто превращалась в сарказм, который, вероятно, имел основание в глубоко возмущенном действительностию духе поэта. Это маленькое сравнение может объяснить, почему Пушкин не был хозяином кружка, увлекавшегося его гением. Не позволяя себе дальнейшей параллели между характерами двух друзей, перехожу к моим воспоминаниям о Дельвиге, в которых коснуся также нескольких случаев из жизни Пушкина и Глинки, нашего гениального композитора.

Мы никогда не видали Дельвига скучным или неприязненным к кому-либо. Может быть, та же самая любовь спокойствия, которая мешала ему быть деятельным, делала его до крайности снисходительным ко всем, и даже в особенности к слугам. Они обращались с ним запанибрата, и, что бы ни сделали они, вместо выражений гнева Дельвиг говорил только «забавно». Но очень может быть, что причина его снисходительности к служащим ему людям была разумнее и глубже и заключалась в терпимости, даже в великодушии.

Дельвиг любил доставлять другим удовольствия и мастер был устраивать их и изобретать. Не помню, чтобы он один или с женою езжал когда-нибудь на балы или танцевальные вечера; но зато любил загородные поездки, катанья экспромтом или же ужин дома с хорошим вином, которым любил потчевать дам, посмеиваясь, что действие вина всегда весело и благодетельно. Между многими катаньями за город мне памятна одна зимняя поездка в Красный Кабачок[2], куда Дельвиг возил нас на вафли. Мы там нашли совершенно пустую залу и одну бедную девушку, арфянку, которая чрезвычайно обрадовалась нашему посещению и пела нам с особенным усердием. Под звуки ее арфы мы протанцевали мазурку и, освещенные луною, возвратились домой. В катанье участвовали, кроме Дельвига, жены его[3] и меня, Сомов[4], всегда интересный собеседник и усердный сотрудник Дельвига по изда-

* Ах, как они глупы, эти умные люди *(фр.)*.

нию «Северные цветы», и двоюродный брат мой А. Н. Вульф.

Кроме прелести неожиданных импровизированных удовольствий, Дельвиг любил, чтобы при них были и хорошее вино, и вкусный стол. Он с детства привык к хорошей кухне; эта слабость вошла у него в привычку. Любя хорошо поесть, он избегал обедов у хозяев не гастрономов; так, однажды, по случаю обеда у Пушкиных, не любивших роскошного стола, он написал Александру Сергеевичу шуточное четверостишие, которое начинается так:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать...

Юмор Дельвига, его гостеприимство и деликатность часто наводили меня на мысль о Вальтер Скотте, с которым, казалось мне, у него было сходство в домашней жизни. В его поэтической душе была какая-то детская ясность, сообщавшая собеседникам безмятежное чувство счастия, которым проникнут был сам поэт. Этой особенностью Дельвига восхищался Пушкин. Прочитав в Одессе романс Дельвига «Прекрасный день, счастливый день, и солнце и любовь...», в котором так много ясности и счастия, он говорил, что прочувствовал вполне это младенческое излияние поэтической души Дельвига и что самое стихосложение этого романса верно передало ему всю светлость чистого чувства любви поэта. Он восхищался притом другими пьесами Дельвига, равно как и поэзиею Баратынского. Эти три поэта были связаны глубокой симпатией. Баратынский присылал Дельвигу свои сочинения до отсылки в печать, и последний отдавал их переписывать жене. Баратынский никогда не ставил знаков препинания, кроме запятой; Дельвиг знал эту особенность своего друга и, отдавая жене стихи его, всегда говорил: «Пиши, Сонинька, *до точки*». Дельвиг рассказывал однажды, будто Баратынский спрашивал у него: «Что называешь ты родительным падежом?»

Дельвиг жил на Владимирской улице, в доме Кувшинникова, ныне Олферовского. По утрам он обыкновенно занимался в своем маленьком кабинете, отделенном от передней простою из зеленой тафты перегородкой. В этом кабинетике случилось однажды несчастие с песнями Беранже: их разорвал маленький ще-

нок тернёв, и Дельвиг воспел это несчастие в юмористических стихах, из которых, к сожалению, я помню только следующие:

Хвостова кипа тут лежала,
А Беранже не уцелел!
За то его собака съела,
Что в песнях он собаку съел.

Эта песня была включена в репертуар, который распевали мы у него по вечерам целым хором. Два раза в неделю собирались к нему лицеисты — товарищи и друзья. Как веселы бывали эти беседы!..

Одно время я занимала маленькую квартиру в том же доме. Софья Михайловна, жена Дельвига, приходила по утрам в мой кабинет заниматься корректурою «Северных цветов»; потом мы вместе читали, работали и учились итальянскому языку у г. Лангера, тоже лицеиста. Остальную часть дня я проводила в семействе Дельвига. У них собирались не с одною только целью беседовать, но и читать что-нибудь новое, написанное посетителями, и услышать мнение Дельвига, пользовавшегося репутацией проницательного и беспристрастного ценителя. Во всем кружке была родственная простота и симпатия; дружба, шутка и забавные эпитеты, которые придавались чуть не каждому члену маленькой республики, могут служить характеристикою этой детски веселой семьи.

Однажды Дельвиг и его жена отправились, взяв с собою и меня, к одному знакомому ему семейству; представляя жену, Дельвиг сказал: «Это моя жена», и потом, указывая на меня: «А это вторая». Шутка эта получила право гражданства в нашем кружке, и Дельвиг повторил ее, надписав на подаренном мне экземпляре поэмы Баратынского «Бал»: «Жене № 2-й от мужа безномерного». Кроме этого подарка на память, он написал в мой альбом свои стихи: «Дева и Роза» и «На смерть Веневитинова»[5]. В семье Дельвига я чувствовала себя как дома, а когда они уехали в Харьков, баронесса пересылала мне экспромты Дельвига. Из числа их я помню следующий:

Я в Курске, милые друзья,
И в Полторацкого таверне
Живее вспоминаю я
О деве Лизе, даме Керне!

Преданный друзьям, Дельвиг в то же время был нежен и к родным. Я помню, как ласкал он своих маленьких братьев[6], семи- и восьмилетних малюток, выписав их вскоре по возвращении своем из Харькова. Старшего, Александра, он звал классиком, а меньшего, Ивана, романтиком и под этими именами представил их однажды Пушкину. Александр Сергеевич нежно ласкал их, и когда Дельвиг объявил, что меньшой уже сочинил стихи, он пожелал их услышать, и малютка-поэт, не конфузясь нимало, медленно и внятно произнес, положив обе ручонки в руки Пушкина.

Индиянди, Индиянди, Индия!
Индиянда! Индиянда! Индия!

Александр Сергеевич, погладив поэта по голове, поцеловал и сказал: «Он точно романтик».

Дружба Пушкина с Дельвигом так тесно соединяла их, что, вспоминая о последнем, нельзя умолчать о Пушкине, завоевавшем себе внимание всего кружка и бывшем часто предметом разговоров и даже переписки его дружных членов; так, например, незадолго до женитьбы Пушкина Софья Михайловна Дельвиг писала ко мне с дачи в город[7]: «Léon est parti hier (он приезжал тогда с Кавказа). Александр Сергеевич est arrivé hier. Il est, dit-on, plus amoureux que jamais, cependant il ne parle presque pas *d'elle.* La noce se fera en septembre»*.

Действительно, в этот период, перед женитьбою своей, Пушкин казался совсем другим человеком. Он был серьезен, важен, молчалив, заметно было, что его постоянно проникало сознание великой обязанности счастливить любимое существо, с которым он готовился соединить свою судьбу, и, может быть, предчувствие тех неотвратимых обстоятельств, которые могли родиться в будущем от серьезного и нового его шага в жизни и самой перемены его положения в обществе. Встречая его после женитьбы всегда таким же серьезным, я убедилась, что в характере поэта произошла глубокая, разительная перемена. Но мои воспоминания о доме Дельвига относятся более ко времени первой беспечной поры жизни Пушкина. Помню, как он,

---

* Лев уехал вчера... Александр Сергеевич вернулся вчера. Говорят, влюблен больше, чем когда-нибудь, между тем почти не говорит о ней. Свадьба будет в сентябре *(фр.)*.

узнав о возвращении Дельвига из Харькова и спеша обнять его, вбежал на двор; помню его развевающийся плащ и сияющее радостию лицо... Другое воспоминание мое о Пушкине относится к свадьбе сестры его [8]. Дельвиг был тогда в отлучке. В его квартире я с Александром Сергеевичем встречала и благословляла новобрачных. Расскажу подробно это обстоятельство.

Мать Пушкина, Надежда Осиповна, вручая мне икону и хлеб, сказала: «Remplacez moi, chère amie, avec cette image, que je vous confie pour bénir ma fille!»*. Я с любовью приняла это трогательное поручение и, расспросив о порядке обряда, отправилась вместе с Александром Сергеевичем в старой фамильной карете его родителей на квартиру Дельвига, которая была приготовлена для новобрачных. Был январь месяц, мороз трещал страшный, Пушкин, всегда задумчивый и грустный в торжественных случаях, не прерывал молчания. Но вдруг, стараясь показаться веселым, вздумал заметить, что еще никогда не видал меня одну: «Voilà pourtant la première fois, que nous sommes seuls, madame»**: мне показалось, что эта фраза была внушена желанием скрыть свои размышления по случаю важного события в жизни нежно любимой им сестры; а потому, без лишних объяснений, я сказала только, что этот необыкновенный случай отмечен сильным морозом. «Vous avez raison, 27 degrés»***, — повторил Пушкин, плотнее закутываясь в шубу. Так кончилась эта попытка завязать разговор и быть любезным. Она уже не возобновилась во всю дорогу. Стужа давала себя чувствовать, и в квартире Дельвига, долго дожидаясь приезда молодых, я прохаживалась по комнате, укутываясь в кацавейку; по поводу ее Пушкин сказал, что я похожа в ней на царицу Ольгу. Поэт старался любезностью и вниманием выразить свою благодарность за участие, принимаемое мною в столь важном событии в жизни его сестры.

Он всегда сочувствовал великодушному порыву добрых стремлений. Так, однажды отец госпожи Н. [9],

* Замените меня, мой друг, вручаю вам образ, благословите им мою дочь! *(фр.)*

** А ведь мы с вами в первый раз вдвоем, сударыня *(фр.)*.

*** Вы правы, 27 градусов *(фр.)*.

рассказывая Пушкину про случай с одним семейством, при котором необходимо было присутствие близкого человека, осуждал неблагоразумную чувствительность своей дочери, которая прямо с постели, накинув салоп, побежала к нуждавшимся в ее помощи, сказал: «И эта дура, несмотря на морозную ночь, в одной почти рубашке побежала через Фонтанку!»

Пушкин сидел на диване, поджав ноги; услышав этот рассказ, он вскочил и, схватив обе руки у госпожи Н., с жаром поцеловал их. Живо воспринимая добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах; его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться не раз привлекало внимание поэта гораздо более, чем истинное и глубокое чувство, им внушенное. Сам он почти никогда не выражал чувств; он как бы стыдился их и в этом был сыном своего века, про который сам же сказал, что *чувство было дико и смешно*[10]. Острое красное словцо — la repartie vive — вот что несказанно тешило его. Впрочем, Пушкин увлекался не одними остротами; ему, например, очень понравилось однажды, когда я на его резкую выходку отвечала выговором: «Pourquoi vous attaquez à moi, qui suis si inoffensive!»* И он повторял: «Comme c'est réellement cela: si inoffensive!»** Продолжая далее, он заметил: «Да, с вами не весело и ссориться, voilà votre cousine, avec elle on trouve à qui s'en prendre!»***

Причина того, что Пушкин скорее очаровывался блеском, нежели достоинством и простотою в характере женщин, заключалась, конечно, в его невысоком о них мнении, бывшем совершенно в духе того времени. При этом мне пришла на память еще одна забавная сцена, разыгранная Пушкиным в квартире Дельвига, занимаемой мною с семейством по случаю отсутствия хозяев. Сестра его и я сидели у окна, читая книгу. Пушкин подсел ко мне и, между прочими нежностями, сказал: «Дайте ручку, c'est si satin!», я отвечала: «Satan!»**** Тогда сестра поэта заметила, что не понимает, как можно отказывать просьбам Пушкина, что так понра-

* Зачем вы на меня нападаете, ведь я такая безобидная! *(фр.)*
** Как это верно сказано: действительно, такая безобидная! *(фр.)*
*** То ли дело ваша кузина, вот тут есть с кем ссориться! *(фр.)*
**** «Настоящий атлас!» — «Сатана!» (Игра слов: satin — атлас, satan — сатана) *(фр.)*.

вилось поэту, что он бросился перед нею на колени; в эту минуту входит А. Н. Вульф и хлопает в ладоши... Сюда же можно отнести и отзыв поэта о постоянстве в любви, которою он, казалось, всегда шутил, как и поцелуем руки; но это, по всей вероятности, было притворною данью веку... Однажды, говоря о женщине, которая его страстно любила[11], он сказал: «Et puis vous savez qu'il n'y a rien de si insipide que la patience et la résignation»*. Но, как я уже заметила, женитьба произвела в характере поэта глубокую перемену. С того времени он на все смотрел серьезнее, а все-таки остался верен привычке своей скрывать чувство и стыдиться его. В ответ на поздравление с неожиданною способностью женатым вести себя как прилично любящему мужу, он шутя отвечал: «Je ne suis qu'un hypocrite»**. После женитьбы я видела его раз у его родителей во время их обеда. Он сидел за столом, но ничего не ел. Старики потчевали его то тем, то другим кушаньем, но он от всего отказывался и, восхищаясь аппетитом своего батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему, предлагая гуся с кислою капустою: «C'est un plat écossais!»***, заметив при этом, что он никогда ничего не ест до обеда, а обедает в 6 часов. Быв холостым, он редко обедал у родителей, а после женитьбы почти никогда. Когда же это случалось, то после обеда на него иногда находила хандра. Однажды в таком мрачном расположении духа он стоял в гостиной у камина, заложив назад руки... Подошел к нему Илличевский и сказал:

У печки погружен в молчаньи,
Поднявши фрак, он спину грел
И никого во всей компаньи
Благословить он не хотел[12].

Это развеселило Пушкина, и он сделался очень любезен. Потом я его еще раз встретила с женою у родителей, незадолго до смерти матери[13]. Она уже тогда не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты,

* И потом, знаете ли, нет ничего безвкуснее долготерпения и самоотверженности *(фр.)*.

** Я просто хитер *(фр.)*.

*** Это шотландское блюдо *(фр.)*

головами к окнам; Пушкины сидели рядом на маленьком диване у стены. Надежда Осиповна смотрела на них ласково, с любовию; а Александр Сергеевич, не спуская глаз с матери, держал в руке конец боа своей жены и тихонько гладил его как бы выражая тем ласку к жене и ласку к матери; он при этом ничего не говорил.

Кроме Пушкина, еще один из друзей Дельвига, еще одна симпатичная личность влечет к себе мои воспоминания. Это наш поэт-музыкант Глинка; я познакомилась с ним в 1826 году.

В это время еще немногие живали летом на дачах. Проводившие его в Петербурге любили гулять в Юсуповом саду, на Садовой. Однажды, гуляя там в обществе двух девиц и Александра Сергеевича Пушкина[14], я встретила генерала Базена[15], моего хорошего знакомого. Он пригласил нас к себе на чай и при этом представил мне Глинку, говоря: «Je ne vous promets pas d'excellent thé, car je ne m'y connais quère, mais un accompagnement délicieux: vous entendrez Glinka, un de nos premiers pianistes»*. Тогда молодой человек, шедший в стороне, сделал шаг вперед, грациозно поклонился и пошел подле Пушкина, с которым был уже знаком и прежде[16]. Лишь только мы вошли в квартиру Базена, очень просто меблированную, и уселись на диван, хозяин предложил Глинке сыграть что-нибудь. Нашему хозяину очень хотелось, чтобы Глинка импровизировал, к чему имел гениальные способности, а потому Базен просил нас дать тему для предполагаемой импровизации и спеть какую-нибудь русскую или малороссийскую песню. Мы не решались, и сам Базен запел малороссийскую простонародную песню с очень простым мотивом:

Наварила, напекла
Не для Грицки, для Петра.
Ой лих, мой Петрусь,
Бело личко, черноусь!

Глинка опять поклонился своим выразительным, почтительным манером и сел за рояль. Можно себе

---

* Прекрасного чаю обещать не стану, ибо не знаю в нем толку, но зато обещаю чудесное общество: вы услышите Глинку, одного из первых наших пианистов *(фр.)*.

представить, но мудрено описать мое удивление и восторг, когда раздались чудные звуки блистательной импровизации; я никогда ничего подобного не слыхала, хотя и удавалось мне бывать в концертах Фильда[17] и многих других замечательных музыкантов; но такой мягкости и плавности, такой страсти в звуках и совершенного отсутствия деревянных клавишей я никогда ни у кого не встречала!

У Глинки клавиши пели от прикосновения его маленькой ручки. Он так искусно владел инструментом, что до точности мог выразить все, что хотел; невозможно было не понять того, что пели клавиши под его миниатюрными пальцами.

В описываемый вечер он сыграл, во-первых, мотив, спетый Базеном, потом импровизировал блестящим, увлекательным образом чудесные вариации на тему мотива, и все это выполнил изумительно хорошо. В звуках импровизации слышалась и народная мелодия, и свойственная только Глинке нежность, и игривая веселость, и задумчивое чувство. Мы слушали его, боясь пошевелиться, а по окончании оставались долго в чудном забытьи.

Впоследствии Глинка бывал у меня часто; его приятный характер, в котором просвечивалась добрая, чувствительная душа нашего милого музыканта, произвел на меня такое же глубокое и приятное впечатление, как и музыкальный талант его, которому равного до тех пор я не встречала.

Он взял у меня стихи Пушкина, написанные его рукою: «Я помню чудное мгновенье...», чтоб положить их на музыку, да и затерял их, бог ему прости! Ему хотелось сочинить на эти слова музыку, вполне соответствующую их содержанию, а для этого нужно было на каждую строфу писать особую музыку, и он долго хлопотал об этом.

Из числа моих знакомых Глинка посещал П<ушки>ных, бывал у Базена, своего доброго начальника, и у барона Дельвига, большого любителя музыки и почитателя Глинки. Там он часто услаждал весь наш кружок своими дивными вдохновениями. К нему присоединялись иногда князь Сергей Голицын, М. Л. Яковлев, а иногда и все мы хором пели какой-нибудь ка-

нон, бравурный модный романс или баркаролу. Для тех, которые не знали коротко Глинки, скажу, что он был один из приятнейших и вместе добродушнейших людей своего времени, и хотя никогда не прибегал к злоречию насчет ближнего, но в разговоре у него было много веселого и забавного. Его ум и сердечная доброта проявлялись в каждом слове, поэтому он всегда был желанным и приятным гостем, даже без музыки. В этом отношении он мог подать руку своему почтенному покровителю и начальнику Базену, отличавшемуся в своем тесном, дружеском кружке самою доброжелательной любезностью.

Сообществом их обоих и умной задушевной беседой дорожили все их друзья и знакомые. Глинка был чрезвычайно нервный, чувствительный человек, и ему было всегда то холодно, то жарко, чаще всего грустно, так что маленькая дочь моя иначе не называла его, как «Миша Глинка, которому грустно». Являясь ко мне, он просил иногда позволения надеть мою кацавейку и расхаживал в ней, как в мантии, или, бывало, усаживался в угол на диване, поджавши ножки. Летом, кажется, в 1830 году, когда я жила вместе с Дельвигом на даче у Крестовского перевоза[18], Глинка бывал у нас очень часто и своею веселостью вызывал на разные parties de plaisir*. Под таким влиянием однажды Дельвигу, любившему доставлять себе и другим удовольствия, часто весьма замысловатые, вздумалось совершить прогулку целым обществом на Иматру[19]. Не долго размышляя, а по-русски: вздумано, сделано! — мы проворно собрались в дорогу, отыскали напрокат допотопную линейку с черным кожаным фартуком и таким же верхом на столбиках; в одно прекрасное утро уселись в нее, по возможности комфортабельно, и поехали.

Общество наше состояло из барона Дельвига, жены его, постоянного нашего посетителя Ореста Михайловича Сомова и меня. При баронессе была ее горничная. Подорожная для предотвращений задержки в лошадях была взята на мое имя, как генеральши, а барон и прочие играли роль *будущих*[20]. Глинка, без которого нам не

---

* увеселительные прогулки *(фр.)*.

хотелось наслаждаться удовольствиями этого путешествия, но которого задерживали на время дела, не мог выехать вместе с нами и должен был нас догнать на половине дороги. Мудрено было придумать для приятного путешествия условия лучше тех, в каких мы его совершали: прекрасная погода, согласное, симпатичное общество и экипаж, как будто нарочно приспособленный к необыкновенно быстрой езде по каменистой гладкой дороге, живописно извивающейся по горам, над пропастями, озерами и лесами вплоть до Иматры, делали всех нас чрезвычайно веселыми и до крайности довольными. Конечно, дребезжание экипажа и слишком шибкая езда (по 20 верст в час) не позволяли нам разговаривать, но это и не представляло большой необходимости. Очаровательные пейзажи, один за другим сменяющиеся то с одной, то с другой стороны линейки, возбуждали в нас такое восхищение, которое только и может быть выражено коротенькими восторженными восклицаниями,— и мы беспрестанно высказывали свои впечатления возгласами: «Ах, посмотрите, какая прелесть!», «А это-то, по моей стороне — чудо! какая роща! какая удивительная трава!» — и проч.

Одна картина сменяла другую, и каждая в своем роде отличалась красотою. Тут являлась между скалистыми уступами мрачная пропасть, там овраг, увенчанный и усыпанный цветами и ягодами, а впереди нас, и сбоку, и над головами выдвигались и висели целые утесы. Так, по дороге гладкой, как стол, мчались мы, окрыленные радостными мыслями, упоенные красотами горной природы! Глинка сдержал свое слово и догнал нас на половине пути; он приехал с своим товарищем, с которым жил на одной квартире[21], молодым человеком, очень сентиментальным.

Так как мы все не могли поместиться в линейке, то двое из нас, исключая, однако же, меня и Дельвига, самых ленивых из всей компании, по очереди ехали в чухонской тележке на двух колесах. Кроме поэтического настроения путешественников и высокого наслаждения изумительными красотами природы, наше путешествие имело много юмористического от разных дорожных приключений, встреч и смешных анекдотов, случавшихся на пути. К тому же влияние горного воз-

духа делало нас остроумнее, любезнее, и мы пользовались всем, чтоб посмеяться и пошутить. Барона Дельвига я никогда не видела таким милым и счастливым, а Глинка совсем забыл, что ему бывает грустно.

Лишь только мы выехали из Петербурга, как и начали смеяться; ямщик, везший нас до первой станции, на каждом повороте обращался к нам с вопросом — куда ехать? И когда мы спросили у него, как же он нанялся везти и не знает, куда ехать, он ответил: «Так точно, я с тем и взялся, что не знаю куда». На границе уезда таможенный пристав осматривал наш багаж (которого, разумеется, не было: мы ехали на одни сутки), и я спросила у него, как зовут его начальника, офицера. Он сказал какое-то имя и отчество, я заметила ему, что не имя, а фамилию офицера я спрашиваю. «А, фамилию? Фамилия его Настасья Ивановна!»[22] Я, разумеется, донесла об этом важном известии моим спутникам, и нам опять было весело всю следующую станцию; жаль, что я теперь не помню названия всех станций,— а были преинтересные! Особенно смешили нас надписи на почтовых дворах, часто весьма замысловатые. Орест Михайлович Сомов описал это путешествие в «Литературной газете», издаваемой бароном Дельвигом, кажется, в 1830 или 31-м году. Хорошенько не помню. Помню, однако ж, что он, т. е. Сомов, назвал нас, меня и баронессу Дельвиг, «изящными произведениями природы».

Если хотите, можете справиться в «Литературной газете» того времени.

Таким образом мы приехали в Выборг, город, знаменитый своими кренделями, живописным замком и гостиницей синьора Мотти, у которого мы и остановились. При виде важной осанки спутников ее — то есть моего — превосходительства и такой большой свиты синьор Мотти принял нас с почестями, достойными каких-нибудь владетельных принцесс. Его итальянская напыщенная вежливость, подобострастные манеры и услужливость, несмотря на докуку, смешили нас до слез, а некоторых почти до истерики. Он состряпал нам ужин на славу: все было отлично приготовлено, в заключение же он явился сам с поклоном и с ужимками, ставя на стол два огромные канделябра. Вместе

с ним вошла миловидная девушка с корзинкой свежих кренделей и на вопрос: точно ли они выборгские,— простодушно уверяла, что действительно выборгские. Мы долго шутили с Мотти, с нею, наконец разошлись спать.

Имея привычку не спать летом по ночам, я и эту ночь просидела у окна, любуясь видом на залив, прислушиваясь к плеску тихих волн его и вздрагивая по временам от успокоительных возгласов городского сторожа, вскрикивавшего иногда под самым окном: «Спите, добрые граждане, я вас не бужу!» На заре появился на берегу залива, почти против окна, у которого я сидела, охотник с ружьем, он отвязал челнок и поплыл куда-то за дичью. Этим началась дневная деятельность в городе; вскоре и наша компания собралась в дорогу и, напившись горячего, отправилась к цели нашей поэтической прогулки.

Пополудни, часу в 4-м или в 5-м, мы услышали гул и шум Иматры и, несмотря что были голодны, испечены солнцем и запылены донельзя, забыли все путевые неудобства; а по предложению барона Дельвига, не доезжая до станции, вышли из экипажа и направились пешком в ту сторону, откуда несся шум водопада, чтоб при ясном дне взглянуть на это чудо природы — на великолепную Иматру. Тропинка, ведущая к водопаду, извивается по густому дикому лесу, и мы с трудом пробирались по ней, беспрестанно цепляясь за сучья. По мере приближения нашего к водопаду его шум и гул все усиливались и наконец дошли до того, что мы не могли расслышать друг друга; несколько минут мы продолжали подвигаться вперед молча, среди оглушительного и вместе упоительного шума... и вдруг очутились на краю острых скал, окаймляющих Иматру! Пред нами открылся вид ни с чем не сравненный; описать этого поэтически, как бы должно, я не могу, но попробую рассказать просто, как он мне тогда представился, без украшений, тем более что этого ни украсить, ни улучшить невозможно. Представьте себе широкую, очень широкую реку, то быстро, то тихо текущую, и вдруг эта река суживается на третью часть своей ширины серыми, седыми утесами, торчащими с боков ее, и, стесненная ими, низвергается по скали-

стому крутому скату на пространстве 70 сажен в длину. Тут, встречая препятствия от различной формы камней, она бьется о них, бешено клубится, кидается в стороны и, пенясь и дробясь о боковые утесы, обдает их брызгами мельчайшей водяной пыли, которыми покрывает, как легчайшим туманом, ее берега. Но, с окончанием склона, оканчиваются ее неистовства: она опять разливается в огромное круглое озеро, окаймленное живописным лесом, течет тихо, лениво, как бы усталая; на ней не видно ни волнения, ни малейшей зыби.

При своем грандиозном падении она обтачивает мелкие камешки в разные фантастические фигуры, похожие на зверей, птиц, часы, табакерки и проч. Мы то опускались, то подымались, то прыгали на утесы, орошаемые освежительною пылью, и долго восхищались чудным падением алмазной горы, сверкающей от солнечных лучей разнообразными переливами света. На некоторых береговых камнях написаны были разные имена, и одно из них было милое и нам всем знакомое Евгения Абрамовича Баратынского[23]. Увлекшись подражанием, и мы написали там свои фамилии. Противоположный берег казался нам еще живописнее: там виднелась тропинка, усыпанная песком; тот же, где мы были, был совершенно дик, а потому, не пускаясь вдаль, как предполагали прежде, мы пошли к экипажу, чтоб, поевши чего-нибудь или напившись чаю на станции, переехать на ту сторону реки и уже при луне полюбоваться Иматрою с другого ее берега. Мы так устали от езды и восхищения, что нам необходимо было подкрепиться пищею. На весьма ветхой станции чухонской постройки спросили мы самовар и велели достать чего-нибудь на ужин, приготовить его брались уже мы сами. Но — вообразите себе! — ничего не отыскалось нам на пропитание: ни курицы, ни даже одного яйца! По двору прохаживался весьма старый петух, но его мы не попытались добыть на жаркое; жаль было этой единой живой птицы. На все же наши вопросы касательно других съестных припасов нам говорили *нет*: яиц — нет, курицы — нет, молока — нет, сливок и подавно нет. Оказалась только *плоховина* (это, изволите видеть, рыба *лоховина*) и нечто вроде кваса, *свадрик*.

Для любителей кваса свадрик может быть очень приятным, даже очень здоровым питьем, потому что в состав его входят можжевеловые ягоды. Итак, не добившись ничего, то есть ровно ничего, для утоления голода, мы решились переехать на ту стороны Воксы, где прямо у пристани красовался довольно большой дом, называемый гостиницею.

Нам сказали, что там найдем мы и готовый обед, и молоко, и все, что угодно. С этой заманчивою перспективою мы поплыли на ту сторону реки в огромной почтовой лодке, управляемой двумя стариками гребцами — двумя *харонами.* Лодка наша, направляемая их старческими руками, плыла вверх по течению; это было необходимо для того, чтобы ее не отнесло в водопад. Плавание шло медленно, и чем дальше подвигались мы вверх, тем движение становилось тише, потому что быстрота реки усиливалась от близлежащих порогов; наконец, у самих порогов, лодку нашу течением стало нести к тому берегу, где виднелась гостиница; другую половину переправы мы совершили очень скоро и почти без помощи стариков, которые, направив лодку как следует, положили весла и только у пристани взялись за них, чтобы причалить. Приставши к берегу, мы заметили влево от гостиницы прехорошенький домик, и, прежде чем отправиться в знаменитую гостиницу, в которой, несомненно, надеялись найти обед, забыв голод и усталость, мы пошли к домику, чтобы им полюбоваться. И что это был за милый домик! Маленький, уютный, чистенький, осененный свежею зеленью сада, он приветливо выглядывал из окружающих его утесов, покрытых мхами, и манил к себе на ближайшую скалу послушать мелодический шум каскадов, во множестве и в разнообразных видах прыгающих вокруг него. Наглядевшись на домик, мы пошли наконец в гостиницу. «Соловья баснями не кормят», и, после всех восхищений, мы сильно чувствовали пустоту желудка, с самого утра ничем не подкрепленного. В гостинице нашлось несколько комнат с скамейками кругом; в одной из них стоял накрытый стол, а на нем — что бы вы думали?.. селедки, селедки и селедки, приготовленные с молоком, и неизбежная соленая плоховина, плавающая опять-таки в молочном соусе!

Прибавьте к этому, что эти кушанья до того были отвратительны на вид, что не только решиться утолить ими голод, но и прикоснуться к ним нам и на ум не приходило. Отыскав после многих поисков живое существо, мы спросили, нет ли молока,— нам отвечали, что есть всякое, даже кислое, мы очень обрадовались, предполагая встретить любимую всеми простоквашу, с которою баронесса Дельвиг сравнивала петербургское небо. Но, увы! мы и в этом жестоко обманулись: то была не простокваша, не кислое молоко, а проквашенная, испорченная, заплесневшая зеленоватая гуща с нестерпимым запахом. Хоть бы хлеба достать! но вообразите: эти несчастные и о нем не имеют понятия; я у них не видела хлеба, он заменяется здесь, кажется, соленою и сушеною лоховиною, которую они едят походя: и в пищу и в лакомство. От этого, я думаю, и зубы у них испорчены, а около углов рта у всех белые пятна. Хотя между чухонцами и встречаются иногда красивые лица, особенно у женщин, но эти болезненные рты очень их портят.

Пока мы искали себе пищи, стал вечер, взошла луна, и мы, запив свой голод чаем, наняли тележки и поехали берегом к Иматре. У самого водопада луна выбралась из облаков и осветила прямо кипящие, бушующие волны! Эффект был неописанный! Иматра, осеребренная ее лучами, казалась чем-то фантастическим; невозможно было оторвать от нее глаз! Долго ходили мы по тропинке, усыпанной песком и грациозно извивающейся между деревьев, над клокочущей пучиной: заманчивость и обаяние такой бездны были невыразимы. В некоторых из нас не шутя на миг мелькало желание броситься в нее. Мы поняли предание о русалках и убедились, что та, которая живет в Иматре,— очаровательна! Сильнее других бездна манила к себе Ореста Михайловича Сомова; отдалясь от нас, он распростерся на одном из выдавшихся утесов и так долго на нем забылся, упиваясь росой и обаянием чарующих волн, что мы насилу могли его дозваться.

Место близ Иматры, во время нашего посещения, было почти в диком состоянии, и если проявлялись кое-где некоторые удобства, то они были так маловажны, что можно было подумать, будто сама природа

устроила их. Я слышала, что потом, с нашей легкой руки, вошло в моду ездить любоваться великолепным водопадом, что около него настроили гостиницы, кофейни, разные павильоны и тем отняли всю поэзию у чудной Иматры, так что никто, никто (мне отрадно это думать) не мог уже восхищаться ее дикими, нетронутыми красотами, как восхищалось наше общество. Правду сказать, что дружное это общество недюжинное; в него входили: любящий, благородный, истинный поэт в душе Дельвиг и маленький, но чудный Глинка, заимствовавший, вероятно, множество оригинальных мотивов у гармонических, упоительных звуков водопада; наконец, и мы, остальные, чувствовали и понимали глубоко все красоты окрестной природы!

Возвратясь на станцию уже очень поздно, мы напились чаю и пошли спать, да так долго проспали, то есть мы, дамы, и Глинка тоже, что солнце было уже высоко, когда мы вышли на крыльцо и застали барона Дельвига, преважно заседающего за столом, накрытым белою скатертью, перед завтраком привлекательного вида. Он удосужился достать животрепещущую форель и некоторого рода сельдь, по его словам, очень вкусную; благодаря его распорядительности мы наконец могли поесть с удовольствием. Приглашая нас к завтраку, Дельвиг сказал четверостишие:

Увижу ль вас когда-нибудь,
С моею нежной половиной,
Увижу ль вас когда-нибудь,
О милый свадрик с плоховиной!

Позавтракав, мы поехали назад к Выборгу, но остановились, однако ж, чтобы еще в третий раз полюбоваться Иматрой. Солнце сияло прямо в лоно реки, водопад искрился золотом и огнем и был ослепителен: больно было смотреть. Прощай, Иматра, я, вероятно, уже больше тебя не увижу! Я прощаюсь с тобой навсегда, а когда мы были у берегов твоих, то каждый из нас давал себе и другим слово непременно опять когда-нибудь к тебе приехать!

Мы отправились обратно к линейке, а Глинка поехал с Сомовым в тележке. На одной станции, покуда

перепрягали лошадей, мы заметили, что Михаил Иванович с карандашом в руке и листком бумаги, стоя за полуразрушенным сараем, что-то пишет, а его возница перед ним поет какую-то заунывную песню. Передав бумаге, что ему нужно было, он подвел чухонца к нам и заставил его пропеть еще раз свою песню. Из этого мурлыканья чухонца Глинка выработал тот самый мотив, который так ласково и грустно звучит в арии Финна, в опере «Руслан и Людмила». Надобно было слышать потом, как Глинка играл этот мотив с вариациями и что он сделал из этих нескольких полудиких и меланхолических тонов! Когда Глинка однажды спел арию Финна в присутствии Сергея Львовича Пушкина, то старик при стихе:

По бороде моей седой
Слеза тяжелая скатилась,—

расплакался и бросился обнимать Глинку, и у всех присутствующих навернулись на глазах слезы... я не помню наслаждения выше того, какое испытала я в этот вечер!

Мы приехали в Выборг под вечер, но Дельвиг не дал нам перевести духа и потащил осматривать редкости Выборга и сад барона Николаи. Несмотря на всю усталость нашу, мы пошли туда пешком, в сопровождении дочери синьора Мотти, высокой черной итальянки, которая с охотою взялась нас туда проводить. Лишь только мы вступили в этот очаровательный сад, называемый, кажется, владельцем *mon-repos**, усталость была забыта и восхищение сопровождало каждый наш шаг. Пройдя мимо разных хозяйственных построек, мы очутились перед обширным прекрасным лугом с изумрудною шелковою травою и за ним на высоком холме увидели прелестный замок, обогащенный затейливыми и вместе грациозными украшениями архитектурного искусства. Он нам казался дорогой изящной игрушкой — самой тонкой работы; на лугу разбросаны кусты с душистыми роскошными цветами; тут же на самой средине стоит одна, всего только одна береза; но ка-

* мой отдых *(фр.)*.

кая?.. просто прелесть! большущая, развесистая, способная тенью своей защитить целое общество от палящего солнца; ветви с каждой стороны падали как-то ровно и, расширяясь книзу, придавали ей вид зеленеющей пирамиды; вокруг нее ни лавочек, ни скамеек, никаких украшений, никаких затей. Она, как великолепная красавица, отошла от роскошного замка, остановилась, глядит издали, чтобы вдоволь налюбоваться им и выказать на просторе и свою красоту. Позади замка раскидывается роща. При входе в нее, в тени группы разнообразных деревьев, над источником нас ожидала замечательной красоты мраморная наяда.

Проводница рассказывала нам, что вода источника славится целебною силою, вкусом и свежестью; действительно, я такой вкусной воды отроду не пивала. Она холодна, чиста, как горный хрусталь, и много имеет в себе живительного. У источника роскошный куст роз; далее, у подошвы горы, на которой построен замок, виднеется темная бесконечная аллея; ее образуют с одной стороны огромные нависшие над нею утесы, с другой — высокие деревья, которых вершины, склоняясь к оконечностям утесов, составляют темный зеленый свод.

Утесы эти, покрытые, по большей части, разноцветными мхами и ползучими растениями, совершенно дики и местами изрыты пещерами, внутри которых каменные плиты доставляют возможность отдохновения. Эта аллея — рай в жаркий день. В конце ее открывается море — море без конца. По кремнистому его берегу извивается тропинка, усыпанная песком. По этой тропинке есть несколько прелестных мест, в которых природа так изящно соединилась с искусством, что трудно оторваться от них. Одно осталось у меня в памяти: это грот, или просто пещера, приютившаяся под скалою на самом берегу моря. В расщелинах же скалы, среди мхов и диких камней, растут пышные розы. Много вкуса и любви к делу было в человеке, умевшем так прекрасно украсить этот уголок, не изуродовав природы, как это часто делается. Он, так сказать, только приголубил, приласкал ее и тем помог ей выказать еще рельефнее все свои красоты.

Тут же в море, в двух шагах от берега, островок, среди которого надгробный памятник владельца. Туда нас не пустили. Должно быть, хорошо там отдыхать тому, кто жил здесь. На все наши восторги и возгласы синьора Мотти заметила, что здесь было бы еще лучше, еще веселее, если бы играла военная музыка. На возвратном пути из сада я едва уже тащилась, да и не мудрено: две версты туда и назад, а в саду, может быть, версты три выходила! Это хоть кому впору в жаркий день, а мне и подавно: я никогда ходить не умела. Все наши давно пришли и совсем уже смеркалось, когда я с своей итальянкой добралась до гостиницы. Подходя к ней, я увидела в нижнем этаже за прилавком синьора Мотти, наливающего что-то пенящееся из бутылки; мне очень захотелось пить, и я спросила у синьоры, что это такое? «Это папенька пьет свадрик своего изделья»,— сказала мне спутница. «Пожалуйста, попросите у него для меня». И синьор Мотти, исполняя мое желание, подал мне полный стакан пенящейся живительной влаги в окно. Признаюсь, я никогда ничего не пила с таким удовольствием и часто, вспоминая это питье, дивлюсь, как в Петербурге не вздумают его приготовлять: это было бы гораздо здоровее, приятнее и дешевле всякого пива. Мы переночевали еще раз в Выборге и возвратились в Петербург 1-го июля, в день рождения покойной государыни императрицы Александры Федоровны. Я помню это потому, что, усталые от всего испытанного, испеченные солнцем, запыленные, мы спешили домой освежиться и отдохнуть, но, вместо желанного покоя, попали в ряды тянувшихся на гулянье экипажей. Нас на Самсоньевском мосту поворотили назад и в запыленном, истерзанном виде заставили прокатиться по островам между блестящих городских колясок и карет и разряженных дам. При этом случае нас очень насмешил один полицейский чиновник, которого мы просили, ради бога, пропустить нас. На все наши просьбы он отвечал только: «Так как, по-видимому, вы уже очень много проехали, то вам теперь уж немного осталось!» Нечего делать! Поехали далее скрепя сердце: за такие наслаждения, какие мы испытали в эту прогулку, можно было вытерпеть все безропотно.

По возвращении в Петербург Глинка посещал нас по-прежнему и познакомил нас с певцом Ивановым. Вскоре потом Глинка повез его в Италию, где Иванов приобрел европейскую известность[24]. Бывая у Дельвига, Иванов певал его *Соловья* и своим мягким, симпатичным голосом придавал этому романсу ту прелесть и значение, которых жаждал поэт. В это предпоследнее, кажется, лето жизни Дельвига все приятное сгруппировалось вокруг него, чтобы усладить последние годы его земного существования. Все, что он любил, что тешило, счастливило его, как бы предчувствуя скорую с ним разлуку, стремилось к нему, и он среди тишины семейной жизни, усладженный друзьями, поэзиею и музыкою, мог назваться счастливейшим из смертных.

В это же время мечта его жизни осуществилась: у него родилась дочь[25]. Приветствуя его с этою радостью, князь Вяземский сказал: «Поздравляю тебя с новою юною Идиллией и желаю ей в свое время сделаться древнею». К довершению всех этих задушевных наслаждений, на ту пору вблизи нашей дачи, на берегу Невы жил на своей даче Дмитрий Львович Нарышкин[26], и его знаменитая, известная всей Европе роговая музыка была и для нас большим наслаждением. В праздничные дни она играла подле балкона, на котором сидел Дмитрий Львович, глядя на публику, гулявшую близ его дома по дорожкам между цветов. По будням же она разъезжала тихо в большой лодке по Неве и своими чарующими звуками, далеко разносившимися по реке, доставляла удовольствие тысячам людей. Беднейший из любителей музыки мог ежедневно слышать бесплатно восхитительный концерт. Так настоящий аристократ, русский барин, умел пользоваться своим богатством и делиться с другими изящными своими наслаждениями. Я имела привычку отдыхать после обеда и всегда пробуждалась под звуки этой дивной музыки.

Я сказала уже, что Михаил Иванович Глинка был такого милого, любезного характера, что, узнавши его коротко, не хотелось с ним расставаться, и мы пользовались всяким случаем, чтобы чаще его видеть.

Однажды он рассказывал нам, что у него прекрасная квартира, кажется, в Измайловском полку, и преза-

нимательный сад с беседками, киосками, надписями и сюрпризами. Мы устроили так, что он пригласил весь наш кружок к себе на чай. Когда мы приехали к нему, он тотчас повел нас в сад и там угощал фруктами, чаем и своей музыкой. Много мы шутили и долго смеялись над одною из надписей на беседке его садика: «Не пошто далече и здесь хорошо». В конце этого счастливого лета мы еще сделали поездку в обществе Глинки в Ораниенбаум. Там жила в то лето нам всем близкая по сердцу, дорогая наша О. С. Павлищева, она была больна и лечилась морским воздухом и купаньями. Мы тоже там выкупались в море все, кроме Глинки и барона Дельвига. Первый начинал уже чувствовать разные припадки, которые заставляли его уезжать по зимам в Италию. Ради правды нельзя не признаться, что вообще жизнь Глинки была далеко не безукоризненна. Как природа страстная, он не умел себя обуздывать и сам губил свое здоровье, воображая, что летние путешествия могут поправить зло и вред зимних пирушек; он всегда жаловался, охал, но между тем всегда был первый готов покутить в разгульной беседе. В нашем кружке этого быть не могло, и потому я его всегда видела с лучшей его стороны, любила его поэтическую натуру, не доискиваясь до его слабостей и недостатков. Богатые дарования этого маленького человека (Глинка был гораздо меньше обыкновенного среднего роста мужчины) чрезвычайно были привлекательны, и самый его ум и приятный характер внушали и дружбу и симпатию.

Барон Дельвиг тоже купаться в море не решился вследствие мнительности; он тогда все кушал какие-то пилюли отвратительного запаха и беспрестанно лечился от воображаемых болезней у разных эмпириков. Это-то, я думаю, и расстроило его здоровье и крепкую организацию и отняло у нее силы бороться с настоящею болезнью, когда она приключилась! Глинка, предполагая ехать в Италию, начал учиться итальянскому языку; так случилось, что и на нас с баронессою Дельвиг напала охота заняться тоже итальянским языком, и тут-то резко обозначился контраст между способностями обыкновенными и способностями высокого таланта, каков был Глинка. Пока мы в два месяца,

занимаясь ежедневно у Лангера, товарища Дельвига и Пушкина по Лицею, едва выучились читать и говорить несколько слов, Михаил Иванович уже говорил бегло, быстро, с удивительно милым итальянским произношением, без иностранного акцента. Хотя способность к языкам и составляет принадлежность русских, хотя и говорит где-то Eugène Sue: «Elle parlait français, comme une russe!»* — но все-таки быстрота, с какою Михаил Иванович усвоил знание итальянского языка, изумила нас. Он впоследствии владел хорошо и испанским языком.

Вскоре после этого Глинка уехал за границу, и когда возвратился, чтобы переменить паспорт, намереваясь остаться в России только на сутки, то встретился с хорошенькой девушкой Ивановой[27]. Он был, как все поэты, мягкосердечен, впечатлителен, а потому с одного взгляда влюбился в нее и, не долго думая, вместо того чтобы переменить паспорт и ехать за границу, женился. После этого я долго его не видала; он получил место при императорской капелле[28] и стал реже являться среди старых друзей.

Потом я встретила его глубоко разочарованным, скорбевшим оттого, что близкие его сердцу не поняли этого сердца, созданного, как он уверял, для любви. Но понял ли он и сам ту женщину, от которой ожидал любви и счастья?..

Мне всегда казалось, что истинная любовь должна быть не только прозорлива, но и ясновидяща, иначе она не истинна; а потому я думаю, что Глинка сам себя обманывал и называл любовью чувство, которое в нем было только увлечением красотою этой женщины. Но как бы то ни было, Глинка был несчастлив. Семейная жизнь скоро ему надоела; грустнее прежнего он искал отрады в музыке и дивных ее вдохновениях. Тяжелая пора страданий сменилась порою любви к одной близкой мне особе[29], и Глинка снова ожил. Он бывал у меня опять почти каждый день; поставил у меня фортепиано и тут же сочинил музыку на 12 романсов Кукольника[30], своего приятеля. Когда он, бывало, пел эти романсы, то брал так сильно за душу, что делал с нами, что хотел: мы и плакали и смеялись по воле его. У него был очень небольшой голос, но он умел ему прида-

* Эжен Сю: «Она говорила по-французски, как русская!» *(фр.)*

вать чрезвычайную выразительность и сопровождал таким аккомпанементом, что мы его заслушивались. В его романсах слышалось и близкое искусное подражание звукам природы, и говор нежной страсти, и меланхолия, и грусть, и милое, неуловимое, необъяснимое, но понятное сердцу. Более других остались в моей памяти: «Ходит ветер у ворот...» и «Пароход» с его чудно подражательным аккомпанементом; потом что-то вроде баркаролы, наконец и колыбельная песнь:

Уснули ль голубые
Сегодня, как вчера?[31]

Эту последнюю певала и я, укачивая маленького сына[32], который сквозь сон за мною повторял: уснули габые...

Моя маленькая квартира была в нижнем этаже на Петербургской стороне, в Дворянской улице. Часто народ собирался кучкой у окна, заслышавши Глинку. Однажды он передразнивал разбитую шарманку, наигрывавшую у моего окна, с такою точностью и комизмом, что мы помирали со смеху. Бедный шарманщик пришел сначала в изумление, что у нас в комнате повторяются фальшивые звуки его шарманки со всеми дребезжащими ее нотками, а потом вошел в неописанный восторг и долго не мог надивиться искусству Глинки; а он, мой голубчик, увлекшись веселостью своих звуков, начал играть на темы шарманки вариации и ими восхитил не только нас, своих почитателей, но и толпу, стоявшую у окна, которая по окончании вариаций разразилась самым восторженным рукоплесканием. Он часто играл нам свою *Камаринскую,* но когда хотел меня разутешить, то пел песнь Финна, на известный нам мотив, усвоенный им во время поездки на Иматру. За такие любезности я угощала его пирогами и ватрушками, которые он очень любил. Завидя перед обедом одно из таких кушаньев, он поворачивал свой стул несколько раз кругом, складывал руки на груди и отвешивал по глубокому поклону столу, ватрушкам и мне. Он говорил, что только у добрых женщин бывают вкусные пироги. Не знаю, насколько это справедливо, замечаю только, что это было его мнение; любимый же его напиток было легкое красное вино, а десерт — султанские финики. Чай он пил всегда с лимоном. Если все это являлось у нас для него, он был

совершенно счастлив, играл, пел, шутил остроумно и безвредно для кого бы то ни было. Лучше и мягче характера я не встречала. Мне кажется, что так легко было бы сделать его счастливым. Он имел детские капризы, изнеженность слабой болезненной женщины; не любил хлопотать о мелочах житейских — и хотя был расчетлив, но никогда не брал медных денег в руки и оставлял такую сдачу купцу. Иногда лень и слабость до того одолевали его, что, как рассказывали мне люди, ему близкие, он не мог пошевелиться и просил, например, кого-нибудь из присутствующих, чтобы поправили полу его халата, если она была раскрыта. Изнеженность доходила у него до того, что когда поехал он со мной и моим семейством в Малороссию[33], то, извиняясь слабостью нервов, не позволявшею ему ехать спиною к лошадям, он допустил, несмотря на самую утонченную свою вежливость, сидеть ехавшую со мною девицу на переднем месте кареты, а сам занял в ней первое. На станциях я расплачивалась за лошадей, заказывала обед или завтрак и прочее, а он, выйдя из кареты, тотчас садился в угол станционного дивана и ни во что не вмешивался. Во время же переезда от станции до станции разговаривал, пел из задуманной уже оперы «Руслан и Людмила»[34] и особенно восхищал нас мотивом, который так ласково звучит в арии:

О Людмила,
Рок сулил нам счастье,
Сердце верит...
и проч., проч.

Ах, какая чудная музыка! Какая душа в этой музыке, какое гармоническое соединение чувства с умом и какое тонкое понимание народного колорита... Грустно мне было и больно, когда я, долго мечтавшая о счастье увидеть «Руслана и Людмилу» на театре и считавшая это почти невозможным по отдаленности жительства моего от Петербурга, наконец увидела эту оперу в 1858 году!

Возможно ли любимое дитя гениального человека так исказить постановкою и то, над чем с такою любовью трудился гений — представить русской публике в жалком, во всех отношениях, виде? Я плакала от грустного воспоминания при знакомых, дорогих сердцу мотивах и разрывалась от досады за все остальное.

В артистическом мире все должно гармонировать, все должно быть отчетливо и достойно целого. Не говоря об исполнении самой музыки, что это были за декорации? *Большая голова* великана так близко поставлена к авансцене, что все чудесное и фантастическое, присвоенное ей поэтом, поневоле переходит в пошлый фарс; а поле, усеянное костями, разве похоже на то, о котором мечтал Пушкин?.. Наконец, сражение на воздухе Карлы с Русланом разве не смешная штука? Неужели нельзя было придать этому всему той волшебной неясности и неопределенности, каких требует смысл поэмы и условие вкуса? Несмотря на разнохарактерность мотивов этой оперы, совершенно согласных с национальностью и особенностями действующих лиц, она мало действует на публику; я предполагаю, что причина тому именно неудачная обстановка.

Чтобы насладиться этой музыкою, надобно сидеть в театре, зажмуря глаза; я так делала и была минутами счастлива. Неужели у нас не найдется даже после смерти Глинки живая душа, которая бы взялась сделать то, что он желал? А он так страстно любил это последнее свое дитя! В этой опере он выражал свою последнюю любовь, это была мелодия лебединой песни и гармоническое сказание о чувствах души, которая изливалась в музыке, хотя и не всем доступной, по полной поэзии.

Приехавши из Малороссии в 1855 году, я тотчас осведомилась о Глинке, и когда мне сказали, что здоровье его сильно расстроено, я не решилась просить его к себе, а послала сына узнать, когда он может меня принять.

Обласкав сына, которого видел в колыбели и сам учил петь *кукуреку,* играя с ним на ковре, он усердно звал меня к себе. Когда я вошла, он меня принял с признательностью и тем чувством дружества, которым запечатлелось первое наше знакомство, не изменяясь никогда в своем свойстве. В большой комнате, в которой мы уселись, посредине стоял раскрытый рояль, заваленный беспорядочно нотами, а подле ломберный стол, тоже с нотами, и я радовалась, что любимым занятием Глинки по-прежнему была музыка. При этом свидании он не говорил о невозвратных прошлых меч-

тах и предположениях[35], которые так весело улыбались ему при отъезде моем в Малороссию. Вообще он избегал говорить о себе и склонял разговор к моему тогдашнему незавидному положению, расспрашивал о моих делах с живым участием и только мельком касался своих обстоятельств и намерений. Когда я ему сказала, что предполагаю приняться за переводы, чтобы облегчить мужу бремя забот о средствах существования, то он усердно предложил свои услуги и при этом употребил такие выражения: «Le jour où je pourrai faire quelque chose pour vous sera un bien beau jour pour moi»*.

При этом он мне сообщил, что занимается духовною музыкою, сыграл, кстати, херувимскую песнь и даже пропел кое-что, вспоминая былые времена.

Несмотря на опасение слишком сильно его растревожить, я не выдержала и попросила (как будто чувствовала, что его больше не увижу), чтоб он пропел романс Пушкина «Я помню чудное мгновенье...», он это исполнил с удовольствием и привел меня в восторг! В конце беседы он говорил, что сочинил какую-то музыку, от которой ждет себе много хорошего, и если ее примут так, как он желает, то останется в России, съездив только на время на воды, чтобы укрепить свое здоровье для дальнейшей работы; если же нет, то уедет навсегда. «Вреден север для него»[36],— подумала я и рассталась с поэтом в грустном раздумье.

При расставании он обещал посвятить мне целый вечер и просил прийти к нему с близкими моими, когда он уведомит, что в состоянии принять. Я не собралась больше к Глинке, т. е. он не собрался меня пригласить, как мы условились, а через два года, и именно 3 февраля (в день именин моих), его не стало! Его отпевали в той же самой церкви, в которой отпевали Пушкина, и я на одном и том же месте плакала и молилась за упокой обоих! День был ясный, солнечный, светлые лучи его падали прямо из алтаря на гроб Глинки, как бы желая взглянуть в последний раз на бренные останки нашего незабвенного композитора.

---

* День, когда я смогу для вас что-нибудь сделать, будет прекрасным для меня *(фр.)*.

ДЕЛЬВИГ И ПУШКИН

Письмо Павлу Васильевичу Анненкову при посылке воспоминаний о Глинке

Вы не можете себе представить, как барон Дельвиг был любезен и приятен, особенно в семейном кружке, где я имела счастие его видеть. Вспоминая анекдот о Пушкине, где Александр Сергеевич сказал Прасковье Александровне Осиповой в ответ на критику элегии: «Ах, тетушка! Ах, Анна Львовна!»[1]: «J'espère qu'il est bien permis à moi et au baron Delvig de ne pas toujours avoir de l'esprit»*, не могу не сравнить их мысленно, и, припоминая теперь склад ума барона Дельвига, я нахожу, что Пушкин был не совсем прав; нахожу, что он был так опрометчив и самонадеян, что, несмотря на всю его гениальность — всем светом признанную и неоспоримую,— он, точно, не всегда был благоразумен, а иногда даже не умен. В таком же смысле, как и Фигаро восклицает: «Ah! qu'ils sont bêtes les gens d'esprit!»**. Дельвиг же, могу утвердительно сказать, был всегда умен! И как он был любезен! Я не встречала человека любезнее и приятнее его. Он так мило шутил, так остроумно, сохраняя серьезную физиономию, смешил, что нельзя не признать в нем истинный великобританский юмор. Гостеприимный, великодушный, деликатный, изысканный, он умел счастливить всех его окружающих. Хотя Дельвиг не был гениальным поэтом, но название поэтического существа вполне может соответствовать ему, как благороднейшему из людей. Его поэзия, его песни — мелодия поэтической души. Помните романс его:

Прекрасный день, счастливый день!
И солнце, и любовь![2]

* Я думаю, мне и барону Дельвигу вполне позволительно не всегда быть умными *(фр.)*.

** Ах, как они глупы, эти умные люди! *(фр.)*

Пушкин говорил, что он этот романс прочел и прочувствовал вполне в Одессе, куда ему его прислали. Он им восхищался с любовию, которую питал к другу-поэту. Он всегда с нежностью говорил о произведениях Дельвига и Баратынского. Дельвиг тоже нежно любил и Баратынского, и его произведения. Тут кстати заметить, что Баратынский не ставил никаких знаков препинания, кроме запятых, в своих произведениях и до того был недалек в грамматике, что однажды спросил у Дельвига в серьезном разговоре: «Что ты называешь родительным падежом?» Баратынский присылал Дельвигу свои стихи для напечатания, и тот всегда поручал жене своей их переписывать; а когда она спрашивала, много ли ей писать, то он говорил: «Пиши только до точки». А точки нигде не было и даже в конце пьесы стояла запятая!

Мне кажется, Дельвиг был одним из лучших, примечательнейших людей своего времени, и если имел недостатки, то они были недостатками эпохи и общества, в котором он жил. Лучший из друзей, уж конечно, он был и лучший из мужей. Я никогда его не видала скучным или неприятным, слабым или неровным. Один упрек только сознательно ему можно сделать, это за лень, которая ему мешала работать на пользу людей. Эта же лень делала его удивительно снисходительным к слугам своим, которые могли быть все, что им было угодно: и грубыми, и пренебрежительными; он на них рукой махнул, и если б они вздумали на головах ходить, я думаю, он бы улыбнулся и сказал бы свое обычное: «Забавно!» Он так мило, так оригинально произносил это «забавно!», что весело вспомнить. И замечательно, что иногда он это произносил, когда вовсе не было *забавно.* Я с ним и его женою познакомилась у Пушкиных, и мы одно время жили в одном доме, и это нас так сблизило, что Дельвиг дал мне раз (от лености произносить вполне мое имя и фамилию) название 2-й жены, которое за мной и осталось. Вот как это случилось: мы ездили вместе смотреть какого-то фокусника. Входя к нему, он, указывая на свою жену, сказал: «Это жена моя»; потом, рекомендуя в шутку меня и сестру мою, проговорил: «Это вторая, а это третья». У меня была книга (затеряна теперь), кажется,

«Стихотворения Баратынского», которые он издавал[3]; он мне ее прислал с надписью: «Жене № 2-й от мужа безномерного б. Дельвига». Он очень радушно встречал обычных своих посетителей, и всем было хорошо близ него! On était si à son aise près de lui! on se santait si protégé!* У меня были «Северные цветы» за все почти годы с подписью бароновой руки.

В альбоме моем (сделанном для портрета Веневитинова и подаренном мне его приятелем Хомяковым после его смерти) Дельвиг написал мне свои стихи к Веневитинову: «Дева и Роза». Я уже говорила вам, что в это время занимала маленькую квартиру во дворе (в доме бывшем Кувшинникова, тогда уже и теперь еще Олферовского). В этом доме, в квартире Дельвига, мы вместе с Александром Сергеевичем имели поручение от его матери Надежды Осиповны принять и благословить образом и хлебом новобрачных Павлищева и сестру Пушкина Ольгу. Надежда Осиповна мне сказала, отпуская меня туда в своей карете: «Remplacez-moi, chère amie, ici je vous confie cette image pour bénir ma fille en mon nom»**. Я с гордостью приняла это поручение и с умилением его исполнила. Доро́гой Александр Сергеевич, грустный, как всегда бывают люди в важных случаях жизни, сказал мне шутя: «Voilà pourtant la première fois que nous sommes seuls. Vous et moi».— «Et nous avons bien froid n'est ce pas?» — «Oui. Vous avez raison, il faut bien froid — 27 degrés»***, а сказав это, закутался в свой плащ, прижался в угол кареты, и ни слова больше мы не сказали до самой временной квартиры новобрачных. Там мы долго прождали молодых, молча прогуливаясь по освещенным комнатам, тоже весьма холодным, отчего я, несмотря на важность лица, мною представляемого (посаженой матери), оставалась, как ехала, в кацавейке; и это подало повод Пушкину сказать, что я похожа на царицу Ольгу. Несмотря на оза-

* Подле него вы чувствовали себя столь непринужденно, столь надежно! *(фр.)*

** Замените меня, мой друг; вручаю этот образ — благословите им мою дочь от моего имени *(фр.)*.

*** «А ведь мы в первый раз одни — вы и я».— «И нам очень холодно, не правда ли?» — «Да, вы правы, очень холодно — 27 градусов» *(фр.)*.

боченность, Пушкин и в этот раз был очень нежен, ласков со мною... Я заметила в этом и еще нескольких других случаях, что в нем было до чрезвычайности развито чувство *благодарности*: самая малейшая услуга ему или кому-нибудь из его близких трогала его несказанно. Так, я помню, однажды потом батюшка мой, разговаривая с ним на этой же квартире Дельвига, коснулся этого события, т. е. свадьбы его сестры, мною нежно любимой, и сказал ему, указывая на меня: «А эта дура в одной рубашке побежала туда через форточку». В это время Пушкин сидел рядом с отцом моим на диване против меня, поджавши, по своему обыкновению, ноги, и, ничего не отвечая, быстро схватил мою руку и крепко поцеловал. Красноречивый протест против шуточного обвинения сердечного порыва! Помню еще одну особенность в его характере, которая, думаю, была вредна ему: думаю, что он был более способен увлечься блеском, заняться кокетливым старанием ему нравиться, чем истинным глубоким чувством любви. Это была в нем дань веку, если не ошибаюсь; иначе истолковать себе не умею! Un bon mot, la repartin vive* всегда ему нравились. Он мне однажды сказал, да тогда именно, когда я ему сказала, что не хорошо меня обижать — moi qui suis si inoffensive**. Выражение ему понравилось, и он простил мне выговор, повторяя: «C'est réellement cela. Vous êtes si inoffensive»***, и потом сказал: «Да с вами и не весело ссориться. Voilà Votre cousine, c'est toute autre chose: et cela fait plaisir, on trouve à qui parler»****. Причина такого направления — слишком невысокое понятие о женщине — опять-таки, несмотря на всю гениальность, *печать века.* Сестра моя сказала ему однажды: «Здравствуй, Бес!» Он ее за то назвал божеством в очень милой записке. Любезность, остроумное замечание женщины всегда способны были его развеселить. Однажды он пришел к нам и сидел у одного окна с книгой, я у другого; он подсел ко мне и начал говорить мне нежности à propos de bottes*****

* Острота, быстрый и находчивый ответ *(фр.)*.
** меня, такую безобидную *(фр.)*
*** Это в самом деле верно, вы такая безобидная *(фр.)*.
**** Вот ваша кузина — совсем другое дело, и это приятно: есть с кем поговорить *(фр.)*.
***** под пустым предлогом *(фр.)*.

и просить ручку, говоря: «C'est si satin». Я ему отвечала «Satan»*, а сестра сказала шутя: «Не понимаю, как вы можете ему в чем-нибудь отказать!» Он от этой фразы в восторг пришел и бросился перед нею на колени в знак благодарности. Вошедший в эту патетическую минуту брат Алексей Николаевич Вульф аплодировал ему от всего сердца. И, однако ж, он однажды мне говорил, кстати, о женщине, которая его обожала и терпеливо переносила его равнодушие: «Rien de plus insipide que la patience et la résignation»**.

Приятно жилось в это время. Баронесса приходила ко мне по утрам: она держала корректуру «Северных цветов». Мы иногда вместе подшучивали над бедным Сомовым, переменяя заглавия у стихов Пушкина, напр.: «Кобылица молодая...» мы поставили «Мадригал такой-то...». Никто не сердился, а всем было весело. Потом мы занимались итальянским языком, а к обеду являлись к мужу. Дельвиг занимался в маленьком полусветлом кабинете, где и случилось несчастие с песнями *Беранже,* внушившее эти стихи:

Хвостова кипа тут лежала,
А Беранже не уцелел,
За то его собака съела,
Что в песнях он собаку съел (bis).

Эти стихи, в числе прочих, пелись хором по вечерам. Пока барон был в Харькове, мы переписывались с его женою, и она мне прислала из Курска экспромт барона:

Я в Курске, милые друзья,
И в Полторацкого таверне
Живее вспоминаю я
О деве Лизе, даме Керне!

Я вспомнила еще стихи, сообщенные мне женою барона Дельвига, сложенные когда-то вместе с Баратынским.

Там, где Семеновский полк,
В пятой роте, в домике низком
Жил поэт Баратынский
С Дельвигом, тоже поэтом.

---

* «Настоящий атлас» — «Сатана». (Игра слов: satin — атлас, Satan — сатана) *(фр.)*.

** Ничего нет безвкуснее долготерпения и самоотверженности *(фр.)*.

Тихо жили они.
За квартиру платили немного,
В лавочку были должны,
Дома обедали редко.
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком
В панталонах триковых тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели),
Шли и твердили шутя:
Какое в Россиянах чувство!

А вот еще стихи барона: пародия на «Смальгольмского барона», переведенного Жуковским[4]:

До рассвета поднявшись, извозчика взял
Александр Ефимыч с Песков.
И без отдыха гнал от Песков чрез канал
В желтый дом, где живет Бирюков.
Не с Цертелевым он совокупно спешил
На журнальную битву вдвоем;
Не с романтиками переведаться мнил
За баллады, сонеты путем,
Но во фраке был он, был тот фрак заношен,
Какой цветом, нельзя распознать,
Оттопырен карман, в нем торчит, как чурбан,
Двадцатифунтовая тетрадь.
. . . .
. . . .
Его конь опенен, его Ванька хмелен,
И согласно хмелен с седоком.
Бирюкова он дома в тот день не застал:
Он с Красовским в цензуре сидел,
Где на Олина грозно Фон Поль напирал,
Где . . . . . улыбаясь глядел.
Но изорван был фрак, на манишке табак,
Ерофеичем весь он облит;
Не в журнальном бою, но в питейном дому
Был квартальными больно побит.
Соскочивши на Конной с саней, у столба,
Притаяся у будки, он стал,
И три раза он крикнул Бориса-раба,
Из харчевни Борис прибежал.
«Подойди-ка, мой Борька, мой трагик смешной,
И присядь ты на брюхо мое;
Ты скотина, но право, скотина лихой,
И скотство по нутру мне твое».

Вскоре после того, как мы читали эту прекрасную пародию, барон Дельвиг ехал куда-то с женой в санках через Конную площадь; подъезжая к будке, он сказал ей очень серьезно: «Вот, *на самом этом месте* соскочил

с саней Александр Ефимович с Песков, и у этой самой будки он крикнул Бориса Федорова». Мы очень смеялись этому точному указанию исторической местности. Он всегда шутил очень серьезно, а когда повторял любимое свое слово *«забавно»,* это значило, что речь идет о чем-нибудь совсем не забавном, а или грустном, или даже досадном для него!.. Мне очень памятна его манера серьезно шутить, между прочим по следующему случаю: один молодой человек преследовал нас с Софьей Михайловной насмешками за то, что мы смеемся, повторяя часто фразу из романа Поль де Кока[5], которая ему вовсе не казалась так смешною. Нам стоило только повторить эту фразу, чтобы неудержимо долго хохотать. Эта фраза была одного бедного молодого человека (разбогатевшего потом) взята из романа «La maison Blanche». Молодой человек в затруднении перед балом, куда приглашен школьным товарищем, знатным молодым человеком; весь его туалет собран в полном комплекте, недостает только шелковых чулков, без которых невозможно обойтись; у него были одни, почти новые, да он ими ссудил свою возлюбленную гризетку..., швею в модном магазине. Она пришла на помощь, чтоб завить волосы своему приятелю, но увы, относительно чулков объявила, что чулки эти даны ею взаймы г-же..., она тоже дала взаймы своей подруге, которая, в свою очередь, ссудила ими своего друга, а друг этот награжден от природы огромнейшими mollets* и потому, надев их раз, так изувечил, что они больше никому не могут годиться. <Она> кончила свою <речь> философическим замечанием своему Robineau: «Est-ce qu'on a jamais eu un amant qui vous redemande ce qu'il vous a prêté»**. На это г-н Робино возразил комическим тоном, чуть не плача: «Quand on n'a que quinze cent livres de rente, on ne nage pas dans les bas de soie!»***

Не мы одни с баронессою находили юмор в этой *жалостливой фразе,* из наших знакомых один только по-

---

* икрами *(фр.).*

** Виданное ли дело, чтобы любовник потребовал обратно то, что дал вам в долг? *(фр.)*

*** Когда имеют всего полторы тысячи ливров дохода, не щеголяют в шелковых чулках *(фр.).*

мянутый выше молодой человек не видел в ней смешного. Раз он резко выразил свое удивление, что мы так долго смеемся совсем не смешному. Мы сидели в это время за обедом, и барон Дельвиг, стоя за столом в своем малиновом шелковом шлафроке и разливая, по обыкновению, суп, сказал: «Я с тобой согласен, мой милый, je ne nage pas dans les bas de soie*: совсем *не смешно, а жалко!*»

Никогда не забуду его саркастической улыбки и забавной интонации голоса при слове *«жалко!»*.

Разбирая свои старые бумаги и письма, я нашла очень интересные записки. Одну собственноручную барона Дельвига, о деле касательно моих интересов, которая начинается так: «Милая жена, очень трудно давать советы; спекуляция Петра Марковича может удасться или же нет; и в том и в другом случае будете раскаиваться (если отдадите имение). Повинуйтесь сердцу — это лучший совет мой...» Записка его жены, в год женитьбы Александра Сергеевича, именно в тот год, когда мы ездили на Иматру[6] и я с ними провела лето в Колтовской, у Крестовского перевоза. Я уехала в город прежде их, когда мне представился случай достать выгодную квартиру; вскоре, кажется в конце августа, она мне писала: «Léon est parti hier, Александр Сергеевич est arrivé avant hier. Il est, dit on, plus amoureux que jamais. Cependant il ne parle presque pas d'elle. Il a cité hier une phrase (de m-me Willois, je crois) qui disait à son fils: «Ne parlez de Vous qu'au roi et de votre femme à personne, car on risque toujours d'en parler à quelqu'un qui la sonnait mieux que vous». La noce se fera au Septembre»**. Действительно, в этот приезд Пушкин казался совершенно другим человеком: он был серьезен, важен, как следовало человеку с душою, принимавшему на себя обязанность счастливить другое существо...

Таким точно я его видела потом в <другие> разы, что мне случалось его встретить с женою или без же-

---

* я не щеголяю в шелковых чулках *(фр.)*.

** Лев уехал вчера, Александр Сергеевич возвратился третьего дня. Он, говорят, влюблен больше, чем когда-либо. Однако он почти не говорит о ней. Вчера он привел фразу — кажется, г-жи Виллуа, которая говорила сыну: «Говорите о себе с одним только королем, а о своей жене — ни с кем, иначе вы всегда рискуете говорить о ней с кем-то, кто знает ее лучше вас». Свадьба будет в сентябре *(фр.)*

ны. С нею я его видела два раза. В первый это было в другой год, кажется, после женитьбы. Прасковья Александровна была в Петербурге и у меня остановилась; они вместе приезжали к ней с визитом в открытой колясочке, без человека. Пушкин казался очень весел, вошел быстро и подвел жену ко мне прежде (Прасковья Александровна была уже с нею знакома, я же ее видела только раз у Ольги[7] одну). Уходя, он побежал вперед и сел прежде ее в экипаж; она заметила, шутя, что это он сделал оттого, что он муж. Потом я его встретила с женою у матери, которая начинала хворать. Наталия Николаевна сидела в креслах у постели больной и рассказывала о светских удовольствиях, а Пушкин, стоя за ее креслом, разводя руками, сказал шутя: «Это последние штуки Натальи Николаевны: посылаю ее в деревню». Она, однако, не поехала, кажется, потому, что в ту же зиму Надежде Осиповне сделалось хуже, и я его раз встретила у родителей одного. Это было раз во время обеда, в четыре часа. Старики потчевали его то тем, то другим из кушаньев, но он от всего отказывался и, восхищаясь аппетитом батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему и мне, предлагая гуся с кислою капустою: «C'est un plat écossais»*, заметив при этом, что он никогда ничего не ест до обеда, а обедает в 6 часов. Потом я его еще раз встретила с женою у родителей, незадолго до смерти матери и когда она уже не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты, головами к окнам; они сидели рядом на маленьком диване у стены, и Надежда Осиповна смотрела на них ласково, с любовью, а Александр Сергеевич держал в руке конец боа своей жены и тихонько гладил его, как будто тем выражал ласку к жене и ласку к матери. Он при этом ничего не говорил... Наталья Николаевна была в папильотках: это было перед балом... Я уверена, что он был добрым мужем, хотя и говорил однажды, шутя, Анне Николаевне, которая его поздравляла с неожиданною в нем способностью себя вести, как прилично любящему мужу: «Ce n'est que de l'hypocrisie»**.

---

* Это шотландское блюдо *(фр.)*.
** Это только хитрость *(фр.)*.

Вот еще выражение века: непременно, во что бы то ни стало, казаться хуже, чем он был... В этом по пятам за ним следовал и Лев Сергеевич.

Я теперь опять обращусь к Дельвигу. Припоминаю все это время, и как он был добр ко всем и ласков к родным, друзьям и даже только знакомым. Вскоре после возвращения из Харькова он или выписал к себе, или сам привез, не помню, двух своих маленьких братьев, 7 и 8 лет. Старшего, Александра, он называл классиком, меньшего, Ивана,— романтиком и таким образом представил их однажды вечером Пушкину. Александр Сергеевич нежно, внимательно их рассматривал и ласкал, причем барон объявил ему, что меньшой уже сочинил стихи. Александр Сергеевич пожелал их услышать, и маленький Дельвиг, не конфузясь нимало и не гордясь своей ролью, медленно и внятно произнес, положив свои ручонки в обе руки Александра Сергеевича:

Индиянди. Индиянди, Индия!
Индиянди, Индиянди, Индия!

Александр Сергеевич погладил его по голове, поцеловал и сказал, что он точно романтик. Где-то он теперь? Как бы мне хотелось на них взглянуть! Вспоминая о Дельвиге, я невольно припоминаю еще многое о Пушкине и, разбирая записки Дельвига, сохранившиеся у меня, нашла еще несколько записок Пушкина. Это относится к тому времени, когда он узнал о смерти моей матери и о тесных обстоятельствах, вследствие которых одна дама, принимавшая во мне большое участие (а именно Елизавета Михайловна Хитрово[8]), переписывалась со мною, хлопотала о том, чтобы мне возвратилось имение, проданное моим отцом гр. Шереметеву. Я интересовалась этим имением по воспоминаниям моего счастливого детства, хотя и в финансовом отношении оно не могло быть не *интересно*, потому что иметь что-нибудь или не иметь *ничего* все-таки составляет громадную разницу.

Не воздержусь умолчать об одном обстоятельстве, которое навело меня на эту мысль *выкупить* без денег свое проданное имение! Однажды утром ко мне явился гвардейский солдат. «Не узнаете меня, ваше превос-

ходительство?» — сказал он, поклонившись в пояс. «Извини, голубчик, не узнаю тебя, припомни мне, где я тебя видела». — «А я из вашей вотчины, ваше превосходительство. Я помню вас, как вы изволили из ваших ручек потчевать водкой отца моего, и жили тогда в нашей чистой избе, а в другой, чистой же, ваш батюшка и матушка». — «Помню, помню, мой милый, — сказала я (хотя вовсе его-то самого не помнила). — Так ты пришел со мной повидаться, это очень приятно». — «Да кроме того, — сказал он, — я пришел просить вас, нельзя ли вам, матушка, откупить нас опять к себе; мне пишут мои старики, сходил бы ты к нашей прежней госпоже, к генеральше такой-то, да сказал бы ей, что вот, дескать, мы бы рады-радешеньки ей опять принадлежать, что при ревизии теперь в двух селениях прибавилось много против прежнего, что мы и теперь помним, как благоденствовали у дедушки их, у матушки и у них самих потом; скажи ей, что мы даже согласны графу Шереметеву внести половинную цену за имение и сами за свой счет выстроим ей домик, коли вы согласны нас у него откупить опять».

Это предложение было так трогательно и вместе так соблазнительно, что я решилась его сообщить Елизавете Михайловне Хитровой вскоре после кончины матери моей, и она по доброте своей взялась хлопотать.

Вот 1-я записка ее:[9] «J'ai reçu hier matin votre bonne lettre, Madame, j'aurais été Vous voir sans une grave indisposition de ma fille. Si Vous êtes libre de venir demain à midi, je Vous recevrai avec bien de la joie.

El. Hitroff».

Вследствие этой-то записки Александр Сергеевич приехал ко мне в своей карете, в ней меня отправил к Хитровой.

2-я записка Хитровой написана рукою Александра Сергеевича. Вот она: «Chère Madame Kern, notre jeune a la rougeole et il n'y a pas moyen de lui parler; dès que ma fille sera mieux j'irai Vous embrasser», — а ее рукой —

«El. Hitroff».

Опять рукою Александра Сергеевича: «Ma plume est si mauvaise que Madame Hitroff... s'en servir et que c'est moi qui ai l'avantage d'être son secrètaire. A.»

Следует еще одна записочка от Елизаветы Михайловны Хитрово (ее рукой): «Voici, ma très chère, une lettre de Che <remete> ff — dites moi ce qu'elle contient. J'allais Vous la porter moi-même, mais j'ai un vrai malheur, car voilà qu'il pleut.

E. Hitroff».

Потом за нее еще рукою Александра Сергеевича, предпоследняя об этом неудавшемся деле: «Voici la réponse de Ch <eremete> ff. Je désire, qu'elle soit agréable. Madame Hitroff a fait ce qu'elle a pu. Adieu, belle dame, soyez tranquille et contente et croyez à mon dévouement».

Самая последняя была уже в слишком шуточном роде,— я на нее подосадовала и тогда же уничтожила.— Когда оказалось, что ничего не могло втолковать доброго господина, от которого зависело дело, он писал мне (между прочим): «Quand Vous n'avez rien pu obtenir, Vous, qui êtes une jolie femme, qu'y pourrai-je faire, moi, qui ne suis pas même joli garçon... Tout ce que je puis conseiller,— c'est de revenir à la charge etc., etc.,— et puis jouant sur le dernier mot...»

Меня это огорчило, и я разорвала эту записку. Больше мы не переписывались и виделись уже очень редко — кроме визита единственного им с женою Прасковье Александровне. Этой последней вздумалось состроить partie fine*, и мы обедали все вместе у Дюме[10], а угощал нас Александр Сергеевич и ее сын Алексей Николаевич Вульф. Пушкин был любезен за этим обедом, острил довольно зло, и я не помню ничего особенно замечательного в его разговоре. Осталось только в памяти одно его интересное суждение. Тогда только что вышли повести Павлова, я их прочла с большим удовольствием, особенно «Ятаган»[11]. Брат Алексей Николаевич сказал, что он в них не находит ровно никакого интересного достоинства. Пушкин сказал: «Enten-

---

* кутеж *(фр.)*.

dons nous*. Я начал их читать и до тех пор не оставил, пока не кончил. Они читаются с большим удовольствием». Теперь я себе припомнила несколько его суждений о романах: он очень любил Бульвера[12], цитировал некоторые фразы из «Пельгама» в то время, когда его читал. Вследствие чего мне показался замечателен случай, что его напечатали в той же книжке «Библиотеки для чтения», где и «Воспоминания». Еще я помню (это было во время моего пребывания в одном доме с бароном Дельвигом). Тогда только что вышел во французском переводе роман Манцони «I promessi sposi» («Les fiancés»**)[13]. Он говорил об них: «Je n'ai jamais lu rien de plus joli»***.

Возвратимся к обеду у Дюме. За десертом («Les 4 mendiants»****) г-н Дюме, воображая, что этот обед и в самом деле une partie fine, вошел в нашу комнату un peu cavalièrement***** и спросил: «Comment cela va ici?»****** У Пушкина и Алексея Николаевича немножко вытянулось лицо от неожиданной любезности француза, и он сам, увидя чинность общества и дам в особенности, нашел, что его возглас и явление были не совсем приличны, и удалился. Вероятно, в прежние годы Пушкину случалось у него обедать и не совсем в таком обществе. Барон Дельвиг очень любил такие эксцентрические проделки. Не помню во все время нашего знакомства, чтобы он когда-нибудь один с женою бывал на балах или танцевальных вечерах, но очень любил собрать несколько близко знакомых ему приятных особ и вздумать поездку за город, или катанье без церемонии, или даже ужин дома с хорошим вином, чтобы посмотреть, как оно на нас, ничего не пьющих, подействует. Он однажды сочинил катанье в Красный Кабачок вечером, на вафли. Мы там нашли тогда пустую залу и бедную арфянку, которая, вероятно, была очень счастлива от фантазии барона. В катанье участвовали

* Попробуем понять друг друга *(фр.).*
** «Обрученные» *(фр.).*
*** Я ничего красивее не читал *(фр.).*
**** «четверо нищих» *(фр.)* — десерт из миндаля, орехов, винных ягод и изюма.
***** немножко развязно *(фр.).*
****** Ну, как здесь идут дела? *(фр.)*

только его братья, кажется, Сомов, неизбежный, никогда не докучливый собеседник и усердный его сотрудник по «Северным цветам», я да брат Алексей Вульф. Катанье было очень удачно, потому что вряд можно было бы выбрать лучшую зимнюю ночь — и лунную, и не слишком холодную. Я заметила, что добрым людям всегда такие вещи удаются оттого, что всякое их действие происходит от избытка сердечной доброты. Он, кроме прелести неожиданных удовольствий без приготовлений, любил в них и хорошее вино, оживляющее беседу, и вкусный стол; от этого он не любил обедать у стариков Пушкиных, которые не были гастрономы, и в этом случае он был одного мнения с Александром Сергеевичем. Вот, по случаю обеда у них, что раз Дельвиг писал Пушкину:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Дурного масла и яиц гнилых,—
Так приходи со мной обедать
Сегодня у своих родных.

Вот все, что осталось в моей памяти в добавление к тому, что вам уже сообщила прежде.

При этом присоединяю некоторые еще записки: может, они понадобятся вам.

ТРИ ВСТРЕЧИ С ИМПЕРАТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ ПАВЛОВИЧЕМ

(1817—1820 гг.)

I

Теперь, когда я ослепла и мне прочли чрезвычайно замечательное произведение графа Л. Н. Толстого «Война и мир»[1], где, между прочим, говорится о страстном, благоговейном чувстве, ощущавшемся всеми молодыми людьми к императору Александру Павловичу в начале его царствования, мне так ясно, так живо, так упоительно представилась та эпоха, и воротились те живые, никогда не забываемые мною воспоминания, о которых мне захотелось рассказать.

Расскажу первую — незабвенную встречу мою с императором Александром Павловичем в 1817-м году. В Полтаве готовился смотр корпуса г-на Сакена[2], в котором муж мой, Керн, служил дивизионным командиром. Немного прибитая на цвету — как говорят в Малороссии,— необыкновенно робкая, выданная замуж и слишком рано, и слишком неразборчиво, я привезена была в Полтаву. Тут меня повезли на смотр и на бал, где я увидела императора.

У меня была подруга еще моложе меня и вышедшая замуж тоже за генерала, старее гораздо ее, но образованного, приятного и очень умного человека, который умел с нею обращаться,— и мы с нею вместе ездили на смотр и вместе стояли на этом бале, против группы, где стоял император, Сакен и его état-major*.

Я находила, что эта моя подруга гораздо лучше меня одета: на ней была куафюра с пером, очень украшавшая ее молодое, почти детское личико, и она мне сказала, что муж выписал ей эту куафюру потому, что государь любил подобный головной убор без других

---

* штаб *(фр.)*.

украшений. Как мне досаден сделался мой голубой с серебряными листьями цветок.

Сакен был со мною знаком проездом через Лубны, где я жила у отца до замужества, останавливался у нас в доме и весьма благоволил ко мне.

Его позволение Керну на мне жениться было какое-то нежное поздравление близкого родственника, более чем начальника.

Он и указал государю на меня, и сказал ему, кто я.

Император имел обыкновение пропустить несколько пар в польском прежде себя и потом, взяв даму, идти за другими. Эта тонкая разборчивость, только ему одному сродная, и весь он, с его обаятельною грациею и неизъяснимою добротою, невозможными ни для какого другого смертного, даже для другого царя, восхитили меня, ободрили, воодушевили, и робость моя исчезла совершенно. Не смея ни с кем говорить доселе, я с ним заговорила, как с давнишним другом и обожаемым отцом! Он заговорил, и я была на седьмом небе и от ласковости этих речей, и от снисходительности к моим детским понятиям и взглядам!

Он говорил о муже моем, между прочим: «C'est un brave soldat»*. Это тогда так занимало их! Потом сказал: «Venez à Pítersbourg chez moi»**. Я с величайшей наивностью сказала, что это невозможно, что мой муж на службе. Он улыбнулся и сказал очень серьезно: «Il peut prendre un semestre»***. На это я так расхрабрилась, что сказала ему: «Venez plutôt à Loubny! C'est si beau Loubny!»**** Он опять засмеялся и сказал: «Je viendrai, absolument, je viendrai!»*****

Я возвратилась домой такая счастливая и восторженная, рассказала мужу весь разговор с царем и умоляла устроить мне возможность еще раз взглянуть на него, что он и исполнил.

Я поехала к обедне в маленькую полковую церковь, разбитую шатром на поле Полтавской битвы, у дубового леска, и опять имела счастие его увидеть, им любо-

---

* Храбрый воин *(фр.)*.

** Приезжайте ко мне в Петербург *(фр.)*.

*** Он может взять полугодовой отпуск *(фр.)*.

**** Лучше вы приезжайте в Лубны! Лубны — это такая прелесть! *(фр.)*.

***** Приеду, непременно приеду! *(фр.)*

ваться и получить сперва серьезный поклон, потом, уходя, ласковый, улыбающийся.

По городу ходили слухи, вероятно несправедливые, что будто император спрашивал, где наша квартира, и хотел сделать визит... Потом много толковали, что он сказал, что я похожа на прусскую королеву. На основании этих слухов губернатор Тутолмин[3], очень ограниченный человек, даже поздравил Керна, на что тот с удивительным благоразумием отвечал, что он не знает, с чем тут поздравлять? Сходство с королевой было в самом деле, потому что в Петербурге один офицер, бывший камер-пажом во дворце при приезде королевы, это говорил моей тетке, когда меня увидел. Может быть, это сходство повлияло на расположение императора к такой неловкой и робкой тогда провинциалке!

II

Многие восхищались в то время — кто Сухозанетом[4], который был тогда очень молодым генералом, кто графом Орловым[5], генерал-адъютантом.

Я никого не замечала, ни на кого не смотрела: разве можно смотреть по сторонам, когда чувствуешь присутствие божества, когда молятся?

Это были только *мужчины:* красивые ли, не красивые — мне было все равно. А он был выше всего! Я не была влюблена... я благоговела, я поклонялась ему!.. Этого чувства я не променяла бы ни на какие другие, потому что оно было вполне духовно и эстетично. В нем не было ни задней мысли о том, чтобы получить милость посредством благосклонного внимания царя, — ничего, ничего подобного... Все любовь чистая, бескорыстная, довольная сама собой.

Если бы мне кто сказал: «Этот человек, перед которым ты молишься и благоговеешь, полюбил тебя, как простой смертный», я бы с ожесточением отвергла такую мысль и только бы желала смотреть на него, удивляться ему, поклоняться, как высшему, обожаемому существу!..

Это счастие, с которым никакое другое не могло для меня сравниться!

III

А что говорили мне все окружающие царя, танцуя со мною, право, не помню, и не смотрела я на них и не слушала их. Они все толковали о прелестной музыке Болугиянского оркестра, и действительно, она была обворожительна; царь тоже ею восхищался.

Возвратясь после смотра домой в Лубны, я предалась мечтаниям ожидающего меня чувства матери, о котором пламенно молилась и желала. Тут примешивалась теперь надежда, позже осуществившаяся, что император будет восприемником моего ребенка!

Еще до этого события мне удалось сделать путешествие в Киев в сообществе моей матери, и я там имела счастие вместе с нею посетить бесподобное семейство Раевских[6]. Впечатление незабвенное и вполне эстетическое. Николай Николаевич Раевский представил жене своей моего мужа, назвав его: «mon frère d'armes»*. Она сейчас приняла меня под свое покровительство, приголубила и познакомила со всеми дочерьми своими. Старшая, полная грации и привлекательности, сама меня приласкала. Это красавица Нина, о которой потом вспоминал Пушкин. Меньшая была Мария, кроткая брюнетка, вышедшая потом за Волконского.

Я многих там увидела, с которыми потом довелось встречаться в свете: и Дубельт[7] и m-me Фролова, на которую так все бы и хотелось смотреть! Киев сам мне представился в обворожительном виде: мы подъезжали к нему в ясный ноябрьский вечер — теплый и солнечный, когда закат позлащал главы церквей его. Ничего не могло быть восхитительнее.

Вскоре мы возвратились домой, где я, выздоравливая после долгих страданий, сопровождавших мое новое звание матери, узнала, во-первых, что император вспомнил обо мне и хвалил меня в самых лестных выражениях тетке моей Мертваго[8], которая представлялась императрице Марии Федоровне в ее кабинете, куда он нечаянно вошел. Он сказал тетке, что имел удовольствие со мною познакомиться, и прибавил: «Elle est

* мой брат по оружию *(фр.)*.

charmante, charmante, votre nièce»* Какое внимание и какая память!

Потом тою же весною муж мой Керн попал в опалу, вследствие своей заносчивости в обращении с Сакеном.

Я забыла сказать, что немедленно после смотра в Полтаве господин Керн был взыскан монаршею милостью: государь ему прислал пятьдесят тысяч за маневры.

Надобно сказать, что Сакен, поближе узнав Керна, не очень благоволил к нему и, зная нашу интимную жизнь, не слишком его уважал.

Следующий за тем смотр должен был быть в Вознесенске. Керну захотелось туда поехать, чтобы лично поблагодарить царя за его милость,— и он просил позволения на то у корпусного своего командира, Сакена. Сакен был им за что-то недоволен и сказал, что отпуск ему теперь не может разрешить. Настаивать было нечего. Керн раскланялся, да, не долго думая, взял и поехал в Вознесенск и без позволения. Этого еще мало,— кроме такого преступления против субординации, он, на одной из последних станций перед Вознесенском, найдя Сакена спящим, обогнал его, взяв приготовленных ему лошадей. Старик справедливо возмутился и, при представлении генералов царю, на него пожаловался императору, и царю его вовсе не представил, а на другой же день в приказе стояло: «Генералу Керну состоять по армии!» С этим известием Керн воротился к нам и тотчас же решил поехать в Петербург просить о службе. Поехал, но не был допущен к царю, и князь Петр Михайлович Волконский[9] велел ему сказать, что царь не может его принять и что он сам лучше знает за что.

Это все передала отцу моему, бывшему тогда в Петербурге, его сестра Оленина, которая просила князя Волконского за моего мужа, как за своего родственника. Не скажу, чтоб это меня особенно огорчило. Отсутствие мужа так благодатно на меня действовало, что я забывала и о его службе, и о смотрах, и о своем блеске, в который на минуту окунулась... Я жила при матери, которую обожала, и кормила свою девочку.

---

* Она очаровательна, очаровательна, ваша племянница *(фр.)*.

Зимою *старшие* решили, что нам не худо проехаться в глубину России и повидаться с родными. Мы поехали сперва в Липецк, где жил брат моего мужа, потом в Москву к теткам, Мертваго и Полторацкой, жене Дмитрия Марковича Полторацкого[10], только что умершего моего крестного отца и лучшего из людей.

Приехав в Грузино к старой и страшной бабушке моей Агафоклее Александровне Полторацкой, мы узнали, что отец мой в Петербурге и зовет туда Керна еще попытаться как-нибудь у царя. Он звал его одного, и я была бы очень рада не ехать, но бабушка решила, что жена не должна оставаться без мужа, и мы поехали. Это все клоню я к тому, что это привело ко второй моей встрече с императором, хотя на мгновение, но не без следа. Император, как все знают, имел обыкновение ходить по Фонтанке по утрам. Его часы всем были известны, и Керн меня посылал туда с своим племянником из пажей. Мне это весьма не нравилось, и я мерзла и ходила, досадуя и на себя, и на эту настойчивость Керна. Как нарочно, мы царя ни разу не встречали.

Когда это бесплодное гулянье мне надоело, я сказала, что не пойду больше,— и не пошла. Зато случай мне доставил мельком это счастие: я ехала в карете довольно тихо через Полицейский мост, вдруг увидела царя почти у самого окна кареты, которое я успела опустить, низко и глубоко ему поклониться и получить поклон и улыбку, доказавшие, что он меня узнал.

Через несколько дней Керну, бывшему дивизионному командиру, князь Волконский от имени царя предложил бригаду, стоявшую в Дерпте. Муж согласился, сказав, что не только бригаду, роту готов принять в службе царя.

IV

В этот мой приезд в Петербург я встретила Пушкина в доме тетки моей Олениной. Отец меня представил Крылову, Гнедичу, и я видела Карамзина[11] с его гордой, даже надменной супругой. Некто сказал, когда вошел Карамзин и жена его в залу, где разыгрывались шарады: «Oui, c'est là m-me Карамзин, on le voit à sa

morgue!»* Больше я их не видала; она была первою любовью Пушкина. Все знают, что он пожелал получить ее благословенье перед смертью. Я думаю, он никого истинно не любил, кроме няни своей и потом сестры. В этот же приезд мой в Петербург, когда разрешили балы после смерти Екатерины Павловны, любимой сестры императора, я была представлена, моею бабушкою Муравьевой, госпоже Афросимовой[12], так верно списанной графом Л. Н. Толстым. Представление было успешно: я имела счастье ей понравиться. Встретив пасху у родных в Тверской губернии, мы направились к новому назначению моего мужа, в Дерпт. Этот милый Дерпт всегда мне будет памятен. Мне там было хорошо.

Ко мне туда приехали дорогие гостьи, тетка[13] и многолюбимая сестра Анна Николаевна Вульф, которая приехала летом и осталась у меня гостить до зимы. Мы там много читали, много гуляли, выходили и выезжали всегда вместе. Керн лечился — я тоже брала ванны и лечилась понемногу.

Знакомство наше было не многочисленное, но такое, как лучше нельзя пожелать. Девицы Фурман, из которых одна долго жила у моей тетки Олениной... Они меня познакомили с Мойер и матерью ее Протасовой[14].

М-me Мойер, ангел во плоти, первая любовь Жуковского и его муза, подружилась с нами, и мы почти каждый день виделись. У нее не было тогда детей, хотя она страстно их желала. Между ними не было страстной любви, только взаимное уважение. Она любила прежде Жуковского — и любовь эта, чистая и высокая, кажется, не угасала никогда. Впоследствии бог дал ей желанное дитя, и я его видела через несколько лет подле бабушки ее, грустной, осиротелой матери...

Мария Андреевна умерла, кажется, после родов.

Никогда не забуду времени, проведенного с нею и у нее в ее маленьком садике или в ее уютной гостиной, слушая музыку: она с мужем играла очень хорошо на фортепиано в четыре руки, оба близорукие и в очках; или осенью сидящую на маленьком стуле, где-нибудь за дверью и убаюкивающую дитя, взятое у родных мужа, которое баловала изо всех сил.

---

* Да, это г-жа Карамзина, ее по спеси узнаешь! *(фр.)*.

Не мудрено, что я уже никуда не хотела из такой эстетической среды. Но мне повелели ехать на маневры в Ригу, и я скрепя сердце поехала в сопровождении милой сестры, ободрявшей меня своей любовью и ласками.

Нас посещал иногда дивизионный наш командир, генерал Лаптев, весьма суровая и непривлекательная личность, принявший сначала мужа весьма неблагосклонно, потом сделавшийся нам приятелем и даже доброжелателем, так что когда по команде прислан был мне великолепный фермуар, подарок кума-императора, то он привез его мне сам и выразился весьма фигурально — о сиянии от бриллиантов около фермуара... Не припомню хорошенько выражения, но тут был очень тонкий комплимент моей красоте.

Увы! я не долго пользовалась этим дорогим украшением.

Мне говорили, что этот фермуар был сделан на заказ в Варшаве и стоил шесть тысяч ассигнациями.

У нас бывал тоже генерал Кайсаров [15]. Он очень заботился о восстановлении Керна в прежних его правах и ухаживал за мною. Я его не любила за то, что он мне казался фальшив, умея угождать Керну, и еще за то, что был красив собою, а я не любила писаных красавцев, каким он был, самонадеян и — генерал, в худшем значении этого слова.

Мы переезжали из города в город, поджидая и осматривая полки нашей бригады. Керн ездил то провожать их, то встречать; а мы с Анной Николаевной жили в маленьком городке Валке, в весьма поэтическом домике с садиком, при выезде из города.

Мы долго тут еще жили: до начала маневров и приезда государя.

Очень было весело и даже шумно. У хозяйки было несколько сестер и муж, хотя пожилой, но без селадонных нежностей и ухаживаний за молодою, хорошенькою женщиною... Он был очень важен и серьезен.

Они нас однажды позвали обедать, и меня очень удивило меню обеда: было одно большое блюдо рябчиков, весьма вкусно приготовленных в соусе,— и потом вафли, сыр и десерт. Блюда подавали по два раза, но только всего два и никогда больше.

Однажды вечером, в сумерках, прибегает Кайсаров с озабоченным видом: он не знал, что мы здесь, и долго нас искал.

— Je vous cherche partout*,— сказал он,— мне нужно с вами поговорить.

— Что такое?

— Не хотите ли написать письмо к Сакену? Я слышал, он хорошо к вам расположен.

— Охотно! — отвечала я ему, села и написала... В этом письме я просила забыть его неудовольствия к мужу и проч. Письмо Кайсаров сам взялся доставить и удалился.

На другой день был какой-то смотр еще до царя — репетиция.

Я туда поехала с сестрою и несколькими знакомыми дамами.

Я замечаю, что, неведомо себе, я в своем рассказе отдаляю замечательную, не только знаменательную, дорогую для меня — последнюю встречу с императором! Продолжаю. Моя карета стояла на весьма почтительном отдалении от места действия, так что я весьма удивилась, когда несколько всадников отделились от группы генералов и всего êtat-major и направились в мою сторону, имея во главе своей, тогда уже белого как снег, главнокомандующего Сакена. Они подъехали к карете, и Сакен протянул мне руку в открытое окно кареты и осыпал меня приветствиями и любезностями, поцеловал мою руку и сказал на прощанье: «Soyez tranquille, ma chère Анна Петровна, je ferai pour vous tout ce qui sera en mon pouvoir»**.

Мне сделалось так отрадно и весело, что я просила моих дам уехать, чтобы дома подумать о лестном обещании в ожидании бала. Я обещала им повезти их на настоящий смотр и маневры.

В этот же день приехал император и обедал со свитою главнокомандующего и прочими генералами у дворянства.

Вечером приготовили бал в зале собрания.

---

* Я везде вас ищу *(фр.)*.

** Будьте покойны, милая Анна Петровна, я сделаю для вас все, что от меня будет зависеть *(фр.)*.

Мы с сестрою переехали в городской дом наших хозяев и провели весь день тихо и мирно вдвоем. Керн обедал там же и возвратился довольно поздно в очень радостном расположении духа и начал меня, всегда ленивую, торопить туалетом, говоря, что я и то опоздала, что не хорошо приехать на бал позже императора. При этом рассказал утешительное известие о своем свидании с царем и некоторого рода примирении.

— За обедом,— сказал он,— император не говорил со мною, но по временам смотрел на меня. Я был ни жив ни мертв, думая, что все еще состою под гневом его! После обеда начал он подходить то к тому, то к другому,— и вдруг подошел ко мне: «Здравствуйте! Жена ваша здесь? Она будет на бале, надеюсь?»

На это Керн, натурально, заявил свою горячую признательность за внимание, сказал, что я непременно буду, и приехал меня торопить.

Я всегда имела странную особенность: как бы ни желала куда-нибудь ехать, особенно на балы, которые я очень любила, когда настанет минута отправляться, меня одолевала робость и нежелание двинуться, так, казалось бы, хорошо было остаться дома.

Но нечего делать, мы с сестрою начали одеваться; я позаботилась и о ее туалете. О своем же мне никогда не нужно было заботиться, мне было заранее выписано из Петербурга платье — тюлевое на атласе и головной убор: маленькая корона из папоротника с его воображаемыми цветами. Это было очень удобно для меня или моей лени и неуменья наряжаться. Я только заплела свою длинную косу и положила папоротниковую коронку, закинув длинные локоны за ухо, и прикрепила царский фермуар, как вошел муж, и мы втроем поехали....

Можно сказать, что в этот вечер я имела полнейший успех, какой когда-либо встречала в свете!

Мы вошли. Царя еще не было. Слава богу. Зала была полна; но я заметила, не доходя до конца этой длинной овальной залы, на котором сидели почтенные дамы, маркизу Паулучи (первую жену маркиза)[16], больную и весьма несчастную на вид, и другие важные лица, и чтобы не заходить далеко и высоко, мы поместились с сестрою около менее важных дам в уголке,

у печки... На середине комнаты стояли мужчины из свиты императора и важнейшие лица, как, например, маркиз Паулучи, и проч.

Пока император не приехал, музыка не играла, слышен был только сдержанный говор ожидавших его...

Сакен меня заметил и, подойдя, вывел почти на середину залы, где остановился, и осыпал меня комплиментами, и просил снять длинную перчатку, чтобы расцеловать мне руку; я очень сконфузилась, разумеется, оробела, неловко раскланялась с ним и воротилась в свой уголочек.

Я об этом распространяюсь потому, что много лет спустя, когда я была в Риге, мне напоминали некоторые знакомые о моей робости и скромности, очень нравившихся во мне всем...

Керн подвел меня к маркизе; ему, кажется, хотелось, чтобы она меня усадила подле себя, но я, раскланявшись, удалилась опять в свой угол — и благо мне было!

Скоро вошел император, грянула музыка с хор, и m-me Сеси,— ожидавшая там,— своим громким голосом пропела ему хвалебный гимн. Он кончался припевом:

Viva, Alexander, viva!
L'onor di nostra Età *.

Никогда я столько не восхищалась походкой императора, ему одному свойственной! Он не ступал по зале, а как будто несся на облаках,— спросите у очевидцев — все это скажут. В этой походке примешивалась робость к неописанной грации. Он вошел, остановился, выслушал гимн г-жи Сеси с благосклонной улыбкой, прошел несколько далее и, по странной, счастливой случайности, остановился прямо против меня и очень близко, потому что толпа в средине так была велика и пространство между ею и дамами, сидевшими вокруг залы, было так мало, что нужно было только сделать один шаг и протянуть руку, чтобы ангажировать даму. Маркиз Паулучи сделал список дамам, который и прочитал императору... Ему, кажется, хотелось, чтобы император соблюл в танцах чинопочитание, но император обратился, не дослушав списка, к его супруге в перьях,

---

* Да здравствует Александр! Гордость нашего века *(ит.)*.

которой несколько раз делалось дурно от страха: она боялась как огня своего мужа; потом император взял в польский свою хозяйку, англичанку, жену негоцианта.

Потом увидел меня, свое скромное vis-à-vis,— и быстро протянул руку. Начались обычные комплименты, а потом сердечное выражение радости меня видеть — и расспросы о моем здоровье. Я сказала, что долго хворала и что теперь надеюсь полного выздоровления от чувства счастия по случаю возвращения его благосклонности к моему мужу. Он вспомнил, что мельком меня видел в Петербурге, и прибавил: «Vous savez pourquoi cela n'a pu être autrement*».

Я уж и не знаю, что он хотел этим сказать. Не потому ли только не встречался и не разговаривал со мною, что все еще гневался на Керна?..

Первые пары нас, по обычаю польского, разлучили; потом он еще раз меня взял и продолжал начатый разговор. Он сказал, что помнит, как мы молились в Полтаве, «dans cette petite église, si vous vaus souvenez?»**

Я сказала, что такие минуты не забываются. А он заметил: «Jamais je n'oublierai le premier moment où je vous ai vu!»***

Далее добавил: «Dites-moi, desirez-vous quelque chose?**** Не могу ли я вам быть полезен?»

Я отвечала, что по возвращении его благосклонного прощения моему мужу мне нечего больше желать и я этим совершенно счастлива. Опять прервали польский, и в третий раз он меня взял, чтобы опять спросить: не нужно ли мне что от него, и сказал эти незабвенные для меня слова: «Je veux que vous soyez dans l'aisance!»*****— и с нежною добротою проговорил: «Adressez-vous à moi comme à un père!»******

После этого спросил еще: «буду ли я завтра на маневрах». Я отвечала, что непременно буду, хотя вовсе этого прежде не желала, боясь до смерти шума и стрельбы.

---

* Вы знаете, почему не могло быть иначе *(фр.)*.

** в той маленькой церкви, если вы помните? *(фр.)*

*** Никогда не забуду первую минуту, когда я вас увидел! *(фр.)*

**** Скажите, не желаете ли вы чего-нибудь? *(фр.)*

***** Я хочу, чтобы вам было хорошо! *(фр.)*.

****** Обращайтесь ко мне, как к родному отцу! *(фр.)*

Немного погодя Кайсаров подбежал ко мне и сказал: «J'espére que vous devez être contente de votre soirée?»*

V

Маневры сорокатысячного корпуса были за Двиной, по ту сторону Московского форштадта, на огромном поле. В конце этого поля сооружена была весьма красивая галерея, обвитая зеленью,— совсем сквозная: на стороне ее, обращенной к полю, был балкон, с которого дамы смотрели на маневры,— а когда все кончилось и в нижней части галереи накрыли стол и все съехались с маневров обедать, то дамы, обратившись назад к балюстраде, могли видеть обедающих.

Случай доставил мне место прямо над верхним концом стола.

Император шел очень тихо и грациозно, все пропуская перед собою старика Сакена, потом посадил его на первое место в конце стола, по правую свою сторону.

Когда они уселись, заиграла музыка, очень хорошая, одного из наших морских полков,— и заиграла любимые мои арии вместо увертюр...

Формалист Лаптев, дивизионный командир, весьма взволновался этим, особенно когда они заиграли прелестный русский мотив с вариациями:

Возле речки, возле мосту,..

Император, разумеется, не обращал на это никакого внимания. Он в это время просил, делая знаки рукой, чтобы не отталкивали бедную, очень старую женщину, которая все еще двигалась вперед, чтобы лучше на него посмотреть.

Между тем Сакен взглянул кверху и приветливо мне поклонился. Это было так близко над их головами, что я слышала, как император спросил у него: «Qui saluez vous, général»**.

Он отвечал: «C'est m-me Kern!»***

* Надеюсь, вы довольны сегодняшним вечером? *(фр.)*
** Кому вы это кланяетесь, генерал *(фр.)*
*** Это г-жа Керн! *(фр.)*

Тогда император посмотрел наверх и, в свою очередь, ласково мне поклонился. Он несколько раз смотрел потом наверх. Я любовалася всеми его движениями и в особенности манерой резать белый хлеб своею белою прекрасною рукой.

Но — всему бывает конец — и этому счастливому созерцанию моему настала минута — последняя! Я и не думала тогда, что она будет самая последняя для меня...

Вставая из-за стола, император поклонился всем — и я имела счастье убедиться, что он, раскланявшись со всеми и совсем уже уходя, взглянул к нам наверх и мне поклонился в особенности. Это был его последний поклон для меня... До меня дошло потом, что Сакен говорил с императором о моем муже и заметил, между прочим: «Государь, мне ее жаль!»

Он ушел — другие засуетились, и блистательная толпа скрыла государя от меня навеки...

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
О МОЕМ ДЕТСТВЕ

«Еще одно, последнее сказанье—
И летопись окончена моя...»

Февраль 1870 г. Лубны

Начну с начала. Не думайте, почтенный мой читатель (если я удостоюсь такового иметь), что *начало* ничего не значит; напротив, я убедилась долгим опытом, что оно много и много значит! Роскошная обстановка и любовь среды, окружающей детство, благотворно действуют на все существо человека, и если вдобавок, по *счастливой случайности,* не повредят сердца, то выйдет существо, презирающее все гадкое и грязное, не способное ни на что низкое и отвратительное, не понимающее подкупности и мелкого расчета. Дайте только характер твердый и правила укрепите; но, к несчастию, пока все или почти все родители и воспитатели на это-то и хромают; они почти сознательно готовы убивать, уничтожать до корня все, что обещает выработаться в характер самостоятельный в их детях. Им нужна больше всего покорность и слепое послушание, а не разумно проявляющаяся воля...

Я родилась в Орле, в доме моего деда Ивана Петровича Вульфа[1], который был там губернатором. Мне и теперь случалось встречать старожилов, вспоминающих о нем с благоговением, как о высокой и благодетельнейшей личности. Я часто повторяюсь в моих воспоминаниях об этом бесподобном человеке, но мне бы хотелось, чтобы узнали все, как он расточал когда-то всем окружающим благодеяния и ласки. Я опять обращусь к нему впоследствии; но теперь довольно.

Бабушка моя Анна Федоровна, дочь Федора Артамоновича Муравьева[2], ездила со всем своим семейством в Петербург в конце прошлого века к брату Николаю Муравьеву, бывшему С.-Петербургскому обер-полиц-

мейстеру, по случаю женитьбы его на Наталии Васильевне Апраксиной, очень богатой, некрасивой, сварливой и скупой... Брак был по расчету... Заключено было условие между ними, что оставшийся в живых получит все состояние умершего... Николай Федорович умер прежде Наталии Васильевны, и она присоединила 70 душ его к своим 2000 и 50 лет после него жила и играла в карты...

Во время поездки моей бабушки в Петербург мать моя Екатерина Ивановна[3] вышла замуж за Петра Полторацкого[4], сына Марка Федоровича[5] и известной Агафоклеи Александровны, рожденной Шишковой[6]; а брат ее Николай Иванович Вульф[7] женился на Прасковье Александровне Вындомской. Это была замечательная пара. Муж нянчился с детьми, варил в шлафроке варенье, а жена гоняла на корде лошадей или читала Римскую историю... От последнего брака произошли: друг Пушкина Алексей Николаевич Вульф, сестра его Анна Николаевна, с которою я была дружна всю жизнь, Вревская Евпраксея[8] и другие.

После этих свадеб дедушка получил место губернатора в Орле и поехал туда с бабушкой и двумя парами новобрачных.

Я родилась под зеленым штофным балдахином с белыми и зелеными страусовыми перьями по углам 11-го февраля 1800 года. Обстановка была так роскошна и богата, что у матери моей нашлось под подушкой 70 голландских червонцев, положенных посетительницами *.

Мать моя, восторженно обрадованная моим появлением, сильно огорчалась, когда не умели устроить так, чтобы она могла кормить; от этого сделалось разлитие молока, отнялась нога, и она хромала всю жизнь.

Мать моя часто рассказывала, как ее огорчало, что сварливая и капризная Прасковья Александровна не всегда отпускала ко мне кормилицу своей дочери Ан-

* Эти червонцы занял Иван Матвеевич Муравьев-Апостол[9] в 1807 году. Он был тогда в нужде. Впоследствии он женился на богатой и говорил, что женился на целой житнице, но забыл о долге... Что, если бы наследники вспомнили о нем и помогли мне теперь в нужде?.. *(Прим. А. П. Керн.)*

ны, родившейся 3 месяцами ранее меня, пока мне нашли другую.

Батюшка мой с пеленок начал надо мною самодурствовать... Он был добр, великодушен, остроумен по-вольтеровски, достаточно по тогдашнему времени образован и глубоко проникнут учением Энциклопедистов, но у него было много задористости и самонадеянности его матери Агафоклеи Александровны, урожденной Шишковой, побуждавших его капризничать и своевольничать над всеми окружающими... От этого его обращение со мною доходило до нелепости... Когда, бывало, я плакала, оттого что хотела есть или была не совсем здорова, он меня бросал в темную комнату и оставлял в ней до тех пор, пока я от усталости засыпала в слезах... Требовал, чтобы не пеленали и отнюдь не качали, но окружающие делали это по секрету, и он сердился, и мне, малютке, доставалось... От этого прятанья случались казусы, могшие стоить мне жизни.

Однажды бабушка унесла меня, когда я закричала, на двор во время гололедицы, чтобы он не слыхал моего крика; споткнулась на крыльце, бухнулась со всех ног и меня чуть не задавила собою.

В другой раз две молодые тетушки качали меня на подушке, чтобы унять мои слезы, и уронили меня на кирпичный пол... Это было в дороге. Батюшка вез матушку лечиться в Сорочинцы (Полтавской губернии) к знаменитому тогда Трофимовскому. Он направился к живописным Лубнам, где ему хотелось укорениться. В Лубенском уезде дано ему было бабушкою моею в управление имение в 700 душ.

В обращении с крестьянами и прислугою он проявлял большую гуманность. Он был враг телесных наказаний и платил жалованье прислуге в то время, когда на мужиков смотрели исключительно как на рабочую силу... Впрочем, несмотря на гуманность, он, в припадке спекулятивных безумий, продал раз на своз целое селение крестьян.

Спекуляции его разорили. Они имели характер более поэтический, чем деловой, и лопались, как мыльные пузыри.

Чтобы отдохнуть от лечения и разных семейных забот и смущений, мать поехала вместе со мною и дру-

гой дочерью, которую сама кормила, к родителям своим, жившим тогда в Тверской губернии, в собственном имении Бернове. В Бернове мы прожили год, потому что я и сестра заболели скарлатиною, от которой сестра умерла. Из этого года мне памятны няня Васильевна, которая варила мне кашу из сливок, крики на нее батюшки, чтобы она не смела усыплять меня сказками и вообще сидеть около меня, когда я уже положена в постельку, болезнь и противные лекарства, которые меня заставляли принимать. Засыпать одной мне было ужасно, и мне казалось, что приказание батюшки, чтобы няня не сидела возле меня, пока я засну, отдано было мне назло, так как я боялась одиночества в темноте...

Нас было несколько детей в Бернове, из них помню хорошо одну Анну Николаевну Вульф, с которою мы были дружны, как родные сестры. Мы обедывали на маленьком столике в столовой, прежде обеда старших за час или за два. За обедом присутствовала одна из наших няней: моя Пелагея Васильевна и ее Ульяна Карповна, обе добрые, усердные и ласковые. Мне было хорошо и привольно в Бернове, особенно в отсутствие батюшки: все были очень внимательны и нежны ко мне, в особенности наш бесподобный дедушка Иван Петрович Вульф.

Он очень любил птиц. В обеденной зале, смежной с его кабинетом, находилась вольерка с канарейками. Там были гнезда, и их было очень много. Однажды я села на колени к дедушке и сказала ему: «Я думаю, что жареные канарейки очень вкусны, и я бы хотела, чтоб он приказал жарить мне канареек». Мне не приходило в голову, что их для этого надо убивать: я никогда не ходила в кухню, она отстояла далеко от дому, и не имела понятия о том, как готовятся кушанья... Дедушка не сделал никакого наставления по поводу моего жестокосердия и с своею доброю, кроткою улыбкою сказал: «Хорошо, я велю...» И когда я ушла из залы, приказал стрелять воробьев и жарить... Пользуясь, впрочем, этим, было украдено несколько канареек, и я, заметив убыль, объявила дедушке, что уже довольно жарить канареек, что их уже мало осталось... Дедушка никогда не сердился и на этот раз никого не

бранил за пропажу канареек, а выразил только огорчение... и воровство прекратилось. Никто не слышал, чтобы он бранился, возвышал голос, и никто никогда не встречал на его умном лице другого выражения, кроме его обаятельной, доброй улыбки, так мастерски воспроизведенной (в 1811 г.) карандашом Кипренского на стоящем передо мною портрете. Этот портрет рисовался в Твери, и я стояла, облокотясь на стол, за которым сидел дедушка и смотрел на меня с любовью...

Жена дедушки Ивана Петровича — Анна Федоровна была урожденная Муравьева, близкая родственница известного Михаила Никитича Муравьева[10], воспитателя и друга Александра I. Я помню двух сыновей его, Никиту и Александра, приезжавших к нам из Москвы в Берново. Они были ужасно резвы, сорвиголовы, и я их не любила за бесцеремонность обращения со мною и моей кузиною Анной Николаевной Вульф, мечтавшими выйти замуж за Нуму Помпилия или Телемаха, а в случае неудачи за какого-нибудь из русских великих князей. Бабушка Анна Федоровна и сестра ее Любовь Федоровна, нежно мною любимая и горячо привязанная к моей матери, были аристократки. Первая держала себя чрезвычайно важно, даже с детьми своими, несмотря на то, что входила во все мелочи домашнего хозяйства. Так, например, я помню, что в ее уборную приносили кувшины молока и она снимала с них сливки для всего огромного ее семейства. Пироги всегда лепились при ней на большом столе в девичьей, огромной комнате с тремя окнами. Тут пеклись хлебы к светлому празднику и часто разбирался осетр в рост человека. Важничанье бабушки происходило оттого, что она бывала при дворе и представлялась Марии Федоровне во время Павла I с матерью моею, бывшею тогда еще в девицах. Императрица Мария Федоровна, всегда приветливая и ласковая, познакомила мою мать с своими дочерьми Еленою и Александрою Павловнами, сравнивала их рост, и мать моя говорила, что она никогда не видала никого красивее их.

Помню, как бабушка Анна Федоровна долго не соглашалась на брак своей дочери Натальи Ивановны с Василием Ивановичем Вельяшевым, добрейшим челове-

ком, но игроком, получившим из-за карт большую неприятность, и как, согласившись потом по убеждению сыновей, устроила парадный сговор... пригласила гостей, и когда все уселись и Василий Иванович подошел к ней, она взяла руку дочери, положила ее в руку жениха и торжественно сказала: «Василий Иванович, примите руку моей дочери...» Потом быстро ушла, сказав дочери тихо: *«Твоя свадьба — мой гроб»...* После этого она скоро умерла... Наталия Ивановна и Василий Иванович были очень добры, любили друг друга и были счастливы, хотя он и разорялся от карт, но жена все ему прощала.

У бабушки и у дедушки я прожила с родителями до трех лет, и потом мы поехали в Лубны, где отец мой строил второй дом на чрезвычайно живописном месте, на окраине горы над Сулою, среди липовых, дубовых и березовых рощ, красиво сбегавших по террасам и холмам к реке... За рекою раскидывался обширный вид верст на 25. Этим видом любовался князь Алексей Борисович Куракин, говоривший, что не видал ничего лучшего в Швейцарии. Этот Куракин[11] бывал у нас в этом втором доме отца и держал меня на руках, когда доктор прививал мне оспу. Я, разумеется, расплакалась во время этой операции, и он, утешая, говорил: «Это блошка укусила». (Оспопрививание в ту пору было еще редкостью в Лубнах, и все были в страхе за меня.) Он был настоящий магнат с величавой осанкой и самою аристократическою грациозностью и ласковостью. Все лицо его сияло добротою и умом. Он был очень образован и любил моего отца. У отца тогда были друзьями замечательные люди, как например, князь Виктор Павлович Кочубей[12], близкий императору Александру; князь Лобанов-Ростовский[13], генерал-губернатор впоследствии, и другие. Все они видели в отце моем благонамеренного и умного деятеля.

Когда мы приехали к нему во второй его дом, то он еще не был достроен, и меня переносили по балкам в оконченные комнаты из сеней... Первый построенный отцом дом в Лубнах был им пожертвован под богоугодное заведение в первое трехлетие его предводительства в Лубенском уезде. Он был в этом уезде выше всех головою, и его уважали все. Прежде служил он

при Штакльберге во время посольства его в Швеции, и под влиянием его и развивался и читал. Что мудреного, что он обаятельно подействовал на простодушных тогда лубенцев и снискал их уважение и расположение.

Тут замечу, что тогдашняя молодежь, хотя и знала менее, чем нынешняя, но то, что выучила, знала основательно, и в ней не было того легкомыслия, того схватывания вершков в науках, той распущенности, какая бросается в глаза теперь... Тогда руководились нравственными принципами и отличались силою убеждений. Не так в настоящее время... Тогда в число научных предметов входила мифология, и один офицер стоявшего в Лубнах полка, Брозин, переписал на память часть «Lettres à Emilie sur la Mythologie par Demoustier»* для моей матери, когда она потеряла ее и очень об этом сожалела... Подобным образом тогдашняя молодежь знала все науки. Ну, да не об этом речь...

Лубны в это время были наполнены отличными людьми, даже по образованию не слишком запоздалыми. Городничий был Артюхов, очень образованный человек, не портивший нашего кружка. Аптекарь казенной аптеки — старый-престарый Гильдебрандт, очень добрый, почтенный немец, и его жена, радушная и отличная хозяйка, подобно которой мудрено было встретить. Они жили открыто, были очень гостеприимны, и гости наполняли их дом постоянно. Стол был такой лакомый и изобильный, какой теперь трудно встретить. Так было и у дочерей их, из которых одна была за Кулябкою, другая за Новицким, а третья за Пинкорнелли, бывшим впоследствии городничим в Лубнах. У этой последней обеды доходили до изумительной роскоши. Во всех этих семействах чистота в домах была такою, какой я не встречала нигде. Пинкорнелли не ел никаких других птиц и животных, кроме белых, и говорил: «Que diable, ни про что знать не хочу, мне чтобы все было...» И действительно, являлось все. Кулябкины были образцовые супруги, и хотя жена была лютеранка, а муж ее православный, но она с ним ездила к заутрене даже в трескучие морозы и соблюдала

---

* Демустье Ш.-А. Письма к Эмилии о мифологии *(фр.)*.

все посты. При этом говорила: «Мне *неможно* не ехать к заутрене, милочка-душечка, когда мой Николай Иванович едет... а потом мы вместе кофе пьем...» Кофе подавали им в разных кофейниках, на том основании, что первая чашка бывает лучше и чтобы не было никому из них обидно. Их завтраки отличались изобилием и необыкновенною чопорностью. Несметное количество различных пирожков и много закусок, домашних и купленных, в особенности водки были верх изящества и разнообразия и красовались в граненых графинах, на которых были красивые надписи, вырезанные из бумаги ярлычки — *«кардамонная», «горькая», «мятная»* и проч. Гостям приходилось отведовать их хотя по капельке, но пьяных я никогда не видала. Кутеж не был тогда à l'ordre du jour*. Случалось, что отдельные личности на праздниках были розовее других, но больше ничего. Добрейшая хозяйка этого радушного дома была до того чопорна и до того прюдка**, что закрывала даже шею платочком от нескромного взгляда. Этот, однако, платочек был вымыт в шафране, чтобы оттенял белизну кожи на лице. Спавши на одной кровати с мужем, она укрывалась отдельно от него простынею и одеялом... У нее однажды сделалась рана на ноге, пригласили доктора, он нашел нужным осмотреть рану, и его заставили смотреть в дырочку на простыне, которая была повешена через комнату, на больную ногу, тщательно закрытую платками, кроме того места, где была рана. Любовь ее к мужу внушила ей одеть его могилу ползущим по земле густым растением с мелкими ярко-зелеными листиками, называемым в Малороссии барвинком. Это было очень красиво и заставляло думать, что в доброй ее душе была поэзия... Все эти три семейства отличались, кроме хлебосольства, чистоплотности, еще такою деликатностью, какой трудно встретить в нынешнем распущенном и плохо воспитанном поколении... Вот поэтому-то с этими добряками приятно и привольно было жить и более просвещенным, чем они, людям. Одна из этой семьи не делала за-

* в порядке вещей *(фр.)*.

** от *фр* prude — приторно добродетельный, преувеличенно стыдливый, недоступный.

мечаний мужу из деликатности даже тогда, когда он смелыми оборотами доводил семью до разорения, на том основании, как говорила она впоследствии сыну, что все имение принадлежало ей.

Подобных этим было много и в Лубнах и в уезде. Моя семья со всеми ими водила хлеб-соль.

Из уездных самые близкие были Алексеевы. Они жили на старый манер, очень роскошно, в большом замке, наполненном шутами, приживалками, и даже был сумасшедший... Раз этот последний гостил у нас с ними летом, а я, шестилетняя, гуляла без всякого надзора на горке перед балконом и встретила его... Я предложила ему идти вниз, в гости к очень добрым людям, у которых всегда были для меня лакомства. Он пошел. Надо было перейти по узкому карнизу под горой, над огромным обрывом, и даже было такое место, что пропасть зияла с одной стороны тропинки. Этот сумасшедший взял меня на руки и перенес через опасное мсcто, и мы благополучно дошли через лес к добрым знакомым. Они жили в домике, в роще, на очень живописном месте.

Алексеевы лечились у доктора Голованова, который потом женился на нашей родственнице, проживавшей в нашем доме. Он был высоконравственный, образованный и добрый человек, занимавшийся, кроме медицины, садоводством и доведший свой сад до того, что в нем произрастал виноград и плоды Южной Франции. А что у него были за цветы! Его искусство как медика в соединении с чудным климатом и красивою природою привлекали в Лубны многих больных из очень далеких мест.

У означенных добрых людей сумасшедшему дали водки, а мне конфекты, и мы с ним возвратились домой. Мать моя пришла в ужас от этой прогулки моей с сумасшедшим, могшим швырнуть меня в пропасть, отняла конфекты и засадила в темную комнату. Мне казалось, что лучше бы было, если за мною больше присматривали, чем наказывали без вины. Тут кстати заметить, что хотя *чувство* родительское прекрасно и священно, но *власть* родительская далеко не благотворна в большинстве случаев... Она направляется ча-

сто не на воспитание детей, по их способностям и влечениям, а по своим соображениям устраивает их карьеру, не спросясь их желаний и наклонностей, и бросает их в брак сообразно с своими выгодами, а не с сердцем детей и в конце концов выходит несчастие.

Не могу умолчать еще о двух семействах: аптекаре казенной аптеки Виндинге и вольной — Деле. Первый был женат на очень умной швейцарке, занимавшейся воспитанием девочек, и всего себя посвящал на работу в казенном ботаническом саду. Почтенный же Деле с своей добрейшей женою сдслали свою аптеку славною на сотни верст в окружности, заслужив всеобщую любовь и уважение.

Все они до такой степени были гостеприимны и добродушны, что для удовольствия других не щадили ни себя, ни своего покоя. Так, раз батюшка мой вместе со своею семьею и скрипачом приехал ночью, после ужина, к старичкам Гильдебрандтам, разбудил их и устроил танцы. Старички не только не рассердились, но изо всех сил суетились, чтобы угостить, и были очень счастливы, смотря на веселящихся.

Батюшка мой был очень веселого нрава. В нашем обществе являлся и городской голова Роман Федорович Ждан, умный купец, очень почтенная личность по честности и доброте и весьма любезный по своему бесконечному юмору. Он на всех вечеринках пел с нами малороссийские песни и смешил нас местными анекдотами... В особенности он был очень хорош, когда, избрав для шуток своих жертву, рассказывал ей самым добродушным образом смешные про нее же анекдоты. К этим и многим другим тогдашним людям я до сих пор питаю самые добрые чувства.

Гостиные тогдашних дворян оглашались говором военных, отличавшихся необыкновенной учтивостью, любезностью, образованием и далеко превосходивших во всех отношениях нынешних армейских офицеров.

Тогда тут стоял полк Мелиссино[14], очень умного и доброго серба. Этот генерал говаривал: *«Палытыка, палытыка, а рубатыся треба!..»*

Этот почтенный старик очень был мил со мною. Раз, когда мне было 4 года, один офицер на вечере

у нас посадил меня на колени, слушая, как я читаю, и очень любезно со мной шутил... Это так мне понравилось, что я обещала ему выйти за него замуж. Когда он ушел, я сказала матери. Она, смеясь, сообщила это решение Мелиссино. Старик хотел узнать, кого я осчастливила своим выбором, но я не могла назвать своего фаворита, потому что не знала его фамилии. Тогда он стал подводить ко мне, сидевшей на комоде, всех офицеров полка... Оказалось, что избранный мной был Гурьев.

Все эти военные и гражданские очень меня ласкали, и среди них прожила я с своею доброю семьею до 8-ми лет.

Несмотря на постоянные веселости, обеды, балы, на которых я присутствовала, мне удавалось удовлетворять своей страсти к чтению, развившейся во мне с пяти лет. Я все читала тайком книги моей матери...

В куклы я никогда не играла и очень была счастлива, если могла участвовать в домашних работах и помогать кому-нибудь в шитье или вязанье... Мне кажется, что большой промах делают воспитатели, позволяя *играть* детям *до скуки,* и не придумывают занимательного для них и полезного труда, верного лекарства от скуки.

Куклы, на мой взгляд, разговоры с ними и прочее приучают детей верить в представления своего собственного воображения, как в действительность, и делают детей самообольщающими себя, мечтательными, обманывающими самих себя... Как я сказала, книги заменяли мне игру в куклы, и я так пристрастилась к чтению, что когда была замужем и жила в Петербурге, то прочла всю библиотеку Лури, и он не знал под конец, что мне давать. Но обратимся к моему детству...

Росла я на свободе и в большом изобилии. Отец мой угощал обедами все сословия и внушал всем любовь, уважение и вместе с тем боязнь попасть ему на зубок. Он был очень остер, и его шутки были очень метки...

Состояние его заключалось в двух деревнях под Лубнами в 700 душ с домами, землях и крестьянах в самих Лубнах. Он потом приобрел 150 душ и 1500 деся-

тин за 40 тысяч ассигнациями и, продав их *на своз,* купил скота, сварил бульон, которым предполагалось кормить армию во время войны, повез его в Петербург, чтобы продать его в казну, но не хотел подмазать приемщиков, и бульон его забраковали. Он привез его в Москву, сложил его там. Пришел Наполеон и съел бульон... Подобными аферами полна его жизнь. Так, например, он, получив землю в Киеве (места в Киеве раздавались тогда даром), вздумал построить, не имея ни гроша денег, огромный дом для всех лучших магазинов и ездил к хозяевам этих магазинов, убсждал их заплатить ему вперед за проектированные в будущем доме квартиры годовую плату с тем, что он на полученные деньги устроит им помещения в их вкусе. Рабочие были уже наняты, барак для них уже построен в долг, и вся афера кончилась процессом. Всех его афер мне и не перечесть... Упоминаю о них для того, чтобы показать, каким путем мы постепенно доходили до разоренья, несмотря на частую помощь бабушки моей Агафоклеи Александровны. Это была замечательная женщина. Она происходила из фамилии Шишковых. Вышла замуж очень рано, когда еще играла в куклы, за Марка Федоровича Полторацкого. Ее выдали замуж, разумеется, без любви, по соображениям родителей... Против подобных браков, то есть браков по расчету, я всегда возмущалась. Мне казалось, что при вступлении в брак из выгод учиняется преступная продажа человека, как вещи, попирается человеческое достоинство, и есть глубокий разврат, влекущий за собою несчастие... Ну, да об этом так много писано, что нечего распространяться, тем более что никто и не внемлет.

Она имела с ним 22 человека детей. Все дети ее были хорошо воспитаны, очень приветливы, обходительны... но довольно легкомысленны и для красного словца не щадили *никого* и *ничего.* Они были невысокого мнения друг о друге и верили всяким нелепостям про своих. Как бы они ни говорили, ума было много, но чувства мало. Лучший из них и богатейший по жене был Дмитрий Маркович. Он был бесконечно добр.

Отец мой был одним из младших и менее других любимым своею матерью.

Она была красавица, и хотя не умела ни читать, ни писать, но была так умна и распорядительна, что, владея 4000 душ, многими заводами, фабриками и откупами, вела все хозяйственные дела сама без управляющего через старост. Этих старост она назначала из одной деревни в другую, отдаленную, где не было у них родни. Она была очень строга и часто даже жестока. Жила она в Тверской губернии, в селе Грузинах, в великолепном замке, построенном Растрелли. Он стоял на возвышении. Перед ним лужайка, речка, на ней островки. За ними печальные, выстроившиеся в одну линию каменные избы крестьян. Она всякую зиму лежала в постели и из подушек ее управляла всеми огромными делами, все же лето она была в поле и присматривала за работами. Она из алькова своей прекрасной спальни, с молельною, обитою зеленым сукном, перенесла свое ложе в большую гостиную, отделанную под розовый мрамор, и в этой ее резиденции я впервые увидела ее. Она меня чрезвычайно полюбила, угощала из своей бонбоньерки конфектами и беспрестанно заставляла меня болтать, что ее очень занимало. В этой комнате были две картины: спаситель во весь рост и Екатерина II. Про первого она говорила, что он ей друг и винокур; а вторую так любила, что купила после ее смерти все рубахи и других уже не носила.

Бабушка заметила, что я всегда плакала, когда выдавали горничных девок замуж, дразнила меня часто тем, что обещала выдать замуж за одного из своих старост...

При ней жило много приживалок, и она любила забавляться их болтовнею, ссорами, сплетнями. Это все заменяло ей чтение. У нее бывали по преимуществу только те, которые имели с нею дела или надеялись получить от нее какие-либо выгоды, бывали соседи — общество весьма неинтересное, по большей части невежественное, ничего не читавшее, праздное, далекое еще от сознания, что труд обусловливает жизнь, дает ей полноту, смысл, что в нем только человек находит некоторое удовлетворение в своих стремлениях. Посетители бабушки скучны были, скука была неотъемлемою их принадлежностью, и они возили ее всюду с собою. Кормила их бабушка дурно. Обеды у нее бы-

ли преневкусные. Сама же ела сластно за особым столом, сидя на постели. Редкости разные подавались ей в особых сосудах, из них и мне удавалось иногда лизнуть. С батюшкой она была очень холодна, с матерью моею ласкова, а со мною нежна до того, что беспрестанно давала мне горстями скомканные ассигнации. Я этими подарками несколько возмущалась и все относила маменьке. Мне стыдно было принимать деньги, как будто я была нищая. Раз она спросила у меня, что я хочу: куклу или деревню? Из гордости я попросила куклу и отказалась от деревни. Она, разумеется, дала бы мне деревню; но едва ли бы эта деревня осталась у меня, ее точно так же бы взяли у меня, как и все, что я когда-нибудь имела.

Так, например, отдавая меня замуж, мне дали 2 деревни из приданого моей матери и потом, не прошло году, попросили позволения заложить их для воспитания остальных детей. Я по деликатности и неразумию не поколебалась ни минуты и дала согласие. На вырученные деньги заведены были близ Лубен фабрики: экипажная, суконная и горчичная... Все они вместе сделали то, что я осталась без имения, а отец мой — с большими долгами. Чтобы вознаградить меня и обеспечить будущность других детей, было завещено бабушкою 120 душ, 50000 и дана нам другими наследниками движимость Грузин и 60 душ. Все это должно было разделить между мною, двумя моими сестрами и братом. Но батюшка устроил так, что мы отдали ему и это на покупку имения княгини Юсуповой. Покупка не состоялась по неаккуратности отца, потому что мало было денег, и я опять осталась ни с чем. К этой жертве побудил меня брат, писавший что если я не дам своей части из означенных денег и имения, то все они останутся без куска хлеба. Я сочла себя обязанною исполнить эту просьбу... и приняла ее за обязательство от брата пектись и о моей участи за эту жертву. Брат, пользуясь тем, что означенными деньгами уплочена была уже часть цены за одно имение Юсуповой, доплатил ей при помощи займа и удачных оборотов сколько причиталось за него и стал обеспеченным человеком — а про мою жертву, помогшую ему составить се-

бе состояние, забыл!! Я по восторженной мечтательности своей, вере в брата и родных и по деликатности жертвовала родным, не спрашивая, обеспечат ли они меня за это, и вот около половины столетия перебивалась в нужде... Ну да бог с ними.

Кто не испытал неприятностей от родни? Я удивляюсь подчас, как еще дорожат некоторые родственными отношениями, когда они основаны не на свободном выборе сердца, а на измышленном каком-то долге и когда в них много зародышей для ссор и многих стеснений и неприятностей?..

Займусь опять бабушкою и моим счастливым детством... Когда бывала она недовольна кем-нибудь из детей, то проклинала виновного и называла Пугачевым. Батюшка мой чаще всех подвергался ругательствам и проклятиям за свои промахи в делах. Когда он сварил 150 душ в бульоне, то она послала в Малороссию доверенного своего отобрать у отца имения. Впоследствии одно из них ему было возвращено по просьбе Лобанова-Ростовского, благоволившего к отцу. Но прежде этого я, десятилетний ребенок, была свидетельницею страшной сцены по случаю означенного бульона, которою она встретила отца моего, приехавшего к ней из Бернова! Когда он входил к ней, ее чесали. Она вскочила. Седые ее волосы стали дыбом, она страшно закричала, изрекла несколько проклятий и выгнала. Он хотел взять мать и меня и уйти, но она потребовала, чтобы мы остались. Мы просидели у нее целый вечер, и она старалась быть любезной и ни слова не говорила о ссоре с отцом. Батюшка пошел к камердинеру своего отца, очень доброму человеку, и провел с ним вечер... На другое утро, в воскресенье, она весь свой двор услала к обедне, а сама осталась дома. Матушка вместе со мною пришла к ней пожелать доброго утра. Она послала за отцом. Когда тот вошел и подошел к руке, она с ним поцеловалась и сказала: «А мы вот говорим о наших чудесах... Слышал ли ты, какие нонче браки бывают...» Известный нам всем Ф. П. Львов[15] женился на своей двоюродной сестре Львовой, имея 10-х детей от первой жены!! Разговор продолжали весьма дружески, и о ссоре помину не было.

В то время, когда она кричала отцу: вон! — она была так страшна, что я была в ужасе и заболела... В доме у нее никто не смел лечиться у докторов, а должен был прибегать к проживавшему у нее грубому венгерцу. Она не терпела докторов и безотчетно верила в невежественного шарлатана. Ко мне его привели, но я расплакалась, и его увели...

Такова была моя бабушка со стороны отца. Про мужа ее Марка Федоровича Полторацкого мало было слышно. Знаю, что он происходил из дворян Сосницкого уезда Черниговской губернии; что отец его, Федор Полторацкий, вследствие указов Петра I, требовавших, чтобы дворяне служили в военной службе, укрылся под сень духовного звания и был священником в Соснице; что упомянутый Марк Федорович учился в Киевской бурсе, пел там на клиросе в церкви, был взят оттуда Разумовским, восхитившимся его голосом, поступил в придворную капеллу, сделался придворным императрицы Елизаветы Петровны и, пользуясь ее милостями, доставил состояние своим братьям... Энергическая личность бабушки стушевывала его личность.

Противоположностию ей во всем могла служить милая моя бабушка, родная тетка моей матери, девица Любовь Федоровна Муравьева. Поговорим об этой симпатичной, любящей и доброй особе.

Она с самого замужества моей матери жила с нами. Она была любезная старушка. Красавица в молодости, она внушала вдохновение поэтам, и Богданович поднес ей свою «Душеньку»...[16] Не помню я горькой минуты в своей жизни, которою бы я ей была обязана, и таю в глубине сердца самые светлые о ней воспоминания... Никогда она меня не бранила, никогда не наказывала. Я только знала ее ласки, самые дружеские наставления, как ровне.

Когда я выросла, тогда всегда была готова сознаться ей в какой-либо неосторожности и просить ее совета... Между тем как другие живущие в доме или подводили меня под наказание, или сами умничали надо мною, она всегда была моим другом и защитником. Она продала свое имение за 8000 и отдала их отцу моему, с тем, чтобы он содержал ее и ее горничную, которая

была другом бабушки. Это также рисует ее доброту. Когда я выходила замуж, то она потребовала, чтобы из ее денег была употреблена 1000 на покупку фермуара для меня. Она ослепла от катарактов, так, как и мне угрожает судьба... Ей сделали неудачно операцию, и она через несколько лет умерла на моих руках... Я заболталась и забыла, что описываю жизнь в Лубнах в то время, когда мне было 8 лет.

В этом возрасте мать меня повезла в Берново к чудному моему дедушке Ивану Петровичу Вульфу. Она в это время лишилась 3-й своей дочери, ребенка необыкновенной красоты, была неутешна, и батюшка отправил ее к родным вместе с бабушкой Любовью Федоровной. Это было в 1808 году. Господский дом в Бернове стоял на горе задом к саду, впереди его большой двор, окруженный каменною оградою. Далее площадь, охваченная с обеих сторон крестьянскими избами, и в середине ее против дома каменная церковь.

Через несколько времени после нашего приезда в Берново приехали туда из Тригорского Прасковья Александровна и муж ее Николай Иванович Вульфы со своей дочерью Анной Николаевною, моею сверстницею. Был вечер... Горела тускло сальная свеча в конце большой залы... Они сели на стулья у огромной клетки с канарейками, подозвали к себе меня и маленькую свою дочь с ридикюлем и представили нас друг другу, говоря, что мы должны любить одна другую, как родные сестры, что мы исполняли всю свою жизнь.

Мы обнялись и начали разговаривать. Не о куклах, о нет... Она описывала красоты Тригорского, а я прелести Лубен и нашего в них дома. Во время этой беседы она вынула из ридикюля несколько желудей и подарила мне. Смело могу сказать, что подобных детей, как были мы, мне не случалось никогда встречать, и да простит меня читатель, если я увлекусь некоторыми подробностями этой дорогой для меня лучшей поры моей жизни... Анна Николаевна не была такою резвою девочкою, как я; она была серьезнее, расчетливее и гораздо прилежнее меня к наукам. Такие свойства делали ее любимицею тетушек и впоследствии гувернантки. Различие наших свойств не делало нас холоднее

друг дружке, но я была всегда горячее в дружеских излияниях и даже великодушнее. Взаимная наша доверенность была полная, без всяких задних мыслей. Нас и вели совершенно ровно, и покупали мне то, что и ей, в особенности наблюдал это брат моей матери Николай Иванович, превосходное существо с рыцарским настроением и с любовью ко всему изящному, к литературе... Он поручил старшему брату своему Петру Ивановичу Вульфу, служившему кавалером при великих князьях Николае и Михаиле Павловичах, отыскать гувернантку. Случилось такое обстоятельство, что в это самое время искали гувернантку для великой княжны Анны Павловны, которая была наших лет, и выписали из Англии двух гувернанток: m-lle Сибур и m-lle Бенуа... Эта последняя назначалась к Анне Павловне, но по своим скромным вкусам и желанию отдохнуть после труженической своей жизни в Лондоне в течение двадцати лет, где она занималась воспитанием детей в домах двух лордов по 10 в каждом,— она предложила своей приятельнице Sybourg заступить свое место у Анны Павловны, а сама приняла предложение Петра Ивановича Вульфа и приехала к нам в Берново в конце 1808 года.

Родители наши тотчас нас с Анной Николаевною ей поручили в полное ее распоряжение. Никто не мешался в ее воспитание, никто не смел делать ей замечания и нарушать покой ее учебных с нами занятий и мирного уюта ее комнаты, в которой мы учились. Мы помещались в комнате, смежной с ее спальною. Когда я заболевала, то мать брала меня к себе во флигель, и из него я писала записки к Анне Николаевне, такие любезные, что она сохраняла их очень долго. Мы с ней потом переписывались до самой ее смерти, начиная с детства.

Я всегда вела дневник.

M-lle Benoit была очень серьезная, сдержанная девица 47 лет с приятною, но некрасивою наружностию. Одета была всегда в белом. Она вообще любила белый цвет и в такой восторг пришла от белого заячьего меха, что сделала из него салоп, покрыв его дорогою шелковою материей. У нее зябли ноги, а она очень тепло

обувалась и держала их зимою на мешочке с разогретыми косточками из чернослива. Она сама одевалась, убирала свою комнату и, когда все было готово, растворяла двери и приглашала нас к себе завтракать. Нам подавали кофе, чай, яйца, хлеб с маслом и мед. За обедом она всегда пила рюмку белого вина после супа и в конце обеда. Любила очень черный хлеб. После завтрака мы ходили гулять в сад и парк, несмотря ни на какую погоду, потом мы садились за уроки. Оказалось, что, несмотря на выученную наизусть по настоянию матери Ломондову грамматику[17], Анна Николаевна ничего не знала, я тоже, и надо было начинать все науки. Она начала так: села на стул перед учебным столом, подозвала нас к себе и сказала: «Mesdames, connaissez — vous vos parties du discours?»* Мы, не поняв вопроса, разинули рты. Позвали тетушек для перевода; но и они тоже не поняли — это было сказано для них слишком высоким слогом... И m-lle Бенуа начала заниматься с нами по-своему.

Все предметы мы учили, разумеется, на французском языке, и русскому языку учились только 6 недель во время вакаций, на которые приезжал из Москвы студент Марчинский.

Она так умела приохотить нас к учению разнообразием занятий, терпеливым и ясным, без возвышения голоса толкованием, кротким и ровным обращением и безукоризненною справедливостию, что мы не тяготились занятиями, продолжавшимися целый день, за исключением часов прогулок, часов завтрака, обеда, часа ужина. Воскресенье было свободно, но других праздников не было. Мы любили наши уроки и всякие занятия вроде вязанья и шитья подле m-lle Бенуа, потому что любили, уважали ее и благоговели перед ее властью над нами, исключавшею всякую другую власть. Нам никто не смел сказать слова. Она заботилась о нашем туалете, отрастила нам локоны, сделала коричневые бархотки на головы. Говорили, что на эти бархотки похожи были мои глаза. Хотя она была прюдка и не любила, чтобы говорили при ней о мужчинах, однако

---

* Сударыни, хорошо ли вы знаете части речи? *(фр.)*

же перевязывала и обмывала раны дяди моего больного. Так сильно в ней было человеколюбие.

В сумерках она заставляла нас ложиться на ковер на полу, чтобы спины были ровны, или приказывала ходить по комнате и кланяться на ходу, скользя, или ложилась на кровать и учила нас, стоящих у кровати, петь французские романсы. Рассказывала анекдоты о своих ученицах в Лондоне, о Вильгельме Телле, о Швейцарии. У нас была маленькая детская библиотека с m-me Genlis[18], Ducray-Duminil[19] и другими, и мы в свободные часы и по воскресеньям постоянно читали. Любимые сочинения были: «Les veillées du château», «Les soirées de la chaumière»*.

Посторонние посетители допускались только те, которые сами хотели заниматься. Так, входила к нам Прасковья Александровна и училась с нами английскому языку... Бывала также у нас Катерина Ивановна Муравьева, фрейлина великой княжны Екатерины Павловны, и читала нам романы Ducray-Duminil. Она была тогда 17-и лет и совершенная красавица. Она меня очень любила, я ее тоже: но меня удивляло, как она могла находить удовольствие в беседе с ребенком, каким была я?.. Это было очень доброе существо! Говорили, что император восхищался ее красотою и был в нее влюблен!

В Берново часто ездили соседи, и мы ездили раз с m-lle Benoit к соседнему помещику, но ей это не нравилось, и мы проводили время дома. В зале нашего дома иногда по праздникам зимою являлись цыгане, кочевавшие на земле дедушки, плясали и пели, учили нас с Анной Николаевной русской пляске. Этой же пляске, только с театральным оттенком, нас учил Николай Александрович Муравьев[20], очень любезный и добрый человек, он был моряк. Цыган мы этих каждую зиму встречали, как самых дорогих гостей, цыганки из их табора были нашими приятельницами...

В одну из зим приехала в Берново Екатерина Федоровна Муравьева[21] с двумя сыновьями — Никитой[22] и Александром[23]. Последний был мне ровесник. Нам было по 10 лет тогда. Они с нами резвились, дурачи-

---

* «Вечерние беседы в замке», «Вечера в хижине» *(фр.)*.

лись, обращались очень бесцеремонно, это нам очень не нравилось. Мы о себе так высоко думали, что считали себя достойными только принцев и исторических героев вроде Нумы Помпилия и Телемаха. На этих веселых шалунов влияла, однако, сильно их заботливая добрая мать, и я помню даже, что одного из них впоследствии, именно Александра, когда ему было 19 лет, она услала с бала у Олениных, на котором и я была, в 10 часов домой спать. Это был тот, которому было суждено испить горькую чашу. Брат его Никита, несмотря на влияние матери, бежал было в 12-м году из-под ее ферулы с целью поступить в военную службу и быть в рядах патриотов, защищавших отечество, но так как он говорил в детстве только на английском и на родном языке изъяснялся, как иностранец, то его крестьяне приняли за француза и представили Растопчину[24]. А тот возвратил его матери. Но я забегаю все вперед...

Жила я в Бернове и воспитывалась у m-lle Benoit с 8 лет до 12-го года. Последний год мы жили уже без бабушки Анны Федоровны. Она умерла в конце 10-го года. Когда она умирала, то меня, чтобы я не была свидетельницею трагических сцен и похорон, увезли на несколько дней в Грузины... После ее кончины батюшка задумал перевести нас с маменькою в Москву для окончания там моего воспитания. Но прежде летом перевез нас в маменькину деревню и поместил в двух крестьянских избах. M-lle Benoit просила его оставить меня у нее, обещала учить даром, но батюшка не изменил решения. Из деревни мы хотели уже направиться в Москву, но пришел Наполеон, и наш план изменился. Мы поехали в Лубны, и, исколесив 12 губерний, стараясь не наткнуться на французов и объезжая Москву, мы осенью в 12-м году приехали в Лубны. Путешествовали мы в 10-ти экипажах, на своих лошадях, останавливаясь ради дешевизны корма не в городах, а по деревням. Так мы остановились и под Владимиром.

Батюшка поехал в город и нашел там в большом чьем-то доме много родных и знакомых, бежавших из Москвы. В этом доме была Екатерина Федоровна Муравьева с сыновьями, из которых Никита только что возвращен был из бегов... Тут же приютилась и сестра

бабушки Анны Федоровны, монахиня Настасья Федоровна, попавшая в монахини случайно, обманом. Мать ее ехала куда-то и заехала в монастырь к знакомой игуменье. Та упросила ее оставить дочь в монастыре погостить. Когда же мать вернулась, дочь уже была пострижена. Много было в означенном доме люду.

В числе их была и тетка моя Анна Ивановна[25], которая вместе с Пусторослевыми подобрала где-то на дороге раненого под Москвою Михаила Николаевича Муравьева[26], которому было тогда только 15 лет. Он лежал в одной из комнат того дома, в котором помещались наши родные и в который и нас перетащили из деревни. Тетушка приводила меня к нему, чтобы я ей помогала делать корпию для его раны. Однажды она забыла у него свои ножницы и послала меня за ними. Я вошла в его комнату и застала там еще двух молодых людей. Я присела и сказала, что пришла за ножницами. Один из них вертел их в руках и с поклоном подал мне их. Когда я уходила, кто-то из них сказал: elle est charmante!* Я бы об этой встрече с Муравьевым и не упомянула, если бы впоследствии она не сделалась бы для меня знаменательною... Через 45 лет потом я сидела в Петербурге у двоюродной моей сестры Безобразовой[27] среди других родственниц, как доложили, что приехал Михаил Николаевич Муравьев. Вся компания ждала этого визита с нетерпением. Когда он вошел, раскланялся с нами со всеми, то хозяйка представила меня ему. И когда я ему сказала, что мы старые знакомые и что не припомнит ли он, как я делала ему корпию во Владимире, то он сплеснул руками, сделал несколько шагов ко мне, взял обе мои руки, стал их целовать и все повторял: «Ах, боже, это Анна Петровна...» Потом, сидя на диване, беспрестанно на меня смотрел и все повторял: «Ах, боже мой, это Анна Петровна... Я долго вас искал...» Он так был нежен и ласков со мной, что возбудил ко мне зависть в присутствующих. Это мне было очень грустно.

Из Владимира мы поехали к дяде моему Александру Марковичу, жившему в Тамбовской губернии. Он дал нам карету, и мы в ней поехали в Малороссию.

---

* она очаровательна! *(фр.)*

С нами ехала бабушка Любовь Федоровна и тетушка Анна Ивановна... Эта последняя очень меня огорчила дорогою, окромсавши мне волосы по-солдатски, чтобы я не кокетничала ими. Я горько плакала. Вообще эта дорога не оставила мне приятных воспоминаний. Было холодно, верхняя одежда моя была очень легка и бедна, и я все зябла.

Но как бы там ни было, а мы благополучно доехали до Лубен. Тут я прожила до замужества, уча меньшого брата и сестер, танцуя, читая, участвуя в домашних спектаклях, подобно тому как в детстве в Бернове, где m-lle Benoit заставляла нас разыгрывать разные комедии детские, петь романсы. Это всегда делалось сюрпризом.

Батюшка продолжал быть со мною строг, и я девушкой так же его боялась, как и в детстве. Если мне случалось танцевать с кем-нибудь два раза, то он жестоко бранил маменьку, зачем она допускала это, и мне было горько, и я плакала. Ни один бал не проходил, чтобы мне батюшка не сделал сцены или на бале, или после бала. Я была в ужасе от него и не смела подумать противоречить ему даже мысленно.

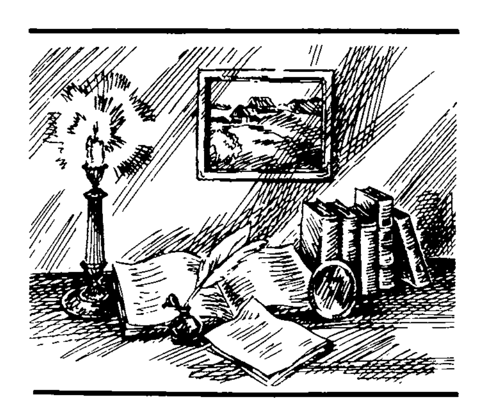
В Лубнах стоял Егерский полк. Все офицеры были моими поклонниками и даже полковой командир, старик Экельн. Дивизионным командиром дивизии, в которой был этот полк, был Керн. Он познакомился с нами и стал за мною ухаживать. Как только это заметили, то перестали меня распекать и сделались ласковы. Этот доблестный генерал так мне был противен, что я не могла говорить с ним. Имея виды на него, батюшка отказывал всем просившим у него моей руки и пришел в неописанный восторг, когда услышал, что герой ста сражений восхотел посвататься за меня и искал случая объясниться со мною. Когда об этом сказали мне, то я велела ему отвечать, что я готова выслушать его объяснение, лишь бы недолго и немного разговаривал, и что я решилась выйти за него в угождение отцу и матери, которые сильно желали этого. Передательницу генеральских желаний я спросила: «А буду я его любить, когда сделаюсь его женою?», и она ответила: «Разумеется...» Когда нас свели и он меня спросил: «Не

противен ли я Вам»,— я отвечала *нет* и убежала, а он пошел к родителям и сделался женихом. Его посслили в нашем доме. Меня заставляли почаще бывать у него в комнате. Раз я принудила себя войти к нему, когда он сидел с другом своим, майором, у стола, что-то писал и плакал. Я спросила его, что он пишет, и он показал мне написанные им стихи:

Две горлицы покажут
Тебе мой хладный прах...

Я сказала: «Да, знаю. Это старая песня». А он мне ответил: «Я покажу, что она будет не «старая»... и я убежала. Он пожаловался, и меня распекали.

Батюшка преследовал всех, которые могли открыть мне глаза насчет предстоящего супружества, прогнал мою компаньонку, которая говорила мне все: *несчастная!* и сторожил меня, как евнух, все ублажая в пользу безобразного старого генерала... Он употреблял все меры, чтобы брак состоялся, и он действительно состоялся в 1817 году, 8-го января... Мое несчастие в супружестве не таково, чтобы возможно его писать теперь, когда я уже переживаю последние листки моего собственного романа и когда мир и всепрощение низошли на мою душу, а потому я этим и кончу свое последнее сказание...



ДНЕВНИКИ

ДНЕВНИК ДЛЯ ОТДОХНОВЕНИЯ

ПОСВЯЩЕННЫЙ ФЕОДОСИИ ПОЛТОРАЦКОЙ, ЛУЧШЕМУ ИЗ ДРУЗЕЙ

№ 1 *Псков, 23 июня 1820*

обещала поверять вам все мои мысли, а также поступки, ни в чем не меняя порядка, который заведен был у нас в то блаженное время, когда мне не приходилось прибегать для этого к помощи пера и бумаги. Время это прошло безвозвратно, и оплакивать его бесполезно. Я утешаюсь надеждой, сией опорой несчастных: вера в божественное провидение позволяет мне уповать на будущее. Неужто и в будущем, хотя бы самом отдаленном, небо откажет мне в той единственной милости, о коей я прошу его в горячих моих молитвах? Нет, невозможно мне быть счастливой вдалеке от тех, кого я люблю. Итак, я здесь прозябаю, усердно стараясь выполнять долг свой, во всем следуя наставлениям добродетельного моего друга, навсегда запечатлевшимся в моей памяти: мне удается быть почти спокойной, когда я занята, а без дела я никогда не сижу, постоянно читаю либо пишу что-нибудь, сама поверяю счета, занимаюсь своей дочерью, словом, за весь день, можно сказать, минуты свободной нет, но если вдруг что-нибудь напомнит мне Лубны, мне делается так больно — невозможно описать вам чувства, которые меня тогда охватывают. Чтобы обрести сколько-нибудь спокойствия, мне надобно позабыть о пленительном призраке счастья, но как вычеркнуть из памяти ту единственную пору моего существования, когда я *жила*? Как расстаться со сладостной мечтой души моей? За те упоительные дни блаженства и должна я теперь покорно и терпеливо сносить *все*. Да, никто никогда не любил так, как любила я, и ни у кого еще не было более до-

стойного избранника. Откладываю перо, боюсь совсем разволноваться.

Вообразите, куда ни брошу взгляд, всюду нахожу я раздирающие душу воспоминания: вот подсвечник, подарок лучшей и нежнейшей из матерей, а вот передо мной мой альбом, сей «Язык цветов»[1], с помощью которого я могу беседовать с вами, мой ангел, слева от меня — образа, напоминающие мне то место, где они прежде находились. У меня иной раз до того разыгрывается воображение, что чудится, будто их трогает моя судьба и они печалятся о том, что я несчастна. Представьте себе, я не могу надеть то платье, в котором ходила у вас, мне кажется это чем-то кощунственным, я сшила себе новое, домашнее — оно-то хоть не будет связано ни с какими воспоминаниями, мне подарил его муж, оно из коричневой материи, как (неразб.) и обошлось, кажется, всего в 23 рубля. Есть еще и другие платья, вызывающие кое-какие нежные воспоминания, я даже смотреть на них не могу, слишком делается от этого грустно.

Звонят к вечерне, завтра праздник, Иванов день! Только для вашей Анеты нет больше праздников! В том счастливом краю, где живете вы, в этот вечер горят веселые огни, а у меня здесь все те же огни жасмина.

24-го, полдень

Только что вернулась от обедни. По чрезмерной своей мягкости, я дала себя уговорить и вопреки собственному желанию поехала в монастырь, где нынче престольный праздник, а следовательно, много народу. Обедню служил архиерей. Очень я раскаивалась в том, что поехала, и мысленно давала себе слово не быть впредь столь сговорчивой. Когда искренне жаждешь предаться молитве, делается не по себе в толпе всех этих людей, которые обычно приходят в церковь лишь затем, чтобы покрасоваться. Невольные слезы, что исторгает молитва из глубин взволнованной души, не могут свободно излиться среди такого множества людей, устремивших на тебя свои взоры. Так было и сегодня со мной. Я проклинала себя за несносную свою податливость и дорого бы дала, чтобы остаться незамечен-

ной и иметь возможность вволю поплакать, благодаря создателя за прежние дни счастья, что он даровал мне. Я твердо решила отныне ходить только в ту церковь, где менее всего бывает народу.

25-го, в 5 часов пополудни

Нынче я в самом мрачном расположении духа, то есть еще более мрачном, чем все прошлые дни. Я и сама не понимаю, отчего я стала всего бояться, даже стала суеверной,— сущий пустяк, сон какой-нибудь, и я уже сама не своя; вот сегодня мне приснилось, будто я потеряла правую серьгу, а потом нашла ее сломанной, и мне уже кажется, что это не к добру, и не иначе как предзнаменование какое-то, потому что я никогда и не думаю о подобных вещах, а ведь снится нам, я в этом уверена, только то, о чем мы думаем. С тех пор как мы с вами расстались, не было ни одной ночи, чтобы мне не приснились Лубны, только на первом месте в этих снах Мирт, а Барвинок на втором.

Не кажется ли вам, милый друг, что сны посылаются нам небом, дабы утешая нас в наших горестях и уменьшая наши печали, тем самым вознаградить за дневные страдания. Я всякий раз, когда мне снится, будто я с вами, возношу благодарность господу за его милость, и тогда почти уверена, что он мною доволен.

Погода нынче отвратительна, муж отправился на учения за восемь верст отсюда. До чего я рада, что осталась одна,— легче дышится. Все сегодня словно сговорились мучить меня воспоминаниями — Киру Ивановичу[2] вдруг пришла фантазия сыграть на гитаре несколько мотивов, и выбрал он как раз те самые, что играл в Лубнах, а я не могу слышать их спокойно. Но от чего я совсем разволновалась, так это от польского — помните, мы танцевали его несколько раз под гитару? Никогда этого не забуду; как больно мне, когда я вспоминаю о вас, и вместе с тем как хорошо. Эти чувства так теснят мне грудь, что становится трудно дышать.

Я сделала выписки из одной очень хорошей книги, которую только что прочла, «Эмили Монтань», посылаю их вам с этим номером дневника вместе с размышлениями, к коим они меня побудили; я уверена, что вы, как и я, найдете в этих отрывках много спра-

ведливого, ведь у нас с вами родственные души, все, что трогает меня, должно тронуть и вас, все, что меня поражает, должно и вас поразить. Но в одном я твердо уверена — что бы ни послала вам ваша Анета, все будет вам только приятно.

26-го, в 10 утра, суббота

Благодарю тебя, о господи, за счастливое пробуждение. Спасибо, мой ангел, за ваше письмо, да будет с вами благословение божие, да осыпет он вас бесконечными своими милостями. Если бы вы только могли вообразить себе, до чего я была счастлива, получив ваше письмо,— просто невозможно выразить это словами. Я обожаю Шиповника и Барвинка, так ясно представляю себе, как он благодарит вас взглядом, исполненным нежности; у меня выписано тут одно выражение, которое очень подходит к его глазам: «Я не знаю человека, которому так полезны были бы глаза его, ему словно нет даже надобности произносить слова, чтобы быть понятым, они говорят все, что он хочет сказать». И в самом деле, ведь мы не обменялись с ним и десятью словами, а сколько друг другу сказали! Как хорошо я знаю его душу! Ведь она прекрасна, не правда ли, мой ангел, разве не достойна она общения с моей душой и с вашей?

№ 2

Мне пришла в голову одна мысль — помните эстамп, который я просила дать закончить тому юноше, — пусть он изобразит офицера в форменном сюртуке, со скрещенными на груди руками, это будет точь-в-точь Ш и п о в н и к во время нашего последнего прощания. И я могла бы сама дорисовать то, что окончательно дополнило бы иллюзию,— *то есть ексельбант.*

Вот причина, почему я беспокойно провела ночь,— уснула я уже под утро, и мне привиделся сон — будто муж привел меня к предсказательнице, а та велит мне взойти в какую-то каморку, задает всякие вопросы, а потом вдруг говорит, что скоро я соединюсь с Шиповником. Вы представить себе не можете, до чего я поражена была, когда она произнесла его имя.

Суббота, в половине пятого

Как я сегодня счастлива! Читала и перечитывала ваше прелестное письмо более десяти раз. Кто еще может похвалиться тем, что обладает подобным сокровищем? Да никто. Ваша Анета единственная счастливица. Небо подарило ей друга, которого нет больше ни у кого на свете.

Прежде всего скажу, что я во что бы то ни стало избавлюсь от этой особы[3], мы не можем оставаться вместе, слишком у нас несхожие характеры, чтобы мы долго могли выносить друг друга. Не хочу поднимать истории, подожду, пока мы найдем няню.

А теперь позвольте к этому присовокупить мои выписки вместе с их переводом, я сама его сделала, для того чтоб вы, если понадобится, могли бы познакомить с ними тех, кто недостаточно владеет французским; а может быть, вам и самой приятно будет иметь их на обоих языках: «Le cours de la vie n'est qu'un passage triste et languissant si l'on n'y respire l'air doux de l'amour» *«Течение жизни нашей есть только скучный и унылый переход, если не дышишь в нем сладким воздухом любви».*

Разве это не бесспорная истина, мой ангел? Вы, быть может, скажете, что когда нет любви, ее можно восполнить дружбой? На это я отвечу вам: только в том случае, когда речь идет о дружбе, подобной нашей,— но ведь дружба наша та же любовь, я не то что люблю, я обожаю вас, и будь вы мужчиной, вы были бы моим избранником... но вы лучше меня, и я не смею продолжать сие сравнение. Вот что говорится в моем романе о чувствительности: «O, quel charme nous trouvons dans la sensibilité; c'est la pierre d'aimant qui attire tout à elle. La vertu peut exiger de l'estime, l'esprit et les talents de l'admiration, la beaute peut: exciter un désir passager; mais il n'y a que la sensibilité qui puisse inspirer l'amour»,— Разумеется, автор хотел сказать: «le véritable amour», то есть истинную любовь, как определил ее в своем переводе ваш друг. *«Какую неописанную прелесть мы находим в чувствительности. Это магнит, притягивающий к себе все. Добродетель вправе требовать уважения, разум и дарования — удивления; красота может возбудить желания, но одна только чувствительность может внушить истинную любовь».*

Именно она связывает и нас с вами, и уж тут-то можно сказать: «Il est bien triste que le bonheur ou le malheur de notre vie soient ordinairement décidés avant que nous puissions juger de l'un ou de l'autre *(это относится только ко мне!)*. — Retenus par la coutume ou par les préjugés bizarres et ridicules, nous nous laissons entraîner par l'exemple de la multitude; ce n'est que quand il n'est plus temps que nous commençons à penser». К этому я бы еще добавила, что мы не умели думать и, полагая в этом наше счастье, принимали решения, которые сделали нас на всю жизнь несчастными. *«Как прискорбно, что счастие или несчастие целой жизни нашей бывает обыкновенно решено прежде, нежели мы в состоянии судить о том или другом. Удерживаемые обычаем, а иногда и предрассудками странными и смешными, мы бываем увлечены общим примером и тогда только, когда уже не время, начинаем размышлять».*

Я нахожу, что все это верные мысли, некоторые из них я могла бы подтвердить собственным моим опытом, не так ли, мой ангел? И самый лучший из них, по-моему, тот отрывок, в котором любовь рассматривается в связи со священными узами брака, здесь его взгляд совершенно совпадает с моим; я уверена, что и вы с этим согласитесь: «On dit que les mariages qui ne se font purement que par amour sont malheureux... Oui, les mariages dont la seule passion a formé les noeuds sont toujours infortunés; la passion se satisfait et la tendresse s'évanouit avec elle; mais l'amour *(истинная)* cet aimable enfant de la sympathie et de l'estime vous enchaine dans les liens d'une félicité continuelle. C'est l'unique bonheur qu'on puisse souhaiter... C'est quelque chose de plus que l'amitié, animée par le goût le plus vif et par le plus ardent désir de plaire... Le temps au lieu de ternir cette affection délicieuse la rend de jour en jour plus vive et plus enteressante». И напротив, вовсе неверно, будто любовь может возникнуть при равнодушии друг к другу; я думаю, что равнодушие порождает одно лишь равнодушие, если не отвращение, а у натур заурядных и грубых — привычку. Я подобные истины объявляю ложными! *«Говорят, что супружества, заключенные по страсти, всегда несчастливы... Так, супружества, основанные на одной только страсти, не могут быть благополучны. Страсть удовольствована, и нежность исчезает с нею. Но любовь, сие любезное дитя сим-*

патии и уважения, связывает нас узами бесконечного блаженства; это единственное счастье, позволительное желать. Она есть искуснее, нежнее дружества, оживляемого самым живым вкусом и пылким желанием нравиться. Время, не истребляя этой нежной привязанности, делает ее день ото дня живее и приятнее».

Ежели бы теперь, в мои годы, мне нужно было решать свою судьбу — уж я бы сумела быть счастливой. Но не будем об этом говорить, надобно терпеть, а главное, не позволять себе роптать.

Прошу вас, милый друг, устройте так, чтобы не он переписывал *«Трумфа»*[4]. Во-первых, не хочу, чтобы муж что-нибудь заподозрил, вздумав сличать «Трумфа» с почерком, которым написаны стихи в моем альбоме. Во-вторых, это значило бы опозорить его руку, комедия эта недостойна того, чтобы он ее переписывал.

И еще прошу, ежели только вы этого не сделали, передайте ему «Мой друг-хранитель»[5] и пообещайте, что если он его потеряет, ему это будет прощено. Уведомьте меня, если вы это уже сделали.

Посылаю вам лоскуток материи, из которой сшиты мои домашние платья, а по кисету, который я посылаю папеньке, вы увидите, какое платье я купила себе в Орше за 80 рублей, оно вроде того, что было на г-же Таубе, эта материя называется персидский шелк; такого же цвета и платье, которое мне привезли из Петербурга,— оно из той же материи, что и мое белое, муаровое, отделка у него прелестная, да только оно с короткими рукавами, и я не хочу надевать его, пока не сделаю к нему длинные рукава. Не хочу показывать свои красивые руки, как бы это не привело ко всяким приключениям, а с этим теперь покончено, и я буду обожать Шиповника до последнего своего вздоха, разумеется, однако, если он останется мне верен — свое сердце я отдаю в обмен на его. О, какая прекрасная, какая возвышенная у него душа!

Как вы думаете, ведь папеньке будет приятен этот кисет? Я бы ничего больше не успела сделать, но я сама его шью, вы мне напишите, понравится ли ему он? Скажу вам, что я еще никуда не выезжала. Но на той неделе поеду к губернаторше и тогда надену это синее платье; оно сшито под шею

и с длинными рукавами по тому фасону, как у Мальвины, что у вас на картинке осталось. Я поеду тоже к нашей полковнице. Я рада, что мне это позволили. Она добрая женщина, и лучше, мое правило, жить в миру со всеми; терпеть не могу быть в ссоре! Насчет Кира Ивановича скажу вам, что он более не сердится и обещал мне писать к папеньке и маменьке; вы, наверно, думаете, что Ольга Андреевна причиною его неудовольствия. Он со мной был довольно откровенен — признался, что ему было приятно видеть, что маменька так хорошо к нему расположена, но что папенька, приехавши из Петербурга, ни слова ему не сказал, и при прощанье закричал, что все только на словах, а на деле ничего, что ему было больно. Я всячески старалась его извинить, и теперь он все забыл. Я думаю, что вы по этой же почте получите удостоверение.

№ 3 *В 7 часов*

А я все продолжаю писать, не боясь наскучить вам своей болтовней. Завтра воскресенье, пойду к обедне, буду благодарить господа за сегодняшний день — когда бы один такой день выпадал мне на долю каждую неделю, как я была бы счастлива! Вы будете получать мои письма тоже раз в неделю, только придется вам тратить на них много времени — пожалуй, хватит чтения до следующей почты. Посылаю вам, мой ангел, два платка, которыми муж позволил мне распорядиться по моему усмотрению. Я помню, вы однажды выразили желание иметь полосатый платок. Другой я хочу подарить Ольге Андреевне, она женщина бедная, ей это будет приятно, да и к свадьбе пригодится. Возьмите себе, мой ангел, тот, который больше вам понравится, и носите его из любви к вашей Анете, а для нее нет большего счастья, чем сделать вам что-то приятное. Другой же пошлите от меня Ольге Андреевне. *Мне черный больше нравится, а впрочем, как вы хотите, моя бесценная. Я бы желала, чтобы и вам черный понравился. Пишите мне, мой ангел неоцененный, мое сокровище.* Пишите во имя всего, что вам дорого. *Употребите все старания, чтобы быть скоро здоровой, берегите себя для меня. Чтобы не подвергнуть себя вашему гневу, я не скажу вам, сколько драгоценно для меня ваше здоровье; оставляю перо, чтобы приняться за работу для папеньки. Обнимаю вас, мой ангел, и благословляю мысленно так же, как и Шиповника.*

В 8 часов

Минута свободная посвящена вам! Хочу еще сегодня сказать вам все, что имею на душе. Сейчас читала прекрасное сравнение любви и дружбы из той самой книги и сообщаю: «L'amitié recherche les vertus les plus réelles et les plus solides. C'est à l'intégrité, à la constance, à une ferme uniformité de caractère qu'elle l'attache. L'amour, au contraire, admire un je ne sais quoi. Il se crée lui-même et pour lui même l'Idole de son culte. Il trouve des charmes jusque dans les défauts de l'objet qui les fixe. Les folies, l'indiscretion, l'inconsistence, les caprices lui plaisent».

Я и сама чувствую, насколько это верно, как вспомню, в каком я была восторге, когда Шиповник рассердился на полковника Реп., он казался мне просто обворожительным в своем гневе. Если вы станете ему читать, обратите внимание на этот отрывок.

Воскресенье, в 10 часов утра

«Для дружбы нужны самые солидные добродетели; она обыкновенно приобретается справедливостью, постоянством и твердой однообразностью характера. Любовь же, напротив, восхищается всегда сим неизъяснимым je ne sais quoi*. *Она сама и для себя только рождает идола, которому поклоняется, она находит прелести в пороках даже своего предмета». О, как это справедливо. Никогда не забуду, когда Шиповник рассердился.*

Но видите ли, только что проснулась — и за перо. Сейчас еду к обедне. У нас очень холодно. Я надеваю черный бархатный капот, и он имеет для меня сладкие воспоминания. Целую ваши ручки и посылаю вам доброго дня, благодаря бога за прекрасный сон. Целую Шиповника глазки, увы! мысленно.

Сейчас возвратилась от обедни, была в соборе, усердно молилась богу, вспомня Троицын день. Архиерей служил, и певчие очень хорошо пели. Я была одна, совершенно одна. Вообразите, каково мне было, вспомня Лубны, мою бесценную маменьку. Сердце сильно у меня билось, когда я въезжала под большой каменный свод и подъезжала к вратам церкви; мне казалось, что

---

* нечто *(фр.)*.

я одна во всей природе, и когда вошла в церковь, насилу могла перевести дух; я пошла по левую сторону, где меньше было народу, и недалеко от левого крылоса заняла пустое место у стены, между двух очень бедных старушек. До половины обедни я спокойно молилась, но вдруг я заметила, что глаза всех мужчин устремлены на меня, чего никак нельзя было избежать, ибо они стояли на правой стороне, совершенно против меня; добрый мой телохранитель стоял недалеко позади меня. Еще более меня потревожило то, что двое мужчин неподалеку от меня стояли, и увидела пьяных или сумасшедших, разговаривающих между собой, мне казалось, про меня. Я вспомнила вас, мой ангел. Вот что значит слабость нервов. Мне так сделалось дурно, что я чуть не упала и решила подозвать к себе Кира И. и после была спокойнее, спешила скорее из церкви, никого не видела. Голова и теперь кружится.

В 5 часов пополудни

Только что у меня был весьма интересный разговор с мужем, сейчас вам его перескажу. Он говорит, что слышал, будто с генералом, который командует в нашем корпусе второй дивизией, случился апоплексический удар, он лежит в параличе, и поэтому есть слух, будто дивизию эту передадут мужу; если же нет, он тотчас же по возвращении императора хочет ехать в Петербург и там возложить устройство своей судьбы на меня. Он обещается, если мне это удастся, сделать для меня все, что я захочу, а самое главное мое желание — съездить в гости к вам. Вы рады? В благодарность за столь приятное обещание я дала слово, что сделаю все, что будет в моих силах, чтобы добиться у императора этого назначения.

Еще он сказал, что ежели получит эту дивизию тотчас же, то позволит мне поехать к вам осенью. Так что я теперь почти уверена, что так или иначе увижу вас еще до конца этого года. Разве это не восхитительно, мой ангел? Сообщите об этом Шиповнику и перескажите мне его ответ. Пока я еще не смею и верить, что такое счастье возможно. Вы скажете, быть может, что это будет стоить слишком много денег, а я вам скажу, что нет, потому что в Риге очень дорога жизнь, а мы именно там будем квартировать, ежели планы осуществятся: к тому же ведь я тогда буду богатой — и жа-

лование большое, и аренда, что и делать с такими деньгами, как не доставлять себе удовольствия в жизни, а для меня единственное удовольствие — это Лубны. Все другие места на свете мне безразличны.

Скажу вам, что мы с минуты на минуту ожидаем Лаптева, а потом корпусного командира. Муж хотел было устроить в его честь обед, но сделать этого не может, потому что не в ладах с Лаптевым[6], а я этому только рада — на мой взгляд, все это такие ничтожные люди, у меня охоты нет видеть кого-либо из них, всякое новое лицо меня стесняет, не хочу никого видеть. Это очень верно, что «il est dangereux de trop se livrer aux charmes de l'amitié. Ils affaiblissent le goût qu' on a pour les sociétés ordinaires»*.

Да, мой ангел, после тех приятных бесед, что мы с вами вели, я уже не нахожу никого, с кем могла бы разговаривать. На мою беду, у меня нет середины — всё или ничего — мой нрав таков; я либо холодна, либо горяча, а равнодушной быть не умею. Поговорите-ка с Шиповником о моих планах, будет рад он, если я приеду в сентябре? Как, на ваш взгляд? О, если бы вы могли ответить на это! Если бы могли сейчас услышать меня!

Нынче у нас обедал один молодой человек, он адъютант Магденки[7], брат его дамы сердца, юноша весьма воспитанный и хорошего тона. Можете себе представить, я вышла только к обеду. Для меня просто мучение видеть кого-либо. Он сразу же затеял со мной любезный разговор — как видно, он был изумлен, увидев меня, только я ему, должно быть, показалась странной, чудно́й, или же глупой: я ведь не похожа на других! Признаюсь, иной раз я немножко кокетничаю, но теперь, когда все мои мысли заняты одним, я уверена, нет женщины, которая так мало стремилась бы нравиться, как я, мне это даже досадно. Вот почему я была бы самой надежной, самой верной, самой некокетливой женой, если бы... Да, но «если бы»! Это «если бы» почему-то преграждает путь всем моим благим намерениям. Можете быть уверенной, что Шиповника я буду любить до последнего своего вздоха, так что не беспо-

---

* опасно слишком предаваться очарованиям дружбы, ибо она отбивает вкус к общению с другими людьми *(фр.)*.

койтесь, несчастных из-за меня будет не так уж много, вы же знаете, что иной раз это получается помимо моей воли. Так что просто из сострадания к мужскому полу я решила как можно реже показываться на людях, чтобы избавить его от страданий несчастной любви. Впрочем, довольно мне шутить, ангел мой. Это случается со мной только после добрых вестей. Этот дневник весь пропитан моей печалью.

№ 4 *6 часов*

Сейчас перечла конец третьего номера и подивилась, какие глупости я там понаписала. Ну, да все равно — они вас рассмешат, но вы не станете слишком осуждать меня за них и не отвратите от меня своего сердца. Если я заставлю вас посмеяться несколько минут — я этому буду только рада. *Только я вам советую не вдруг читать мой журнал, он может повредить вашему здоровью, и тогда я себе этого не прощу. Еще раз прошу вас, мой ангел, берегите свое здоровье, если хотите, чтобы я свое берегла,* — нити наших жизней так тесно переплелись между собой, что ни одна из нас не может заболеть, не нанеся ущерба здоровью другой.

Я провела только что целый час в обществе нескольких офицеров нашей бригады и чуть не умерла со скуки. До чего же противные! Но когда ты спокоен, смотришь на них безо всякой досады, словно на китайские тени, — только и разницы, что эти говорят, — но наперед знаешь все их вопросы и ответы. Расстаешься с ними совершенно равнодушно.

Я оставила их заканчивать беседу с моим мужем; вы догадываетесь о предмете их разговоров — единственно доступном пониманию этих людей без души. *Бедная я!* Свою душу я стараюсь спрятать подальше, скрыть ее, насколько это мне удается, и разговаривать с ними возможно более пошлым тоном.

А теперь, мой ангел, поздравляю вас с именинами дорогого папеньки. Хоть бы вы провели этот день веселее, чем проведет его ваша Анета! Уж верно, в этот день у вас будет и Шиповник. Это будет послезавтра. Я уже представляю себе, как вы, мой ангел, беседуете с милым моим Шиповником, стараясь успокоить прекрасную его душу, которая, я уверена, опечалена будет

моим отсутствием. Поговорите с ним обо мне, скажите ему, что я хотела бы быть ему другом. На сей случай хочу привести слова героини моего романа: «Le voir, l'écouter, être son amie, la confidente de ses projets... Etre sans cesse témoin des sentiments de cette âme généreuse et sublime... Je ne céderais pas ce plaisir pour l'Empire du monde». *«Его видеть, его слышать, быть его другом, поверенной всех его предприятий... Быть беспрестанно свидетельницей всех чувствований этой прекрасной и великой души. Я не уступила бы сего удовольствия за обладание царством вселенной».*

Во имя самого неба, прочтите ему этот отрывок, напишите, что он сказал. А вот еще один: «Les gens qui donnent tout au sens, et ceux qui n'ont que de l'indifference, ne verront dans mon affection qu'un sentiment romanesque. Qu'il est peu de coeurs susceptibles d'aimer! Ils pensent sentir de la passion, de l'estime, ils en peuvent sentir le mélange et c'est l'amour le mieux imité. Mais connaissent-ils le feu qui vivifie, cette tendresse animée qui nous jette dans l'oubli de nous-même et nous transporte, dans une autre sphère, lorsque le bien-être, l'honneur et la félicité de l'objet que nous aimons y est interessé?» — *«Люди, которые все относят к чувственности, или равнодушные почтут мою привязанность за романическое чувство. Сколь мало сердец, способных любить. Они могут иметь страсть, иметь почтение, они могут чувствовать и то и другое вместе: это только хорошее подражание любви, но знают ли они сей животворящий огонь, сию живую нежность, заставляющую вас забывать о себе, переноситься в другую сферу, когда касается до благополучия и чести обожаемого нами предмета?»*

Не знаю, понравится ли вам этот перевод, в нем, конечно, есть ошибки, но у меня нет словаря. Дайте ему это прочесть, если возможно, мне бы так этого хотелось, не откажите мне, доставьте мне это удовольствие, вы сделаете меня счастливой. Если бы вы были не вы, разве стала бы я говорить вам все это? Но я надеюсь на вашу снисходительность. «Les épanchements d'un coeur, tendre ne peuvent se verser que dans le sein d'une amie qui est affectée de la même sensibilité»*. Посылаю вам много писем, перешлите их по адресу,

* Излить чувствительное сердце можно лишь на груди подруги, той же чувствительностью охваченной *(фр.)*

одно из них к Каролине; когда узнаете, где она, отправьте его ей. На сегодня прощаюсь с вами, ангел мой, обнимаю вас, желаю вам доброй ночи и приятных сновидений. Того же желаю и Шиповнику, да хранит его господь и вашу Анету вместе с ним. Прощайте, устала. До свидания, мой ангел.

Понедельник, 28 июня, в час

Все письма готовы, милый друг. Посылаю их вам — одно из них к Каролине. Как грустно мне будет завтра: ведь это также день именин дорогого моего Поля[8]. Поцелуйте его покрепче за меня, мой ангел. Я послала купить что-нибудь, чтобы передать ему. Буду в отчаянии, если ничего не найдут. Мне до того хотелось бы доставить ему удовольствие: я так его люблю.

Прошу вас, посоветуйте Шиповнику прочитать один роман: «Леонтина», соч. Коцебу[9]. Скажите ему, что вам хочется его прочесть, потому что я вам о нем говорила и нахожу в нем много схожего с историей моей жизни. И знаете что? Не будем больше называть его Шиповником, я нашла для него другое, более красивое имя — Иммортель*. Оно соответствует и его чувствам — помните, как однажды он все повторял слово «вечно», а в последнюю нашу встречу, когда я пожалела, что его шляпа забрызгана грязью и совсем испорчена, он сказал: «Ничто не вечно». Так вот, отныне называйте его Иммортелем.

Прощайте, мой ангел, пора кончать, хотя бы ради того, чтобы поберечь ваши глаза, они, должно быть, устали, если вы читаете все это подряд. *Итак, вы получите кусочек от вседневного мундира моего, который не возбуждает сладких воспоминаний.* Только это не цвет моей души, это просто случайность. Я бы предпочла черный цвет.

Три часа пополудни

Уже три часа, и я спешу успеть к почте. Прошу вас, обожаемый друг мой, передайте ему от меня тысячу приветов, скажите, как я благодарна за то, что он сразу

* Иммортель — бессмертник, растение с сухими лепестками.

же выполнил мое поручение. Я ведь понимаю, как ему, верно, тяжело было прийти в наш дом после моего отъезда. Согласитесь, что это было большой жертвой с его стороны. Вероятно, он был очень взволнован.

Итак, прощайте, моя дорогая. Переймите мою методу писания, то есть пишите что-нибудь каждый день. Прощайте же, мой дорогой, мой нежный друг, поцелуйте за меня дорогого моего Поля, я ничего не посылаю ему, мне это очень грустно. Передайте ему это письмецо, оно будет ему приятно. Бог да благословит вас всех, а в особенности вас и моего Иммортеля. Как только уйдет почта, я снова начну писать вам обо всем, что стану делать,— и так до следующего почтового дня. Мне трудно кончить это письмо — так я все же с вами, а когда его унесут, я останусь опять одна.

О мой ангел, как я люблю вас! Некоторые отрывки из этого дневника вы можете прочитать милой маменьке. Поцелуйте ей за меня ручки, ножку ее больную. Скажите ей, что люблю ее так, что и выразить не могу. Скажите, что я готова была бы отдать половину своей жизни за то, чтобы другую половину провести подле нее и подле вас, мой ангелочек и мой друг, мое утешение, мое сокровище. Итак, прощайте, кончаю. Дневник этот сохраните: кто знает, может быть, наступят для нас более счастливые времена, и тогда мы вместе перечитаем его.

И еще прошу, ради самого бога: берегите свое здоровье ради счастья вашей Анеты. Тысячу раз целую ваши руки, ваши глаза. Иммортелю передайте, *что я вечно не забуду его одолжения и вечно буду ему благодарна. Христос с вами. Пишите, ради самого бога.*

1820. Псков

№ 5 *29 июня, 1 час пополудни*

Какой грустный у меня сегодня день! А между тем погода прекрасная, ярко светит солнце, оно озаряет всю природу, оно согревает, живит все, что дышит; одну меня оно не может согреть. Я хотела бы, чтобы день этот был не так хорош: плохо, когда природа находится в противоречии с душой нашей. Верно говорится: *«Когда на сердце ненастно, так и в вёдро дождь идет».*

Я была в церкви, в с о б о р е, *там было людей очень мало, потому что весь beau monde* был у праздника. Я, по обыкновению, очень прилежно богу молилась, вспоминая Иммортеля. Я воображаю, что у вас в Лубнах сегодня очень весело, но не для* в а с, *мой ангел; я знаю, что вы думаете о вашей Анете и сожалеете, что ее с вами нет,* а Анету между тем снедают мимоза, жасмин, ноготки и все страдания, что неизменно сопутствуют мимозе, и никто представить себе не может, каково ей. О, сегодняшний день принесет мне много бед.

6 часов

Слава богу, день почти прошел. За обедом мой драгоценный супруг заставил меня пережить маленькую неприятность, и я, совсем позабыв ваш добрый совет не принимать подобные пустяки близко к сердцу, чуть от этого не заболела.

Вы знаете, что люди всегда склонны по себе судить о других, и вот из-за невинной шутки мой дорогой супруг рассердился — сперва на то, что повар не ему, а мне пришел сказать, что он нынче именинник, а когда я, желая его оправдать, во время обеда пошутила, что это по моему департаменту, муж вообразил, будто я этим хочу напомнить, что повар принадлежит мне. Я думаю, будь я даже на такое способна, ему не следовало говорить это перед прислугой и своим дураком адъютантом. Но как же можно меня, столь деликатную в таких вопросах, заподозрить в подобной низости и так компрометировать перед всеми этими невеждами! Вы же понимаете, мой ангел, что тут никакая философия, никакой стоицизм не помогают, и относиться к этому хладнокровно нельзя! Я, признаться, от этого прямо заболела и сказала ему причину, когда он меня спросил. Но разве ему что-нибудь втолкуешь?

Меня против моей воли заставили поехать на прогулку, а вернувшись, я нашла визитную карточку Лаптева, который нарочно выбрал это время, чтобы нанести нам визит. Говорят, он очень зол на моего дорогого супруга. *Сейчас был у нас Кир И. и спешил скорей уйти, боится долго оставаться.*

---

* высший свет *(фр.)*.

Я по-прежнему много читаю,—что бы я без этого стала делать! Читаю романы, дабы рассеяться. Что бы ни говорили против такого рода чтения, я считаю, что ничто не может лучше успокоить мои страдания. Соболезнуя героине романа, ее любви, я занимаю свой ум и отвлекаю себя от мыслей, которые завладели мной целиком. Будь это серьезная книга, я бы в ней все равно ничего не поняла,—даже если бы вздумала читать ее вслух, потому что ум мой, сердце, воображение неотступно заняты лишь одной и той же мыслью. По-прежнему делаю выписки из всего, что читаю, и по-прежнему буду посылать их вам, милый друг.

Июня 30-го в 7 часов вечера

Сегодня мне не о чем писать вам, мой ангел; занятия мои все так же однообразны, ничто в них не меняется; встаю я очень поздно, потому что только тогда и счастлива, когда сплю.

Хотела нынче ехать с визитами, но, на мое счастье, лошадь повредила ногу, и теперь все откладывается до завтра. Я бы рада была и вовсе от них избавиться, но это совершенно невозможно: вчера губернатор[10] сам приезжал поздравить меня, а я в какой-то степени ему обязана, это у него я брала кибитку, без которой не могла бы приехать к вам[11]. А он денег брать за это не хочет, ни за что не хочет.

Забыла вам рассказать, за что мой муж сердит на Магденку: вы знаете, что мой муж всегда был неразборчив в выборе приятелей, чему доказательством Петр Мартынович. Помните то забавное письмо, которое я получила от некоего Андреева. Я слыхала от Магденки, что это самый настоящий сумасшедший, человек очень злой, да к тому же еще интриган, так вот, муж сказал, что кто-то ему доложил, будто Магденко хвастал тем, что очень мне помог с моей поездкой (в сущности, это чистая правда, но, я уверена, он слишком благороден, чтобы такое сказать). И я не сомневаюсь, что это Андреев наговорил на него мужу, чтобы их поссорить. Я просто счастлива, что мне не пришлось видеть этого человека. *Я теперь верю предчувствиям: помните ли, как я сердилась и была недовольна этим глупым письмом?* Письмо моего мужа насчет Магденки огорчи-

ло меня не меньше. Нужно вовсе не иметь никакого характера, чтобы полагаться на свидетельство какого-то сумасшедшего против человека, которому он стольким обязан и который, мне кажется, достаточно доказал свою дружбу.

Но довольно об этом, мой ангел, теперь поговорим обо мне. Вспоминаете ли вы меня еще? Разумеется, вспоминаете — сужу по своему сердцу, а также по небольшому отрывку, который я только что перевела и, с вашего позволения, привожу здесь: «Si l'on sent une cruelle peine en s'éloignant des lieux ou réside un objet chèri, il est plus douloureux encore de le voir disparaître de ceux où l'on reste après lui. Une seule personne aïmée semble emporter avec elle tous les agréments du séjour qu'elle quitte; son idée se retrace sans cesse, ranime le souvenir du plaisir que donnait sa présence; leur privation répand le dégoût à l'insipidité de tous les autres; chaque instant est marqué par le regret d'un moment heureux; et pour une âme tendre tous le jours de l'absence sont des jours perdus».

Если это верно, если у него столь чувствительная душа, как мне показалось, он, должно быть, страдает, и даже больше, чем я. Но больше меня страдать невозможно! И хоть здешние места совсем не связаны с ним, память о нем столь глубоко врезалась в мою душу, что уже самый контраст между нынешними и минувшими днями рождает о нем воспоминания. Присовокуплю русский перевод:

«Горестно удаляться от мест, обитаемых любезным предметом; но еще стократ горестнее оставаться в тех местах, от коих она (он) удаляется. Одно любезное существо, кажется, уносит с собою все приятности сего места. Образ ее носится там беспрестанно и возбуждает воспоминания тех удовольствий, которые доставляло ее присутствие; лишение оных распространяет скуку и отвращение на все прочее; всякая минута знаменуется сожалением о счастливейшей, и для нежной души дни отсутствия есть потерянные дни в жизни».

Я рада, ежели он думает об этом так же, как я и как автор «Христины», откуда я это выписала. А вы меня не браните, мой ангел, уповаю на доброту и снисходительность ваши, мой дорогой друг. Близко ли вы, далеко ли — я всегда говорю с вами совершенно откро-

венно. На сегодня прощаюсь, мой ангел. Расстаюсь с вами, чтобы пойти распорядиться насчет ужина, муж сейчас вернулся с учений, он всегда бранит меня, что я все занимаюсь. Он привез мне вишен — это здесь первые; а вы их там кушаете? Как бы я рада была поделиться ими с вами — от этого они стали бы для меня во стократ слаще!

Все фрукты напоминают мне о тех апельсинах, которые я давала Иммортелю; а те, что он подарил мне, я ела дорогой и бережно храню от них корки в старой бумажке, которая, по счастливой случайности, попала мне в руки и оказалась исписанной его почерком — приказ по дивизии.

Прощайте, мой ангел, желаю вам доброй ночи, а также моему любезному Иммортелю, да посетят приятные сновидения вас обоих, ведь вы да еще моя добрая маменька — самое дорогое, что есть у меня на свете.

№ 6 *Июль, 1820, 1-ое число*

Добрый день! Будьте здоровы, обожаемый друг мой, так здоровы, как я вам того желаю. Я нынче прямо в ужасе — у нас будут к обеду посторонние, мужчины — старый генерал, два наших полковника и подполковник; нашего олуха адъютанта я не считаю, он как бы свой. Я бы отдала все на свете, чтобы избавиться от необходимости видеть этих людей, но чтобы доставить удовольствие мужу, придется их принять. Не подумайте только, что мое отвращение к ним объясняется их возрастом или же недостаточной их учтивостью — вовсе нет — будь они даже прекрасны, как Антиной, и любезны, как Фонтенель[12], все равно я чувствовала бы то же. Ничто так не тяготит меня, как необходимость казаться веселой, когда мне грустно. Вы ведь сами, милый друг, сотни раз бранили меня за то, что я не научилась притворяться, хоть это и необходимо в этом мире.

Только что муж подарил мне прелестное платье. Он получил его от некоей г-жи Бибиковой в благодарность за то, что выполнил ее поручение в Риге. Очень красивый узор, особливо просветы хороши. Спешу вам его переслать с покорнейшей просьбой — велите сде-

лать вышивку на кушаке и лифе и сообщить цену. Я не хочу, мой ангел, чтобы вы так деликатничали со мной в этих делах. Деньги могут понадобиться вам на лекарства. Вы же знаете, как я была бы счастлива оказаться вам полезной; так что сделайте милость, не церемоньтесь со мной, мой добрый друг, не то я вынуждена буду действовать совсем иначе, когда придет надобность просить вас о чем-либо, и тогда, вы это понимаете, между нами не станет прежнего доверия, а уж от этого я бы пришла в полное отчаяние. Так что, помня ваши обещания, уповаю, что вы время от времени постараетесь доставлять мне случай быть вам полезной.

Мне сегодня предстоит сделать визиты губернаторше и полковнице, которая уже была у меня первая. А 6-го, кажется, мы устраиваем торжественный обед в честь корпусного командира, он будет дан от лица всей бригады у нас в доме, что позволит избежать неприятностей с приглашением Лаптева и даст ему возможность отказаться. Меня — на мое счастье — на обеде не будет по той причине, что там будут одни мужчины. Это не очень-то учтиво, но я от этого просто в восторге: оба полковника глупы до чрезвычайности и, на мой взгляд, предурно воспитаны. Им следовало бы дать бал, чтобы поддержать честь второй бригады; сегодня уже почти окончательно решили, что обед будет устроен в складчину и на нем будут только мужчины; еще дан будет бал, тоже в складчину и тоже в нашем доме. Будет фейерверк, а я и полковница будем принимать гостей. Увы!

6 часов

Вернулась из гостей. Губернаторша и ее муж премилые люди, так же как и все, кого я там видела. Меня очень хорошо принимали, а от полковницы я узнала, что, судя по всему, наш бал состояться не может. Самое большее будет обед, да и то не наверное.

10 часов

Желаю вам доброй ночи, милый мой друг. Забыла рассказать вам, что видела нынче этого ужасного Андреева. Вошел он, когда мы уже собирались вставать

из-за стола. Трудно представить себе что-либо более безобразное — лицо отвратительное, просто отталкивающее. Добрейший *Кир. И.* сделал мне знак глазами, он еще раньше предупреждал меня, что это человек опасный, особливо для меня. Поэтому я старалась избежать разговора с ним; однако я заметила, что он не отрывает от меня глаз; немного поколебавшись, он подошел ко мне и спросил несколько странным тоном — долго ли я еще оставалась дома после возвращения отца, я отвечала ему очень сухо и коротко, что после его приезда оставалась еще две недели, потом воцарилось молчание; я спросила, знаком ли он с моим отцом? Он ответил, что да, после чего, видя, что я не расположена продолжать разговор, спросил, сколько лет моей дочке, которая сидела подле меня. Я ответила, что ей два года, и отвернулась. Он и во второй раз пытался заговорить со мной, только я на его вопрос не ответила, и на этом дело кончилось. Я теперь совершенно убедилась — да и муж в том признался, — что это он сказал ту ложь насчет Магденки, я в этом была уверена. А теперь скажите, разве не права я была, когда рассердилась на то противное письмо и на письмо моего мужа, где он обвиняет Магденку? Чем больше я узнаю этого человека, тем более убеждаюсь, что он достоин моего уважения. На сегодня довольно. Доброй вам ночи, мой ангел. Желаю сладких сновидений Иммортелю.

2 июля

Я очень плохо провела сегодня ночь, мой ангел. Вчера я долго не могла уснуть. Перед глазами моими все стояло последнее прощание. Признаюсь вам, что намеренно не прогоняла от себя эти опасные и сладостные мысли, чтобы видеть приятные сны, но нет, этой ночью небо отказало мне в таком утешении. Нынче я мужа еще не видела, хотя уже почти полдень, он ушел до того, как я проснулась. Я встала, прошла в свой кабинет и там пила чай, как всегда в полном одиночестве, потом взяла книгу и тут вдруг, к удивлению своему, услышала гром. В Лубнах он никогда не бывал для меня столь неожиданным, потому что там, вставши, всегда первым делом глядела на облака, чтобы знать, хорошая ли будет погода, и даже угадывала

по их движению, хороший ли будет вечер, но теперь мне это безразлично, и я только для того и взглядываю на небо, чтобы увидеть, не в нашу ли сторону плывут тучи, и тогда я спокойна за дорогую мою маменьку; и я призываю бога-громовержца посылать грозы лучше сюда, а не тревожить мирный покой лубенских жителей. Пусть наслаждаются они всегда ясным небом, пусть будут довольны и счастливы и пусть не забывают, что есть на свете душа, которая только о том и мечтает, чтобы разделить с ними это счастие.

Мне сейчас пришла в голову забавная мысль, и хоть вы, может быть, скажете, что я слишком самонадеянна и что-нибудь еще, все равно я выскажу вам ее. Представьте, я сейчас мельком взглянула в зеркало, и мне показалось чем-то оскорбительным, что я ныне так красива, так хороша собой. *Верьте или не верьте, как хотите, но это истинная правда.* Мне хотелось бы быть красивой лишь тогда, когда... ну, да вы понимаете, а пока пусть бы моя красота отдыхала и появлялась бы в полном блеске, лишь когда я того хочу. Вот странная мысль, наверно, скажете вы?

Половина шестого

Какая тоска! Это ужасно! Просто не знаю, куда деваться. Представьте себе мое положение — ни одной души, с кем я могла бы поговорить, от чтения уже голова кружится, кончу книгу — и опять одна на белом свете; муж либо спит, либо на учениях, либо курит. О боже, сжалься надо мной!

Мне нужно вам признаться в большой слабости, но ведь я обещала ничего от вас не скрывать. Представьте себе, мой ангел, что я иной раз нахожу успокоение в мыслях о некоем счастии в грядущем, надежды на которое вы часто мне внушали; это одни лишь мечты, одно воображение, не следовало бы и думать об этом, не правда ли? Но что вы хотите, не могу от этого удержаться. *Кто не желает себе добра?* И всякий раз, когда я думаю о том, что буду вознаграждена за свои страдания, мне вспоминаются наши разговоры с вами и те горячие пожелания счастья, которые вы мне высказывали. Неужели преступление желать себе счастья? Мысль эта ужасна. Ответьте мне, мой ангел, успокойте меня,

ради самого неба. Бог мне свидетель зла я никому не желаю, напротив, желаю ему всякого счастья, только чтобы я к этому не имела отношения. Как мне выдержать подобную жизнь? О дорогой мой друг, приободрите же меня своими письмами, своими советами, утешьте меня, мой ангел, напишите мне о добродетелях Иммортеля. Я была бы в отчаянии, если бы он оказался недостоин моей любви, я бы себе этого не простила, это сделало бы меня навеки несчастной, ибо я люблю его так, что и выразить нельзя, люблю в нем решительно все; чем больше я думаю, тем яснее вижу, что это — настоящая любовь. Все то, что при моем характере в других меня отталкивает, в нем мне нравится, вот, например (не стану говорить о его притягательности, о его очаровании), я веселая, а он всегда серьезен, и что же, мне это в нем мило; я люблю танцевать, а он не танцует, и что же, я нахожу это очаровательным, мне даже кажется, что это ему идет. Впрочем, я танцевала с ним польский, до чего же я была тогда счастлива, да и он тоже — ни за какие царства не уступила бы я этого счастья — так радостно было держать его руку. При одном воспоминании у меня начинают литься слезы. До чего я слаба, боже мой! Простите меня, мой ангел! Для этого вам понадобится вся ваша снисходительность. Но не отказывайте мне в том, что может послужить мне утешением. Пишите мне об Иммортеле, ведь правда, есть какая-то мелодия даже в самом его взгляде,— воспользуюсь премилым выражением, которое я только что прочла. Другого такого взгляда нет в целом мире. Я сейчас нашла в конфектах красивый билетец, только я переделала его по-своему, вот он:

Je partage ses goûts, toute ma jouissance
Serait dans son aimable entretien.
O, quand il danse, j'aimerais la danse,
Après l'avoir quitté je n'ai du goût pour rien*

---

* У меня с ним одни вкусы. Все мое счастье
В любезном разговоре с ним.
Когда он танцует — и я бы танцевала,
В разлуке с ним мне ничто не мило *(фр.)*.

Покидаю вас, иду на прогулку с Катенькой[13]. Она торопит меня, до свидания, мой ангел, страстно прижимаю вас к сердцу.

№ 7 *В 7 часов*

Вернулась с прогулки, но моцион не пошел мне на пользу — у меня закружилась голова, так что, придя домой, я вынуждена была лечь, чтобы восстановить силы. У меня побаливает грудь, и я чувствую какую-то слабость. Но не беспокойтесь, мой ангел, постараюсь сохранить свое здоровье, чтобы любить вас.

Нынче вечером, в 8 часов, приезжал ко мне с визитом господин Бибиков с дочерью, г-жой Фигнер, молодой вдовой, очень любезной особой; она выказала весьма большое ко мне расположение и обещала приехать еще завтра поутру, прежде чем возвращаться к себе в деревню — это за 10 верст отсюда, она нарочно приехала в город, чтобы посетить меня. В воскресенье, то есть послезавтра, предполагаю поехать туда на целый день. Хочешь не хочешь, а надобно понемногу выезжать и встречаться с людьми, чтобы не быть совсем затворницей, а то ведь я покидаю свою комнату только на время прогулок, да и это время провожу в закрытой карете.

Полночь

Только что прибыл П. Керн[14], он крайне со мною мил, говорит всякие любезности, то и дело целует ручки, поэтому волей-неволей и я с ним довольно приветлива, вы ведь знаете, какое у меня доброе и чувствительное сердце — тотчас же отзовется на всякое изъявление дружбы. А вот поучать себя я, разумеется, ему не позволю. Я думаю, что мне не дадут больше уделять столько времени моему писанию. Вот даже сейчас муж выговаривал мне за это, так что приходится отложить перо. Доброй вам ночи, мой ангел-хранитель, господь да благословит вас и его также.

3 июля в 10 часов

Только я проснулась, мой ангел, как принесли ваше прелестное письмо, за которое бесконечно вас благодарю. Но признаться ли? Я не вполне им довольна, оно

так коротко и вызывает у меня опасение — не больны ли вы? Да хранит вас от этого бог, милый мой друг, пишите мне так, как я вас о том просила — каждый день понемножку, а если вам не разобрать будет моего маранья — попросите у (неразб.) увеличительное стекло.

Вчера после ужина у меня не было времени, чтобы написать вам о разговоре, который был у нас за столом, а между тем он достаточно интересен, чтобы вы о нем узнали. Речь шла о графине Беннигсен[15], у которой, как утверждает мадемуазель, она служила. Муж стал уверять, что хорошо ее знает, и сказал, что это женщина вполне достойная, которая всегда умела превосходно держать себя, что у нее было много похождений, но это простительно, потому что она очень молода, а муж очень стар, но на людях она с ним ласкова, и никто не заподозрит, что она его не любит. Вот прелестный способ вести себя. А как вам нравятся принципы моего драгоценного супруга?

Полдень

Только что уехала г-жа Фигнер, и теперь я тверже, чем когда-либо, решила никого больше у себя не принимать и ни к кому не ездить. Терпеть подобные неприятности в присутствии посторонних — это уж слишком. Я больше не могу. Нужно вам сказать, что мой дорогой супруг их не жалует, а причина в том, что там часто бывает молодежь из нашей бригады, и он не хочет, чтобы я там с ними встречалась. Она просила меня снова увидеться нынче поутру, как только встану с постели, и принять ее в моем кабинете, чтобы не стеснять мужа. Так он сговорился со своим дорогим племянником, вошел ко мне с любезнейшей физиономией и всякими своими *обиняками* начал, ни с того ни с сего, что он-де «человек не светский», а простой солдат, и, уж по правде говоря, вполне доказал, что он п р о с т о й, потом привел своего племянника и начал его укорять, что вот, дескать, его я видеть не пожелала, и все это с хитрой усмешкой, которая всегда у него бывает, когда он собирается сказать что-нибудь двусмысленное. Они со своим любезным племянником все время о чем-то шепчутся, не знаю, что у них там за секреты и о чем они говорят... а я так несчастна! Господин

Керн вбил себе в голову, что должен всюду сопровождать меня в отсутствие своего дядюшки, и, мне кажется, собирается отправиться завтра к Бибиковым. *Я не знаю, как отделаться, а и там не будут ему рады, он держится так важно, бог весть отчего.*

Вы и теперь будете говорить, что счастье мое зависит от меня? Конечно, нет. Для этого вы слишком разумны. Итак, он считает, что любовников иметь непростительно только когда муж в добром здравии. Какой низменный взгляд! Каковы принципы! У *извозчика* и то мысли более возвышенные; повторяю опять, я несчастна — несчастна оттого, что способна все это понимать. Пожалейте вашу Анету, еще немного — и она потеряет терпение. Вот какой этот почтенный, этот деликатный, этот добрый человек, этот человек редких правил. Пусть поймут, как велика та жертва, на которую меня обрекли. *Содрогнутся!* О, как жаль мне несчастного моего отца, если он любит меня и если есть у него глаза. Только ежели он станет говорить с вами об этом, скажите ему, что страдаю я не из-за одной ревности.

Половина четвертого

Признаться, меня немного мучила совесть — следует ли мне огорчать вас, поверяя вам все свои горести, но я полагаю, что неполная откровенность была бы еще хуже. C'est aux jours de l'affliction que l'âme va reposer et s'épancher dans celle d'un ami avec cette confiante exactitude, qui n'appartient qu'à elle. Ceux qui prétendent que par delicatesse ont droit de cacher ses chagrins à ceux qu'on aime, injurient l'amitié car son plus charmant caractère est de s'emparer des peînes et de partager les plaisirs. On aime peu son ami ou on le malestime quand on lui ravit le droit de sentir tout ce qu'on éprouve*.

Я нахожу, что это очень верная мысль, думаю, вы будете того же мнения.

---

* Именно в дни скорби ищет душа успокоения, изливаясь душе друга с той доверчивой откровенностью, которая присуща дружбе. Те, кто полагает, будто дозволено из деликатности таить свои горести от тех, кого любишь, оскорбляют дружбу, ибо самое пленительное ее свойство — брать на себя горести друга и разделять его радости. Не любит или не уважает своего друга тот, кто отнимает у него право чувствовать все то, что испытывает он *(фр.)*.

Сегодня, как обычно, была на прогулке. Г-н Керн сопровождал нас верхом, мы видели, как проехал Лаптев. Мне стало известно, что Магденко старался примирить с ним мужа — это сообщалось в письме (неразб.) к Киру И., еще он ему написал, будто Лаптев согласен на это примирение из-за меня, потому что он меня любит и уважает. Все-таки мне это приятно. Завтра буду у обедни и увижу Лаптева. Меня занимает, как произойдет эта встреча. Еще одна новость. Император проедет через Порхов 9-го числа, муж собирается поехать встречать его. Бог знает, что выйдет из этого. В газетах пишут, будто в Париже собралось 20 тысяч человек и все кричали: «Да здравствует Наполеон!» — и хотели прогнать короля. Говорят, будто от этого может случиться война. Как бы хорошо! Говорят, охотно веришь тому, чего желаешь. Вот и я готова этому поверить. *Еще говорил сегодня один наш знакомый генерал, что он видел какой-то огненный столб — что значит война.* Прощайте, драгоценный мой друг, отдыхайте хорошенько, молитесь за вашу Анету. Забыла написать, что завтра я вместе с Катенькой еду в гости за 10 верст отсюда, так что у меня до самого вечера не будет больше времени беседовать с вами, может быть, целый день будет пропущен.

Еще должна вам сообщить, что П. Керн собирается остаться у нас довольно надолго, со мною он более ласков, чем следовало бы, и гораздо более, чем мне бы того хотелось. Он все целует мне ручки, бросает на меня нежные взгляды, сравнивает то с солнцем, то с мадонной и говорит множество всяких глупостей, которых я не выношу. Все неискреннее мне противно, а он не может быть искренним, потому что я его не люблю. Сколько бы он ни притворялся, не может и не должен он меня любить, слишком он обожает своего дядюшку, а тот совсем меня к нему не ревнует, несмотря на все его нежности, что меня до чрезвычайности удивляет, — я готова думать, что они между собой сговорились, ведь вы же знаете, какой мой муж подозрительный. Не всякий отец так нежен с сыном, как он с племянником. Ах, когда бы была жива та женщина, как было бы хорошо, я тогда не знала бы Керна, жила бы

себе подле вас, счастливая, спокойная, и дневник этот не был бы столь печален. Прощайте, мой ангел.

№ 8 *11 часов, 4-го числа*

Вернулась от обедни, где горько плакала, моля бога, чтобы он ниспослал мне терпения, ибо мне оно нужно более, чем когда-либо. Молитесь за бедную Анету, невинную жертву судьбы; ничего больше написать не могу. В церкви было много народу, но меня никто не видел и Лаптев ко мне не подходил.

9 часов

Вернулась из гостей. Меня очень хорошо принимали, была только их семья, которая состоит из отца, матери и четырех дочерей, одна из них вдова. Они премилые люди. Были там еще двое молодых военных, один нашего полку, другой плац-адъютант, очень любезный и хорошо воспитанный молодой человек. Он целый день все возился с Катенькой, и, нужно сознаться, она нынче держалась прелесть как мило, а я, как могла, старалась тоже держаться полюбезнее, потому что с самого начала не могла заставить себя быть веселой. Мы гуляли, потом несколько раз прошлись в вальсе, а в половине седьмого я уехала, к великому сожалению всего этого милого семейства. Вот я уже и дома, мой ангел. П. Керн выехал верхом нам навстречу, я предложила ему сесть в карету; он как будто бы очень меня любит и становится со мною все более и более предупредительным. Он словно мне сочувствует и очень удивляется поведению своего дядюшки, говорит, что тот стал неузнаваем.

Понедельник, 5-го числа, в 10 часов

Здравствуйте, очаровательный мой друг. Вчера, слава богу, мне было чуточку повеселее. П. Керну удалось рассмешить меня своими шуточками, и мы целый вечер с ним смеялись. Муж отправился спать раньше нас. Как непринужденно и свободно чувствуешь себя с тем, к кому не испытываешь никаких чувств. Он очень красивый мальчик, со мной очень любезен и более не-

жен, чем, быть может, хотел бы показать, и, однако, я совсем к нему равнодушна; верите мне теперь, что я люблю Иммортеля? Слушая безвкусные комплименты Керна, я все вспоминаю милое и такое красноречивое молчание моего Иммортеля. *Я решилась не посылать вам остаток от лифа, а просить вас вышить талию, это будет слишком долго дожидаться. Вчера я узнала от Кира И., что Лаптев желал бы помириться, он думает, что я на него сердита и для того так стояла в церкви, чтобы меня не видали; он очень хорошо про меня говорит и сказал, что истинно для меня только хочет с ним помириться. Я не знаю, как это кончится, знаю только, что я права со всех сторон и преспокойно буду сидеть в своем кабинете и рассуждать о суете мирской. Меня сегодня хотели лишить последнего утешения и за расчетом посылать только раз в месяц мой журнал, но я буду платить за него, если нужно, трудами собственных рук моих, но не лишу добровольно себя этого утешения. Итак, посылаю вам только узор, который очень хорош. Если вы будете себе шить платье, то пусть будет такое, а больше никому не давайте. Прощайте, мой ангел. Христос с вами.* Сейчас уйдет почта, мой ангел, пусть, дорогой мой друг, получите вы это письмо в таком добром здравии, какого я вам только желаю. Нынче видела его во сне и так была этим счастлива! Во имя неба, мой ангел, никому не рассказывайте об истории с Лаптевым. На днях приедет Магденко, и я очень рада буду его видеть. О, право же, он достойный человек. Итак, прощайте. Когда он приедет, я, может быть, смогу написать вам что-нибудь более приятное. Прощайте, мой ангел, пусть небо благословит вас и его тоже. Тысячи раз целую моего нежного, дивного друга и прошу его помнить о своей Анете.

№ 9 *1820, 6-го июля*

Только что видела доброго, милого, уважаемого г-на Магденко, он нынче только приехал. Я была вне себя от радости, увидев его. Тому, кто печален, несчастлив и одинок, как я, так радостно видеть истинного друга, принимающего в нем участие и сочувствующего его страданиям. Представьте себе, мой ангел, что я чуть было не бросила писать свой дневник. Моя неосторожность едва не стала роковой для нашей переписки.

3 часа

Теперь все это позади, и я вновь вам пишу, дабы по-прежнему поверять вам свои поступки и мысли. Его низость до того дошла, что в мое отсутствие он прочитал мой дневник, после чего устроил мне величайший скандал, и кончилось это тем, что я заболела. Сегодня мне уже лучше, и все превосходно уладилось — об одном только жалею, — что не осталась у вас подольше, — зачем не продлила я своего счастья? Но вы этого требовали. Представьте, он вчера мне заявил, что ежели я чувствую себя такой несчастной, нечего мне было и возвращаться, раз уж он меня отпустил, а он, разумеется, оставил бы меня в покое и не стал бы ни приезжать за мной, ни принуждать меня жить с ним, раз я все время колеблюсь. Вот вам его принципы, его образ мыслей. Чем больше я его узнаю, тем яснее вижу, что любит он во мне только женщину, все остальное ему совершенно безразлично. Магденко отправился обедать к Лаптеву, уходя, он просил позволения у меня и мужа на то, чтобы попытаться их примирить. Когда он вернется, сообщу вам, что из этого вышло.

7-ое

Все кончено. Только что ушел от меня Магденко. Все его усилия помирить мужа с Лаптевым ни к чему не привели; он заявил, что считает его смертельным врагом. Он сказал Магденке, что ничто, никогда не поколеблет его уважения ко мне, что он навсегда сохранит ко мне величайшее почтение, но мужа будет ненавидеть до последнего своего вздоха. Нужно вам сказать, что племянник держится престранно — то он до невозможности нежен, а то словно бы осуждает мое поведение. Я буду просто в восторге, когда меня избавят от него.

Полночь

Только что провела несколько прелестных часов в обществе достойнейшего Магденки. Лишь теперь я по-настоящему узнаю его, и чем больше вижу, тем

больше люблю. Вы представить себе не можете, как он выигрывает при более близком знакомстве, ум его основательнее и тоньше, чем это кажется вначале. Все сомнения мои рассеялись, мы поговорили с ним вполне откровенно, он мне сказал, что с первой же минуты знакомства меня понял. Он признался, что характер мужа весьма затрудняет дружбу с ним, что у них уже было немало размолвок, но что он усвоил себе особую манеру обращения с ним и готов вынести от него что угодно, чтобы только не потерять моего расположения. Он до такой степени сумел изучить все оттенки моего характера, что понимает меня без слов. Я с увлечением говорила ему о вас, он знает вас и любит. Даже во время моего отсутствия он сумел оказать мне услугу, отговорив мужа от намерения написать неприятное письмо моей милой маменьке, в ответ на полученное от нее, словом, *настоящий меценат,* поистине бесценный человек. Кончаю, как и начала — похвалой ему. Прощайте, мой ангел. Доброй вам ночи, милый друг, и Иммортелю тоже.

8-е, 6 часов

Сегодня у нас был торжественный обед. Лаптев не приехал, хотя обед был дан от лица бригады. Обед был великолепный, лучшие фрукты и лучшие вина. Я, как вы знаете, на нем не присутствовала, но корпусной командир г-н Гильфрейхт, который вообще женщин не любит, а меня видел только раз, спросил у мужа обо мне, и завтра снова будет у нас к обеду, нарочно, чтобы иметь случай меня видеть. Это желание разделяет с ним и его адъютант. Возможно даже, что еще нынче вечером я буду иметь честь поить их чаем, если только они не слишком поздно вернутся с маневров. Так что, волей-неволей, мне придется показываться. Дорогой племянничек мне все больше и больше не нравится, особенно когда он берется давать советы. Эта их дурацкая самоуверенность выводит меня из себя. *Что досадно, что не знают, где ее употребить.*

Скажу вам еще, мой ангел, что поскольку Лаптев так открыто выражает свою враждебность, Магденко советует перейти в другую дивизию. Вы, может быть,

подумаете, зная мою привязанность к вам и к моим дорогим родителям, что я стану просить мужа перевестись в 15-ю дивизию. Ни в коем случае. Напротив, поскольку он насчет этого подумывает, я постараюсь, как могу, его от этой мысли отговорить. Магденко обещал меня поддержать, а то ведь при его характере он не уживется с Роттом и двух дней, а уж если вдобавок будет еще ревность, вряд ли это кончится так мирно. Вспомните, каков он был с Сакеном и даже с младшими офицерами. Теперь то же самое с Лаптевым, но у этого-то хоть дурной характер, а Сакен — само спокойствие, и будь на его месте Ротт, ссора эта имела бы совсем другие последствия.

Итак, не предполагайте меня видеть в Лубнах в 15-й дивизии — и вот мои доводы: 1) я не хочу, чтобы мои родители каждую минуту видели, до какой степени я несчастная; 2) чтобы избежать необходимости каждую минуту краснеть от стыда, что, как вы понимаете, весьма тягостно; 3) мне невыносимо будет жить в такой близости от Иммортеля; 4) не хочу вас всех стеснять и своим присутствием делать вас окончательно несчастной. Заранее уверена, что вы согласитесь со всеми этими доводами. Можете даже изложить их моему отцу, ежели он настолько слеп, что думает, будто мы когда-нибудь сможем жить все вместе.

Я только что ела чудесные вишни. Представьте себе, четыре вишенки на одной тонкой веточке, одна над другой. Я в первый раз видела такое маленькое чудо и прежде всего подумала о вас, милый друг мой. Как я счастлива была бы разделить их с вами.

9-го в 10 часов вечера

Весь нынешний день я так была занята, что только сейчас нашла свободную минуту. У меня обедал корпусной командир, губернатор и еще несколько человек. Они уехали сразу после обеда, а я такую чувствовала слабость, что по сю пору пролежала в постели. Сейчас только встала, но собираюсь снова лечь. Муж ужинает, а я пишу. Я себя очень дурно чувствовала сегодня, должно быть, из-за всех этих треволнений, они расстроили мне нервы. Прощайте, бесценный друг мой, благослови вас бог, будьте здоровы. Хоть бы ваше пись-

мо, которого я жду с превеликим нетерпением, принесло мне весть о том, что здоровье ваше поправляется. Поверьте, только это способно заставить меня переносить мою жизнь вдали от вас и всех тех, кто мне дорог. Доброй ночи, милый мой друг, я очень устала, *совсем ослабела, бог с вами, моя родная.* Подтвердите Иммортелю, хотя бы намеком, как близко к сердцу я принимаю его судьбу. Еще раз прощайте, не могу больше.

Ваша Анета вечно.

№ 10 *1820, 10 июля*

Я вне себя от волнения: узнала новость, от которой сама не своя. Говорят, Кир И. получил какое-то известие. Я уверена, что оно касается Иммортеля. Он присылал сказать, что придет показать мне письмо от своей жены. Я все потом перескажу вам, мой ангел, там, конечно, должно быть что-то для меня. Видели бы вы, в каком я состоянии! Я так волнуюсь! Хоть бы он поскорее приходил. У меня есть тимьян, я мечтала лишь иметь резеду, с моей мимозой нужно много желтой настурции, чтобы скрыть ноготки и шиповник, которые мучают меня. Благодаря утрате резеды, оринель взял такую силу, что вокруг уже нет ничего, кроме ноготков, тростника и букса. Нет в моем цветнике (неразб.). Вот каково состояние моего сада. Покидаю вас, нужно одеваться. До свидания, после все узнаете.

10 часов вечера

Его я не видела, а следовательно, ничего нового не узнала. Ноготок меня не оставляет, есть у меня большой лютик, дабы что-нибудь узнать, и нет желтых кувшинок, пока я немного не успокоюсь. Прощайте, мой ангел, доброй вам ночи, спите спокойно. Завтра воскресенье, пойду к обедне. Да будут услышаны горячие мои молитвы о вашем выздоровлении.

11-е, 9 часов утра

Никаких известий. У меня нет больше терпения. Остается только слабая надежда на сегодняшнюю почту. Не браните меня, мой ангел, а пожалейте. Прощайте, иду в церковь.

11 часов вечера

Только я вернулась из церкви, как меня стали уговаривать ехать к одной даме в деревню, на обед. Мне совсем этого не хотелось, но чтобы доставить удовольствие драгоценному супругу и дорогому племяннику, пришлось согласиться. Так как платье было не в порядке, бедную А. А. стали бранить самым свинским образом, она не в силах была это стерпеть, и вот с завтрашнего дня она рассчитана. Разве не права я была, что ничего ей не сказала по этому поводу, ведь я хорошо знаю ее характер, но, на мое несчастье, человек сколько-нибудь стоящий не сможет у меня жить. Завтра я ее отпускаю, заплачу ей за покрывало и пояски, которые вы просили вышить. Надо сознаться, работа очень тонкая. Прощайте, мой ангел, будьте здоровы, и да хранит нас господь во святой троице.

12-е, 9 часов утра

Я только что встала, и мне тут же было объявлено, что ее больше ни одной минуты не желают терпеть в доме. Будь это из-за ее поведения, я бы ему простила, но нет, это чистый каприз, глупое самолюбие, которое задето тем, что она отказалась остаться, когда он просил ее об этом, после того как ее так обидел. Какая жизнь ждет всякого, кому придется служить у меня!

Ничего более приятного я сообщить вам не могу, разве только то, что в лагере будет бал у двух наших полковников. Я была бы счастлива, если бы могла на нем не быть, но думаю, что это будет невозможно. Прощайте, добрый мой ангел, единственное мое утешение, единственный друг мой. Я часто размышляю о дружбе, что связывает нас, и каждый раз прихожу к заключению, что дружба та же любовь, ибо чаще всего мы любим характеры, противоположные нашим. Очень верно сказано: «Quand les âmes s'entendent, les esprits n'ont pas besoin de se ressembler. Nous aimons peut-être d'avantage celui qui diffère de nous par les manières. Il n'est pas nècessaire que les caractères soient

absolument semblables si la base des sentiments est la même»*.

Наша дружба тому доказательство, милый мой друг, а в отношении любви вы можете найти тому подтверждение опять же на моем примере. *Мы совсем разных свойств, но души наши и правила одинаковые, и вот почему существует между нами симпатия.* «Amour, tu blesses avec promptitude, tu guéris lentement quand c'est l'âme que tu a atteinte!»**

Пришел дорогой племянничек и стал меня утешать на свой лад — говорит, что не из чего мне огорчаться, раз мой муж и ребенок в добром здравии. Мне немалого труда стоило объяснить ему, что сострадать чувствительному сердцу может лишь тот, кто сам способен чувствовать! Я присутствовала при выдворении мадемуазель и теперь совершенно разбита, чувствую себя очень скверно, бог знает чем все это кончится. Но прошу вас, мой ангел, не тревожьтесь. Не пугайтесь, даже если я захвораю: тот, кто желает себе смерти, не умирает, — я буду жить долго, чтобы любить вас и страдать, так уж мне на роду написано, и я безропотно подчиняюсь своей судьбе. Еще раз не пугайтесь, ежели я немного заболею, для меня это будет только счастьем; это избавит меня, по крайней мере, от необходимости выходить из комнаты и показывать людям свое несчастное лицо.

Как грустно течет для меня время. У Вольтера есть такой стих:

Ciel, que le temps est un bien précieux,
Tout se consume et l'amour seul l'emploie***.

А я так скажу, что над временем властвуют и любовь и дружба. «Amitié, que tu as de charmes! Heureux qui t'inspire, encore plus heureux qui l'éprouve»****, — говорит г-жа де Пьенн[16]. Раз уж я все вам про себя рассказываю, расскажу, что только что прочитала прекрас-

---

* Когда души понимают друг друга, умы могут быть и не схожи; мы, быть может, более любим того, кто отличается от нас. Нет необходимости в полном подобии характеров, если основа чувств одна и та же *(фр.)*.

** Амур, ты ранишь в одно мгновенье, ты медленно исцеляешь душу, которой коснулся! *(фр.)*

*** О небо, какое драгоценное благо — время. Оно истребляет все, и одна только любовь властна над ним *(фр.)*.

**** Дружба, сколько в тебе очарованья! Блажен, кто внушает это чувство, еще блаженнее тот, кто его испытывает *(фр.)*.

ный роман «Два друга» г-жи де Пьенн, где очень хорошо и подробно даны портреты этих двух друзей. Не стану говорить, который из двух больше мне по душе, пока не узнаю вашего мнения; вы, конечно, догадываетесь, что это тот, у которого больше сходства с Иммортелем. Присоединяю на отдельном листочке небольшой отрывок оттуда.

Я так и знала, что он напишет маменьке, будто выгнал мадемуазель единственно ради ее удовольствия. О, какая это неправда! *Разуверьте маменьку, пожалуйста, потому что прежде он и не думал поспешить сделать ей это удовольствие, а вдруг взбесился, наговорил грубостей, после того* как сам же просил ее остаться, но когда она отказалась, он из самолюбия или уязвленной гордости не позволил ей провести в доме даже одну лишнюю ночь. *Прощайте, мой бесценный ангел. Христос с вами и со мною также. Прощайте еще раз. Вот уже почта пришла, и нет писем. Бога ради, пишите хоть каждую неделю. Обнимаю вас тысячу раз. Я завидую иногда иным людям* и очень часто говорю вслед за г-жой Пьенн: «Qu'ils sont heureux ceux dont les sentiments sont d'accord avec la vertu et que les remords ne ternissent pas»*.

Прощайте же, милый мой ангел, ради бога будьте здоровы. *Приласкайте за меня маменьку мою родную, скажите ей, что я ее без души люблю, обожаю. Попросите ее, чтобы она чаще ко мне писала. Христос с вами. Грустно, очень грустно, да нечего делать.* Скажите Иммортелю все, что вы сочтете возможным, я никогда не забуду его, это немыслимо. Прощай все, что только есть у меня дорогого на свете. Катенька вам шлет поклон, она прелестна, так еще ребячлива, я очень люблю ее, она единственное мое утешение. Прощайте, мой ангел. *Не хочется расстаться, покуда еще можно что-нибудь сказать, а все — старое, или что вы давно, давно уже знаете. Я с нетерпением считаю числа теперь в ожидании ваших писем и приезда милого Магденки. Прощайте еще раз. Ежели приехал Коссаревский, заставьте его доделать картинку, как я вам писала. Скажите Иммортелю, что в е ч н о я не забуду.*

Ваша Анета.

---

* Как счастливы те, чьи чувства согласны с добродетелью и кого не омрачают угрызения совести *(фр.)*.

№ 11 *1820, июля 14-го, в 11 часов вечера*

Мне так грустно сегодня! Никаких известий от вас, вы забыли обо мне. Все меня покидают! Я очень несчастна! Вот уже две почты прошли, а от вас ни единой строчки. Я нынче целый день плачу. Боже мой! А вдруг вы заболели? Эта ужасная мысль непереносима. Как ни мучительно мне было бы ваше небрежение, я бы предпочла, чтобы именно оно явилось причиной отсутствия писем от вас. Я растеряла свои мысли, свои способности, ничего не думаю, ничего не чувствую, ничего не делаю. Была минута, когда я испугалась, уж не схожу ли я с ума, представьте, вдруг как-то, помимо собственной воли, я стала повторять каждую минуту: писем нет,— и от этих слов горькие слезы текли из глаз моих. Мне нет надобности говорить вам, что все окружающее меня здесь не способствует тому, чтобы я чувствовала себя счастливой. Мне уж лучше быть одной, нежели выслушивать плоские шуточки, которые отпускает драгоценный племянничек. Как противно видеть молодого человека столь распущенного — никакой деликатности, и мысли у него самые грязные. Вот что меня здесь окружает. Уже два дня, как она уехала, никто не приходит, так что когда нет у меня охоты наслаждаться этой приятной беседой, я совершенно одна. Как грустно мне читать восхитительную книгу г-жи Сталь[17] и не иметь подле себя никого, с кем я могла бы поделиться прекрасными местами, кои там встречаются.

Всю переписку с другими я забросила, берусь за перо, только чтобы писать к вам, и *точно могу сказать: беру перо. Им начертать могу лишь имя несравненно.* Спокойной ночи, мой ангел.

15-го, в 4 часа пополудни

Ничего нового не могу сообщить вам сегодня, милый друг мой. Я не могу сказать: «Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas»*. К несчастью, мои дни ужас до чего однообразны. Мой драгоценный супруг только и делает, что с утра до вечера лежит и курит.

---

* Дни следуют друг за другом, но не схожи между собой *(фр.).*

Мне, по крайней мере, от этого спокойнее, если только от меня не начинают требовать, чтобы и я проводила время таким образом. Ах, боже мой, нет у меня больше терпенья, уверяю вас. Не знаю, что со мной будет. Бедная я! Пожалейте меня, ради самого бога, молитесь за меня, а главное, утешайте меня своими письмами. Я с таким нетерпением жду следующей почты! Перо падает из моих рук.

10 часов вечера

Никакой перемены. Все та же однообразность, все та же печаль. Навестил меня *Кир И.,* говорит, что Лаптев справлялся у него насчет моего здоровья, а как услышал, что тот меня не видел, тут же велел ему пойти ко мне во второй раз и продолжать бывать в нашем доме, чтобы никто не подумал, будто это он ему запрещает. Мы пробыли вместе всего несколько минут, поговорили о вас, о Лубнах, и это было для меня словно несколько капель живительного эликсира, от которого ко мне возвратились силы. Не браните меня, но ежели мне теперь представится случай соединиться с вами, я не стану упускать его. Особенно если племянник вздумает поселиться рядом с нами. Нет, право, я не вынесу подобной жизни. Сегодня он стал говорить, что хочет ехать через всю Россию повидаться с нашей — то есть своей — родней, а закончится это путешествие Лубнами, и уж там мы и останемся. Спросил, буду ли я этому рада. Я, признаться, ответила ему совершенно искренне, что в его обществе мне решительно все равно, где жить, а племянник добавил: то есть в любом месте невесело. Вы понимаете, что я на это промолчала, а муж тогда говорит: коли так, отправитесь на Украину к своим родным, а я поеду к своим, и племянник сказал, что он-де возьмет *Катеньку с собой,* — на что я сухо ответила, что на это у него нет права, и вышла. Нет, честное слово, и с одним-то Керном трудно жить, а уж когда их двое — это просто непереносимо. Нет у меня больше сил.

Прощайте, мой ангел, ласковый, нежный друг мой. Будьте здоровы, богом прошу вас, на коленях умоляю, поберегите для меня драгоценное свое здоровье. Что со мной будет, если вы расхвораетесь! Храни вас гос-

подь. Доброй вам ночи, сейчас буду молиться за вас и за... Прощайте, да пребудет с вами ангел-хранитель, и да ниспошлет он вам сладкие сны.

16-го, в 11 часов утра

Здравствуйте, нежный друг мой! У меня ничего нового. Я по-прежнему читаю «Германию» г-жи Сталь, вы представить себе не можете, как это прекрасно. Буду делать оттуда выписки и в точности перепишу их для вас. Как хорошо поняла она сердце человеческое. Как, должно быть, она чувствительна и добродетельна.

В 10 часов вечера

Вернулась из деревни, куда ездила с визитом, это в четырех верстах отсюда. Муж пожелал, чтобы племянник поехал вместе со мной, а тот не стал отказываться — я уже писала, что он на свой лад очень нежен со мной, когда мы остаемся одни, все сетует, что я-де его не люблю. Мы провели там два часа. Это весьма приятные люди, которые очень меня любят. Возвратясь домой, мы застали у нас некоего г-на Пальчикова, премилого господина. Он обещал одолжить мне книг и фортепиано, за что я ему весьма благодарна, это развлечет меня, а то я и вправду стала совершенной мизантропкой.

Особенно делается мне грустно в вечерние сумерки; мною тогда до такой степени овладевает меланхолия, что я никого не желаю видеть, и если в такие минуты слышу звук какого-нибудь инструмента, слезы так и льются потоками из моих глаз. Единственное утешение — это моя дочка, она удивительно как привязана ко мне и очень ласковая.

№ 12

Представьте, она сразу же замечает, когда я чем-либо огорчена, ласкается ко мне и спрашивает: «Кто вас обидел?» С каждым днем она становится все милее, для своего возраста она даже весьма разумна, и мне нравится, что у нее есть деликатность. Вообразите себе, видит она однажды, что муж сидит на ее месте. Она

подходит к нему, смотрит на него, затем оглядывается вокруг, словно ищет места, и говорит ему: «Где бы вам сесть?» Не правда ли, это очень учтиво и тонко для ребенка ее лет? Вы, быть может, скажете мне: вот вам и утешение, дорогая Анета, вот вам средство от всех ваших горестей. Нет, мой добрый ангел, ничто не может рассеять моей печали. Да, разумеется, иной раз дитя мое приносит мне минуты утешения, но ко всему этому всегда примешивается печаль.

Никакая философия на свете не может заставить меня забыть, что судьба моя связана с человеком, любить которого я не в силах и которого я не могу позволить себе хотя бы уважать. Словом, скажу прямо — я почти его ненавижу. Каюсь, это великий грех, но кабы мне не нужно было касаться до него так близко, тогда другое дело, я бы даже любила его, потому что душа моя не способна к ненависти; может быть, если бы он не требовал от меня любви, я бы любила его так, как любят отца или дядюшку, конечно, не более того.

Прощайте, мой ангел, доброй вам ночи, я не заметила, как летит время, когда я с вами, я забываюсь. Эта фраза напомнила мне..., но нет, прочь воспоминания, пусть не смущают они мой сон. Нужно сказать вам, что мне нынче снилось, будто сюда приехала мой ангел — маменька. Какой сладостный то был сон и как я была счастлива! Ну, спокойной ночи, а то я никогда не кончу. Спите спокойно, а главное, пусть я вам приснюсь — вам и Иммортелю.

17-е, 10 часов вечера

Мне нечего написать вам о сегодняшнем дне, чувствую себя совсем больной — у меня жар и ломота во всех членах. Иду спать. Спокойной ночи, мой ангел. Думайте о вашей Анете.

18-е, воскресенье, 2 часа дня

Нынче я в церкви не была, потому что дурно себя чувствовала, и на улице дождь. Утром были у нас с визитом два адъютанта Лаптева, после их ухода я снова взялась за свою книгу, свое утешение, за г-жу Сталь. Только что прочла замечательный отрывок, он очень

близок мне по мыслям, и, хоть и очень длинен, я не могу лишить вас удовольствия и переписываю его здесь: «L'âme est un foyer qui rayonne dans tous les sens. C'est dans ce foyer que consiste l'existence. Toutes les observations et toutes les philosophies doivent se tourner vers ce «moi», centre et modèle de nos setiments et de nos idées. Sans doute l'incomplet langage nous oblige a nous servir d'expressions erronées, il faut répéter suivant l'usage: tel individu a de la raison ou de l'imagination ou de la sensibilité etc.; mais si l'on voulait s'entendre pas un mot, on devrait dire seulement: il a de l'âme, il a beaucour d'âme. C'est ce souffle divin qui fait tout l'homme»* (разве не прекрасно это сказано, мой ангел, и разве это не верно?). «Aimer on apperend plus sur ce qui tient aux mystères de l'âme que la métaphisique la plus subtile (это неоспоримо). On ne s'attache jamais à telle ou telle qualité de la persˇonne qu'on préfère et tous les madrigaux disent un grand mot philosophique en répétant que c'est pour un, «je ne sais quoi» qu'on aime, car ce «je ne sais quoi» c'est l'ensemble et l'harmonie que nous reconnaissons par l'amour, par l'admiration, par tous les sentiments qui nous révèlent ce qu'il y a de plus profond et de plus intime dans le coeur d'un autre»**.

Какая она прелесть, г-жа Сталь, я преклоняюсь перед ней, и, однако, мне кажется, что не всякому дано уметь любить это «нечто неизъяснимое» и понимать

---

* Душа есть некий фокус, от которого во все стороны расходятся лучи света. В этом фокусе и сосредоточено бытие человека. Все наблюдения и все философии должны обращаться к этому «я», вместилищу и образу наших чувствований и наших идей. Разумеется, бедность нашего языка вынуждает нас пользоваться неверными выражениями и повторять вслед за другими: такой-то умен, или чувствителен, или обладает воображением и т. д. Но если бы люди захотели понимать друг друга с первого слова, достаточно было бы сказать: в нем есть душа, у него много души. Вот это-то дуновение и выражает собой всего человека *(фр.)*.

** То, что происходит в тайниках души, более научает нас любить, нежели самая искусная метафизика... Предпочитая кого-либо всем другим, мы исходим отнюдь не из того или иного его достоинства, и все любовные вирши выражают великую философскую истину, всячески повторяя, что любят за «нечто неизъяснимое». Это «нечто» — та целостность, та гармония, которая предстает нам через любовь, через восхищение, через все те чувства, кои открывают нам в сердце другого самую глубину его, внутреннюю его сущность *(фр.)*.

чувства того, «в ком есть душа, много души». Если увидите г-на Ротта, дайте ему прочитать этот отрывок, я уверена, что он ему понравится.

7 часов вечера

Совершили небольшую прогулку до лагеря. Муж остался там на музыке, а мне не захотелось — слишком много там народа, а это так мучительно чувствовать себя совсем одной среди множества людей. Весь город туда ездит, целая толпа. Вчера ездили туда полковница в сопровождении многих других дам, думаю, она и сегодня там. Муж даже настаивал, чтобы я поехала, но я отказалась и решила, что поеду, только если уж невозможно будет отказаться. Никто про меня не скажет, что я люблю развлечения.

Только что пришел П. Керн, зовет меня с ним прогуляться пёшком. Пойду, а то я все сижу, мне это будет полезно. До свидания.

Понедельник в 11 утра

Вчера мы пошли гулять и незаметно дошли до самого лагеря. Мы были от него уж совсем близко, как вдруг повстречали Лаптева верхом; он учтиво мне поклонился и сказал: *«Я имел честь быть у вас с моим почтением, но меня не пустили»,* а я ответила, что очень сожалею, что он не застал меня дома. Потом он говорит: *«Я всегда привык вас почитать». Я поклонилась и пошла дальше. Пришедши в лагерь, мы сели в карету и слушали зорю.* Потом ко мне подошло несколько офицеров. Пришел муж, сел к нам в карету, и мы поехали. Дорогой вышел горячий спор насчет Лаптева. Мне было заявлено, *что я как женщина должна была его хорошенько отбрить. Но я думаю, что в самых больших ссорах учтивость не неуместна.*

Прощайте, добрый мой ангел. Почта отправляется нынче, а я от вас ничего еще не получила. Поверьте, не знаю, куда деваться от тоски, видно, я рождена для печали, она со мною неразлучна. Еще раз прощайте. Передайте от меня поклон Иммортелю. Передайте еще г-ну Ротту, что Кайсаров на него сердит за то, что он ему не пишет.

Прощайте еще раз, ради бога будьте здоровы, а ежели мои глупости слишком вас расстраивают, я ради вашего здоровья найду в себе силы отказаться от радости писать вам. Тысячу раз целую ваши прекрасные глаза, хоть бы вы не разлюбили меня, а уж я-то вас люблю. *Забыла вам сказать, что Анна А. поехала в Одессу и, верно, будет у вас, проезжая через Лубны. Прощайте еще раз, моя бесценная. Христос с вами. Я обнимаю вас очень крепко.* Прощайте и молитесь за вашу Анету. Пишите, ради бога.

№ 13 *Псков, 1820, 19 июля, 8 часов вечера*

Отправила сегодняшнюю почту, вас она все-таки порадует, а вот вы меня забыли, от вас ничего нет. *Сейчас привезли мне фортепиано, но очень расстроено, никакое воображение не сможет доставить сладкого воспоминания. Сейчас, я слышу, в лагере бьют зорю — у вас в это время, может быть, также бьют зорю? Но какая разница! Вспоминаете ли вы меня иногда? Как грустно вечно питаться мечтой, воображением! А это только моя пища. Это меня заставило вспомнить очень справедливые стихи французские, которые были написаны на стене в станции:*

Dieu fit la donce Illusion
Pour les heureux fous du bel âge,
Pour les vieux fous — l'Ambition,
Et l'Etude pour le sage*.

Они довольно справедливы, но не всегда можно питаться этой сладкой мечтой, часто вздыхаешь о сущности.

Полночь

Спокойной ночи, милый друг. *Я сейчас имела большой спор с мужем.* Представьте себе, он рассказывает, будто Каролина к нему была неравнодушна и будто взглянуть на него не могла без того, чтобы не покраснеть от радости. Какое преувеличенное мнение о самом себе

---

* Бог создал сладостную мечту
Для счастливых безумцев юных лет,
Для старых безумцев — честолюбие
И науку — для мудрецов *(фр.)*.

и какого дурного мнения он о женщинах! А я так полагаю, ежели бы все холостяки на него были похожи, замужним женщинам ничего не стоило бы сохранять свою добродетель. Это наименее опасный мужчина из всех, кого я знаю, а ведь он-то воображает, будто никто не может перед ним устоять. Даже сомнений у него на этот счет нет, его самонадеянность придает ему уверенности. Но довольно об этом предмете. Доброй ночи, мой ангел, спите спокойным сном, и пусть приснюсь я вам — и Иммортелю.

20-го, в 6 вечера

Была сегодня у обедни вместе с П. Керном. Вообще последние дни мне ничего не хочется, я злая, сама себе противна, я больна, то есть нехорошо себя чувствую, только вы не пугайтесь, это не опасный недуг, и тут-то мне нет удачи — а я словно окаменела — хожу, разговариваю, иной раз даже смеюсь — и при этом не испытываю никаких чувств. Все делаю, как автомат, только тоску свою чувствую, а когда по утрам и вечерам молюсь богу, все чувства мои оживают, и я горько плачу.

8 часов

Только что вернулась с прогулки — мы с П. Керном совершили прелестную поездку в карете до дома архиерея. Дом этот расположен в трех верстах отсюда, на высокой горе, у подножья которой течет красивая река Великая[18]. Мы вышли из кареты, отыскали едва заметную узкую тропинку, спустились по ней к реке и там гуляли по большим камням, любуясь прекрасными видами, расстилавшимися перед нами со всех сторон. *Я удивляюсь, что мы никого не встретили на таком приятном месте, что означает дурной вкус жителей, которые имеют такие грубые чувства, что не умеют восхищаться величественной красотой природы. Однако же мы нашли одного уединенного человека, сидящего между двух больших камней на самом берегу реки; удочка его лежала без действия; и он сидел задумавшись; я долго на него смотрела, хотела спросить, кто он такой, но боялась быть нескромною и подумала — может быть, он влюблен, а свой своему поневоле друг.*

Я не думаю, чтобы Анна Петровна все это думала, гуляя со мной, потому чистосердечно признаюсь, я ей не давал покою ни одной минуты.*

Вообразите, какой повеса — выхватил перо и написал.

*Пролежало на столе без всякого действия**.*

Экой шалун! Но вы этому посмеетесь, моя бесценная, и я очень рада, если наши глупости вам принесут хотя немного удовольствия. Он очень милый мальчик, и я замечаю, что он очень ко мне расположен, и я думаю, на этот раз не ошибаюсь.

11 часов

Был у меня только что небольшой разговор с П. Керном. Он признался мне, что мать его была замужем, но тайно, а такой тайный брак законной силы не имеет. Вот от этого она и умерла. Как мне жаль бедную женщину, хотя она уже теперь не страдает! Значит, не для меня одной существование этого человека оказалось гибельным. И подобному существу я была принесена в жертву! Какие усилия приходится мне делать над собой, чтобы не роптать на судьбу. Доброй вам ночи, мой ангел, я замечаю, что невольно все возвращаюсь к одному и тому же предмету. Спите спокойно, спокойнее, чем бедная ваша Анета.

22-го, 6 часов

Вы удивитесь, мой ангел, что я пропустила целый день, не писавши вам, я вчера была в отчаянном положении, самому неприятелю моему не желаю половину того чувствовать, что я чувствовала. Обманутая надежда в получении писем ужасно терзала мою душу, целый день я почти была в беспамятстве, сильная истерика к вечеру привела меня в совершенное расслабление, чтобы испытать хоть ночью покой, я стала сама купать Катеньку, и это утомление доставило мне несколько минут беспокойного сна. Я и теперь не могу придумать, что значит ваше молчание. Ужели хотите вы сделать мою жизнь еще более горькой? Ради самого неба, успокойте меня. Я не стала бы жаловаться, если бы мои страдания

---

* Написано П. Керном. *(Прим. А. П. Керн.)*

** Тоже. *(Прим. А. П. Керн.)*

могли бы привести меня к смерти, но они только изнуряют меня, делают мне жизнь ненавистной, не приводя ее к концу. Вчера пришел Кир И., я была еще в постели, и племянник предложил провести его прямо ко мне. Видимо, он был взволнован, увидев меня в этом состоянии. Я спросила, нет ли писем, он ответил, что есть одно, полученное 14 мая, я настоятельно просила дать мне его прочесть, и он дал. Что за слог, какая восхитительная манера выражаться! *Я переписала для себя.* Он пишет, что ему кажется, будто папеньке известно, что он нас сопровождал. Не из-за этого ли вы все стали так несправедливы ко мне? Ведь папенька ни разу не написал мне с тех пор, как возвратился из Нежина. Во имя всего, что вам дорого, успокойте меня. Еще Иммортель пишет про то, какая тоска царила у нас в доме, когда он пришел туда в первый раз. Он с восторгом говорит о вас, о маменьке, о том, что в ту минуту ему показалось, будто он член нашей семьи, но тут же добавляет: *восхитительная, обманчивая мечта!* И я подумала, что в глубине наших сердец мы чувствуем: он в самом деле к ней причастен. Какой могла бы я быть счастливой, если бы... Прощайте, мой ангел, молитесь за меня. Еще немного — и я сойду с ума. О боже, сжалься надо мной! Обнимаю вас.

№ 14 *1820-го, 22-е, 11 часов веч.*

Я не знаю почему, но я стала гораздо покойнее по окончании 13-го номера моего журнала, я думаю, что это потому, что я вверила вам, мой ангел, все тяготившее мою душу. — Я стала после этого разумнее и более терпеливо дожидаюсь следующей среды. Разговор с добрейшим Киром И. успокоил меня. Мы с ним говорили о вас, об Иммортеле, о милой маменьке, и это был бальзам, смягчивший мои страдания.

Доброй ночи, мой ангел, ради бога, будьте спокойны, я тоже почти что успокоилась. Не знаю, как могла я даже на одну минуту подумать, что должна чего-либо опасаться, когда у меня там вы — *меценат мой бесценный, я ничего не должна бояться, имев такого друга и защитника,*

утешителя и покровителя, всё вместе, словом, ангела-хранителя. Отдыхайте хорошенько, а я отдыхаю с думой о вас, своем счастье и спокойствии.

24-го утром

Бог услышал хоть одну мою молитву, и сегодня поутру я получила милые ваши строки. Прежде всего обняла очень крепко милого и доброго П., что он поспешил меня сам обрадовать. Потом разорвала печать, по обыкновению со слезами. Я не могу равнодушно видеть одного начертания руки вашей, точно так как... Судите, как я вас обожаю. Маменькина рука производит во мне некое нежное чувство, но ваша и папенькина производит почти одинакое, восхитительное, приятное, тяжелое, мучительное, усладительное чувство. Заснувши вчера со слезами, я вас видела во сне, очень неприятным образом: мне казалось, что я лежала вместе с вами в угловой на постели (обманчивая мечта!). Но вот что странно: я не чувствовала того сладкого удовольствия, которое я всегда ощущала, быв с вами вместе; что-то тяготило грудь мою; вы жаловались, что вы всегда одни, что вы нездоровы; вдруг мы услышали ужасный крик, и нам сказали, что маменьке сделалось дурно. Это потрясение меня разбудило, а несколько минут спустя я получила неоцененное письмо ваше. Ради самого бога, продолжайте утешать меня, мой бесценный ангел. Я все думаю, я близка к отчаянию. Вообразите, что нет не только дня, но ни минуты, когда бы я была спокойна. Теперь ужасная будущность терзает мою душу. Богу угодно посылать ко мне всякого рода испытания. Ежели любя наказует, то он меня очень любит. Простите, я почти ропщу. Вы одни, я уверена, примете участие в моем горестном положении. Вы одни поймете, услышите, почувствуете мою душу. Вы одни знаете, мой ангел, что отнюдь не из легкомыслия я не хотела, чтобы у нас были дети. Что может быть ужаснее, чем страдать ради человека тебе ненавистного? Это жестокая правда, но я с вами откровенна. Нет тех мук, которые я с радостью не перенесла бы ради того, кого люблю, нет ничего сладостнее, чем страдать из-за человека, коего обожаешь. Вы ведь помните, как я ждала первого ребенка, а чего только не пришлось выстрадать бедному моему сердцу от грубого обращения, и когда я была беременной, и во время родов, и потом, вместо благодарности за перенесенные страдания. Нет, невозможно описать, в каком я отчаянии, мой ангел.

Будь вы здоровы, я, кажется, стала бы умолять вас приехать и спасти меня, но это ведь невозможно, да я и не хочу отнимать вас у тех, для кого вы служите утешением и кто мне дороже самой себя, то есть дорогих моих родителей, дорогого Поля. С великим нетерпением жду следующей почты; хоть бы она принесла мне какое-то утешение; впрочем, я могу ждать его только от неба. Однако есть нечто, что могло бы сделать мою жизнь менее невыносимой; это уверенность, что я не утратила любви своих друзей и родителей; когда бы я знала, что они сохранят ее навеки, мне, быть может, достало бы мужества и далее нести эту тяжкую ношу жизни. *Но кто меня в этом уверит? Вы мне пишете о папеньке, а не пишете его слова, что он говорит,* он ведь так красиво говорит, знаете, кабы вы пересказали мне его собственные слова, вы очень бы тем меня порадовали, и каждое его слово, каждый слог я бы запечатлела в самой глубине моего сердца. Так вот, умоляю вас, мой нежный друг, как станете пересказывать мне ваш с ним разговор, перескажите также и то, что вы сами говорили.

Вы, однако, ничего не пишете о моем здоровье. Как я рассеянна — видите ли, хотела сказать: о вашем, но это все равно. Итак, вы ничего не говорите о моем здоровье, продолжаются ли ваши спазмы. Я думаю, и из письма вашего видно, что они вас не так часто посещают. Дай бог, чтобы это была правда, единственное мое утешение. Я всякий день воссылаю теплые молитвы ко всевышнему о сем. Пусть некоторые холодные люди удивляются моей нежной, может быть, беспримерной привязанности. Я им скажу «хотя любить — тужить, но не любить — не жить». Итак, я хочу терзаться, тужить и жить, покуда богу будет угодно переселить меня в вечность. Прощайте, моя бесценная, утешительного ничего не имею вам сказать, пора бросить перо.

2 часа пополудни

Сейчас ездила немножко прокатиться в надежде, что это рассеет мои мысли, но тщетная надежда. Как грустно, когда приходится сказать себе: мне не на что больше надеяться. Зачем вы прогнали меня от себя? Зачем переполнили чашу моих страданий? Можно ведь было не разлучаться, а найти какой-нибудь предлог, чтобы про-

жить у вас еще хотя бы несколько месяцев. Он ведь сам сказал, что лучше было мне остаться, чем, возвратясь, чувствовать себя такой несчастной. Мне большого труда стоит не роптать на своего отца, и я часто (невольно!) спрашиваю себя: зачем не захотел он узнать мою душу, такую любящую? Зачем обрек ее на то, чтобы она никогда не знала любви без угрызений совести?

№ 15

Боже, прости мне сей невольный ропот, ты, видящий все тайники души моей, прости мне еще раз за всякую мысль, всякое слово, вырвавшееся у меня от непереносимой муки...

10 часов вечера

Что за счастливый день. Я ездила в баню; приезжаю, до смерти спешила домой, и нахожу посылку. Чуть-чуть не бросилась на шею адъютанту нашему, так в эту минуту мне он угодил, но опомнилась, и никогда не была еще к нему так ласкова, благодарила его с жаром. О, как я сегодня счастлива, мой ангел, благодарю вас тысячу раз за все присланное. За вуаль я давно уже заплатила и еще дала 9 рублей за пояски. Теперь благодарю вас за прекрасную закладочку и поясочек. Прошу вас, мой ангел, прислать мне шитья. Я буду продавать и надеюсь скоро же иметь случай достать дешевых и хороших чулок из Митавы. Спасибо вам за резеду, я положила ее у своего сердца и никогда с ней не расстанусь.

> *Сделайте милость, посылайте к нам почаще такие праздники. Вы не поверите, как скоро от вас получат письма, то здесь пляшут и скачут, а без этого мы должны все плакать**.

Не могла отказать ему перо. Он непременно хотел приписать. Не думайте, однако, что он что-нибудь знает. Адъютант распечатал пакет, он передал его мне самой, и я дала ему прочесть только то, что можно. За свои письма не беспокойтесь, мой ангел, мне всегда передают их в собственные руки, и за свои я тоже спокойна. Я совершенно уверена, что никакого риска здесь нет. Я той же почтой всегда пишу и маменьке, так что все пока благополучно.

---

* Написано Е. Ф. Керном. *(Прим. А. П. Керн.)*

Спасибо вам также за стихи, они прелестны; и вправду, нет ничего драгоценнее дружбы. Насчет Трумера ничего вам не скажу, мне досадно, что вышло такое огорчение. Письмо ваше прелестно, только одно меня в нем огорчило — как могли вы подумать, что я люблю вас меньше, чем вы меня. Выбросьте эту мысль из головы, ангел мой, милый друг мой, клянусь спасением своей души, что нет на всем божьем свете никого, кто способен был бы любить вас нежнее, чем ваша дочь, та, что всегда с вами откровенна и не боится обнаружить перед вами даже свои недостатки, рискуя потерять вашу дружбу и ваше уважение, ибо знает всю вашу снисходительность.

Завтра воскресение, пойду в церковь, дабы возблагодарить создателя за дарованный мне счастливый день, *это правда, что по вере вашей будет вам и то также, что за богом молитва не пропадет. Прощайте, мой бесценный ангел,* завтра уже буду знать, получено ли письмо, и тогда в точности отчитаюсь перед вами.

25-го, в 5 часов вечера

Нынче утром я была у обедни, видела в церкви Кира И., он сказал, что пришло письмо, только он его еще не получил; жду его с минуты на минуту, чтобы узнать, что за письмо. Вы и вообразить себе не можете мое нетерпение, только л-б-вь моя может с ним сравниться. Не осмеливаюсь написать сие слово полностью. Я спряталась в дальнем углу, но он меня все же заметил и поклонился.

Только что пришли сказать, что ко мне приехали гости.

Сейчас гости уехали, пили у меня чай. А Кир И. все не идет, не знаю, что бы это значило. А между тем мне не хотелось бы отсылать этот дневник, ничего не сказав по поводу книги. Скажите, мой ангел, показывали ли вам мою записку и что о ней думают?

Муж сейчас в лагере, там, кажется, небольшое празднество для мужчин. Нынешней ночью, а может быть, и завтра, мы ждем генерала Кайсарова, о котором, кажется, я вам говорила, что он необычайно со мной любезен. Когда он уедет, я вам напишу; к тому же после него я ожидаю визита Магденки, так что сле-

дующей почтой смогу сообщить вам что-нибудь более интересное. Сейчас я ужасно неспокойна, от нетерпения сама не своя.

Как я благодарна вам, дорогой друг, за все, что вы для меня делаете, какой Поль милый[19], что он благодарит вас и просит поберечь ваше здоровье, я просто в восторге, что он выучил: «Ye t'aime tant»[20], и ни капли не удивляюсь, что он говорит его так выразительно, ведь он и обычные слова произносит выразительно.

Хоть вы мне этого не говорите, но я вижу, что вы одобряете мой вкус, как с нравственной стороны, так и в отношении внешности.

Поговорим о другом. Вы, мой ангел, словно выговариваете мне за А. А. А я вам на это скажу, что как приехала, так сразу сказала мужу, что надобно найти няню, а ее рассчитать, потому что мне ее обхождение не нравится. Так ему угодно было тянуть время, он этим не занялся, а потом вдруг, ни с того ни с сего, вспылил из-за какого-то платья и наговорил ей всяких грубостей. Потом сам же до того дошел, что просил ее остаться, а когда она не захотела (чему я очень была рада), тогда он ни минуты лишней не позволил ей оставаться в доме. А теперь, чтобы перед вами выглядеть правым, он пишет маменьке, что-де сделал это, чтобы ей угодить. Прошу вас, мой ангел, оправдайте меня перед папенькой, а то я вижу он гневается на меня, если судить по эпитету к имени Анны А. в его последнем письме; никогда он так мне не писал; сделайте милость, скажите ему, что я слишком была бы несчастна, если бы заслужила его недовольство, а ведь у меня не осталось никакого другого утешения, кроме любви моих родителей. Слишком жестоко было бы отнять ее у меня.

Я думаю, вы не можете жаловаться на мою леность, мой бесценный ангел, но я вас прошу (хоть эта просьба и дорого мне стоит), ежели вам тяжело много писать, то не пишите так много, только непременно раз в неделю и так, как я вам сказала.

Он приходил, только еще не получил, обещал завтра прислать.

Не бойтесь ничего, мой ангел, и не беспокойтесь, я буду осторожна, насколько это возможно. Будьте

здоровы, ради меня, а главное, верьте в нашу дружбу, которую ничто не может омрачить. Напишите мне, пожалуйста, сколько Полю исполнилось лет, спросите его, как поживает его семья, мне хотелось бы знать имя его матери, и если есть у него сестры, в каких краях они живут и как их звать. Надеюсь, вы все это мне сообщите, а ежели станете читать ему из моих писем, перескажите мне потом, что он говорил, только перескажите собственные его слова.

№ 16

Муж вернулся из лагеря, где были танцы, да еще и сейчас танцуют. Было много приглашенных дам. Этот праздник устраивал один молодой капитан из нашего полка, но меня не приглашали, потому что я не бываю в доме его матери, муж не хочет, а причина та, что у нее двое молодых сыновей.

Понедельник, 26-го, 10 часов утра

Сегодня у нас обедает Кайсаров, после свидания с ним буду все вам описывать. Я просто в упоении. Порадуйтесь и вы моему счастью. Я получила несколько слов, меня благодарят и просят принять Йорика[21]. Я зашила записку в кусочек материи и теперь ношу его на своем крестике у сердца. Что за человек! Какая душа, какое сердце! Как он заслуживает счастья!

Прощайте, мой ангел, нынче я счастлива. Будьте здоровы, любите меня по-прежнему. Кайсаров только что ушел от нас. Он держится очень учтиво и очень зол на Ротта за то, что тот ему не пишет. Передайте ему это, пожалуйста.

Еще раз прощайте, молитесь за вашу Анету. Я читала его письмо к Киру И., он себя не помнит от счастья. Еще раз прощайте.

№ 17

1820. Псков. 26-го, в понедельник,
5 часов пополудни

Наши поехали на учения, а я села опять с вами побеседовать. Кайсаров у нас обедал, был очень любезен, и я обещала ему писать к Ротту, чтоб некоторым образом загладить ви-

ну свою, что я не привезла ему ответа, что и исполнила: сегодняшней почтой послала в маменькином письме.

Только что получила Йорика, в нем отмечены многие места, напоминающие наше с ним положение. Записка написана в высшей степени почтительно, в ней всего десять строк, в которых он благодарит меня и клятвенно обещает сохранить уважение ко мне до конца своих дней. А в книге в одном месте просит хоть строчку, написанную моим почерком, и в письме к Киру И. велит ему взять за книги собственноручную расписку у той, коей они принадлежат. В записке он более осторожен, но в книге говорит все, что хочет, то есть отмечает все те места, что напоминают его чувства. Йорика я спрятала, потому что он может вызвать подозрения. Но он еще прислал поэму о Петре Великом, думая, что она мне принадлежит, он взял ее у Алексеева. Вот о ней я скажу, будто давала ее читать Киру И. Думаю, мне следует поблагодарить его за поэму, но пока повременю, *а вы скажите ему от меня, что я читаю прекрасную речь, что он прислал, и она мне очень понравилась и делает честь его тонкому вкусу. Если бы можно, я бы ее у себя оставила, не как любительница, но подражательница любителям отечественной словесности.*

10 часов вечера

Сейчас опять Кайсаров ужинал у меня, он уверяет, будто Ротт в меня влюблен, и не хочет мне верить, что нет. Я это предвидел, говорит он, я догадывался об этом, да иначе и быть не могло. Именно у ваших ножек должен он курить вам фимиам, это его настоящее место, и еще много всяких вещей в этом же роде. Он попросил переслать ему подлинный ответ Ротта, а затем, отвернувшись, сказал, что просит это ради любопытства, чтобы увидеть, в каком тоне он ко мне станет писать.

Завтра в лагере торжественный обед, кажется без дам, а затем чай и танцы у губернатора. Я тоже поеду, уж не знаю, весело ли мне там будет, думаю, навряд ли. По нынешнему состоянию моего сердца, одиночество гораздо более мне по нраву. Признаться ли? Достойный предмет, что завладел моей душой, ныне поглощает все мои силы и интересы. И еще признаюсь:

первый раз люблю я взаправду, и все другие мужчины совершенно мне безразличны. Бывало прежде, когда я думала, что люблю, меня все же иной раз заботил мой успех, теперь все это кажется мне ничтожным. Любезный Кайсаров ничуть не трогает моего сердца, несмотря на все лестные слова, что он мне расточает. Вот уже три недели, как я живу под одной крышей с интересным молодым человеком, который меня любит и иногда говорит мне это, и все время находится подле — однако это ничуть меня не затрагивает, я чувствую, что не могу любить его истинной любовью, ибо души наши чужие друг другу, а без этого не может быть истинной любви. Признаюсь вам, что все это просто несравнимо, там моя душа чувствует его душу в каждом слове, которое он произносит (надобно бы сказать: произносил, ибо счастливое то время миновало), а иной раз даже когда и молчит. Никогда мне этого не забыть. В своем письме он рассказывает об именинах папеньки, о Поле, о том, как он похож на меня, о недовольствах Лизы. Он даже удивляется ее характеру, но *он просит мне об этом не сказывать,* потому что, если это меня огорчит, он потом всю жизнь будет несчастен. Так что прошу вас, мой ангел, пусть это останется между нами. А вы мне насчет этого никогда не писали, может быть, дело в том, что вы редко ее видаете? Прежде всего я вам скажу, что меня она ненавидит, потому что завидует и не любит ни брата (оттого, что у него сходство со мной), ни маленькую сестрицу. Это дурной характер, но вот ее любят и не принесут в жертву, и воспитание она получит блестящее. Простите, мой ангел, что я немного ропщу, когда сравниваю ее судьбу со своей.

Спокойной ночи, мой единственный друг, передайте милой моей маменьке, что ничто не может сравниться с моей любовью к ней, и про себя тоже знайте, мой ангел, что нет на свете никого, кто любил бы вас более нежно, чем ваша Анета. Спите спокойно.

27-го, в 2 часа

Только что ушел Кайсаров, он у нас завтракал, сейчас все они в лагере, а я сижу одна. Я уже вам писала, что мы нынче едем на вечер к губернатору, не думаю,

что я получу там удовольствие, разве можно это сравнить с веселием, какое я испытала у вас — никогда не изгладится у меня сладостное воспоминание о том вечере, когда я была у вас вместе с маменькой. Какая я была тогда счастливая! Все это теперь кончено навеки, и я предпочла бы смерть теперешней жизни.

И в довершение всех моих бед, меня еще преследует этот его племянник, ни минуты нет от него покоя, потому что он все свое время проводит со мной, для меня в сто раз было бы лучше, если бы он меня не любил, по крайней мере, не ходил бы за мной по пятам, и у меня было бы больше свободного времени.

27-го июля. В полночь.

Мы только что вернулись. Вечер у губернатора был довольно приятный. Танцев не было, пили чай, за ужином очень потешались над малороссами, особенно *Кайсаров беспрестанно со мной ссорится, а кажется, очень меня любит. Мы там ужинали, а оттуда в одной карете возвратились назад.* Муж просил его, чтобы он каждый раз, как будет здесь проезжать, останавливался у нас, и мне сказал, чтобы я о том попросила. Тогда я ему говорю по-русски: *«Нам очень будет приятно, если вы без церемоний у нас остановитесь».* Тут вдруг он со страстью схватывает мою руку (мы рядом сидели), горячо ее пожимает и спрашивает: «В самом деле? Это правда?» Я ему отвечаю, что, разумеется, это доставит нам большое удовольствие, а он поцеловал мне руку, и я никак опомниться потом не могла — мы как раз выходили из кареты, а муж из нее уже вышел.

Надобно вам сказать, что губернаторша очень собой хороша, только в ней совсем нет светской учтивости, которая бывает у нас, когда мы того хотим. Уезжая, он еще мне сказал, что ее красота блекнет, когда меня увидишь. Вот вам небольшой отчет о нынешнем вечере. Прощайте, добрый друг мой, спокойной ночи, спите спокойно. *Я сегодня была в новом шитом платье, и ваша закладочка синей шерсти прекрасной с синелью, и белая шаль. Прощайте еще раз, мой друг-хранитель, ангел мой. Вечно ваша Анета.*

№ 18 *28 июля, в 11 часов утра, среда*

Здравствуйте, мой нежный друг. Нынче муж, кажется, переезжает в лагерь, а значит, и мне надобно будет быть там. Признаться, мне это довольно грустно; я сделалась страшной мизантропкой, ибо чувствую себя гораздо счастливее, когда никого не вижу. Кайсаров уехал еще вчера к вечеру, я очень этому рада, а вот что меня огорчает, так это то, что Магденко к нам сюда не приедет, он сказал *Кайсарову,* что ему это неприятно из-за ссоры обоих генералов. Пока здесь был *Кайсаров, Кир* сказывался больным.

Думаю поехать сегодня к г-же Пальчиковой, чтобы поблагодарить ее за любезность — она дала мне фортепиано и книги, а у меня до этих пор голова до того была занята, что я не могла найти минуты, чтобы хотя бы поблагодарить ее запиской. Не следует быть неблагодарной, всегда надобно высказывать память сердца (такое определение благодарности сказал мне вчера *Кайсаров*).

30-го июля, пятница

Весь вчерашний день я не писала вам, мой ангел, и вот почему: приходит вчера после обеда мой драгоценный супруг и сообщает о своем намерении пригласить губернаторшу и еще некоторых дам в лагерь на чай, а после устроить танцы. Мы с ним наметили программу, и я уже было собралась ехать к г-же Пальчиковой, как вдруг мой драгоценный, мой благородный супруг спрашивает у меня ключи. Я прекрасно понимала, что они ему без надобности, а просто он желает испытать, не побоюсь ли я их ему оставить; меня, признаться, это возмутило, я не хотела их ему давать, тогда он отнял их у меня чуть ли не силой. Я была просто взбешена таким недостойным и подлым поведением. *Вся внутренняя перевернулась.* Я ему сказала, что сам дьявол бы так себя не вел. Вы ведь знаете, какая мягкая у меня натура, добром от меня можно добиться самой большой жертвы. И что же после этого он делает, как вы думаете? Садится со мной в карету, не дает мне из нее выйти, и дорогой орет на меня во всю глотку — он-де слишком добр, что все мне прощает, меня-де видели,

я-де стояла за углом с одним офицером. А как увидел мое возмущение, тут же прибавил, что ничему этому не поверил. Тогда я сказала, что лучше быть запертой в монастыре до конца своих дней, чем продолжать жизнь с ним. Если бы не то, что, на вечное свое несчастье, я, кажется, беременна, ни на минуту бы с ним больше не оставалась!

Как я несчастна, что вынуждена огорчить вас, я сама первая от этого плачу, но к кому же мне прибегнуть, что мне теперь делать? Зачем велели вы мне уехать от вас? Уединенная, замкнутая жизнь, какую я здесь веду, все равно не спасает меня от этих оскорблений. Потолкуйте об этом *с Ольгой Андреевной и напишите, что мне делать.* Только, ради самого неба, ради любви ко мне, ради всего, что вам дорого, не огорчайтесь из-за этого, мой ангел, не то мне уж вовсе не к кому будет прибегнуть. Между тем он не хочет огласки. Если бы я тогда осталась, никто ничего бы не знал, и все бы считали, что мы по-прежнему в добром согласии, теперь же этого уже нельзя будет сделать. Вы не думайте, что мне скучно будет дома,— нет, я сидела бы, запершись, в одной комнате, ни с кем, кроме вас, не видясь, и довольна была бы своей судьбой; правда, я чувствую себя созданной для светской жизни, но вспомните,— ведь умела же я быть веселой в вашем уединении. Так вот, я решила, что в Петербург с ним осенью не поеду, а, может быть, отправлюсь повидать моих подруг, после чего до конца моих дней буду жить подле вас. Если же, на свое несчастье, я в самом деле беременна (это еще не наверное), то рожать я, может быть, поеду в Берново к тетушке Анне Ивановне, а ежели бог даст, я рожу прежде времени (о чем ежечасно молю бога и думаю, что не грешу перед ним), тогда я, может быть, приеду прямо к вам, если только буду уверена, что отец меня не выгонит: ведь сказал же он однажды мужу, что, если бы я его оставила, двери родительского дома были бы для меня закрыты. В своем ослеплении он уже заранее готовится сделать свое дитя несчастным. Не пришлось бы ему в этом каяться! Вот бедную маменьку мне более всего жалко, сестра Лиза никогда — смею это утверждать — не станет так любить ее, как я, и не будет так предана ей до последнего своего вздоха!

Надобно вам сказать, что позднее он все же попросил у меня прощения за грубость. Бедная моя дочка, которая была с нами, так испугалась громких воплей этого бешеного человека, что с ней сделался понос. Так что мне кажется, что хотя бы ради интересов ребенка нам лучше не жить вместе, ведь для нее это дурной пример, а она уже все начинает понимать. Проехавши несколько верст, мы поворотили домой. А вчера я снова туда поехала. Эти милые люди очень мне были рады, они ведь все любят меня до обожания. Я их пригласила на сегодня, итак, у нас будет большой бал и еще фейерверк. Какой контраст с тем, что творится в глубине моей печальной души! Может быть, и дорогой мой Магденко тоже приедет, и мне кажется, что произойдет примирение с Лаптевым. Этим занялся губернатор, оба противника должны явиться к нему с утра, и, если все уладится, Лаптев сегодня вечером приедет в лагерь.

Вот вам описание тех двух дней, в которые я не имела силы держать перо. Если вы, мой ангел, прикажете мне оставаться и терпеть, я безропотно вам подчинюсь. Но говорю заранее, что стану жить еще более уединенно и ни за какие богатства мира не поеду с ним в столицу. Я слишком несчастна и не в состоянии буду показывать свету безмятежное лицо, в то время как в сердце моем — смерть. Ведь вы согласны со мной, не правда ли?

№ 19 *30-го июля, пятница*

Бал наш состоится сегодня. Завтра я сообщу вам, как он прошел. *Вчера я читала прекрасную эту речь казанского епископа; признаюсь, она очень подействовала на мою душу, и это чтение очень полезное для тех, которые надеются только на вечную жизнь. Скажите Иммортелю, что я убедительно прошу оставить, ежели можно, ее у себя, что это будет служить бальзамом для больной души моей. Признаюсь вам, картина, живо описанная, будущей жизни много успокоила мои чувства и придала твердости переносить мои несчастья, — это послание настоящего ангела-утешителя. Советую вам достать это и прочесть, оно достойно вашего внимания.*

Прощайте, мой ангел, теперь мне легче стало, когда я излила чувства свои в вашу душу. Оставляю перо, чтобы приго-

товиться к празднику нашему; и успею, может быть, показать посторонним спокойную и веселую наружность.

Только что получила письмо от Магденки. Он отказывается от нашего приглашения под предлогом простуды, которая даже помешала ему (по его словам) лично представить свой второй полк Кайсарову. Его письмо наполнено всякими лестными для меня словами, он говорит о безграничной своей преданности мне, что-де, зная его сердце, я могу судить, насколько тяжело ему быть вынужденным отказать мне. Я думаю, настоящая причина та, что он не хочет быть втянутым в какие-либо распри между моим драгоценным супругом и Лаптевым!

А насчет последнего я сейчас узнала, что губернатору нынче утром удалось их примирить и Лаптев пообещал приехать в лагерь. Надеюсь, что вас порадует эта новость, хоть я и уверена, что помирились они не от чистого сердца; но, по крайней мере, будут соблюдены внешние приличия, — а это уже для общества что-то значит.

Однако, принимая в соображение содержание моих писем, я навряд ли могу рассчитывать, что вы ожидаете почту с особым удовольствием. Я отдала бы все на свете, чтобы иметь возможность сообщать вам иногда приятные новости, но я не должна ничего таить от вас, это нарушило бы всю прелесть взаимного нашего доверия — и вот мне постоянно приходится вас огорчать, а ведь я бы десять лет жизни отдала, чтоб только уберечь вас от всего печального и вернуть вам здоровье. Чем больше я думаю, тем более раскаиваюсь, что написала вам о всех своих горестях, умоляю вас, милый мой друг, не печальтесь, не расстраивайте из-за меня драгоценное свое здоровье, берегите его ради нас, не я одна вас о том молю. Есть особы, несказанно мне дорогие и весьма достойные вашего уважения (осмелюсь даже сказать, любви), кои просят вас об этом ради меня. Только посоветуйте, как мне быть, все, что вы скажете, будет для меня священным, и я немедля последую вашему совету.

Как ни отрадно было бы мне переписываться с Полем, я только что написала ему несколько строк, в которых благодарю его за книги и уведомляю, что это последние строки, кои он от меня получит, ибо я не желаю иметь повод упрекать себя за тайную переписку. Вот дословно то, что я ему написала, и я уверена, вы меня за это похвалите. Но вы не станете гневаться, если я скажу вам, что его записочку, которая вся

дышит почтительностью, благоговением и благодарностью ко мне, я зашила в кусочек тафты и ношу на крестике подле сердца, на месте того талисмана, что вы мне надели и который я спрятала. Не браните меня, мой ангел, за сие невинное утешение.

Я сейчас вновь перечитала прелестные надписи на Йорике. Что за тонкость чувств, какое благородство в малейшем его поступке. И это существо, столь достойное моей привязанности, законы не дозволяют мне любить, и я вынуждена жить для человека, чей нрав вам хорошо известен.

Дайте мне возможность порадоваться хотя бы тому, что вы изредка говорите ему обо мне, что ему, я знаю, хорошо известно, как велико мое к нему уважение. Я не смею сказать ему, что отвечаю на его нежные чувства всем существом своим, что ничья любовь не может сравниться с той, какую я питаю к нему и которой он столь достоин во всех отношениях. Но не скрывайте от него хотя бы то, что я несчастлива, и ежели он почитает себя страдальцем, пусть знает, по крайней мере, что я страдаю еще более его.

Скажите мне, имеете ли вы иногда возможность читать ему из моих писем? Меня бы очень это утешило. Не браните меня. Вам, верно, кажется, что я слишком много пишу о сем предмете, но подумайте, мой ангел, несчастный утопающий хватается за соломинку, чтобы спасти себе жизнь, — так проявите же в этих обстоятельствах свою обычную снисходительность и простите свое дитя, единственного своего друга, за то, что он слишком предается сердечной своей склонности, которая лишь одна являет ему поддержку в его горестях.

Может ли сердце, столь любящее, как мое, жить без любви — той невинной любви, какой является наша, любви, которая никому не причиняет зла и уготавливает нам, быть может, вечное блаженство.

31-го июля, в субботу

Сейчас четыре часа пополудни, а я только что встала с постели, так устала от бала. Бал был блестящий — чудная иллюминация, прелестный фейерверк, а после этого разыгран был небольшой ночной бой. Лаптев был как нельзя более любезен, все были счастливы и довольны, кроме вашей Анеты.

Во вторник офицеры наших двух полков тоже дают бал в тех же палатках — полковник просил меня ока-

зать им честь и, как вчера, принимать дам и быть хозяйкой праздника. Так что мне предстоит еще один бал, а потом генерал Лаптев тоже намерен устроить праздник.

Я не отказала доброму полковнику быть хозяйкой на их балу (его жена не может быть, она сама кормит), он меня просил во имя всего корпуса офицеров, они все меня очень любят. Это очень утешительно, но не утешает. Уголок вашей комнаты я предпочла бы царствованию над всеми здешними сердцами, всеми почестями и суетными удовольствиями.

Буду ожидать с большим нетерпением ответа на эти нумера; вы извините, что не пышное и не пространное описание нашего бала. Я не буду по-прежнему (когда я была свободна и спокойна) описывать вам мои п о б е д ы. Я их не примечала и слушала хладнокровно двусмысленные недоконченные доказательства удивления — в о с х и щ е н и я.

№ 20 *31-го июля, суббота*

Итак, я вам о сей статье ничего более не скажу. Так как вы здесь никого не знаете, то вам и не интересно знать действующие лица этого праздника. Насчет моего наряда скажу вам, что на мне было белое вышитое платье на розовом чехле, зеленые шелковые башмаки и зеленый платочек, на голове ничего. Сейчас получила неоцененное письмо ваше, мой ангел; никогда без слез не читаю драгоценные для меня ваши строки. Как я счастлива, что вы мною довольны, это заставляет меня забывать и терпеливо сносить все мои страдания. Теперь скажу вам, что мне хотелось, чтобы вы сами выбрали себе платок, и потому я не сказала вам, что черный я надевала один раз и потому желала, чтобы он перешел с моих плеч на ваши плечи. Этого я вам тогда не сказала, думая, что вы пожертвуете своим вкусом, чтобы сделать мне удовольствие. Я очень рада, что кисет мой понравился папеньке, и благодарна за снисходительность его. Доставление утешения Ольге Андреевне также принесло мне неизъяснимое удовольствие. Приезд Бухариной[22] *не так меня утешает, я боюсь... простите, она не может и вполовину иметь к вам столько привязанности, я хоть совершенно уверена в вашей, но кто не ревнив, любя? Я не имею нужды просить вас не оставлять мою бесценную маменьку;*

я знаю вашу душу; хоть это желание можно назвать эгоизмом, но я желала бы, если возможно, чтобы вы их не оставляли, и если я смею сказать свое мнение, то я думаю, хорошо бы было почтеннейшей бабушке продать свое имущество в Сосни-це[23]*, где ничто ее не привязывает, и переехать жить с Пелагеей Петровной.*

Ваше здоровье, хотя и поправится, не скоро позволит ее навестить; а тогда я бы была совершенно на счет ваш покойна. Я сужу о вас по себе и без содрогания не могу подумать, как с вашей душой жить между такими людьми, как в Соснице, это меньше, чем не жить. Напишите мне, как вам покажется мое мнение. Еще благодарю вас за присылку письма Каролининого. Оно немножко странно для меня после прочих. О том предмете она не упоминает, меня удивляет это чрезвычайно, да и вы не сказали мне на счет этого своего мнения, каким образом она попадет в Лубны, я не понимаю.

За выписку из этой прекрасной проповеди очень благодарю, потому что это мне показывает, что у нас почти одинакой вкус, эти самые места мне понравились. Я удивляюсь, что вы думаете, что она для меня не будет занимательна: я ее имею. Я несколько раз перечитала ее с величайшим удовольствием, и у меня явилось желание попросить его оставить мне ее навсегда, если это не будет для него слишком большим лишением. Но я узнала, что и у вас тоже она была, стало быть, есть с нее список, так что теперь я уверена, что он мне не откажет. *Она так хороша, так усладительна, что чтение ее успокаивает самые большие горести надеждой награды за оные и лучшую жизнь.* Болезнь его очень меня тревожит, слава богу, что она не опасна. Скажите ему от меня, что я прошу его беречь свое здоровие и что я крайне ему признательна за утешение, которое он доставил мне сим усладительным чтением.

«То, что любим, удаляется от нас! То, чего желаем, убегает нас; то, чего страшимся, случается с нами; мы никогда не бываем счастливы со всех сторон». Это я больше, нежели кто-нибудь, могу сказать. Кому, кажется (по наружности), более счастие улыбается? Кто, однако ж, внутренне более страдает? Вы одна это знаете и одна можете несколько облегчить оные. «Одно лишение не заменяется всем, что в руках

наших». Как это справедливо! Вчера во время окружавших меня веселостей сколько раз я думала об этой проповеди. Как мало соответствовали все эти веселости тихим и скромным желаниям моего сердца; как охотно бы я поклялась никогда не участвовать в оных, если бы когда-нибудь исполнились последние. Тогда ваша комната превратилась бы для меня в рай земной. Никакие добродетели в вашем присутствии не могли бы быть чужды моему сердцу. Две чувствительнейшие в мире души наслаждались бы неоцененной вашей дружбой и старались бы всеми силами успокаивать вас и сберегать неоцененное для них ваше здоровье.

Но я примечаю, что я пустилась почти в житейские желания, и хотя это не похоже на суету суетствий, но на такое совершенное счастие, которого вряд ли какой смертный достоин; простите, я все пишу, не поправляя и не обдумывая, что приходит мне в голову, и оттого нередко забываюсь. Любовь ваша мне порукой за ваше снисхождение. Вы пишете мне еще, что люди есть, которые завидуют моей к вам дружбе. Бог с ними. Надобно уметь любить, чтоб заслужить быть любиму. Не любив никого, кроме себя и свои выгоды, я не понимаю, как можно завидовать взаимности, оказанной другому. Между нами сказать, я в пребывание свое довольно узнала характер Лизы; и хотя не часто сообщала вам на сей счет свое мнение, но ясно видела, что она не имеет ко мне ни малейшей привязанности, и ежели желает оной с моей стороны, то для того только, чтобы лишь понравиться папеньке.

Это единственная цель наружных ее добродетелей, она для этого будет всегда притворяться, что по своим летам довольно искусно делает. Это истинная правда, хотя далеко не утешительная.

Итак, вы видите, что я не могу с ней иметь пространную переписку ни по летам нашим, ни по образу наших мыслей. Папенькина к ней любовь не позволяет ему видеть ее фальшивого характера, но пусть он будет лучше слеп, нежели несчастлив и этой дочерью, хоть другим образом.

Оставляю перо, чтобы отдохнуть немного; обнимаю моего единственного друга, никогда не забуду вас, клянусь душой!

Тебя забыть, но кто же будет
Мне в жизни радости дарить?
Нет, прежде бог меня забудет.
Тебя забыть, тебя забыть!

Покойной ночи вам желаю и приятнейшего сна. Христос с вами. Благословляю вас. Целую ваши глазки. Прощайте еще раз. Вечно ваша Анета.

№ 21 *1-го августа, 5 часов вечера*

Вот уже и август на дворе. Как быстро течет время в горестные минуты жизни! Но те, что я провела с вами, пролетели еще быстрее; то был лишь сон, самый прекрасный сон в моей жизни, и воспоминание о нем я сохраню до последнего своего вздоха.

Нынче утром я была удивлена и обрадована приездом г-на Магденки. Дружба его для меня драгоценна, каждый день все более убеждаюсь в этом. Мы говорим с ним о вас и о маменьке, он обещал, что осенью будет в Лубнах и посвятит целых два дня, чтобы познакомиться с милой моей маменькой. Он многое расскажет вам обо мне, я уверена в этом, ведь он питает ко мне истинную дружбу. Он остается здесь до послезавтра, дня бала, он говорит, что хочет быть сторонним наблюдателем и позабавиться на счет одного из моих обожателей, которого ему назвал муж.

Скоро у вас в Лубнах будет ярмарка, снова там воцарится веселье, а бедная ваша Анета в это время будет стенать под бременем всякого рода забот, твердя мысленно стихи, что запечатлелись в глубине ее сердца:

Que le bonheur arrive lentement.
Que le bonheur s'écoule avec vitesse*.

Сделайте мне удовольствие, спросите когда-нибудь в разговоре у Иммортеля, какая причина вынудила его сменить платье,— помните ту смешную историю в саду; а еще спросите, какие женские имена ему более всего нравятся.

7 часов вечера

Наши поехали в лагерь сегодня; сейчас, и я опять принимаюсь за перо. Магденко мне рассказывал сию минуту о недавно случившейся революции в Неаполе.

* Как медлит прийти счастье,
Как быстро счастье пролетает *(фр.)*.

Он читал это в газетах. В самом деле, удивительная вещь. Требование народом и войском конституции, о чем король и министры после всех узнали, и революция, которая не стоила ни капли крови. Думают, что это взбунтует французов, которые не захотят уступить итальянцам в тонкости, и что наконец что-нибудь да будет. Вы знаете мое мнение; все, что может меня с вами сблизить, не может мне быть противно. Я же не считаю за грех желать того, чего все войско наше желает. Я сейчас начинаю строить на воздухе замки: вы довольно знаете, какого роду.

Скажу вам, что я получила из Петербурга мои часы, и слава богу, когда одна, то знаю наверное... который час. Переселяюсь мысленно в вашу комнату, пью с вами чай; иногда хожу по комнате и всегда, когда одна, так живо представляю себя с вами вместе, что сия обманчивая прелестная мечта услаждает на минуту мои горести.

2 августа, в 10 часов утра

Здравствуйте, милый друг. Нынешнюю ночь я провела прекрасно: видела вас во сне. Будто я была в вашей комнате, и Иммортель тоже. Зачем все это не наяву? Скажите, мой ангел, как вы думаете, всегда ли он будет любить меня? Не знаю почему, но меня преследует безумная мысль, что он разлюбит меня, как только узнает о моем положении,— и мысль эта сокрушает мое сердце. Развейте мои сомнения, успокойте меня, мой ангел, ведь я больная, со мной надобно обращаться с осторожностью.

Прощайте, единственный мой друг, будьте здоровы, милый ангел. Ради любви ко мне, оправдайте меня перед Ольгой А., что ей не отвечаю: у меня так мало времени.

Магденко еще у нас и останется до 4-го числа. Муж с ним очень хорош, но на свой лад, *обинякaми кормит,* а он делает вид, будто не замечает,— и я тоже. *Вчера ввечеру он был у меня в кабинете, и я ему читала «Любовь есть кризис». Он до чрезвычайности хвалил перевод, хвалил многие места, он имеет это на немецком, это Шиллера сочинение; но говорит тоже, что «мы не боги и земля не Олимп». Прощайте, моя родная, Христос с вами, на будущей почте поищу*

послать что-нибудь Лизе на ее именины. Грустно очень, что здесь нельзя ничего достать. Прощайте еще раз, сокровище мое, с нетерпением буду ожидать вашего журнала. Скажите мне, мой ангел, как вы думаете, ежели я вправду беременна, приезжать мне к вам для родов? Я так полагаю, что нет, потому что, коли я снова приеду к вам одна, мне потом и вовсе будет не уехать. Кажется, я уже вам писала, что в Петербург не поеду, решение это твердо.

Прощайте, единственное мое утешение, ради всего святого, берегите свое здоровье, видит бог, оно дороже мне моего собственного.

Завтра состоится бал. После того как письма эти будут отправлены, я снова начну свой дневник и уж тогда все вам опишу.

Пожалуйста, обнимите за меня вашу сестрицу, ее мужа и детей. Как я завидую судьбе г-жи Бухариной, что она снова окажется неподалеку от Лубен. Когда б она могла оценить всю полноту своего счастья! Кланяйтесь от меня всем своим знакомым. Передайте от меня Иммортелю все, что только подскажет вам ваше доброе сердце, а главное, чтоб он был здоров и т. д. и т. п.

Прощайте же, меня торопят, да хранит вас господь, мой ангел. Любите по-прежнему вашу навеки Анету.

№ 22

Псков, 1820 г.
2-го августа в 2 ч. пополудни

Только что совершила небольшую прогулку с Магденкой, Катенькой и Кир И. Он обмолвился, что муж обещал ему погостить у него недельку в лагере вместе со мною. Он был очень удивлен, когда я сказала, что хоть общество его мне и очень приятно, но я сделаю все от меня зависящее, чтобы в этом не участвовать. Мне надобно совершенно отказаться от общества, чтобы сохранить свои силы для выполнения тяжкого своего долга. Не могу я выносить оскорбительные подозрения, коими он беспрестанно мне досаждает. Я слишком страдаю нравственно, чтобы чувствовать себя хорошо в обществе порядочных людей. Так ужасно быть вынужденной все время краснеть. А оставаясь в одиночестве, я проведу время с пользой и выиграю и в спокойствии, и в своих занятиях.

После обеда мой муж и Магденко отправились в гости за десять верст отсюда. Вы не представляете себе, до чего он милый. Мы провели два часа в приятнейшей беседе, и вы догадываетесь, конечно, что говорил более всего он и оставил мне изрядное удовольствие своими шутками над милым племянничком, который при своем недалеком уме и самом дурном воспитании ужас до чего самолюбив. Добрый г-н Магденко изо всех сил старался, чтобы тот почувствовал себя более непринужденно, но из этого ничего не получилось. Мне досадно, что он старался понапрасну. Керны не умеют быть любезными, они слишком высокого мнения о себе, и это мешает им понять, как мало они из себя представляют. И мой дорогой супруг, не то обиженно, не то шутливо, кивал головой, делая вид, будто он разумеет больше, нежели хочет показать, а сам-то ровно ничего не понимал, вы же знаете, тонкая, остроумная беседа нам недоступна, это не наше дело, не про нас это писано.

Когда Магденко уходил, он хотел непременно через час возвратиться и пожалел, что у него нет с собою часов. Я предложила ему свои, те, что были у меня на шее, а как стала их ему надевать, цепочка зацепилась за его пуговицы, и тут он стал говорить всякие любезности, что вот теперь он закован в цепи, а потом сказал, что по его неловкости я сразу могу увидеть, как он к ним непривычен. Чтобы выйти из затруднительного положения, я стала говорить, что прошу его набраться терпения, ведь он так часто мне его проповедует, и вот теперь я покажу ему пример своего долготерпения, а уж он, разумеется, не пожелает выглядеть в моих глазах дьяволом, проповедующим мораль.

Муж просил меня сыграть на фортепиано и спеть, а я отказалась самым решительным образом — нет, это был не каприз — я слишком уважаю Магденку, чтобы хотеть прослыть в его глазах капризной; но просто я хорошо понимаю, что лишь немногим людям моя игра и пение могут доставить удовольствие, и эти немногие — в Лубнах. *Мне тяжело подойти к фортепианам с тех пор, как я узнала, что игра моя могла действовать на чувства достойнейшего в мире существа. Я твердо решилась, если возможно, не ехать к Магденке* после той не-

приятной истории, о коей вы знаете. Поймите, мой ангел, душе моей должно теперь чуждаться удовольствий. Если бы не подозрения насчет моей беременности, я бы убежала отсюда куда глаза глядят, только бы избавиться от этого несчастия — разделять судьбу с таким грубым, неотесанным человеком. После завтрашнего празднества я хочу затвориться в своей комнате, никого решительно не видеть, только писать вам да молиться богу, взывая к божественному милосердию его, дабы он как-нибудь соединил меня с вами или же принял меня в лоно свое.

3-го августа, в 11 час. утра

Сейчас приезжал офицер еще раз просить меня быть сегодня у них на бале хозяйкою, я еще спала, когда муж мой вторично за меня дал слово. Сейчас зовут меня гулять пешком, я долго отговаривалась, но наконец должна была согласиться, и я пойду.

5-го, в полдень

Бал был великолепнейший, но мне не очень было весело, потому что Катя захворала немножко. На другой день Лаптев у нас обедал и еще кой-кто. Как ни мало обходителен мой драгоценный супруг, он страсть как любит устраивать приемы и ради них просто готов разориться. Напрасно мы с Магденкой отговаривали его, ничего из этого не вышло, он все твердил, что должен показать Лаптеву, кто он такой.

Бедная моя дочка все еще не совсем здорова. Магденко просидел у нас за полночь. Он чуть ли не со слезами умолял меня сделать ему честь и присутствовать на его празднике, если только Катенька поправится, но я решительно отказала ему — можно еще выносить оскорбления, если их слышат одни стены, а на людях это слишком тяжко. Единственная моя защита — это одиночество.

Вы только представьте себе — вчера мы втроем сидели в моем кабинете, я очень тревожилась за Катеньку и шутя ему сказала, *что у него, так же как и у меня, на болоте глаза.* Так вообразите, он до того разобиделся, что сказал мне при Магденке: *«По милости твоей должен кулаками слезы утирать».* Я прямо была поражена. Одно

из двух — либо нам не жить вместе, либо мне не выходить из своей комнаты: никакие удовольствия не окупят всех этих мучений и не исцелят моих душевных ран. Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что в тысячу раз лучше было бы мне оставаться у вас.

В 6 часов вечера

Катеньке, благодарение богу, получше, и я немного успокоилась. Сам Лаптев заезжал узнать о ее здоровье и передал мне книгу трагедий, переведенных Висковатовым[24], — это один поэт, который живет здесь неподалеку. Его вдохновляла любовь, а потому я нахожу, что места, где он говорит об этом предмете, довольно хороши. Так как вам, может быть, никогда не представится другой случай прочитать его перевод, я с удовольствием посылаю вам выписки из наиболее красивых мест. Это по-русски, стало быть, вы и другим сможете доставить удовольствие их прочитать.

№ 23 *...часов вечера*

Итак, посылаю вам выписки из Гамлета, это не изящные, но лучшие места из очень посредственного перевода. Сейчас можно видеть, какого роду сочинитель; я думаю, он очень успешно бы писал в нежном роде, не выходя из своей сферы. Надеюсь, что вам будет приятно читать этот маленький отрывок. Завтра 6-е августа, день веселия и удовольствия в Лубнах; у вас, верно, будет много гостей, и я боюсь, чтобы не сбылась пословица «Les absents ont toujours tort»*, *нет, я уверена, что никакие удовольствия вас не заставят забыть о бедной вашей Анете, печальной псковской затворнице; в теперешнем моем состоянии я много нахожу сходства с наказанием Тантала, который, утопая в роскоши, просил из милости каплю воды для прохлаждения пылающей внутренности. Так точно и я окружена удовольствиями, всякого рода почтением и привязанностью всех окружающих меня, я кровью бы заплатила за одну нежную ласку моей несравненной маменьки, ваш взгляд, мой ангел, придал бы мне бодрости; но это тщетные желания.*

---

* Отсутствующие всегда неправы *(фр.)*. Здесь по смыслу близко к русской поговорке: «С глаз долой — из сердца вон».

Вотще простру от сердца руку,
Ни голос твой, ни взор меня не усладят.

Прощайте, мой бесценный ангел, удовольствие с вами беседовать заставило меня забыть, что мне нужен, очень нужен покой; Христос с вами.

6 августа, в 6 ч. вечера

Целый день не имела силы взять перо в руки, противоположность окружающих вас сегодня удовольствий и снедающих ежеминутно меня горестей терзала мою душу. Сейчас имела маленький разговор с моим мужем и получила от него честное слово не требовать от меня выездов никуда, он осенью поедет в Петербург и позволяет мне остаться дома. Ежели же ему не дадут дивизии, то будет проситься за границу до получения оной или до войны; а я имею приехать к вам.— Вы не будете столько жестокосерды, чтобы запретить или отсоветовать мне это, а, верно, примете опять меня с чувством нежнейшей привязанности и позволите посвятить это время дружбе к вам или, лучше сказать, любви. Одна эта мысль впредь будет поддерживать мое существование, одна эта надежда будет отныне подкреплять мою жизнь; это не прежде может случиться, как с будущей весной. Если луч этого благополучия будет иметь на вас столько влияния, сколько на меня, то я довольна и не имею нужды в другом уверении вашей привязанности ко мне. Благодарю моего создателя за посланное в скорби мне утешение и совсем неожиданно. Теперь постараюсь сообщить вам отрывки из г-жи Сталь, которые я нарочно выписала, надеюсь, что вы их одобрите, наши вкусы так согласны, я бы их перевела, но не имею лексикона, боюсь испортить слог, постараюсь когда-нибудь и доставлю вам.

№ 24

«En general, ceux dont la félicité n'est point interrompue, s'aperçoivent à peine de sa durée. Il n'en est pas de même quand elle leur échappe. Le chagrin leur en montre alors tout le prix et le malheur leur fait sentir tout ce qu'ils perdent».

«Обыкновенно те, которых блаженство никогда не было прерываемо, почти не замечают течение оного. Но это уже не то — когда оно удаляется, огорчение показывает всю цену

оного, и несчастие заставляет чувствовать все то, что они теряют» — это из г-жи Бэрней — *перевела я.*

Этот отрывок очень справедлив и приличен к теперешнему моему состоянию, одна только разница: что я очень чувствовала цену того блаженства, которым у вас наслаждалась: но мне кажется, что я теперь не довольно благодарна за оное и не довольно великодушно переношу мои горести. Никто из окружающих меня не может постигнуть моего состояния, и справедливо говорит г-жа Сталь:

«Il faut de l'imagination pour deviner ce qu'un coeur peut faire souffrir, et les meilleurs gens du monde sont souvent lourds et stupides à cet égard, ils vont à travers les sentiments comme s'ils marchaient sur les fleurs en s'étonnant de les flétrir».

«Надобно иметь воображение, чтобы отгадывать страдания сердца, и самые лучшие люди в свете иногда бывают тяжелы и просты в таких случаях, они проходят, подавляют чувства, как будто наступая на цветы, и удивляются, что они от этого увядают». Чем больше я читаю г-жу Сталь, тем более ее люблю и почитаю и нахожу суждения ее отличнейшими — в особенности, когда она говорит:

«Il y a dans le mariage malheureux une force de douleur qui dépasse toutes les autres peines de ce monde».

«В несчастном супружестве есть такие страдания, которые превосходят всевозможные другие горести в свете».

7-го, 3 часа пополудни

Сейчас получила неоцененное письмо ваше, мой несравненный ангел; оно имело то же действие, какое все прочие радости и горе знаменуются у меня одинаковым образом.

Я обливаюсь слезами над умиротворяющими строками вашего письма и горячо молю небо ниспослать мне утешение — и когда-нибудь соединить нас с вами. *Я вас уже благодарила, мой ангел, и писала вам, что я А. А. заплатила 9 руб. за закладочку, я с вами квит, впрочем вы бы меня очень обязали, продавая ваши изделия как другим, для меня это ничего не стоит, а вам для аптеки очень нужно;* дружбе ни в чем не должно быть отказа; она очищает все, до чего касается, то, что принадлежит мне, принадлежит и вам, я бы отдала половину своего достояния, когда б это могло вернуть вам здоровье! Только одно место в вашем письме доставило мне удоволь-

ствие, не омраченное печалью,— это то, где вы просите прислать вам разные вещи. Чулки уже заказаны, а материю постараюсь получить из Дерпта, как только будет оказия.

Меня очень сокрушает, что вы говорите о милом моем Поле, мне даже приходит в голову несчастная мысль, что сходство его со мною ему вредит, я наверное знаю, что это причина ненависти Лизиной к нему, его прекрасный открытый нрав заставит фальшиво о нем судить, а фальшивые и лицемерные вечно будут торжествовать.

Что до гувернантки, то она оказалась достаточно политичной и поняла, что при поддержке папеньки всего можно достигнуть, вот они, стакнувшись с Лизой, и добиваются его поощрения. Зачем я не там и не могу защитить и утешить бедненького моего Поля, помогать ему в уроках и оберегать от огорчений бедную маменьку.

Простите мне, если я вам признаюсь, что Лизу люблю гораздо меньше, чем их: можно ли любить тех, кто нас ненавидит так же, как тех, кто любит нас? Согласитесь, что сие невозможно. *Письмо моей бесценной маменьки заставило меня горько плакать, я вообразила, что судьба меня навсегда лишила счастия пользоваться вашими нежными ласками и ваш рай — навсегда для меня потерянный рай. Это ужасная мысль! Никакая философия не в силах заставить к этому быть равнодушной; едва ли мысль о религии и вечной жизни может утешить, но вы сами не хотите, чтобы эта мысль единственно занимала мою душу; а хотите, чтоб я не теряла надежды и в этом свете когда-нибудь пожить.*

Теперь буду отвечать на письмо А. Н., но лучше сказать, на милый ваш журнал. Меня огорчает, что вы не хотите, чтоб это был Иммортель. Мне кажется, что любовь ничем не отличается от дружбы, кроме как чувственностью, а вы довольно меня знаете, чтобы понимать, что у меня к нему этого нет, нет совершенно; я люблю его, как друга, как нежнейшего из друзей; я бы всю жизнь провела с вами двумя, да еще с доброй моей маменькой, и ничего другого бы не желала. Если бы я освободилась от ненавистных цепей, коими связана с этим человеком! Не могу побороть своего отвращения к нему!

Мне кажется, ад был бы мне милее рая, когда бы в раю пришлось быть с ним.

Не пугайтесь, только этих чувств уже ничто и никогда не сможет изменить. Но мне и самой непонятно, почему еще большее отвращение вызывает у меня его племянник, может быть, потому, что я весьма приметлива и вижу, что это самый недалекий, самый тупоумный и самодовольный молодой человек, которого я когда-либо встречала. Обо всем-то он судит, на все-то у него готов ответ, ни с чьим мнением он не считается. Он и понятия не имеет о скромности (которая столь же необходима юноше, как и женщине), и вдобавок у него с языка не сходят самые пошлые выражения. Вот вам его портрет, хоть и не лестный, зато точно нарисованный.

Чтобы поймать меня на удочку, надобно половчее за это браться, а этот человек, сколько бы он ни исхитрялся и ни нежничал, никогда не добьется моей откровенности и только зря потратит силы. Но довольно об этом, столь мало интересном предмете, и, пожалуйста, не будем больше и говорить о нем.

Слава богу, что Иммортель выздоровел, пусть будет здорова и его душа. Вы пишете, что он человек скромный, и полагаете весьма вероятным, что его чувства ко мне остынут и даже вовсе погаснут. Боже, избави от этого! Скажите ему, что мои к нему дружеские чувства кончатся только с жизнью моей, а он свои обязан сохранить ради меня, и этим я долга своего отнюдь не преступаю и всегда буду преклоняться перед его достоинствами и боготворить его душу, прекраснейшую из всех, что существует во вселенной.

Достаточно ли я вам доказала, мой ангел, что моя дружба есть любовь, а любовь значит для меня — дружба? Я надеюсь, что вы мне в этом поверите и дозволите отдаться единственной надежде, которая меня поддерживает.

№ 25 *7-го числа, в 7 часов вечера*

Я только что немножко прокатилась в карете, и это принесло мне пользу. Но еще более того — молитва. Проезжая мимо отпертой церкви, я вошла туда. Шла

вечерняя служба. Я стала в уголке перед образом нашего спасителя, умирающего на кресте, и горячо молилась, прося небо сохранить мне тех, кого я люблю и... *Вы не можете себе вообразить, как эта молитва меня облегчила, святость места, образ умершего на кресте за нас, все это внушает упование и тихое спокойствие. Г-жа Сталь говорит истинную правду, что это прекрасное обыкновение у католиков, что у них во всякое время церкви отворены, бывают минуты в жизни, где так приятно прибегнуть к молитве в уединенном храме!*

8 часов

Я уже сообщала вам о своих надеждах, которые попеременно то успокаивают меня, то внушают тревогу. Муж мне еще прежде говорил, что не прочь был бы поехать за границу. Я полагаю, что по многим причинам это было бы для него наилучшим выходом. Пока нет войны, он вряд ли получит дивизию, если же ему попроситься в отставку, это может прогневить государя. Да и что он может делать помимо военной службы? Всякое другое занятие было бы ему не по вкусу, в делах гражданских он ничего не смыслит, он рожден военным. Так что я только одного бы желала — чтобы никто не стал отговаривать его от этого намерения. Во всяком случае, это лучшее из всего, что он может сделать. Только таким способом он получит дивизию. Он останется за границей до начала войны, и это будет для него какое-то занятие.

Скажу еще раз — вы дурного мнения о моем вкусе, ежели полагаете, будто одни только романы мне по вкусу. Думаю, я доказала вам обратное уже тем, с каким восторгом высказалась о прекрасном литературном сочинении, которое я осмелилась оставить у себя, так же как теми выписками из весьма серьезной книги, красóты которой я умею понять и почувствовать.

Воскресенье, 8-го, в 11 часов

Вернулась из церкви, обожаемый друг мой, где, по своему обыкновению, горячо молилась за всех тех, кто дорог моему сердцу.

Могу теперь вам сказать, что дочке моей гораздо лучше: она очень была больна после того поноса. Благодаря богу и одному прекрасному здешнему врачу, она уже вне опасности, и я на этот счет спокойна. Лаптев подходил ко мне в церкви осведомиться о ее здоровье, и все те, кто ее знают, принимают ее болезнь близко к сердцу. Все ее любят, и в этом отношении она унаследовала мое счастье. Хотя бы в другом отношении она оказалась счастливее своей матери и судьба ее не походила бы на мою!

2 часа пополудни

Мне хочется еще раз поговорить с вами о Шиповнике, или Иммортеле, называйте его как хотите; с первым именем я готова расстаться, но уже со вторым — никогда. Я хочу верить, что это крепкая, очень крепкая дружба, и хотела бы ему ее высказать; иначе говоря, если бы мне посчастливилось вновь с ним свидеться, я бы предложила ему относиться ко мне дружески и с доверием и сумела бы и сама отвечать ему тем же. Однако г-жа Сталь говорит еще так: «Les sentiments dans lesquels on n'est pas d'une vérité parfaite font plus de mal que l'indifférence».

«Чувства, не совершенно справедливые, более вредят, нежели равнодушие».

Итак, может быть, не захотели бы принять от меня предлагаемую чистую дружбу, ежели бы в ней скрывались другие чувства, которых нельзя скрыть. Как приятно иметь другом умного, любезного и с познаниями человека. Невежественный друг, как и невежественный возлюбленный — вещь незавидная. Вот что говорит по этому поводу г-жа Сталь: «L'ignorance dans les hommes oisifs prouve autant la sécheresse de l'âme que la légèreté de l'esprit. Et alors cet homme ne mérite pas de la part d'une femme sensée aucune sorte d'attachement»*.

Хоть я получила довольно небрежное воспитание, чувство восхищения перед прекрасным, что вложено

* Невежество в праздных людях столько же доказывает сухость души, сколько и легкомыслие ума. Подобный мужчина не заслуживает со стороны рассудительной женщины никакой привязанности *(фр.)*.

в меня природой, позволяет мне тотчас же распознать алмаз, будь он даже покрыт самой грубой корой, и мне никогда не пришлось бы краснеть за предмет своей привязанности. Когда способности человека выявляются, так сказать, сами собой, без чьей-либо посторонней поддержки, и он выказывает незаурядность и благовоспитанность, кои суть плод его собственных усилий,— это всегда признак высокой даровитости. Именно таков Иммортель. Благородство и изящество его манер проявляются сами собой, без помощи воспитания, прекрасные свойства его души заметны с первого же взгляда. Стоит ему лишь произнести слово, как сразу угадываешь его ум и те усилия, кои он употребляет, дабы с каждым днем все более обогащать его новыми познаниями. Нет надобности говорить с ним, чтобы узнать его,—достаточно лишь увидеть выражение его глаз, которое то и дело меняется, являя нам верное зеркало прекрасной души его.

Перечитала только что написанное и нахожу, что это очень напоминает панегирик, хотя мне не к чему писать его для вас, ибо вы не хуже меня знаете и угадываете все его достоинства. Это скорее просто портрет, о котором можно сказать, что он не приукрашен, хоть и недописан.

В 4 часа

Собираюсь выйти немного подышать свежим воздухом, но сперва хочу переписать для вас из г-жи Сталь прекрасный отрывок о религии. Он в самом деле великолепен. Я старалась перевести его как можно лучше, чтобы вы могли познакомить с ним и того, кто умеет ценить прекрасное во всем. Вы меня понимаете и, разумеется, дадите ему это прочесть. Хоть перевод и дурен, все же через него можно распознать красоту слога писателя.

Сейчас немножко прокатилась, и хотя не рассеяла снедающей меня грусти, но закружила голову и от этого устала немножко. Кир И. был у меня, теперь я ему сказала все препоручения ваши к нему, и он благодарен. Говорит, что и теперь часто мысленно вас на руках носит. Он очень добрый и честный человек, но теперь я редко имею случай его видеть, принял должность старшего адъютанта и все сидит дома. Он уже давно не имеет писем—вот все, что он мог

мне сказать, а оба первых письма я читала. То, что было написано ко мне, я зашила вместе с резедой в кусочек материи и привязала к своему крестику, о чем вам, кажется, писала.

Прощайте, добрый мой ангел, до вечера. А пока буду отдыхать. Когда бы я не для вас писала, мне бы казалось, что пишу слишком много. Но ведь это и для меня тоже. Как подумаю, что это может доставить вам приятную минуту, мне и самой делается приятно. Так что я трачу на это время из благородного эгоизма.

№ 26 *Вечером в 7 часов*

Мне пришла в голову странная мысль, не должно бы вам о ней сказывать, но, привыкши все разного разбора мои мысли вам открывать, и эту скажу. Вот она: мне вдруг пришло в голову, что мои письма могут вам наскучить, что вы устаете, их читая, это я вообразила особенно с этой почтой; я вам советую читать с расстановкой и сделать дневку хоть на половине.

Теперь скажите мне, справедлив ли мой страх, ежели мои глупости могут хотя малейший сделать вред драгоценному вашему здоровью, я велю красноречию моему замолчать; и поверьте, мой ангел, что жертва меньше с вами беседовать не трудна будет для меня, если противное может быть для вас вредно. Меня очень утешает, что вы маменьке читаете мой журнал; продолжайте, мой бесценный милый ангел, сообщать ей возможные статьи.

Письма ваши и Анны Николаевны я очень аккуратно получаю, но оставляю их у себя до свидания с ней, которое должно быть скоро, потому что мы недавно узнали, что мать ее родила дочь Марью[25] *и, верно, не останется долго в Петербурге, она большая хозяйка и не любит столицу. Впрочем, она так считает себя счастливою, что везде довольна своим состоянием.*

Я бы очень рада скорее увидеть Анету, было бы с кем душу отвести.

Теперь у меня слезы навернулись на глаза; ваше письмо лежит развернутое на столике — сколько различных, вместе горестных и приятных чувств оно во мне возбудило; начертание руки вашей, надпись земного, потерянного для меня, рая, — все это производит движения души, превосходящие всякое описание. О, боже мой! Какие бы жертвы я в состоянии

сделать, чтобы он соединил меня с вами, все, что я имею, отдала бы с радостью. Лишь тогда достало бы у меня силы следовать стезей добродетелей: ни одна из них не осталась бы чуждою моей душе! Всякий бедняк был бы мне другом, всякий несчастный — братом. Теперь же я только то и делаю, что стенаю под бременем собственных горестей, и у меня нет сил на добрые дела; беда моя подавила во мне все способности, и у меня хватает сил только на то, чтобы говорить о ней с единственным сердечным другом моим, лишь на ее груди ища себе утешения, да лить слезы о том, что мы так ужасно далеко друг от друга.

9 часов

Только что у меня снова был разговор с мужем, речь шла о его поездке за границу, он решил в сентябре ехать в Петербург, там получить отпуск и в начале весны отправиться. Он заявил мне, что готов, ежели я этого хочу, перейти в армию Ермолова, но уж тогда пусть я имею в виду, что мы с ним навсегда расстанемся,— я бы этому только рада была (ибо для меня невозможно составить его счастье), одно лишь меня удерживает — страх доставить неудовольствие папеньке: я была бы безутешна (даже подле вас), зная, что из-за меня он несчастлив. Что вы посоветуете мне, мой ангел?

Напишите, буду ждать вашего ответа со страстным нетерпением.

Ежели вы полагаете это возможным, напишите, что вы на этот счет думаете.

Положение мое достойно жалости. Прощайте на сегодня. Спросите у Иммортеля, рад ли он будет, ежели скоро увидит меня в ваших местах. Спросите его об этом непременно и перескажите мне его ответ, я не успокоюсь, пока не узнаю его. Доброй вам ночи, пусть спит спокойно весь этот маленький мир дорогих мне существ, коих я люблю больше себя самой.

Понедельник, 9-го, в 10 часов утра

Только что я успела встать с постели, как мне сказали, что приехал Лаптев, чтобы справиться о моем здоровье. Он очень тревожился о Катеньке, но теперь все уже прошло, и она вне опасности.

Прощайте, мой бесценный ангел, Христос с вами. «Les hommes froids et égoïstes trouvent un plaisir particulier à se moquer des attachements passionnés et voudraient faire passer pour factice tout ce qu'ils n'éprouvent pas» *(Staël)**.

Вот точно так же, мой ангел, и все те, кто меня окружают, никогда не способны были судить о силе и природе моей привязанности к вам.

Еще немного о моих делах. Муж твердо мне обещал отвезти меня к вам и там оставить на те месяцы, что он будет на водах — с мая до сентября, — так что ежели только я останусь жива, то все это время буду самым счастливым человеком на свете. Довольны вы, мой ангел? Сдается мне, что эта новость радует вас меньше, нежели меня: или вы не одобряете этого плана? Быть не может. Все, что до меня касается, без сомнения, должно и на вас производить то же действие.

Пора оставить перо, я и так все другие переписки оставила и занимаюсь только журналом. Очень я слабодушна и не умею полезное предпочитать приятному, но зато умею согласить одно с другим — раз это доставляет вам удовольствие, значит, мне это полезно. Однако прощайте. С тех пор как я сюда приехала, я ни разу не писала Надине, не поздравила Анету и еще не ответила на письмо Каролины. Прощайте же, *надобно выполнить все обязанности.*

Хотела послать Лизе сапожки, но Ермолай Федорович говорит, что дорого на почту, и хотел послать казенным конвертом, но я это отклонила. Пришлось бы это сделать от его имени, а, говорят, нынче это очень опасно, могут распечатать, и тогда у него будут неприятности.

Боже, сохрани от этого. Вы ведь знаете, что над ним висит еще дело по поводу дуэли, которое зависит от Ротта, и так как он отказывается стать презренным орудием его любовницы, тот воспользуется этим предлогом, чтобы насолить ему. *Прощайте еще раз.* Всякий раз, как я отправляю мой дневник, мне кажется, будто я снова с вами расстаюсь. Да хранят все силы небесные ваше здоровье и спокойствие всех вас. Анета, *ваша.*

---

* Люди холодные и себялюбивые находят особое удовольствие в том, что высмеивают чувство страстной привязанности и готовы объявить неестественным все, чего сами не испытывают (Сталь) *(фр.).*

№ 27 *Псков, 1820-й. Понедельник, 9-го, в 9 часов вечера*

Не успела опомниться, и опять перо в руках. Я отложила все другие письма до отправления журнала, я его отправила в четыре часа, все отдыхала, а теперь, принявшись за перо, нечаянно попался приготовленный номер под руку. Невольного влечения не в силах удержать, и истинно к несчастью могу сказать: вы ни на минуту не выходите из головы или, лучше сказать, из сердца. Ежели я возьму книгу, то единственно для того, чтобы выбирать эссенцию и сообщать вам лучшие мысли.

Хочу написать вам то, что прочитала сейчас у г-жи де Сталь касательно солнца (вы помните тот маленький спор, который закончился тем, что со мной согласились и воздали должное солнцу): «Quand les ténèbres nous épouvantent ce ne sont pas toujours les périls auxquels ils nous exposent que nous redoutons, mais c'est la sympathie de la nuit avec tous les genres de privations et de douleurs dont nous sommes pénetrés. Le soleil au contraire, est comme une émanation de la Divinité, comme le méssager éclatant d'une prière exaucée; ses rayons descendent sur la terre, non seulement pour guider les travaux de l'homme, mais pour exprimer de l'amour à la nature»*.

«Его лучи сходят на землю не для того только, чтобы сопутствовать трудам человека, но и чтоб изъяснить любовь Природе».

Не правда ли, что эта мысль божественна? Любите г-жу Сталь! Познакомьте с этой мыслью тех, кто сумеет ее оценить: для этого-то я и перевела последнюю и самую прекрасную фразу. Как дивно это выражено! Кто другой сумел бы столь благородно, столь приятно выразить свой восторг перед этим прекрасным светилом?

Еще небольшой отрывок о Солнце: «Les fleurs se tournent vers la lumière afin de l'accueillir; elles se referment pendant la nuit et le matin et le soir elles semblent exhaler en parfums odorifiants leurs hymnes de louange. Quand on

---

* Когда мы устрашены мраком ночи, нас часто пугают не опасности, коими она подстерегает нас, а ее соприкосновенность всякого рода утратам и страданиям, коими она в нас проникает. Солнце же, напротив, есть как бы эманация божества, как бы сияющий провозвестник услышанной молитвы, лучи его нисходят на землю не для того только, чтобы сопутствовать человеку в его трудах, но чтобы изъяснить природе свою любовь *(фр.)*

élève les fleurs dans d'obscurité, pâles, elles ne revêtent plus leurs couleurs accoutumées; mais quand on les rend au jour, le soleil réfléchit en elles ses rayons variées comme dans l'are-er-ciel et l'on dirait qu'il se mire avec orgueil dans la beauté dont il les a parées»*.

Это небольшое описание тоже прелестно, не правда ли? Но пора расстаться с вами; покойной ночи; завтра я расскажу вам, как она оценивает франкмасонство.

10 августа, в 10 часов утра

Здравствуйте, нежный друг мой! Вот что говорит она о франкмасонстве: «Lessing a écrit sur la franc-maçonnerie un Dialogue où son génie lumineux se fait éminemment remarquer. Il affirme que cette association a pour but de réunir les hommes, malgré les barrières établies par la société; car si sous quelques rapports l'état social forme un lien entre les hommes en les soumettant à l'empire des lois il les sêpare par les différences de rang et de gouvernement. Cette fraternité, véritable image de l'âge d'or a été mêlée dans la franc-maçonnerie à beaucoup d'autres idées qui sont aussi bonnes et morales. On ne saurait se dissimuler cependant qu'il est dans la nature des association secrètes de porter les exprits vers l'indépendance; mais ces associatuions sont aussi très favorables au développement des lumières, car tout ce que les hommes font par eux-même et spontanèment donne à leur jugement plus de force et d'étendue»**.

---

* Цветы поворачиваются к свету, чтобы принять его в себя: они закрываются на ночь, а утром и вечером своим ароматом словно выдыхают хвалебные гимны. Когда цветы растят в темноте, они утрачивают присущую им яркость красок; но стоит их вынести на свет, как солнце отражает в них, словно в радуге, многоцветные лучи свои, и кажется, будто оно горделиво любуется собой в той красоте, коей их украсило *(фр.)*.

** Лессинг написал о франкмасонстве Диалог, в котором светлый его ум обнаруживается в высшей степени. Он утверждает, что содружество это имеет целью объединить людей, вопреки тем преградам, что установлены обществом; ибо если общество и образует некую связь между людьми, подчиняя их власти законов, оно же их и разъединяет, благодаря различиям в общественном положении и месту в управлении. Идея братства, этого подлинного образа Золотого века, в франкмасонстве слилась со многими другими идеями, столь же благими и нравственными. Нельзя закрывать глаза на то, что по самой своей природе тайные содружества влекут умы к независимости; однако они весьма способствуют и развитию просвещения, ибо все то, что люди делают по собственной воле и без принуждения, сообщает их суждениям большую силу и широту *(фр.)*.

Я всегда считала эту секту очень полезной: по крайней мере, человек в ней близок к природе, поскольку люди видят друг в друге братьев; и (между нами говоря) я думаю, что когда бы все мы были масонами, то были бы гораздо счастливее.

В 9 часов

Г-жа Сталь еще говорит, что: «L'enthousiasme est de tous les sentiments celui qui donne le plus de bonheur, le seul qui en donne véritablement, le seul qui sache nous faire supporter la destinée humaine dans toutes les situations où le sort nous place»*.

Совершенно с ней в этом согласна, потому что сама это испытала. «La nature peut-elle être sentie par les hommes sans enthousiasme? Ont-il pu lui parler de leurs froids interêts, de leurs misérables devoirs? Que répondraient la mer et les étoiles aux vanités étroites de chaque homme pour chaque jour? Mais si notre âme est émue, si elle cherche un Dieu dans l'Univers, si même elle veut encore de la gloire et de l'amour, il y a des nuages qui lui parlent, des torrents qui se laissent interroger et le vent dans la bruyère semble daigner nous dire quelque chose de ce qu'on aime»**.

Она всегда соединяет любовь со всем изящным и великим! «Quelle magie le langage de l'amour n'emprunte-t-il pas â la pensée et des beaux arts! Qu'il est beau d'aimer par le coeur et par la pensée! De varier ainsi de mille manières un sentiment qu'un seul mot peut exprimer, mais pour lequel toutes les paroles du monde ne sont encore que misère! De se pénétrer des chefs d'oeuvre de l'imagination qui relèvent tout de l'amour, et de trouver dans les mer-

---

* Из всех чувствований энтузиазм доставляет нам наибольшее счастье, действительно подлинное счастье, то единственное счастье, которое способно заставить нас переносить человеческую жизнь во всех тех положениях, в которые может поставить нас судьба *(фр.)*.

** Возможно ли людям общаться с природой без энтузиазма? Разве могли бы они поведать ей о своих холодных расчетах, о жалких своих желаниях? Как откликнулись бы море и звезды на мелкие, ежедневные дела, на суетные стремления каждого человека? Но если душа ваша взволнована, если она ищет во вселенной некое божество, пусть даже алкает она славы и любви — с ней говорят облака, ей внемлют бурные потоки, и кажется, будто ветерок, пробегая по вереску, благосклонно шепчет вам что-то о вашем любимом *(фр.)*.

veilles de la nature et du génie quelques expressions de plus pour révéles son propre coeur»*.

Я кончила читать г-жу Сталь, и теперь у меня нет больше ничего прекрасного. Если бы это не стоило так дорого, я доставила бы себе удовольствие и послала вам эту книгу почтой, чтобы вы могли ее прочесть. Однако скажите все же, хотели бы вы этого? Тогда я вам ее пришлю, как только у меня будут деньги: ибо сознаюсь вам, этот праздник, который мы дали бог знает зачем, обошелся нам около тысячи рублей. Сначала я думала, что это будет танцевальный вечер и можно будет обойтись одним чаем, а пришлось подавать и шампанское, и всевозможные фрукты, и разных сортов мороженое, словом, всего ушло очень много. *Магденко удивляется не кстати расточительности.* Всем распоряжался племянник, а меня заранее предупредили, что я ничему не должна противиться.

Теперь же я никуда не выезжаю, да и, признаться вам (хоть я уверена, что будете сердиться), не хочется на людей глядеть, от всех удовольствий мира отказалась бы сейчас, только бы избавиться от такой жизни. Виновата! Без ужасу не могу вспомнить жестокости, с которой вы изгнали меня из вашего раю! Вы отравили дни мои горестью, я не имею ни минуты покою, ужасная мысль грызет мою душу, что несчастный увидит свет с ненавистью своей матери! Ежели бы и была возможность к вам теперь ехать, то я не решусь родителям показаться в моем положении; всякий прочитает мои чувства на лице моем, а я бы желала скрыть их от самой себя.

Вы знаете, что это не легкомыслие и не каприз; я вам и прежде говорила, что я не хочу иметь детей, для меня ужасна была мысль не любить их и теперь еще ужасна.

Вы также знаете, что сначала я очень хотела иметь дитя, и потому я имею некоторую нежность к Катеньке, хотя и упрекаю иногда себя, что она не довольно велика. Но этого

---

* Какого только очарования не заимствует язык любви у поэзии и изящных искусств! Сколь это прекрасно — любить и сердцем и мыслью! Варьировать таким образом, на тысячу ладов, чувство, могущее быть выраженным всего одним словом, но для выражения коего все слова на свете кажутся бедными! Проникаться совершеннейшими созданиями воображения, кои вдохновлены были любовью, и в чудесах природы и человеческого гения находить новые выражения, дабы раскрывать собственное сердце *(фр.)*.

все небесные силы не заставят меня полюбить: по несчастью, я такую чувствую ненависть ко всей этой фамилии, это такое непреодолимое чувство во мне, что я никакими усилиями не в состоянии от оного избавиться.

Это исповедь! Простите меня, мой ангел.

№ 28 *1820. 10-го августа, вечером, в половине одиннадцатого*

Итак, вы сами видите, ничто уже не может помочь мне в моей беде. Господь прогневался на меня, и я осуждена вновь стать матерью, не испытывая при этом ни радости, ни материнских чувств. Мой удел на сей земле — одни лишь страдания. Я ищу прибежище в молитве, я покорно предаю себя воле божьей, но слезы мои все льются и нет рядом благодетельной руки, что осушила бы их, нет подле меня моего друга-утешителя, который заставил бы иссякнуть их источник или принял меня в лоно свое.

Простите меня, я понимаю, что огорчаю вас. Берегите свое здоровье — этим вы убережете жизнь мою: она в ваших руках. Никого нет на свете, кроме маменьки, кого бы я больше вас любила. Совестно признаваться в этом, но это правда: даже моя дочка не так дорога мне, как вы. И мне нисколько этого не стыдно; ведь сердцу не прикажешь, но все же я должна вам это сказать: будь это дитя от..., оно бы мне дороже было собственной жизни, и теперешнее мое состояние доставляло бы мне неземную радость, когда бы..., но до радости мне далеко — в моем сердце ад, повторяю это. Тут не каприз: чувство это непреодолимо, хотя и приводит меня в отчаяние.

Спокойной ночи, мой ангел, и не думайте дурно о вашей Анете.

11-го августа, в полдень

Здравствуйте, мой нежный друг. Нынешним утром мне пришло сразу три приглашения: первое — в Дерпт, на свадьбу одного майора нашего полка; второе — на несколько балов кряду у Магденки в Острове, на 20-е число; а третье — на крестины одного младенца с его величеством императором Александром. Приняла я только последнее: душе моей так чужды сейчас вся-

кие развлечения. Балы для меня самая безразличная вещь на свете, скорей даже неприятная. Предвижу, что все военные станут приставать ко мне с уговорами, особенно губернатор и Лаптев, но я решила твердо стоять на своем; и потом у меня ведь есть оправдание — нездоровье дочки.

Погода прехолодная и предождливая, чему я очень рада. Когда на сердце весело, тогда приятно и на светлое солнце смотреть, а когда на сердце ненастно, то и в вёдро дождь идет. Молю бога, чтобы у вас была всегда хорошая погода, совершенное у всех здоровье, спокойствие душевное и милое воспоминание о той, которая вами только дышит. Я не знаю, почему мне вздумалось сделать вам странный, может быть, вопрос и на который требую от вас непременно скорого и решительного ответа. Скажите мне, довольны ли вы будете, т. е. папенька, маменька и все семейство, видеть меня у вас на будущую весну и на долгое, может быть, время? Вам это покажется странно, но я чувствую, что, конечно, не вас и не маменьку, а других мое присутствие может тяготить. Как вы думаете? К сожалению, должна признаться, что только в ваших и маменькиных чувствах совершенно уверена, а это очень тяжело — быть в тягость близким людям, вы, верно, со мной в этом согласитесь. Я уже сказывала вам, что Ермолай Федорович обещался оставить меня, когда поедет за границу, может случиться, что я год у вас пробуду. Ежели, боже сохрани, моим присутствием я кому-нибудь буду в тягость, я этого не перенесу, и потому, мой ангел, я спрашиваю вашего совету и прошу вас отвечать мне откровенно, не судя только по своему сердцу; ежели бы только от него зависело, то я наперед знаю его ответ.

Прочитайте маменьке эти строки и сообщите мне ее мысли. Конечно, я уже не буду та, как прежде, не буду занимать вас моею веселостью, а надоедать вам моею грустью; мне, может быть, прибавится обязанность, и тяжелая обязанность, без любви ужасно тяжелая. Пишите ко мне чаще, ради самого неба, недавно виденный сон подал мысль: ежели вы имеете особенное что-нибудь сказать, то пишите на имя Кира Ивановича, второй пакет вручить не замедля в собственные руки; ежели вы находите это удобным, то это очень легко, и я верно буду получать ваши письма, ежели нет, то я потерплю, делайте, как вы находите лучшим, я всегда с вами согласна.

В 11 часов вечера

Доброй вам ночи, ангел мой, спите спокойно. Сегодня я написала к Каролине по тому адресу, который она сообщает — в Могилев на Днестре. Мне от души жаль эту бедную женщину — и все же я невольно думаю, что судьба ее в тысячу раз счастливее моей. Теперь она снова увидит своих родителей; она пишет еще, что приедет в Лубны, а я снова потеряю эту возможность ее увидеть. Наша с Каролиной судьба напоминает мне мысли г-жи Сталь касательно любви в браке: «C'est dans le mariage que la sensibilité est un devoir. Dans toute autre relation la vertu peut suffire; mais dans celle où les destinées sont entrelacées, où la même impulsion sert pour ainsi dire aux battements de deux coeurs il semble qu'une affection profonde est presqu'un lien nécessaire»*.

Кто после этого решится утверждать, будто счастье в супружестве возможно и без глубокой привязанности к своему избраннику? Одни только бесчувственные, холодные, глупые женщины, кои от рождения обречены никогда не узнать, как сладостно любить и быть любимой, могут в подобном положении не чувствовать себя безмерно несчастными. А если говорить обо мне, до коей косвенно касаются все эти споры, то вы хорошо знаете, что я отнюдь не принадлежу к их числу; вам известна моя душа — пылкая и любящая до самой крайней степени. Уже не знаю, к счастью или несчастью создал ее такою бог, должно быть, к вечному моему несчастью — и, однако, я не променяла бы ее на другую. Страдания мои ужасны, но зато мне ведомы и божественные радости. Неоценимо счастье, которое испытала я, живя у вас. Я плавала в море блаженства; а между тем всякая другая спокойно пользовалась бы всем этим, не подозревая, что это, быть может, самое великое счастье на земле. По крайней мере, я в своей восторженности рассматривала это так.

---

* Именно в браке чувствительность сердца является необходимостью; во всех других человеческих отношениях можно удовольствоваться одной добродетелью; но в браке, где судьбы тесно переплетены друг с другом, где два сердца бьются, так сказать, единым порывом, глубокая привязанность есть условие почти обязательное *(фр.)*.

Прощайте, утешительница моя. Спите спокойно. Пусть приснится вам та, кто так счастлива бывает, только когда видит вас во сне.

№ 29 *12-го августа, 1 час пополудни*

Кир И. сейчас был у меня; я так всегда рада его видеть и Катенька также, мы вместе вспоминаем наше счастливое пребывание в земном раю.

Вот мое состояние:

«Lutter seule contre le sort, s'avancer vers le Cercueil sans qu'un ami vous soutienne, sans qu'un ami vous regrette, c'est un isolement dont les déserts de l'Arabie ne donnent qu'une faible idée; et quand tout le trésor de vos jeunes années a éte donné en vain... il vous semble qu'on vous a privé des dons de Dieu sur la terre» *(Staël)**.

Меня лишили самых прекрасных даров божьих, а я должна терпеть и не роптать.

В 4 часа

День сегодня прекрасный, солнце чудесное — но это только усугубляет мои страдания — все мне вспоминается милый сердцу край. Воображение рисует мне вас, нежный друг мой, в прелестном голубом чепчике, я вижу, как вы гуляете по нашему чудесному саду, а может быть, рядом с вами еще кто-то? И я стараюсь угадать, о чем вы говорите. Не слишком ли это большая самонадеянность — думать, что обо мне?

В 6 часов

Я только что проехалась в карете. Видела добрейшего Кира Ивановича, сидевшего у своего окна. Он тоже был несказанно рад, увидев меня. Стоило мне завидеть в окне форму их полка, как сердце мое забилось.

---

* Одной бороться с судьбой, все ближе подвигаясь к могиле, и не иметь подле себя друга, который поддерживал бы вас, который бы вас пожалел,— это такое одиночество, что даже одиночество в Аравийской пустыне может дать о нем лишь слабое представление. И когда оказывается, что все сокровища вашей юности растрачены понапрасну... вам представляется, будто вас лишили даров божьих на земле (Сталь) *(фр.)*.

Когда наконец узрею я того, кто красит ее собою — для меня и всех тех, кто способен оценить истинное достоинство? Пусть будет он счастлив, так счастлив, как я ему того желаю и как он того заслуживает! Мне кажется, что папенька так и не узнал о маленькой прогулке, которую он тайно совершил, чтобы проводить меня. Вы не можете себе представить, как отчетливо воспоминание о той ночи или, вернее, о том утре запечатлелось в моем мозгу, особенно то мгновение, когда карета подъехала к почте, где, я знала, он должен был ждать, а он минутку замешкался, и я испугалась, что его нет! Никогда не сумею описать вам то сладкое чувство, которое испытала я при виде его. Ни одно любовное свидание не может быть столь чарующим. Это мгновение счастья, я смотрела на него с чувством блаженства, я любила его, не испытывая угрызений совести, да и теперь никакие угрызения совести не отравляют моей привязанности к нему.

В 10 часов, после ужина

Покойной вам ночи, дорогой друг мой. Хоть мне и нечего вам сказать, все же беру перо — по привычке, ибо никогда не ложусь, прежде чем не выполню своей обязанности пожелать вам приятного сна, по крайней мере мысленно, раз уж я так несчастна, что лишена этого в действительности.

Сегодня я плакала горькими слезами, вспоминая последнее свое прощание с вами, мой ангел. Мне велели обмануть вас, а у меня не хватило на это ни сил, ни мужества. Душа моя хранит воспоминание о последних ваших объятиях. Скорей бы дождаться того часа, когда вновь насложусь ими и смогу назвать себя вашей счастливою Анетой. А до тех пор жалейте меня и молитесь за меня. Приятного сна вам, ангел мой, друг мой, а также...

13-го в 11 часов утра

Добрый день, нежный мой друг, как вы себя нынче утром чувствуете? Я только что закончила писать к тетушке Анете и думаю о том, какая разница между нею

и вами, между добровольным дружеством и доверенностью вынужденной. На ее примере сразу видишь, как справедлива пословица, что для счастливого отсутствующий всегда не прав.

В 2 часа

Легко давать советы, когда не способен сочувствовать чужому горю. *Хорошо счастливым рассуждать, а несчастный должен молчать, да и не имел бы сил столько, чтобы возвысить голос.*

Пока прощаюсь с вами, иду обедать, больше для порядка, нежели с голоду. Мне ничего не хочется, совсем пропал аппетит. Все эти последние дни я ем только постное и буду поститься до 15-го, может, господь сжалится надо мной.

Вечером, в половине 7-го

Только что ездила кататься с дорогим супругом. Сначала лошади чуть было не опрокинули карету, чему в душе я очень обрадовалась в надежде, что это может повлечь за собой благодетельный исход, но нет, мы не вывалились. Когда мы проезжали мимо церкви, супруг милостиво разрешил мне в нее войти. Там, в уголочке, я прочла свою обычную краткую молитву, после чего мы продолжали прогулку. Она отнюдь не была приятной, не был приятным и наш разговор, но все же это лучше, чем быть вынужденной появляться в обществе, где всякий втихомолку судит нас и осуждает. Желания у меня теперь, как видите, самые скромные — я хочу даже уже не счастливой, а спокойной жизни — жизни в безвестности и уединении. И более всего уповаю я на будущий май, когда должны осуществиться самые заветные мои желания. Мне нужно спросить вас еще об одном: как вы полагаете, не перестанет он меня любить? Это очень глупый вопрос, но он невольно смущает мою мысль, ибо, говоря по правде, я не представляю себе большего несчастья, чем потеря его привязанности. Если бы по приезде я вдруг нашла перемену даже в одном его обращении со мной, это было бы для меня большим горем. Не то чтобы я хотела выказывать ему

любовь свою (непозволительную с точки зрения этого противного долга), но мне хотелось бы навечно сохранить это сладостное право читать в его глазах, иногда дозволяя и ему читать в моих. Постарайтесь выведать у него, мой ангел, как он относится к этому обстоятельству. В том, что я вам предлагаю, нет ничего предосудительного, напротив, это согласуется с велениями самой строгой нравственности и деликатности, иначе, зная вас и ваше сердце, никогда бы не стала о том просить. Дело ведь только в том, что надобно понять, как он встретит меня в случае, если я возвращусь в Лубны. Обрадуется ли он этому известию? *Вы это скажите нечаянно, чтоб видеть, какие действия произведут слова ваши. Вы знаете, как нетрудно читать в глазах его все движения прекрасной, благородной души.* Не отказывайте в этом утешении вашей Анете, напишите, что вы об этом думаете и что он вам ответит. Вы меня довольно знаете, праведный мой друг, чтобы быть уверенной, что я не способна на женскую слабость, и для меня не может быть выше блаженства, чем любовь невинная, без угрызений совести.

Завтра суббота. Для меня это день праздничный, потому что я наверное получу от вас письма, а может быть, и какие-нибудь известия через *Кира Ивановича* об Иммортеле. *Я не могу придумать, почему вы то имя больше любите, нежели это? Неужели от неуверенности в продолжении, — горицвет — капля крови. Я вам, кажется, сказывала, отчего я нахожу* Иммортель *самое приличное имя:* потому что однажды он сказал мне то слово, прощаясь со мной, и потом, уходя, повторил его очень выразительно, как выразительно все, что он говорит. А потом я все надеялась на милосердие божие, на то, что не всегда он будет для меня Шиповником, а, быть может, когда-нибудь станет Тимьяном рядом с Царицею Лугов, вот потому я и решила, что нужно такое имя, которое прошло бы через все обстоятельства и могло бы подойти ему во всякое время.

Прощайте, мой ангел, покидаю вас: пришли гости, полковник; во вторник я буду крестить и, кажется, с Лаптевым. Какой приятный кум! Прощайте, мой ангел, прижимаю вас к сердцу, вся ваша мысленно.

В 8 часов вечера

Как бы мне хотелось получить ответ на свой вопрос! Уж такая я нетерпеливая, это один из больших моих пороков.

В 10 часов вечера, после ужина

Сейчас была у П. Керна, в его комнате. Не знаю для чего, но муж во что бы то ни стало хочет, чтобы я ходила туда, когда тот ложится спать. Чаще я от этого уклоняюсь, но иной раз он тащит меня туда чуть ли не силой. А этот молодой человек, как я вам о том уже сказывала, не отличается ни робостью, ни скромностью; вместо того чтобы почувствовать себя неловко, он ведет себя, как второй Нарцисс, и воображает, что нужно быть по меньшей мере из льда, чтобы не влюбиться в него, узрев в столь приятной позе. Муж заставил меня сесть подле его постели и стал с нами обоими шутить, все спрашивал меня, что, мол, не правда ли, какое у его племянника красивое лицо. Признаюсь вам, я просто теряюсь и придумать не могу, что все это значит и как понять такое странное поведение. Помню, однажды я спросила племянника, неужели его дядюшка к нему ни капельки не ревнует, и тот мне ответил, что он не смеет ревновать, он, мол, виноват перед ним, сделав несчастье всего его семейства, что ежели бы даже у него и были причины ревновать, он не стал бы этого показывать. Признаюсь вам, что я боюсь слишком дурно говорить о муже, но некоторые свойства его отнюдь не делают ему чести. Ежели человек способен делать оскорбительные предположения насчет своего тестя и собственной жены, то он, конечно, способен позволить племяннику волочиться за ней, дабы возместить ему утрату матери. Я, конечно, могу поверить, что тот, кому из-за каких-то пустяков могут прийти подобные подозрения, и сам на такое способен. Вот каков человек, к которому вы так несправедливо, вернее, так жестокосердно меня отослали. Заикнись я только обо всем этом папеньке, который всегда так строг насчет чести, он бы позволил мне остаться. Но у меня, кажется, никогда недостало бы смелости заговорить с ним об этом.

Прощайте, мой нежный друг. И все же я рассчитываю, ежели доберусь только до вас, ни за что более с вами не разлучаться. Мне отвратительно жить с человеком столь низких, столь гнусных мыслей. Носить его имя — и то уже достаточное бремя. Прощайте еще раз. Молитесь за вашу Анету.

14-го августа, в 10 часов утра

Слава богу, милый друг мой, сейчас только получила ваше письмо! Благодарю небо за то, что вам стало лучше. Известие это возвращает меня к жизни.

Ваши прогулки и беседы с Полем безмерно меня радуют. Отдавайте ему всегда самую лучшую грушу в память о том времени, счастливом времени, когда я отдавала ему самую лучшую ягодку земляники и чувствовала себя в тысячу раз счастливее, чем если бы съела ее сама.

Сейчас я пишу к вам и пью чай из чашки, которая сделалась мне дорога, потому что в последнее расставанье из нее пил обожаемый Поль. Я теперь никогда не пью чая из другой чашки и всегда ношу то ожерелье, что мы вместе нанизывали, сидя на балконе.

Как я рада, что вы едете к обедне, может случиться, что наши молитвы в одно время будут воссылаемы ко всевышнему и тогда авось будут услышаны.

Насчет А. А. скажу вам, что я очень рада, что от нее отделались; надобно ей отдать справедливость, никуда не годится; уверила меня, что вам заплатила за пояски, увезла мою хорошенькую лорнетку и оборочки, почти из глаз моих старые, все прочее я по записке приняла. Желтое шелковое платье выпросила у меня в день отъезда, а я не умела отказать и отдала. Она не имеет ни стыда, ни совести и точно то есть, что я об ней заключила. За Катенькой теперь ходит Катерина, и я ей очень довольна. Вы мне писали, что имеете прекрасные узоры, так для пелеринки я полагаюсь на ваш вкус, или попросите папеньку, чтоб он для меня выбрал, приятнее будет носить. Хороших и модных узоров я постараюсь для вас достать, мой ангел. Я с вами согласна, что почта вещь неоцененная, и молюсь о царстве небесном тому смертному, который первый это изобрел.

Как мне грустно, мой ангел, что мы не в состоянии теперь никак выкупить бриллианты, а как скоро будут деньги,

то я упрошу мужа, чтоб он послал и после непременно их продал. На что они мне? Я намерена и фермуар продать.

Сказать ли вам, мой ангел? Маменька меня огорчила сегодняшним письмом, она никогда так не начинала (друзья мои Ермолай Федорович и Анна Петровна), но прежде — друг мой Анетушка. Скажите ей, чтоб она ко мне так не писала, я даже папенькиным была довольна. Попросите мою родную маменьку, чтоб она меня (Анной Петровной) не огорчала, а называла бы всегда Анетушкой. Она, верно, это сделала от рассеянности, а для несчастной и такая малость много значит.

Папенькиным и вашим письмам более всех довольна. Лизе не верю о грусти ее, что меня нету, я ее очень узнала и знаю, что, может быть, она даже рада моему отъезду. Очень жаль, что она так фальшива и может говорить против своих чувств; это, однако ж, послужит к ее счастью, в нынешнем свете всего более надобно скрывать истинные чувства и показывать ложные — чего я совсем не умею сделать. Оставляю перо, чтобы купать Катеньку, обнимаю вас, мой ангел, Христос с вами. Это последнее слово, какое я сказала Полю. *Дай бог вам здоровья, что расчетливость не заставляет вас реже писать, а меня никогда не заставит прекратить мой журнал, разве сил недостанет.*

№ 31

14-го августа,
утром, в половине 12-го

Как обрадовало и утешило меня сегодняшнее письмо ваше, мой ангел, бог услышал хотя одну мою молитву, подкрепил вас, слава богу, что вы уже выезжать можете. Это мне подает надежду на совершенное ваше выздоровление. Вы мне ничего не пишете насчет вашей мамзели, а папенька, кажется, ею недоволен. Что бы это значило? Ежели она не будет полезна, то не очень приятно платить такую ужасную цену при тесных обстоятельствах и таком расстроенном состоянии.

Вечером в половине девятого

Поль мне пишет, что получил хорошенький перочинный ножик и цепочку. Как он добр, что доставляет удовольствие моему любимому братику. Поблагодарите его за это тысячу раз — не забудьте.

Сейчас взглянула на свою штору и вспомнила, что вы еще не знаете ее сюжету. Он состоит в огромной башне на берегу большой реки или озера, осеняемой с правой стороны большим деревом, а влево видна большая дорога, вероятно, ведущая в Лубны, по крайней мере, мое воображение так представляет. По эту сторону, т. е. на противоположном берегу, стоят два егеря, один с ружьем, а другой с трубой, они не в егерских мундирах, но в охотничьих платьях.

Сегодня у меня обедала гостья, молодая вдова, г-жа Фигнер, и после обеда мы вместе с ней катались; она мне признавалась насчет тяжелого характеру ее невестки, бывшей Муравьевой; она только что месяц как к ним приехала, и не знают, дождутся ли ее отъезда, так наскучила. Не довольно иметь блестящее воспитание и хорошую наружность, чтобы нравиться и быть любимой! Хороший нрав и доброе сердце более всего привлекают к себе.

Я сегодня целое после обеда проплакала, это почти всякий день со мной случается, не исключая тех праздничных для меня дней, когда я имею счастье получить от вас грамотку. Так тяжело видеть себя одну, как в пустыне, не имев, к кому голову приклонить. Я никак не считаю себя счастливее несчастных, невинно заключенных в темницу; они имеют отраду в надежде быть когда-нибудь освобожденны, а я... может быть, осуждена вечно страдать! Скажите мне хотя один раз о роде ваших разговоров на счет мой, предложите ему быть моим Йориком, я с радостью буду его Элоизой — хотя по чувствам, если не по достоинству. Вы мне ничего не отвечаете? Какие вы жестокие! Виновата, мой ангел, я брежу, извините беспорядок моих мыслей, я не приготовленное вам пишу, а все вдруг, что приходит в голову, да иначе бы недостало сил столько бумаги марать.

Иногда я воображаю с удовольствием, когда придут счастливые времена, т. е. я буду с вами вместе, непременно будем читать этот нескладный, но справедливый и пространный журнал. Хорошо, если тогда он заставит нас посмеяться.

Напишите мне, пожалуйста, что делают цветы, которые мы с Пашей садили возле балкона; они, верно, не принялись и теперь, может быть, совсем завяли, да я и не знаю ведь, какого они роду, верно резеда. Я уверена, что настоящий хозяин имеет о них попечение, и если они живы, не позволит завянуть р е з е д е.

Как ненавистны мне люди ограниченного ума и при этом еще самонадеянные, а ведь это счастливейшие люди на свете, потому что они воображают, будто стоят гораздо больше, нежели стоят на самом деле. Мой драгоценный супруг, например, вбил себе в голову, будто все заняты его особой и будто он невесть какое важное лицо для России и для армии. Вот теперь он совершенно уверен, что Ротт будет ходатайствовать перед императором, чтобы ему дали 15-ю дивизию, и он уже заранее ломает себе голову, как он будет выходить из затруднений, кои это за собой повлечет. А я голову готова дать на отсечение, что этого никогда не случится, но если бы случилось, несчастнее меня не было бы на свете, несмотря на то что я имела бы тогда счастье вас видеть и быть подле вас. Но мне пришлось бы тогда страдать не только за себя, но и за всех вас от неприятностей, кои он без конца стал бы учинять; не говоря о том, что при муже у меня совсем другое расположение духа, ибо приходится всякое слово взвешивать, на каждом шагу остерегаться; да и как можно быть веселой и любезной, когда каждую минуту видишь перед собой виновника всех своих несчастий? Для всех, кто знал меня прежде, перемена была бы столь разительна, что это причинило бы вред моей репутации, и, вероятно, я стала бы предметом язвительных насмешек Ротта и *Юшкова;* уж они бы тогда меня не пощадили, а это огорчило бы и вас, и моих родителей не меньше, чем меня. Но этого не будет, это вернее верного. Ротт не станет обращаться с этим к императору, а его величество (между нами говоря), пока нет войны, не будет торопиться исполнить обещание, данное знаменитому г-ну Керну.

Посылаю вам, мой ангел, ту песенку, которую я вам часто пела; слова очень хорошенькие, и вам, верно, будет приятно ее иметь.

10 часов, после ужина

Сейчас у меня был спор с уважаемым племянничком, и я решила с сегодняшнего дня больше ничего никогда ему не говорить, кроме «здравствуйте» и «прощайте», потому что заговори я с ним хоть о погоде, он все равно станет мне возражать, а я устала спорить

с дураком; ему охота шутить, а он даже понятия не имеет, что такое приличная шутка. Нынче вечером, за столом, он говорил такой вздор, что будь при этом кто-нибудь здравомыслящий, он бы только руками развел при виде разумного человека в одной компании с этими дураками.

Нечего сказать, тяжелая жизнь моя со всех сторон. Хотя бы от одного избавиться, а то двоих уж слишком много для слабого моего здоровья.

Не могу равнодушно видеть дурака, который мечтает о себе, что он 8-е чудо света, и кричит поминутно обо всем свое мнение, наотрез говорит и считает всех глупее себя.

Что может быть путного от молодого человека 18-ти лет; не имея ни скромности, ни ума, ни познаний, ни учтивости, ни любезности, нимало не сумневается во всех этих достоинствах до крайней степени.

№ 32

14-го августа, вечером,
в половине 11-го, после ужина

Спокойной ночи, мой ангел. Начинаю этот номер только для того, чтобы пожелать вам приятного сна и всех тех благ жизни, которых недостает вашей Анете, а именно здоровья, счастия и спокойствия. Пусть всегда будут они уделом моего дорогого и единственного друга, а мне пусть останется хоть утешение, что я могу быть спокойна за него. Прощайте, мой ангел, до свидания.

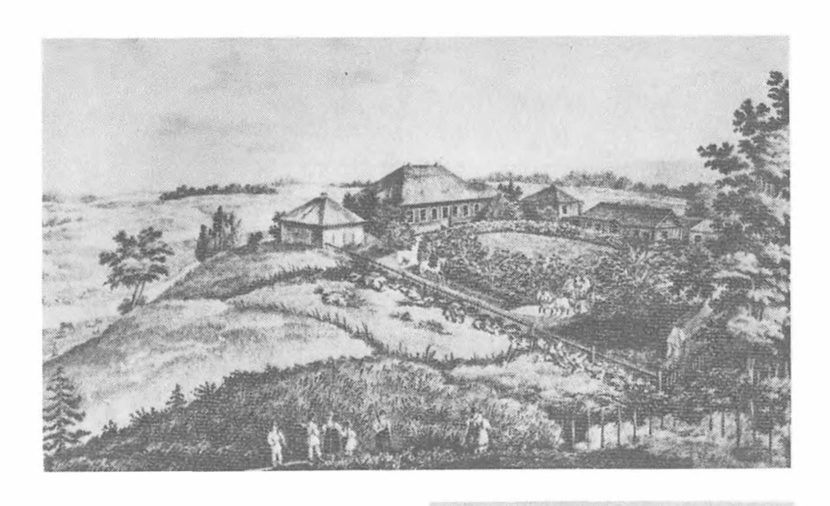
Я завтра буду у обедни в с о б о р е. Приезжайте тоже туда. Завтра большой праздник, авось и для меня будет праздник, то есть если я что-нибудь узнаю при посредстве Кира И. Прощайте, мое блаженство. Спокойной ночи, счастливых сновидений. До свидания.

15-го, в половине 5-го

Я сегодня была у праздника, у обедни, видела там Кира И., который мне сообщил, что вчерашняя почта была для него так же счастлива, как и для меня. Жду его теперь с величайшим нетерпением: хоть я и знаю уже, что отдельно для меня там ничего нет, но уверена, что есть что-нибудь обо мне, а это все-таки какое-то утеше-

А. П. Керн
Миниатюра. 1820-е—1830-е гг.

А. С. Пушкин
Автопортрет. Около 1820 г.
Петербург. Гостиная в доме Олениных
Акварель неизвестного художника. 1820-е гг.



Михайловское

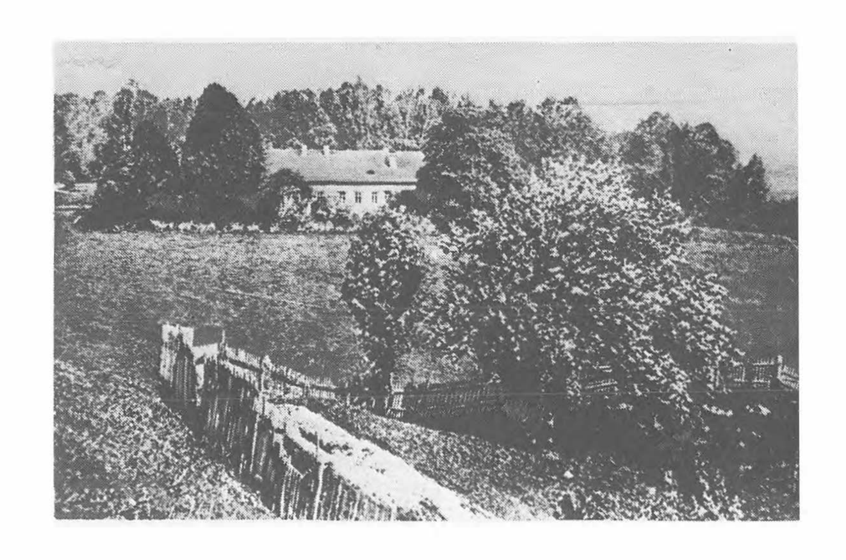
Литография по рисунку И. Иванова. 1838 г.

А. П. Керн

Силуэт. 1820-е гг.

Письмо Пушкина А. П. Керн из Михайловского 25 июля 1825 г.

Автограф 2-й страницы



Тригорское
Фотография. Конец XIX в.
А. Н. и Е. Н. Вульф
Силуэты. 1820-е гг.

А. Н. Вульф
Акварель Григорьева. 1828 г.
А. А. Дельвиг
Литография по рисунку В. Лангера. 1830 г.
Петербург. Площадь у церкви Владимирской богоматери
Литография Ф. Перро. Конец 1830-х гг.

Н. О. Пушкина

Миниатюра работы К. де Местра. 1810-е гг.

С. Л. Пушкин

Портрет работы неизвестного художника. 1820-е гг.

О. С. Пушкина

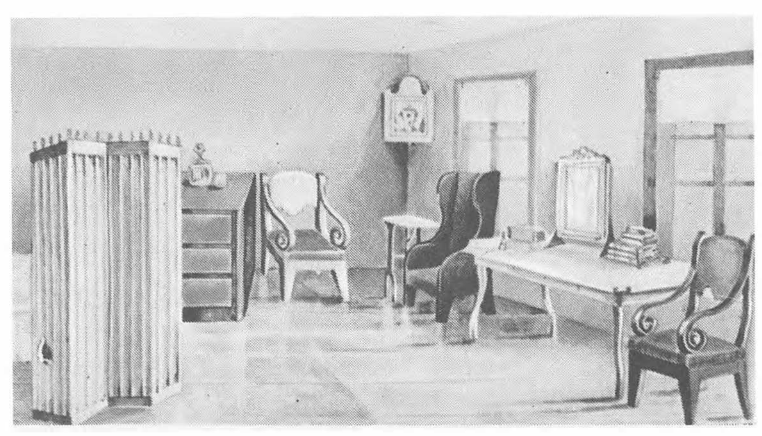
Рисунок неизвестного художника. 1833 г.

Л. С. Пушкин

Рисунок А. Орловского. 1820-е гг.

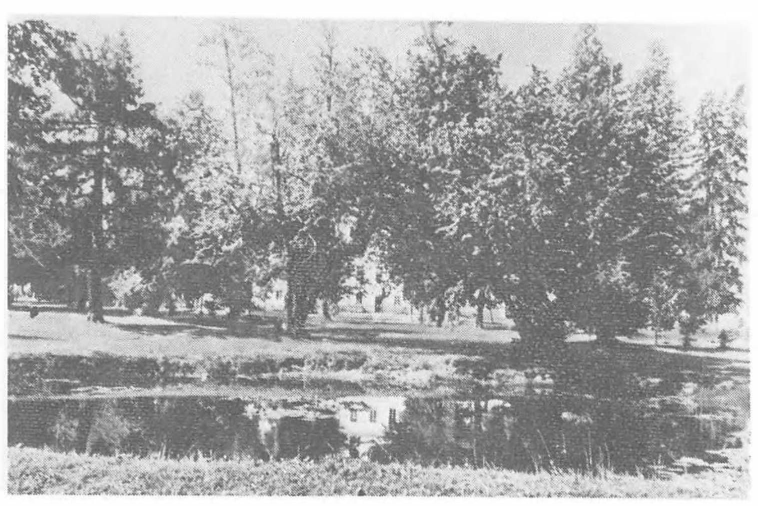
А. С. Пушкин
Гравюра Н. Уткина. 1827 г.

М. И. Глинка
Литография с портрета работы М. Теребенева. 1824 г.
А. Мицкевич
Гравюра. 1828 г.
Д. В. Веневитинов
Литография с портрета работы А. Лагрена. 1826 г.



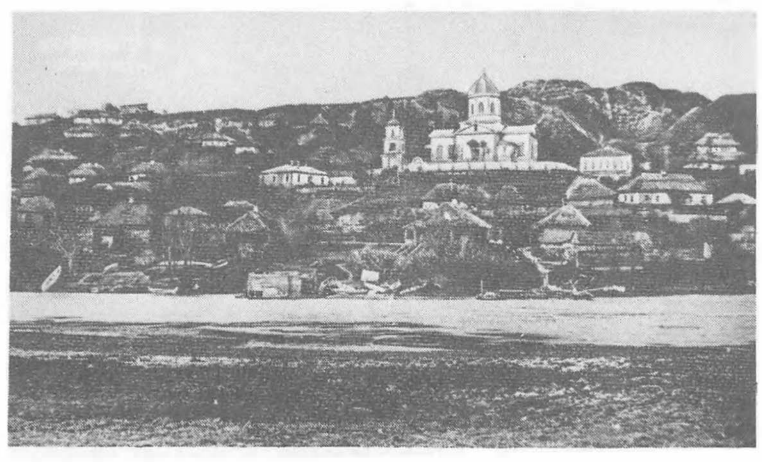
Предполагаемый портрет А. П. Керн работы И. Багоева
1840 г.

Комната в квартире А. П. Керн в Петербурге
Рисунок неизвестного художника. 1830-е гг.

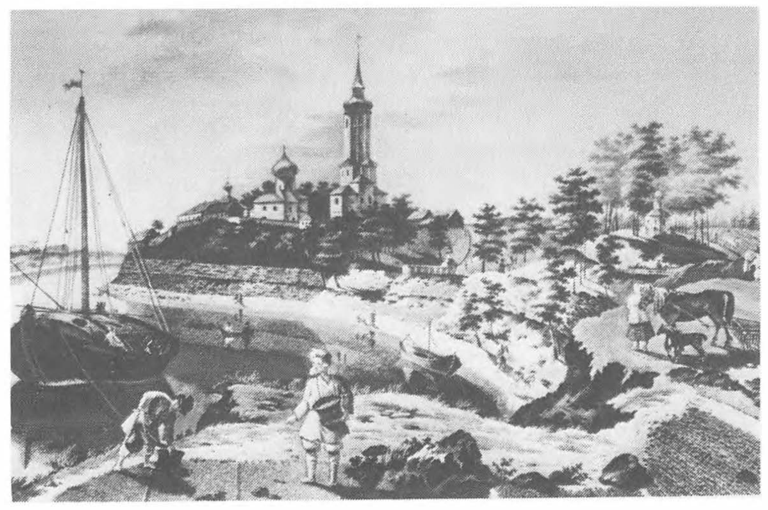


И. П. Вульф
Литография с рисунка О. Кипренского. 1811 г.

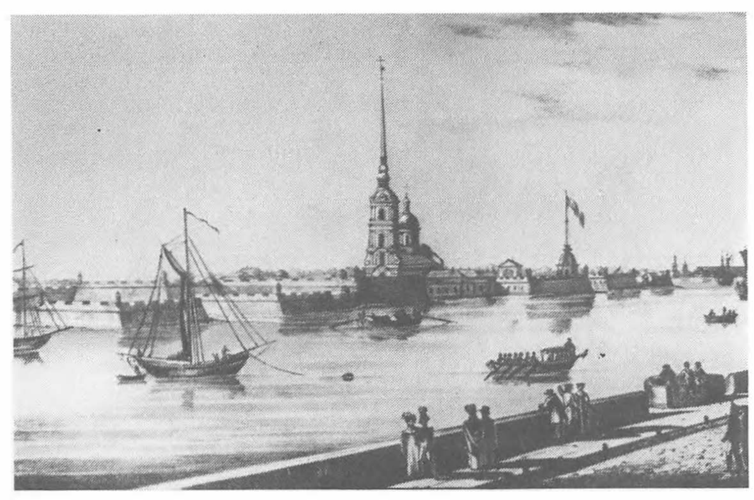
Берново, имение Вульфов
Фотография



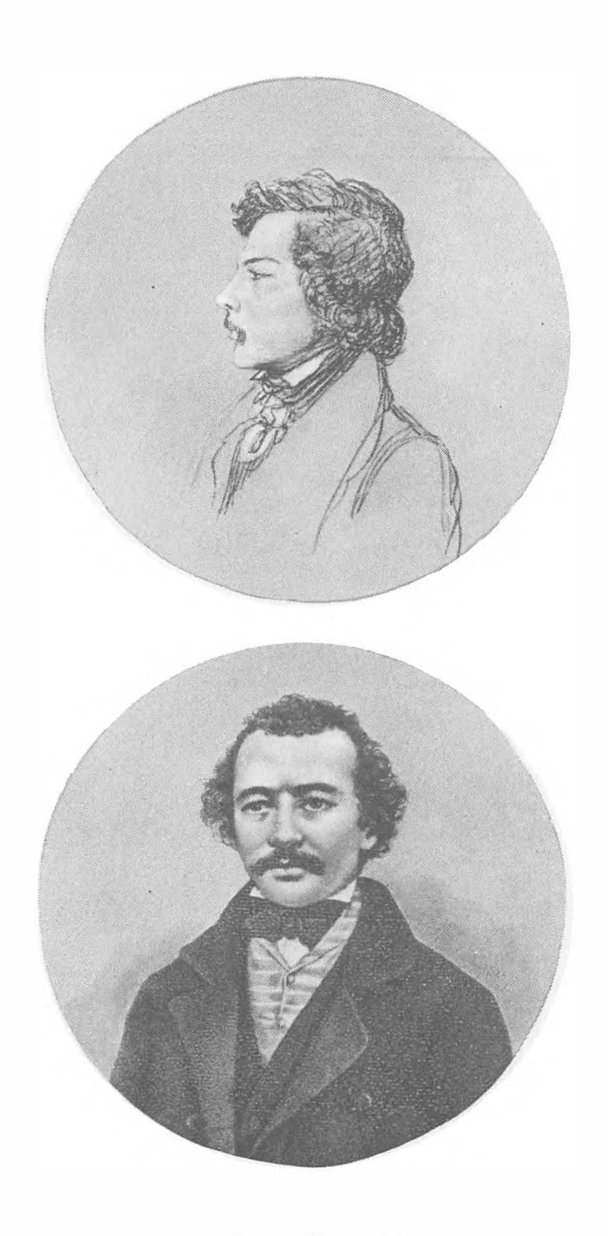
Е. Ф. Керн
Литография с портрета работы Д. Доу. 1820-е гг.
Лубны
Фотография. Конец XIX в.



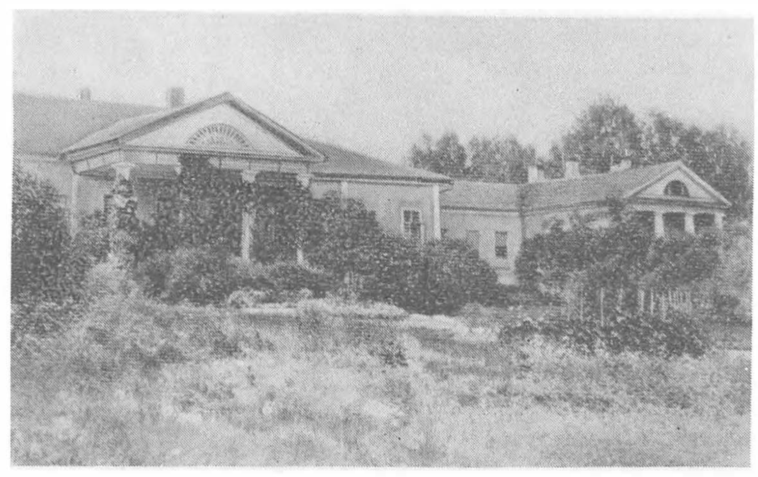
Псков
Литография по рисунку И. Иванова. 1838 г.
Снетогорский монастырь
Литография по рисунку И. Иванова. 1838 г.



А. В. Марков-Виноградский
Фотография. 1860-е гг.
Петербург. Вид с Дворцовой набережной на Петербургскую сторону
Литография. 1820-е гг.



А. А. Бакунин
Рисунок Э. Дмитриева-Мамонова. Конец 1840-х гг.
М. А. Бакунин
Литография. 1840-е гг.



П. В. Анненков
Фотография. 1856 г.

Премухино, имение Бакуниных
Фотография. Конец XIX в.

А. И. Дельвиг
Фотография. 1860-е гг.

ние. Боже мой, как мало мне иной раз нужно, чтобы почувствовать радость.

Я сегодня слышала довольно хорошую проповедь, где он говорил, что смерть есть лучший советник в благополучии и самый сладкий утешитель в несчастии. Это справедливо, хотя я о последнем могу только судить.

Представьте себе, что мой любезный супруг непременно желает, чтобы я поехала на бал к Магденке, хотя я и сама почти что больна, и дочка еще очень слаба, и ее нельзя везти с собой; так он предлагает оставить ее дома, на попечении двух служанок. Не правда ли, прекрасный план? Уже по одному этому можно судить, что даже дочку свою он не любит, потому что готов рисковать ее жизнью только затем, чтобы не стали говорить, будто он не хочет меня пускать на этот бал.

Я сделаю все возможное, чтобы остаться, но не знаю, что мне делать, если он воспользуется своей властью и велит мне ехать. Зачем вас нету здесь со мною, вы дали бы мне совет. Я не знаю, куда голову приклонить. А теперь советы ваши придут уже слишком поздно. Почему ему не поехать одному? Не так глуп Магденко, чтобы обижаться на то, что ради его бала я не бросаю больного ребенка.

Сегодня я обедала одна, вернее, хуже, чем одна,— с этим идиотом племянником и нашим адъютантом, о котором, если вы хотите его знать, может порассказать вам г-жа (неразб.).

Теперь жду *Кира И.*, которого, ежели хотите, будем называть Желтой Настурцией.

Действительно, праздник я провела довольно приятно. Впрочем, все дни проходят у меня приятно и однообразно — один похож на другой.

После вчерашнего, когда дорогому племяннику вздумалось наговорить мне столько глупостей, а его дядюшка на это и слова не сказал, будто его тут и не было, я совершенно откровенно на него дуюсь, и с ним не разговариваю. Можно иметь дело с теми, кто понимает приличия, а раз мой дорогой супруг может равнодушно слушать, как мне говорят глупости, мне самой надобно защищаться. После того как ему не удалось уверить меня, что он в меня влюблен, он перечит мне

на каждом слове, да так дерзко и неучтиво, что этого невозможно вынести. Я уверена, что ни к какому другому племяннику муж не стал бы проявлять столько снисходительности, но этот делает из него (и желал бы сделать и из меня) все, что ему вздумается. Дом наш превратился в какой-то кабак: свечи никогда не гасятся, ни ночью, ни днем, чтобы было от чего прикуривать трубки; словом, я здесь будто гостья, а он, если судить по его заносчивому тону, тут всему хозяин. Всего несколько дней, как он перестал давать советы, потому что увидел, что я им не следую.

Я уже потеряла терпение, ожидая Желтую Настурцию, и если он не придет до того, как вернется..., я не смогу узнать о письме, которое он получил, и стану мучиться этой неизвестностью: ведь после ваших писем это большая моя отрада. И как он ни скромен и как ни владеет собой, я понимаю всякое его слово и весь интерес, который он ко мне проявляет. О, если другой удастся понравиться ему, тогда для меня все кончено: я на всю жизнь отказываюсь от любви.

Половина девятого

Он приходил и передал мне его. Я поехала в карете, нарочно, чтобы свободно его прочитать. За мной следят, так что я шагу не могу ступить, чтобы не вызвать самых оскорбительных подозрений! Право, нет больше моего терпения. Вот уже несколько дней, как он обращается со мной грубо, словно с горничной: курит себе трубку с утра до вечера, обнимается со своим племянничком, а со мной разговаривает с высоты своего величия.

Я отказываюсь от всех благ на свете, дайте мне уединенный угол только, чтоб я об нем не слышала и не видела! Своим поведением он доведет меня до крайности. Можете сказать об этом даже папеньке, я согласна. Я так несчастна, не могу больше выдержать. После того как в мои годы я от всего отказалась ради своей репутации (уж конечно, не ради него), обращаться со мною подобным образом,— я этого не заслуживаю. Господь, видно, не благословил нашего союза и, конечно, не пожелает моей гибели, а ведь при такой жизни, как моя, я непременно погибну. Как это можно — не дать ни

одной счастливой минутки, доставлять одни только огорчения той, которая ради его спокойствия (во всяком случае, он-то должен так думать) сидит запершись в четырех стенах. И о таком человеке говорят: «Это очень порядочный человек, *очень хороший человек!*» Так уж ведется на свете! Достойный остается в тени, невежда торжествует. Кто придет мне на помощь, мне, всеми покинутой? Дитя мое не может меня утешить, и я в отчаянии, что оно постоянно видит меня с глазами, полными слез.

Вот по какой причине он так настаивал, чтобы я ехала к Магденке: он вообразил, будто мне весьма удобно будет остаться одной, когда он уедет. К кому же теперь он ревнует меня? Кому оказывает эту честь? Ведь я ни одной живой души не вижу. Не иначе как к Желтой Настурции,— о, несчастный! В этом он может быть спокоен. Я слишком самолюбива и чувствительна, чтобы могла когда-нибудь полюбить своего почтенного супруга, но я слишком уважаю себя, чтобы унизиться до интрижки.

№ 33 *В половине 10-го, 15-го числа*

На этот раз вы, верно, испугаетесь величины пакета, семь полных нумеров; но не утешительных. Что же делать, мой бесценный ангел; я этому не виновата вовсе. Я была бы очень счастлива иметь что-нибудь хорошенькое вам сказать, но увы! Надобно было бы лгать, а я не умею.

У меня к вам еще одна просьба. Утешьте моего любезного друга: он очень расстроен, пишет, что не получил еще от Желтой Настурции ни одного письма, а посылает ему уже третье. Пишет об ярмарке, о красавицах, но прибавляет: *милых нет.* У него новая печатка: слова «дружба» и «любовь», а между ними две руки. Он умоляет, не называя моего имени, сообщить ему известия обо мне. Как мне жаль его! Ради бога, успокойте его, дайте ему прочитать несколько отрывков из моих писем, это доставит ему удовольствие. Он почти болен,— исцелите его, мой ангел. Это будет милосердным делом во имя человечества. Возвратите, если это возможно, спокойствие прекрасной этой душе. В этом не будет ничего предосудительного, и это будет благодеяние, достойное вашего сердца.

Я только что взглянула на себя в зеркало и — поверите ли — почти испугалась, так скверно я выгляжу. Какая разница с тем, какой я была у вас! Мой румянец, моя свежесть, здоровый, счастливый вид — все исчезло. Побледневшие щеки, круги под глазами, постоянно полными слез, слишком ясно свидетельствуют о состоянии души моей. Горячая молитва да вы, коей я поверяю свои страдания, — вот единственное утешение, оставшееся мне на сей земле. И еще бываю счастлива, когда меня оставляют в покое в моем углу.

Забыла вам сказать, попросите папеньку, бога ради, чтобы он не заботился с обещанной нам каретой, можно ли с его расстроенным состоянием дарить такую дорогую вещь. Он же одну мне подарил, я, право, довольна. Продажею такой кареты он может заплатить кой-какие долги, и это мне тысячу раз будет приятнее новой модной кареты. Ежели бы этим подарком он мог сделать меня счастливою, то я бы от него не отказалась. Но вы знаете, мой ангел, может ли какая-нибудь карета меня утешить. Ежели бы и в самом деле такая вещь могла принесть мне удовольствие, я бы с радостью им пожертвовала спокойствию моих родителей, которое не может быть устроено с такою кучею долгов.

11 часов, после ужина

Нужно признаться, чудесный образ жизни я веду! В доме я словно пятое колесо у колесницы: меня уже не ждут с обедом, без меня садятся за стол; и хоть бы, по крайней мере, извинились, так нет, такие учтивости не про нас писаны. В самом деле, странная вещь получается. Втерся в дом, живет в нем хозяином, на всем готовом, и не только не стесняется и не считается с хозяйкой дома, но не оказывает ей даже простого уважения, словно ее и не существует. Только Керн способен на такую наглость! Просто в себя не могу прийти.

Прощайте, мой добрый ангел, спите спокойно, пусть никакие заботы не потревожат вас, мой добрый, мой ласковый друг. Впрочем, ящик Пандоры уже раскрылся над моей головой, так что все напасти, все горести и печали сыплются на меня, и я уже не боюсь, что они посмеют долететь до вас. Прощайте. Пусть божье благословение снизойдет на вас и отгонит от вас все,

что сколько-нибудь напоминает мои страдания. Обнимите за меня добрую и нежную мою маменьку и передайте Иммортелю, что я желаю ему счастия.

16-го, в 10 часов утра

Здравствуйте, мой ангел! Поздравьте меня: сегодняшней ночью счастливее меня не было во всей вселенной. Какой дивный сон! *Все силы небесные, соединясь, чтобы меня осчастливить, не могли бы так успеть. Ах, мой ангел, разделите мое восхищение. Какой божественный сон! Но вы еще ничего не знаете, а слушаете только бестолковые восклицания мои.* Так знайте же, всю эту ночь мне снился он, то есть мой Иммортель! Я видела его нежным, заботливым, он всюду следовал за мной, словно тень моя! Я плавала в море блаженства и удела своего не променяла бы ни на какое царство. Никогда еще я не видела сна, который бы столь похож был на явь. Обычно все сновидения мелькают, словно тени, сегодня же напротив: я явственно слышала его голос, я держала руку его в своей. О, сладостный мираж! Одного этого было бы достаточно, чтобы разум мой помутился, но нет, я все ясно понимала (и это тоже был сон). Видела я, будто просыпаюсь на своей постели, а подле постели стоит он, скрестив на груди руки, и смотрит на меня; лицо его огненными чертами запечатлелось в душе моей: он бледен и худ, он долго говорил со мной, *взял мою руку, крепко прижал, поцеловал и скрылся тихими шагами; тогда я совершенно проснулась и благодарила творца моего за такой сон. Чувствуете ли вы мой восторг? Ах, мой ангел, в жизни моей не видала такого явственного сна! Ежели б`это была истина! Но я не достойна такого благополучия. Это мечта, посланная небом для утешения в моих горестях.* Я думаю, если бы он об этом узнал, ему было бы приятно. О, боже мой, как я его люблю! Простите меня, мой ангел, я пишу глупости; но если бы вы только знали, как много во мне жасмина. Только сегодня я почувствовала, как его люблю. Еще раз простите меня, мой нежный друг, пожалейте меня. *Прощайте, моя родная, Христос с вами, поцелуйте за меня папеньку, скажите ему, что я очень его люблю. Пора оставить перо, этого вам, верно, будет на месяц читать. Еще раз прошу вас попросить папеньку, чтоб он не беспокоился дарить мне карету, это ни на что*

не похоже с его расстроенным состоянием, да скажите моей доброй маменьке, чтоб она не огорчала меня Анной Петровной. Я уж и без того достаточно несчастна. Прощайте, мой ангел. Целую вас 156 589 655 676 раз, а люблю в тысячу раз больше, нежели это можно выразить на всех языках мира.

Прощайте. Посылаю вам романс. Быть может, вам он понравится. Завтра крестины и бал. Лаптев будет крестить со мною. Прощайте еще раз. Я уже не прошу вас, чтобы вы всегда любили меня, прошу лишь быть ко мне снисходительной.

Сделайте милость, вышейте мне крестнику шапочку, нетрудную, хорошенькую; пожалуйста, мой ангел, полегче узор.

№ 34 *Псков. 1820. 16-го августа, в половине 6-го*

Сейчас была у меня гостья пренесносная, сидела очень долго и рассказывала прескучную историю, в которую она несчастливо замешана с католическим ксендзом, насчет неблагочиния, сделанного в церкви; натурально, что она себя оправдывала; не меньше того меня удивило, что она нимало не кажется этим огорчена и шутит, что ее имя будет известно государю.

Я ее проводила и хочу рассеять мысли, немного прокатиться, голова болит; сегодня рассталась с журналом, который теперь на дороге к вам, и я как будто опять осталась сиротою, до субботы и до будущего понедельника, потому что минута отправки оного мне почти столько же приносит удовольствия, сколько получение ваших строк; я воображаю удовольствие, которое он вам принесет, и это меня утешает.

Сегодня мне пришлось довольно изрядно поспорить с моим почтенным супругом по поводу его высокочтимого племянника. Так как у них один и тот же характер, дядюшка просто души не чает в этом прелестном дитяти, и, по его мнению, во всем виновата я. Но тут я сказала ему, что не желаю быть пустым местом в его доме, что ежели он позволяет своему племяннику ни во что меня не ставить, так я не желаю тут долее оставаться и найду себе убежище у своих родителей. Он мне ответил, что его этим не испугаешь и что, ежели мне угодно, я могу уезжать, куда хочу. Но мои слова все же подействовали, и он сделался очень смирен и ласков. Тем не менее я решила, что останусь

у своего отца в первый же раз, как к нему поеду. Постараюсь сделать это так, чтобы папенька не догадался, не хочу его огорчать, но ежели он спросит, я ничего скрывать от него не стану, и тогда, надеюсь, все будет кончено. Что мне щадить его после того, как все вокруг ему милее, чем я, даже кучер и его противная жена? Никому не убедить меня, что он меня любит, никому на свете. Я знаю, как ведут себя, когда любят.

10 часов вечера, после ужина

Мой драгоценный супруг еще раз говорил со мной о своем племяннике. А я перво-наперво доказала ему, что виновата не я, а он, потом сказала, что, уже конечно, не я сделаю первый шаг. Тот ко мне не подходит, не желает мне ни доброго утра, ни спокойной ночи, так что, полагаю, это я должна быть на него в обиде, и клянусь, что и шага не сделаю к примирению. Вы довольно меня знаете, чтобы судить, люблю ли я ссориться и злое ли у меня сердце. Могу сказать, не хвалясь, что нет человека, с коим я не могла бы ужиться. Ежели кто характером со мной не схож, по мне лучше относиться друг к другу с полным равнодушием. Вот и тут так же. Так ведь нет, этому господину хотелось во что бы то ни стало сделаться моим другом, чтобы во всем меня наставлять, а в дружестве приказывать нельзя. Душа у меня нежная, но я разборчива даже в выборе друзей, а из опыта я знаю, как опасно дарить свое доверие каждому. Человеку бездушному я никогда не доверюсь. Вот потому-то этот господин, разозленный моею холодностью, и решил все говорить мне наперекор и на каждом шагу чинить мне тысячу неприятностей.

Но довольно о сем неприятном предмете, поговорим о другом. Сон мой не выходит у меня из головы, *воспоминание производит содрогание, и слезы навертываются на глазах. Прелестная мечта, что ежели сновидение произвело такое влияние на чувства мои, что бы сделала сущность? О, я думаю, я не пережила б такого блаженства.*

Зачем нет у меня такого дара слова, чтобы я могла передать вам все, что я испытываю? Мой язык слишком беден, перо мое отказывается это выразить. И я замечаю, что двадцать раз принимаюсь писать одно и то

же, все боюсь, что вы недостаточно поймете. Зачем я не с вами? Я перелила бы в ваше сердце все чувства, что волнуют мое.

Покойной ночи, мой ангел. Желаю вам, чтобы сны ваши доставляли вам половину того наслаждения, какое сегодняшний мой сон принес мне. Конечно, нынешнюю ночь я уже не испытаю такого счастья, как в прошедшую. Ежели это случится, то боюсь...

Да хранит бог вас, и меня тоже.

Августа 17-го утром в половине девятого

Добрый день, вот вам новость: мой драгоценный супруг назначен дивизионным командиром 2-й дивизии. Бог знает, где эта дивизия, как узнаю, сообщу вам. Я не очень этому радуюсь, потому что для меня всюду будет одно и то же. Что меня огорчает, так это то, что уж тогда мне нельзя будет читать прекрасные письма Иммортеля к Желтой Настурции. А вы так мало сообщаете мне о моем Иммортеле. Хоть он очень сдержан и никогда не называет моего имени, но я знаю, кто у него в мыслях, и это уже утешение. Я и сегодня видела его во сне и... но это был только сон в сравнении с тем; тот был совсем похож на явь. *Это незабвенный сон!*

№ 35 *17 августа, в 9 часов утра*

Приказ этот дан его величеством в Воронеже. Сейчас мне сказали, что дивизия эта стоит под Могилевом; это совсем неподалеку от вас, но, не знаю почему, это меня не радует. Я стараюсь понять почему же. Я бы радовалась, если бы беременность не делала мне жизнь невыносимой. Ведь если бы не это, я тотчас же приехала к вам; теперь же, если я приеду, для вас это будет не удовольствием, а мучением.

Может быть, я окажусь совсем близко от доброй *Дарьи Петровны*[26], и это уже будет мне утешением. Напишите, какое впечатление произведет на вас эта новость. Покидаю вас, чтобы немного приготовить к вечеру свой туалет, потому что как раз сегодня я буду крестить, а после будет танцевальный вечер. *На мне будет синее платье такой волнистой материи,* называется муаровая, *отделка простая из такого же атласа; на голове ни-*

чего, а на шее цепочка и часы. С тех пор как у меня на кресте висит драгоценный талисман, я выдумала, когда для бала мне должно бы скинуть с шеи шнурок, то чтоб с ним ни на минуту не расставаться, я просто его кладу за платье, а возвращаясь, опять надеваю.

Я сейчас перечитала последнее письмо Иммортеля к Желтой Настурции. Как я жалею его, что нет у него никакого утешения. Он пишет: *я сердит без сердца.* А это сердце принадлежит мне! Как я счастлива! И как достойна жалости. Но вот доказательство, что принципы у меня хорошие: я чувствую, что истинно счастливой была бы, только если бы могла любить его законно, иначе даже счастье быть с ним было бы для меня счастьем лишь наполовину.

В половине двенадцатого

Все являлись поздравить моего дорогого супруга, и он сейчас мне сказал, что в дивизию мы поедем к 1 сентября, а оттуда он отправится в Петербург. А я, если вы мне позволите, приеду к вам.

За богом молитва не пропадет, а за царем — служба. Я думала, что со мной ничего уже счастливого случиться не может, и потому сначала эта весть не принесла мне ни малейшего удовольствия; а теперь, обдумавши, вижу, что в сентябре я смогу вас обнять, и эта мысль приводит меня в трепет от восхищения: рука дрожит, насилу пишу; скажу теперь, как Сен-Пре[27]*: «Боже, ты дал мне силы перенести величайшие горести, дай теперь столько, чтобы вынести величайшее блаженство!» Итак, я вас увижу опять, вот толкование чудесного сна. Как бог милостив до меня, грешной, он услышал мои стенания, внял жарчайшим пламенным молитвам моим и, конечно, продлит дни мои до счастливой минуты нашего соединения.*

Оставляю перо, слишком расстроена, не могу писать, поеду немножко прокатиться. Сердце бьется сильно, очень сильно. Боже всемогущий, благодарю тебя, стократ благодарю.

В час пополудни

Сейчас ездила кататься, думала зайти в церковь и там благодарить бога, но все заперты, и я возвратилась. Была у меня Желтая Настурция. Он хороший человек, и мне

его жалко: он так несчастлив. Я всегда буду помнить об его услугах. К нему дурно относится Лаптев, а мой драгоценный супруг не умеет быть благодарным; и потом — разве к лицу генералу испытывать благодарность к своему подчиненному, бедному офицеру. Мне так жаль этого бедняжку. Сегодня он мне признавался, что ему почти жить не на что. *Душевно бы желала ему помочь, да не знаю как.* Если бы мой драгоценный супруг больше бы считался с моим мнением, я просила бы у него взять его с собой адъютантом, но он, конечно, никогда этого не сделает. Я думаю, он скорей не расстанется со своим, хоть это и тупица, но зато приятель его возлюбленного племянника.

В три часа пополудни

Квартировать мы будем в *Старом Быхове.* Кажется, это в настоящее время местопребывание тетушки Дарьи Петровны, и, может быть, приехав туда, я увижу ее вновь здоровой и уже готовой ехать в Лубны. Очень буду рада ехать вместе с нею и доставить вам двойное удовольствие.

18-го, в 11 часов утра

Вчера были крестины. Потом были танцы. К вечеру пришло письмо от Магденки, в котором он настоятельно просит меня приехать к нему на бал. Уже решено было, что я не поеду. Губернаторша страшно удивилась, когда я ей сказала, что не я это решаю. Она сказала, что брачный союз должен зиждиться на дружбе, а не на подчинении. Я это тоже превосходно знаю, только, к несчастью, у меня все обстоит иначе. После ужина она говорила обо мне с моим драгоценным супругом, который почел нужным выказать весь свой прелестный характер, сказавши, что будет так, как хочет он. В карете он принялся орать как зарезанный, что, мол, никто на свете не убедит его, что я остаюсь ради ребенка; он-де знает настоящую причину, и ежели я не поеду, то он тоже останется. Я не хотела унижаться и не оправдывалась. Ежели после всего, что я сделала, он так дурно обо мне думает и со мной обращается, как с крепостной, мне невозможно далее оста-

ваться с ним, не желаю я, чтобы обо мне говорили, будто я бросила больного ребенка и помчалась на бал. Достаточно и без того он позорит меня своей очаровательной манерой себя вести, я гораздо меньше буду рисковать своей репутацией, ежели стану жить отдельно. В самом деле, с тех пор как здесь этот племянник, я просто мученица. И еще он сказал мне вчера в карете, что если я хочу, то могу уезжать, ему это совершенно безразлично.

Во имя самого неба, прошу вас теперь, поговорите с папенькой; я в точности выполняла все папенькины советы насчет его ревности, но скажите ему, пусть не думает, будто его можно переубедить. Только *Ершов,* или *Петр Мартынович,* или его любезный племянничек еще могут похвалиться, что он их слушает благосклонно, да еще *Аннушка* — только они еще могут притязать на близкие с ним отношения. Ежели родной отец не заступится за меня, у кого же искать мне тогда защиты? Ради бога, вступитесь за меня перед ним. Строки эти я обливаю слезами. Доколе буду я их лить?

Уже полдень, а я все еще его не видела.

№ 36 *18-го числа в полдень*

Сейчас принесли мне холстинку и шерсть, которую я выписывала из Дерпта для вас, жаль мне очень, мой ангел, что холстинка не такого цвету, как вы желали, но она очень тонка и хороша, другого цвета не нашли; я постараюсь еще выписать и ту сама привезу, шерсть тоже посылаю, но она не очень хороша. Посылаю Лизе на именины модный платочек, который прошу вас ей вручить от меня душевно, чтобы понравился.

У меня большое желание самой написать папеньке и просить его защитить меня, только не знаю, одобрите ли вы это. Впрочем, можете показать ему в моем дневнике те места, какие сочтете подходящими. Поверьте мне, не могу дольше терпеть. Простой солдат и то более уважительно относился бы к своей жене. Он должен был бы иметь ко мне жалость хотя бы из-за моей несчастной беременности, но ведь это бездушное существо, у него каменное сердце.

Сейчас они там обедают, а я осталась с вами, чтобы излить вам свои горести. Нет, мне решительно невоз-

можно переносить далее подобную жизнь, жребий брошен. Да и в таком жалком состоянии, всю жизнь утопая в слезах, я и своему ребенку никакой пользы принести не могу. Я все выносила, пока мне приходилось терпеть только от него, но теперь это уже чересчур. Я прекрасно вижу, откуда все это идет. Вы представьте себе, он посмел сказать моей горничной, что будь у него такая жена, он бы бил ее палкой и сослал в монастырь. И еще он ей сказал, что я-то, конечно, отправлюсь к своим родителям, но Катенька останется. Понимаете всю эту дерзость и наглость? Он ведь знает, что эти слова будут мне переданы. И я вынуждена это выносить, и все это будет дозволяться ему и впредь.

Теперь умоляю вас, расскажите обо всем папеньке и умолите его сжалиться надо мной во имя неба, во имя всего, что ему дорого. Маменьке об этом говорить не нужно; и так она слишком рано про то узнает.

Ради бога, не очень огорчайтесь, мой ангел; если это повредит вашему драгоценному здоровью, я буду самым несчастным человеком на свете.

В 6 часов вечера

Не стану ждать до понедельника, а пошлю вам этот дневник послезавтра, то есть в пятницу. Представьте себе ужасное мое положение: все это время я пролежала, даже пошевелиться не могла от слабости и расстройства, не обедала, все только плакала, а он со мной даже словечка не сказал, никакого не выразил беспокойства, и ведь нет у него иной причины сердиться, кроме той, что мне тошно ехать на этот бал. Можете вы вообразить себе мои страдания, мой ангел? Вы ведь знаете мое сердце, оно не выносит одиночества, а этакое положение еще в тысячу раз тяжелее, клянусь вам.

Вчера губернаторша рассказывала мне об одной из своих сестер, как та была помолвлена, но она за нее жениху отказала. Она так сказала: «Когда я увидела, что она сделалась с ним очень холодна и что он до чрезвычайности ревнив, я, не говоря ни слова ни отцу, ни мужу своему, ни ей самой, взяла да и отказала ему, потому что поняла, что она с ним счастливой быть не сможет». А я про себя подумала: «Зачем не было у меня такой вот доброй сестры, которая предотвратила бы

вечное мое несчастье?» Много было людей, которым угодно было устроить этот брак, но не нашлось ни одной души, которая не допустила бы его, а именно это должно было сделать, видя мое к нему отвращение.

Но довольно об этом. Мне совершенно ясно, что далее так продолжаться не может, не то вам скоро придется услышать что-нибудь ужасное. А этот племянник — боже мой, я голоса его не могу слышать без содрогания. О, если бы папенька мог сейчас видеть, как я страдаю, он пришел бы мне на помощь, я в этом уверена. *Его сердце облилось бы кровью, видя мои страдания. Федор И.* — пустяки в сравнении с ним. Когда человек холоден, потому что таков его характер, это еще можно перенести, но когда холодность происходит от злобы, от презрения к тебе и сопровождается самыми оскорбительными подозрениями! Это убийственно! Его поведение сделало его для меня столь отвратительным, что я рада была бы бежать, куда угодно, только бы ничего не слышать о нем, он мне стал невыносим. Вот сейчас он приходил, целый час плевался у меня в комнате и ушел, не сказав ни единого слова.

Нет, не могу я больше его выносить. Этот человек посмел мне нынче сказать, будто я назначаю свидания в церквях, а он, мол, так деликатен и великодушен, что никому не позволяет худо обо мне говорить. Люди, которые знают его характер, нарочно, чтобы его позлить, говорят ему обо мне гадости, а он их слушает. Ради бога, ежели хотите увидеть меня еще живой, скорей пришлите мне позволение приехать к вам!

Они там сейчас ужинают, а я вот уже целый день как ничего не ела. Но я не голодна — слезами насытилась. Представьте себе, этот дорогой племянничек говорит, что-де дядюшка его до женитьбы был прекрасным человеком и что мне следовало бы о нем заботиться, ведь он-то все время заботится обо мне. Я спросила, что же он такое для меня делает, так племянник со свойственной ему глупостью ответил, что он-де покупает мне всякие вещи, а я их всем раздариваю. На это я ему сказала, что он сам не знает, о чем говорит, что не в этом состоит забота, и просила его не говорить больше о том, чего он не понимает. Слыханное

ли дело — мужу подсчитывать, какие вещи он купил жене! Эти люди никакого понятия не имеют о благородных поступках, о деликатности. Этот племянник лишь приблизил час нашего разрыва, давно уже неизбежного. В самом деле, невозможно это долее терпеть.

19-го утром

Здравствуйте, мой нежный друг, мой ангел-хранитель. Как вам спалось? В добром ли вы здравии? Вчера к вечеру я совсем расхворалась, но благодарение богу, теперь мне полегчало. Это было оттого, что я целый день ничего не ела.

На днях мы посылаем адъютанта в мою деревню за деньгами на дорогу. Прощайте, мой ангел, я устала, очень устала. Прощайте.

№ 37 *Августа 19-го, в 10 часов утра*

Я, право же, не знаю, что делать. Меня во что бы то ни стало хотят заставить ехать на этот бал, и мне не с кем посоветоваться. Между тем собственный разум говорит мне, что ежели я стану безропотно переносить подобные подозрения, тем самым я докажу, что я их заслуживаю. Это предел жестокости, со мной обращаются самым возмутительным образом и после этого хотят, чтобы я веселилась и появлялась на людях. Это неслыханно!

Я собираюсь ему заявить, что на этот раз исполню его желание и поеду, но после всех этих недостойных подозрений пусть и он исполнит мое и разрешит мне прямо отсюда отправиться в Лубны.

Прощайте, мой ангел, плачу и еду, но получила слово, что мне позволят ехать домой, хотя несколько времени отдохну, если нельзя будет надеяться на дальнее спокойствие. Прощайте, мой бесценный ангел, должна отставить перо; извините, что шерсти мало посылаю, сколько достала. Христос с вами, мои родные, помолитесь за меня, грешную, ваши праведные молитвы скорей дойдут к престолу всевышнего творца нашего.

В скором времени после получения сего вы, может быть, увидите вашу Анету в объятиях ваших. Примете ли вы меня по-прежнему? Мысль эта меня тревожит. Неужели может

меня постигнуть и это несчастие? Боже избави и сохрани, этого уже я не перенесу; но нет, вы знаете мое сердце, мои чувства вам известны, они достойны вашей привязанности и любви и вечно, вопреки всем бедам, пребудут одинаковы. Прощайте еще раз, до свидания, мой ангел-хранитель, покровитель и утешитель. Прощайте все, что для меня есть дороже в свете. Христос с вами! и со мной также. После получения сего письма уже во Псков не адресуйте ваши письма, а в Старый Быхов. Я и там недолго пробуду. Еще раз до свидания. Вечно ваша Анета.

№ 38

1820. Псков.
24-го августа, в 10 часов утра

Я хочу и дальше писать свой дневник — до тех пор, пока не буду подле вас и он уже будет не нужен. Нынче наш адъютант отправляется за деньгами к тетушке Анете. Он может быть обратно не ранее как через десять дней, а до тех пор мы не уедем. В этом промедлении виноват все тот же любезный племянник. Он собирается по пути заехать к г-же Тормасовой, но перед этим хотел еще быть на бале у Магденки. Малейшие его прихоти — закон, а мне, бедной, приходится запастись терпением.

Мой дорогой супруг посылает своей племяннице мои красивые часики, и хоть мне их и жалко, но я отдала их, даже не показав своего огорчения; не хочу, чтобы он думал, будто подобные вещи способны меня расстроить. Но такие поступки (неразб.).

Мне кажется, мой дорогой супруг намерен посадить себе на шею двух особ, нисколько не заботясь, приятно мне это или нет. Я думаю, вы еще помните, как он, будучи со мной помолвленным, лил слезы, вспоминая ту женщину. А мои родители, видя, что он даже в тот момент, когда женится на их дочери, не может позабыть свою любовницу, позволили этому совершиться, и я была принесена в жертву. Ведь могли же они видеть, что любовь его ко мне не столь уже велика, раз он оплакивает другую. Роковое ослепление!

Снова берусь за перо, дорогой мой друг. Как хотела бы быть уже подле вас, чтобы спрашивать ваших советов и откровенно разговаривать с вами.

Мы уже готовимся к отъезду, и это немного придает мне сил, потому что я уверена, что, после того как прибудут деньги, устройство всех дел займет не больше дня.

10 часов вечера

Только что был у меня Желтая Настурция. Он едет в Митаву, и я ему дала поручение привезти оттуда чулок, коими поделюсь с вами, мой ангел. Еще я написала одному посреднику насчет бонны для Катеньки — немки или англичанки.

Прощайте, нежный друг мой, доброй ночи, спите хорошо и, главное, спокойнее, чем ваша Анета.

25-го, в 11 часов утра

Здравствуйте, мой ангел, каково вам спалось? Я спала хорошо, насколько это для меня возможно. Считаю часы и минуты, которые мне осталось провести вдалеке от вас, радость моя единственная.

У меня до вас просьба, мой ангел. Велите приготовить для меня маленькую комнату, что рядом с вашей. Здесь я никого не обеспокою и буду чувствовать себя всего приятнее. Уже одно то, что вы днем и ночью будете рядом со мной, способно усладить печальное мое существование. Ежели боитесь, что там сыро, прикажите поставить железную печку — их ведь много у папеньки. Я уверена, что это не будет для него беспокойством.

Впрочем, весьма вероятно, что я приеду прежде, чем до вас дойдут эти строки. Для меня то было бы большим счастьем.

Только что ушли от нас гости — бывший мой обожатель, дивизионный адъютант, который в Риге женился. *Он старший адъютант.* Это человек неглупый, потому что, к счастью, я никогда не нравилась дуракам.

Хочу идти в лавки, чтоб купить чего-нибудь для дорожного капота, это меня утешает. Забыла вам сказать, что Магденко подарил меня прекрасным мылом, духами и перчатками. Так рад был меня видеть, что все на свете хотел отдать, выпросил у мужа позволение подарить мне шелковых чулок с узорами и будет нас провожать до Орши.

В 10 часов вечера

Я получила очень хорошие книги, французские — «Надгробные речи» Флешье[28] и «Новую Элоизу», а еще «Сентиментальное путешествие» Стерна[29], тоже по-французски. Хоть они у меня есть и по-русски, но снова их перечитываю. Я в восторге, что у меня есть «Новая Элоиза», там есть места в самом деле восхитительные, которые в русском переводе совершенно пропали. Некоторые из них перепишу для вас завтра, ежели буду чувствовать себя получше. А то сегодня мне весь день так было плохо, что я не могла этим заняться.

Итак, до завтра. Сегодня я поехала проводить мужа до дома одного купца, он ездил в его баню. Добрые купчихи, увидевши меня, стали меня умолять, чтобы я на минуточку зашла в дом; невозможно было отказать им. Я провела там целый час одна, чуть не умерла со скуки, потому что хозяйки только то и делали, что подавали и убирали всякую всячину и нельзя было отказаться; но я нисколько не раскаиваюсь, потому что это доставило мне случай заказать им *снетки* самого лучшего качества, чтобы отвезти маменьке. Я приказала их высушить, перебрать и посолить как можно чище. Мне так сладко заниматься чем-нибудь, что до вас относится.

Хочу еще написать к Каролине, чтобы она, если сможет, осенью приехала в Лубны со мной повидаться. Мне хочется приуготовить себе всякого рода удовольствия, чтобы хоть как-то вознаградить себя за горести, кои я испытала и не перестаю испытывать ежечасно. Что бы там ни говорили, но я по себе знаю, что чувствительное сердце никогда покоя не имеет и не так просто его удовольствовать. Вы это знаете, мой ангел, лучше, чем кто-нибудь другой, вы не раз мне за это выговаривали, между тем как я видела, что вы не можете со мной не соглашаться и в глубине души меня оправдываете.

Прощайте же. Как видите, моя привязанность к вам сильнее моей усталости, ибо я забываю о ней, когда к вам пишу, и не замечаю, как перо выпадает из моих рук и что надобно отдохнуть. Еще раз прощайте. Если бы мои предчувствия осуществились и мы в самом де-

ле могли бы вместе читать эти строки! Желаю вам спокойствия, прелестный друг мой. Ваша навечно Анета.

Да хранит его господь.

№ 39 *26 августа, в 1 час пополудни*

Здравствуйте, нежный мой друг. Время идет, и все ближе и ближе счастливая минута, когда я смогу вас обнять. Не знаю, отчего меня мучит какой-то страх. Воображение рисует страшные картины. Это уже не то сладостное видение, о коем я недавно писала вам. Я уже не могу, уже не смею представить его себе таким нежным, каким бы желала вновь увидеть. Не знаю почему, но он теперь видится мне очень холодным, очень серьезным и более далеким, чем когда-либо. Мысль об этом сокрушает меня и тревожит невыразимо. Как бы хотела я, чтобы рядом был кто-нибудь, кто бы разуверил меня, кто бы меня приободрил. Я сама стараюсь побороть свои сомнения. Но они обычно одерживают верх, и я снова предаюсь им.

Вот небольшой отрывок о любви: «O que les Illusions de l'amour sont aimables! Ses flatteries sont en un sens des vérités; le jugement se tait, mais le coeur parle. L'amant qui loue en nous les perfections que nous n'avons pas, les voit en effet telles qu'il les représente. Il ne ment point en disant des mensonges. Il blatte sans s'avilir et l'on peut au moins l'estimer sans le croire»*.

Это очень верно, ведь я хотя и не верю всему тому, что он написал мне в альбом, но верю, что писал он это от чистого сердца. Он сам обманывался, ибо любовь слепа, но вовсе не хочет обмануть, в этом я присягнуть готова. Вот по этому и узнается истинная любовь.

В 6 часов вечера

Я теперь читаю «Новую Элоизу» и нахожу, что книга эта достойна того, чтобы ее читали все те, кто вос-

* О, сколь сладостны заблуждения любви! Льстивые слова ее в некотором смысле правдивы; разум здесь молчит, но говорит сердце. Влюбленный, восхваляющий в нас несуществующие совершенства, в самом деле видит их такими, какими он их себе воображает. Он не лжет, изрекая ложь. Он льстит не из раболепия, и если ему и нельзя верить, то, по крайней мере, его можно уважать *(фр.)*.

торгается прекрасным, но непременно по-французски. Самое большое ее достоинство, на мой взгляд, в красоте слога и выборе выражений. В ней столько прекрасных мест, что я не в состоянии все их переписать, а между тем мне бы хотелось, чтобы вы разделили мой восторг, как разделяете все самые сокровеннейшие мои мысли,—одним словом, я хотела бы читать эту книгу вместе с вами. Мне очень досадно, что я не смогу ее привезти — она чужая, а купить я хочу что-нибудь более полезное. Мне обещали «Гений христианства»[30] и «Характеры» Лабрюйера[31], и у меня уже есть русские трагедии г. Озерова[32]. Они превосходные и смогут заинтересовать еще кое-кого. Мы перечитаем вместе моего сладостного Стерна, мое сокровище; не подумайте, что у меня плохой вкус (в отношении книг); вы, надеюсь, уверены в противном; но чтобы в этом убедиться, возьмите в папенькиной библиотеке «Литературную смесь» Сюара[33], третий том, и прочитайте на странице 111-й «Письмо женщины о «Сентиментальном путешествии» Стерна, и уж тогда, держу пари, что вы не станете более сомневаться в моем вкусе, по крайней мере в отношении книг.

В 10 часов вечера

Спокойной вам ночи, мой ангел. Хоть Руссо и говорит: «La patience est amère mais le fruit en est doux»*, но я скорее согласна с г-жой де Севинье[34] в том, что: «Les longues espèrances usent la joie»**. *Я все терпение потеряла, ожидая счастливой минуты выезда нашего отсюда. Почивайте покойно, мой бесценный ангел. Христос с вами. А.*

27-го августа, в 4 часа вечера

Я продолжаю читать «Новую Элоизу»; восхищаюсь слогом, но очень многие места мне не нравятся; об этом мы поговорим вместе. Спокойной ночи, ангел мой, я до того слаба, что не в силах далее вам писать. Завтра счастливый день — суббота. Пусть и на этот раз улыбнется мне сча-

* Терпение горько, но плод его сладок *(фр.)*.
** Сбывшаяся надежда бывает омрачена долгим ожиданием *(фр.)*.

стье и я, как обычно, увижу дорогие очертания вашего почерка.

Я немножко проглядела «Сентиментальное путешествие» по-французски и, представьте себе, русский перевод нахожу приятнее; не знаю, красота ли перевода или прелестные замечания, кои придают очарование всей книге, только, на мой взгляд, по-русски она написана гораздо лучше, нежели по-французски. Вы знаете, что ведь вполне возможно, чтобы перевод был лучше подлинного сочинения, и доказательство тому «Мой друг, хранитель-ангел мой!», который в тысячу раз лучше, чем «Ie t'aime tant»*.

Прощайте, мой ангел, мое всё. Да будет спокоен ваш сон, да не омрачат его никакие горести и заботы.

28 августа, 9 часов утра

Сейчас получила письмо ваше, ангел мой, проклятая почта! Клянусь небом и всем, что для меня дороже в мире, что наверно не пропускала, можно ли мне это сделать, когда у меня только и занятия, что с вами беседовать, считать дни и минуты от прихода почты до отправления писем; нет, она неисправна и меня несколько раз огорчала, бог с нею, теперь она мне не нужна; только я намерена вам доказать, мой ангел, когда я буду с вами вместе, кто из нас больше писал, все ваши письма у меня в сохранении, я знаю, что и мои также. Тогда не трудно будет судить. Прощайте, мой ангел, вы удивитесь, как я мало теперь пишу. Одна-единственная мысль заглушает все прочие, а более всего расхолаживает меня уверенность, что я буду у вас раньше, чем этот дневник.

Я нынче ездила с визитом к одной даме, здесь неподалеку, и провела очень приятных два часа. *Я видела их искренние сожаления со мною расстаться и пользовалась приятным удовольствием видеть себя истинно любимой этими добрыми людьми; это чувство услаждает и в горестях; жалкий человек, кто им не пользуется и не умеет ценить опыт.*

Христос с вами, мой ангел, вы из мыслей у меня не выходите ни на минуту. Ваша Анета.

---

* Я так тебя люблю *(фр.)*.

Вечером 29-го, в 8 часов

Я сегодня была у обедни, молилась за вас и за скорое соединение с вами; впрочем, день провела по обыкновению, т. е. очень скучно и к тому же грустно. Что может быть горестнее моего положения — не иметь около себя ни души, с кем бы могла излить свое сердце, поговорить и вместе поплакать. Несчастное творение я. Сам всемогущий, кажется, не внемлет моим молитвам и слезам. К умножению моих печалей вы ничего не отвечаете на мои письма, и я не знаю, найду ли я подле вас отраду в удовольствии вашем меня видеть? Я уже вам сказывала, что я не сомневаюсь в собственной особе вашей, но желала бы, чтобы папенька и маменька столько имели удовольствия меня видеть, сколько я почитаю блаженством быть у них, и хотя этим бы вознаградили меня за все претерпенные горести в разлуке с ними.

№ 40 *1820, Псков, 29-го,*
вечером, в половине девятого

Маменька со своим чувствительным сердцем очень может судить о мучительном моем положении, пусть только вспомнит свое состояние, когда она оставляла своих родителей. С нежно любимым мужем, с милыми детьми, в цветущем состоянии, что способствовало ежеминутно делать жизнь ее спокойною и приятною, а тут ей сопутствовал всегда кто-нибудь из родных ее. Возьмите теперь противоположность моего состояния, с таким же чувствительным сердцем, обремененным всеми возможными горестями, должна проводить дни мои, оставлена всею природою, с тем человеком, который никогда не может получить моей привязанности, ни даже уважения. Он обещал мне отпустить меня к вам, по усиленным просьбам моим, вскоре по приезде в Старый Быхов, теперь опять отговаривается и хочет, чтобы я пробыла там до отъезда его в Петербург, что не прежде будет, как в конце октября; ему нужды нет, что я буду делать во время его разъездов одна, с ребенком, в этом несчастном городе и как потом я в холод и колоть поеду в октябре; но я настою, чтобы ехать, как прежде сказано, и ежели он эгоист, то я вдвое имею право быть оной, хоть для тех, которым моя жизнь и благосостояние еще дороги.

Впрочем, это последнее время совершенно заставило меня потерять терпение, и я бы в ад поехала, лишь бы знала, что там его не встречу.

Вот состояние моего сердца; прощайте, мой ангел, все сказала вам, что было на душе.

Христос с вами, мои родные.

30-го августа, 1820, в 11 часов утра

Сегодня праздник; у меня обедают гости, а теперь супруг мой у развода. Я сейчас писала к Каролине и просила ее, если можно, приехать в Лубны, когда я там буду. Мы надеемся выехать очень скоро, т. е. прежде 5-го сентября. Ежели бы все так шло, как бы я хотела, то, наверное, я приехала бы прежде этого письма; но надобно повиноваться судьбе и дожидаться, когда будет богу угодно доставить меня к вам.

Прощайте, мой бесценный ангел, должна оставить перо: уже первый час, скоро будут гости, это несносно. Хотела послать вам выписки из «Элоизы», но не успею, а особенно все примечательные места спишу и вам привезу. Прощайте, мое сокровище драгоценное, Христос с вами, моя родная, до смерти не хочется оставить перо, а, кажется, уже кто-то едет. Прощайте, мое всё; возьмите на себя труд сказать много хорошего Иммортелю. Любите оба вам вечно по гроб преданную Анету.

РАССКАЗ О СОБЫТИЯХ В ПЕТЕРБУРГЕ

ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ИВЕТА ДЛЯ СООБЩЕНИЯ ЕМУ ИЛИ ПЕРЕСЫЛКИ ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТСЯ

1-я тетрадь.
1861 г., ноября 20-го. С.-Петербург

При вас еще начались сходки студентов, ознаменованные такими шальными распоряжениями правительственных лиц; живо помню, как вы, стоя вот здесь у печки, уговаривали одного из наших друзей из самых горяченьких, хоть и не студента. Разумные ваши слова не принесли, однако ж, пользы ему, за что я на него особенно зла. На другой день, кажется, после вашего отъезда приехал Саша[1] (на сутки к нам) и пришел вечером с ним видеться наш Гулевич[2] от Тютчевых, и пришел такой *нарядный,* endimanche*, каким я его никогда еще не видывала и без смеха смотреть не могла! Новый какой-то сюртук, великолепный и модный до того, что весь отворот рубашечного рукава был виден; новый модный галстук и булавочка якорь. Несмотря на это щегольство, он был угрюм, невесел и, несмотря на то что пришел видеться с Сашей, не остался его дожидаться, хотя и упрашивали его, уверяя, что тот скоро будет домой. Напившись чаю, во время которого сидел подле меня и раза два повторил: «Что-то завтра будет??» — на вопрос мой, что же еще может быть, он сквозь зубы сказал, как будто не о себе говоря: *«Да, сходка опять будет!..»* — и ушел, говоря, что ему нужно еще вечером дома почитать и поработать... На другой день, и на 3-й, и на 4-й мы уже его не увидели, а между тем в тот же день узнали от *очевидца* (наш factotum** носил ваше фортепиано в здание кадетского кор-

---

* по-праздничному одетый *(фр.).*
** слуга *(лат.).*

пуса — рядом с подъездом университетским), что сходка действительно была и кончилась еще хуже первых. Начальство было предупреждено, вероятно, через шпионов из студентов же, и войско окружило их у ворот здания Университета; не знаю, сопротивлялись ли они быть арестованными, или само действие их против тех, которые пришли на лекции с матрикулами, было принято за бунт, только их били прикладами и гнали, как стадо, в крепость... На месте сражения отличился, говорят, кроме *г-на Игнатьева*[3], преображенский офицер *гр. Толстой*[4], который будто бы сам бросился на безоружных студентов и приказал своей роте действовать штыками... Возмутительно!! Наш посланный все это видел и некоторых окровавленных студентов тоже, уезжавших после битвы; говорят, этот мерзостный герой (который сделан флигель-адъютантом по приезде государя!..) сам собственноручно нанес удар студенту по голове своей саблею!.. Их погнали в крепость, где продержали, однако же, несколько суток, потому будто бы, что как приехал царь и близилось время панихиды по его матушке, то их сочли нужным удалить, — и, посадив на пароходы, послали в *Кронштадт.* В крепость Александр Васильевич[5] ездил с одним из наших родственников Измайловым[6] для свидания с братом жены его, бароном Дальгеймом, но видеться они не были допущены, и никто из родственников не знал почему, только съестные припасы, посланные нами при записке, были приняты, и ответ доставлен от Гулевича. Потом брат к нему ездил в Кронштадт и виделся, несмотря на то что и там получен был приказ *не пускать* никого к арестантам, кроме отцов и матерей!.. Фу, как грозно и как пошло!.. Точно Николай Павлович в карикатуре. Их поместили там в госпитале и, благодаря гуманности начальника порта, ассигновали прекрасное содержание, настоящий комфорт после крепости, где их суток двое морили голодом, кроме тех, которые попали под начальство нашего приятеля Пинкорнелли[7], и спали они, бедные, кучами на голом полу, пока спохватились им дать — соломы!.. A la guerre, comme à la guerre!..* Комедия, да и только! Жаль, что очень груст-

* На войне, как на войне!.. *(фр.)*

ная комедия!.. Наш приятель и там не унывал, т. е. в крепости; один знакомый, проходя через двор, узнал его курчавую голову и им был узнан, чего ради прокричал ему в окно *кукареку!..* Брат Гулевича — Вадим, добрый, кроткий юноша и, кажется, весьма нежно любящий брата своего, заболел, бедный, от тоски и тревоги; теперь в лазарете; он мне рассказывал о своем посещении брата и о том, что его и там не оставляют его юмористические выходки. «Говорили мы о разном с братом,— сказал он,— и я не заметил, что во время нашего интимного разговора незаметно подошел и стал вслушиваться жандармский офицер. «Вот видишь ли,— сказал брат,— медведь, конечно, тоже маленькая птичка, да его не посадишь в клетку, а вот *сорока* другое дело — ее можно посадить,— она держит хвост кверху!..» «Что за чушь он городит»,— подумал я, всматриваясь в его невозмутимую физиономию, и только тогда понял, что он кого-то морочит, когда *офицер* быстро отшатнулся от нас». Через несколько дней он писал всем нам очень много нежного в письме брату, просил нас, меня и Софью Христиановну [8], писать ему, что он перечитывает наши строки, как *влюбленный гимназист.* Мы послушались, написали длинные письма, но ответа не было; может статься, и не дошло! Измайлов ездил тоже в Кронштадт, и как было позволено видеться только отцам, то он, явясь к коменданту, объявил, что он — отец! «Ваше имя и фамилия,— сказал комендант,— ваш *чин?»* — «Павел Афанасьевич Измайлов, надворный советник!» — «О! — сказал комендант, как будто удивясь большому чину молодого человека.— А сына вашего как имя?» — «Сына моего зовут *барон Юлий Петрович Дальгейм!»* Без малейшего возражения на это или замечания комендант приказал выдать записку, в которой тоже значилось допустить к свиданию с Дальгеймом его отца — Измайлова! Гуманность этого коменданта, говорят, совершенно восхитила подвластных ему студентов. Он говорил Измайлову, что он все сделал от него зависящее, чтоб облегчить участь бедных арестованных. «Я их тотчас по приезде сводил в баню, дал им чистые постели и хотя толстое, но все чистое белье и стол сытный, какой они там, конечно, не имели — по 29 к. с персоны».

Воображаю Гулевича в его новом модном с иголочки сюртуке (недаром я на этот сюртук смотреть не могла равнодушно. Констанция[9], которая так охотно приписывает мне разные качества души, не прочь приписать мне и *ясновидение:* говорит, что я предчувствовала несчастие этого сюртука!): каков он был после проведенных нескольких суток в крепости на полу без соломы и даже с соломой!..

Несмотря на то что власти, т. е. *Игнатьев* и *Путятин*[10], телеграфировали императору о студентах и своих проделках, мы все ждали, как — чего бы — как манны небесной, как пришествия мессии, приезда в Петербург государя. И — дождались!..

Первые дошедшие до нас известия как обухом по лбу нас ошеломили: «Игнатьева и Путятина царь обнимал и целовал *публично!*»

На другой же день приезда был парад, по окончании коего благодарил Преображенский полк, а графа Толстого произвел в флигель-адъютанты. При всех этих неутешительных слухах *я* решительно от него отказалась, возненавидя *его,* а Констанция, по обыкновению, все старалась утешить нас своим манером, что он не совсем виноват, что он опомнится, что это с ним и прежде бывало, что он и *целует* иногда, да это ничего не значит, что это такая немножко *его* манера (куда какая разумная манера!) поцеловать прежде, а потом и дать пинка! Между тем Кавелин и трое других профессоров подали в отставку![11] Между тем как легко было *властию, богом нам дарованною,* рассечь этот гордиев узел — всех их выпустить, хоть на поруки, а потом судить и рядить... Самое-то простое никогда на ум не всходит дуракам! Вместо того нарядили советы, суды, комитеты и т. п. — чем все это кончится, бог знает.

Городские слухи и сплетни были разные, напр.: будто Игнатьев телеграфировал царю, «что студенты бунтуют и слушать никого не хотят!». Царь отвечал: «Поступать деликатно, по-отечески»... Игнатьев опять: «Арестовано 400 человек! и ваш родитель так бы поступил...» Кажется, это выдумка; но «Se non è vero ma ben trovato»*. Царь: «Дурак!»

---

* Если и неправда, то хорошо придумано *(ит.).*

В это время в «Искре» появилась комедия «Карп Иванович и Нина Александровна», взятая из анекдотов о Николае Павловиче, très authentique*. Удивительно верный снимок; не знаю, как пропустили! Еще в «Искре» была картинка, где представлен *куль и из-под куля* вылезает *вор,* о котором говорят свидетели: «И бить его, *и гнать его!*» Не правда ли, удачное jeu de mots?** Теперь — об уступках *свыше:* хоть это вы и знаете через газеты, что Игнатьев заменен, как утверждает глас народный, весьма удачно, кн. Суворовым[12], который будто бы заявил свою личность, гуманно посетивши студентов в крепости сперва, потом и в Кронштадте.

(3-й ч. пополудни.) Я была оторвана от пера визитом прощальным Николая Николаевича Тютчева. Я не очень здорова, потому эти дни не была у них, и он сказал мужу вчера (воскресенье), что он придет ко мне; шутил, по обыкновению, над силой моих молитв и рекомендовал особенно их направить на некоторые пункты... Сказал, между прочим, что Игнатьев отставлен с огромным трактаментом в *19 тысяч рублей серебром по смерть!..* От часу не легче!.. Да, и 10 тысяч десятин земли в награду за *верную* службу. Я сказала, что хочу написать по малой почте письмо Александру Николаевичу, сделать ему некоторые дружеские предостережения и т. п., а между прочим сказать вот хоть бы по поводу наград Игнатьеву, что лучше бы все это дать Виноградскому и выслать его в отставку. Николай Николаевич прочитал несколько строк из писанного в этой тетрадке и сказал, что вам это будет приятно прочесть и что, когда вы возвратитесь, это уже будет de l'histoire ancienne***, и еще сказал (то же, что и я думаю), что вы не останетесь нескольких годов и что, объехав Америку, Японию, посмотрев Австралию и проч. и проч., вы с Амура прилетите к нам на *почтовых!* Дай-то бог, и чтоб мне дожить до этого!.. Привезите мне духов из Англии непременно, иголок и ножницы. Послушайте: вы счастливый человек, однако ж: посмотрите, как все мы вас любим. Одно то чего стоит, что Николай Нико-

* весьма достоверно *(фр.).*
** игра слов *(фр.).*
*** далеким прошлым *(фр.).*

лаевич ни о ком в мире не говорит с такою нежностью. Знаете, что я вам скажу еще: нет сомнения, что мы все, привыкшие вас видеть и слышать, скучаем за вами, но я почти рада, что *вас теперь* здесь нет!.. Нам тяжело, нам нестерпимо *смотреть бездейственно* на все эти каверзные действия. Каково же вам было бы?? Вот-то головушка ваша трещала бы от досады!.. Однако..долго тоже вам не следует оставаться!.. Да, так вы знаете, что Тютчевы едут к родне с Александрой Николаевной и, вероятно, все рождественские праздники проведут там же или в Москве. Весьма разумно!

Муравьев[13] объявил, что 15 января едет за границу... Гр. Стейнбок уехал, а свадьба, кажется, расстроилась!.. До завтра о свадьбе и размолвке.

1861 г. С.-Петербург 22-е ноября, утро.

О свадьбе гр. Стейнбока[14] тоже без вас было объявлено; это известие нас отчего-то неприятно поразило... Пожилой человек когда женится, редко бывает удачно, так мне кажется, и хотя с его стороны было увлечение, а не расчет, конечно, но увлечение, вероятно, чисто физическое и слишком быстрое, чтоб предположить привязанность, основанную на чем-нибудь прочнее, кроме наружной красоты; с ее же стороны можно наверное было предполагать расчет. Какой?.. Это довольно длинный и сложный вопрос. Вследствие всего этого мы все, любящие, знающие его и зависящие от него, озаботились этим браком и пожелали узнать, *что такое она!* Стоустая молва не замедлила донести подробно, что она вдова с 4-мя детьми, еще очень молодая, лет 30, и весьма, весьма богатая!.. Такая богатая, что будь я на ее месте, не пожелала бы никакого графа, ни князя даже присоединить к этому богатству, а пользовалась бы им с любовию и желанием — поскорее его уничтожить...

К этим сведениям присоединились другие, весьма мрачного содержания: что она известна в обществе по весьма скандальной истории с мужем!.. А именно, что муж — отъявленный негодяй, это правда, но что один господин, подозреваемый в коротком знакомстве с нею, прислал ему (мужу) по почте *адскую машину* и

что муж, предчувствуя это, поехал на почту с полицейским, который и был убит при вскрытии посылки... Дело это хранится в архивах. Оная госпожа пробыла 6 месяцев в *остроге.* Муж же ее оправдывал ее перед судом; все-таки это пятно тяготеет над нею и ее детьми. Не знаю, известно ли было это гр. Стейнбоку, только то верно, что он, объявив своим друзьям и сослуживцам о своем браке, намеревался ехать к ней в Москву, где она проживает. Вдруг заболел, заболел опасно,— слухи носились, что у него разыгралось нечто вроде аневризма в сердце, почему и полагают, что брак невозможен!.. Граф уехал за границу на 6 недель, получив 10 т. сер. на излечение, а квартиру, нанятую за 3 тысячи для свадьбы, сдал совсем с убытком... Кажется, все кончено!?? Тютчевы видели ее акварельный портрет; она очень хороша, и симпатичная, грустная физиономия, чрезвычайно привлекательная. Грустно это все и *нехорошо.* Слухи носились, будто царь причиной размолвки, будто он сказал Адлербергу[15], когда тот просился ехать на свадьбу, что он знает эту гадкую историю и что неужели гр. Стейнбок ничего не нашел лучшего?? Будто граф и заболел после такого известия, переданного ему Адлербергом. Похоже на правду, но лучше, если б не была правда! Телесницкий[16] протестует. Он говорит, что граф, если бы услышал что-нибудь подобное, то вышел бы в отставку и все-таки бы женился. Она, говорят, приехала сюда его навестить, когда он заболел так сильно, но неизвестно, что между ними произошло при свидании.

Вчера утром Констанция и Саша проводили Николая Николаевича и его семью на железную дорогу; Александр Васильевич тоже провожал; оттуда в карете за мною заехали. Третьего дня вечером муж ходил проститься с Тютчевыми, а у меня сидели 2 мои институтки и Измайлов пришел. Я ему сообщила свое удивление, что этому мерзавцу Игнатьеву дали 19 т. сер.! *«Двадцать две!»* — сказал он. От часу не легче! Как тут не лопаться с досады каждую минуту?? Воображаю, каково вам, если до вас доходит что-нибудь подобное?? Он еще рассказывал, что царь приказал арестовать одного студента в толпе во время похорон Герштенцвейга[17];

однако же вчера мне Констанция сказывала, что его скоро выпустили. История о студентах молчит!..

Измайлов говорил мне еще, что он на днях был в довольно большом обществе, где случился старичок-монархист, горячившийся крепко отстаивать свое отсталое мнение о Муравьеве и студентах. Все остальное общество протестовало,— кто громко, кто молчаливо. «Я тоже молчал все время,— сказал Измайлов.— Тогда он прямо обратился ко мне, вызывая ответ решительный на его доводы: «Ну, скажите мне, что бы вы сделали, как бы вы поступили, будь у вас сын в это время в университете?..»

Измайлов: «Я и предвидел это затруднение, почему и обзавелся *дочерью* только».

Слухи носились перед отъездом Тютчева, что Муравьев будет совершенно стушеван. Он и сам грустно прощался и говорил Николай Николаевичу, что едет непременно за границу 15-го декабря, в Ниццу. «Там ведь тепло уже в феврале; не правда ли?» Николай Николаевич сказал, что *разумеется!..* Хотя бывает, и очень часто, в комнатах весьма холодно еще там в это время. Вчера же на железной дороге Шварц[18] сообщил, что Муравьев отстоял-таки себе свои пенаты: остался председателем Уделов таки!.. и Межевого корпуса. Такой жадный старик. Александра Бальтазаровна[19] не может этого слышать равнодушно. Как ему было не стыдно и не совестно *не отказаться от всего??..* Шутила она: мы к квартирам привыкаем, да неохотно расстаемся, а оставить *теплый даровой дворец!!* Теперь, пожалуй, чего доброго, и за границу не поедет!

Вчера к Тютчевым приходил один господин, очень знакомый у Ковалевских и которого он очень уважает. Он говорил, что на место Кавелина уже назначен профессор какой-то; еще говорил, что он был у Ковалевского[20], что тот, при всей сдержанности своей и осторожности, руки к небу подымает от истории со студентами и говорит, что если б он мог предвидеть, то не вышел бы в отставку хотя бы его били, гнали, выгоняли! что богу ответит за все это Строганов[21].

25-е ноября, утро.

А не правда ли, что *мой-то* царь Александр I был лучше ваших, несмотря на то, что 60 лет назад царствовал?.. Измайлов не хотел согласиться, опираясь на последние *плохие* годы!.. Я ему сказала, что он ведь по слухам и по преданиям судит, что он и при Николае I служил еще?

«Служил шесть месяцев и выгнан был от службы!»

Я: «Вот как! за что же?»

Он: «Да я дал щелчка по носу экзекутору и казначею при московском губернаторе Капнисте, да крепко очень, так что кровь пошла».

Я: «Жаль, что не Александру Николаевичу».

Он: «Будь он на ту пору казначеем и экзекутором, и ему бы попало».

Муж мне сегодня поутру сказал, что Телесницкий читал в *Колоколе* о студентах. Великолепно. Дорого бы дала, чтобы прочесть...

Говорят, ваш Муравьев доволен и счастлив, как медный грош, что удалось отстоять Уделы и Межевой корпус. С голоду не умрет! Зеленый[22] пока что *министром государственных преимуществ.* Кстати, о Зеленом, он ведь из моряков. Про него рассказывают, что во время доклада у царя царь спросил его, что он думает о *Путятине.* Будто бы Зеленый сказал, указывая на лоб свой: «Мы его всегда считали несостоятельным по этой части», — и будто бы, выходя от царя, он встретил и Путятина, который ему сообщил, что определение его *министром просвещения* уже состоялось! Бедная, бедная Россия! Упрямая Констанция не хочет-таки изгнать из своего сердца этого майора в штатском платье. Говорят, общество так сочувствует студентам, что не только они не нуждаются в чем-либо, но завалены роскошнейшими лакомствами. В крепости была маленькая демонстрация вот какого рода: так как туда ездят много родных, то начальство пожелало, чтобы для избежания *тесноты* чередовались бы родные, т. е. те, которые приезжали в четверг, не приезжали бы в воскресенье и vice versa*. Студенты узнали, что после этого рас-

* наоборот *(лат.).*

поряжения крепостное начальство сделало некоторые исключения в пользу аристократов или богатых — не знаю. Только студенты отказались выходить к своим, узнавши об этом, и объявили родным, что не желают их видеть таким образом... Пора учить подлецов!.. Молодцы студенты! Всего приятнее, что между ними есть аристократы, и они, хоть нехотя, научатся уму-разуму!

Вчера, пятница 24 ноября, мы провели день у Александры Бальтазаровны; нам хотелось праздновать этот день, так как и Тютчевы его праздновали там, в Знаменском, куда они уже приехали. От них получили из Твери коротенькую записку (в приготовленном здесь заранее конверте и надписанном Констанциею!), что дорога хороша, они здоровы, реки безопасны и что они имели удовольствие встретить в Твери выехавших к ним навстречу Маслова и Сергея Николаевича Тютчева[23], чтобы вместе отправиться в Знаменское. Вчера Констанция мне рассказывала, что видела вас во сне очень явственно, что вы к ним приехали, взошли и прямо поцеловали Сашу, потом и к ней подошли с таким же точно приветом, чему она, как водится (даже во сне), удивилась и выразила вам свое удивление!.. Что нашла в вас перемену, т. е. в вашей коже, что вы загорели; она мне говорила, что всегда удивлялась вашей неспособности загорать. Это, однако же, не доказывает крепкого сложения: очень здоровые всегда загорают легко.

О студентах и их освобождении ни словечка!.. Вчера перед нашим уходом от Тютчевых пришел туда г-н Ржевский[24]. Не знаю, знаком ли он вам, а если знаком, то и вы, верно, так же недолюбливаете его, как Николай Николаевич и они все! Он мне сразу стал антипатичен и по *физиономии* (это мой конек, вы знаете?), и по фразам своим... Мне еще не удавалось слышать такого обвинения студентам (в нашем кружке им всем сердцем сочувствуют) и тем, которые не *старались* своим *влиянием* на них удержать от *этого*. Весьма хвалил Строганова, при котором он 6 лет служил, и говорил, что его весьма удивляет, если он так изменился или ему приписывают все эти *распоряжения*. Александра Бальта-

заровна говорила ему с таким теплым чувством и с таким участием к судьбам этого юношества, что мне весело ее было слушать, и слезы навертывались на глазах. В это время муж позвал меня, было уже 11 часов; и Констанция мне сказала, когда я одевалась, что она его не любит... Вы не поверите, как мне он противен казался! А в светских-то гостиных, может быть, и многие так говорят. Вчера утром Констанция делала визиты и, между прочим, навестила Анненкову[25], которая простудилась. Ее там упрашивали и посидеть подольше, и даже остаться, но она сказала, что спешит еще сделать несколько визитов для того, что я у них буду обедать. Анненков тогда заговорил обо мне и о нас с Александром Васильевичем и о нашей согласной супружеской жизни. «Вот так надо жить»,— сказал Анненков, обращаясь к жене. А Констанция сказала ей, что вот она когда-нибудь нас может у них встретить... Тогда Анненков сказал, что «можно и им ко мне поехать!». Последнему я вовсе не буду рада, потому что церемонные визиты давно оставила. J'ai rompu avec le monde depuis bien longtemps*, да, кажется, никогда и не жила с ним в ладу, слава богу! Что же касается до наших матримониальных чувств и способностей, то мы можем сказать, как грациозной памяти Александр I: Je ne suis qu'un accident heureux!»**

29-е ноября, утро.

Здравствуй, мой сердечный. Каково вам?.. Меня на днях радостно потревожил Саша мой: в то самое время, как меня уверяли, что писем нет, потому что нет никаких сообщений и даже телеграф испорчен, он вошел во время чая нашего с кренделями. Отчего это радостное волнение сильнее горя?.. Ну, это меня и расстроило. Вчера, вторник, мы провели день у Александры Бальтазаровны и Констанции; я здоровалась с вашим портретом и беседовала с милым Колбаси-

* Я уже давно порвала со светом *(фр.).*
** Я лишь счастливое исключение! *(фр.)*

ным[26], которого очень люблю. За обедом он нам рассказывал очень подробно разговор с старым извозчиком своим. Хотелось бы мне вам здесь его передать *его* словами, т. е. словами извозчика. Отменно разумная личность. Странная вещь, мне часто случалось разговаривать с извозчиками весьма разумными здесь, чему я всегда удивлялась: русский мужик герой не моего романа! Вот малоросс — это другое дело. Вечером Колбасин нам прочел очень милую повесть, которую я им привезла, в вашей «Основе»: *«Украинские незабудки».* Премилый рассказ, и, кажется, все портреты из нашей с вами родины — Черниговской губернии, Борзенского уезда. Там один господин проводит большую часть дня в своей *детской* — так он называет комнату или кладовую, где у него сохраняются бочонки с *наливками.*

Да, так извозчик рассказывал ему вот что: как он имел несчастье попасть к обер-полицмейстеру Паткулю[27].

«Везу я барина; он встал, расплатился, пошел дальше, а я оглянулся на пролетку — *бумагу* оставил!.. Я ему кричать: «Вернись, барин, бумаги забыл», он — и след простыл! Так я с бумагами и домой вернулся, да знаете, как я грамотный, у меня и две девки есть, что в школу ходят, так я и прочитал бумаги-то!.. Ужасти, что там было! *«Новое колено поколенное»,* так оно называлось![28] И что сто тысяч народу надо уничтожить и проч. Все такое нехорошее про царя, а уж если что против царя, так и против нас, значит. Я и припрятал бумагу-то подальше, в шкап, где посуда,— под чашку. Да вот, ехал вот так, как с вашим благородием, с барыней; я и рассказал ей такой случай, а она ехала на железную дорогу... Да и спросила меня, где я живу, и номер квартиры спросила. Я и сказал ей, да и невдогад, зачем ей это хотелось знать. А ночью в тот же день полиция ко мне приехала. Бедная жена моя так испугалась. Стали везде искать; а я еще им говорю, будто шутя, чтоб не заметили, что мне страшно: «Ищите, ваше благородие,— ничего, кроме тараканов, не найдете».

2-я тетрадь.
29-го ноября, вечер.

Известие о студентах

Софья Христиановна пишет: «Говорят, их разделили на три категории (дело их решено). Первые шесть человек подвергаются *наказанию*... 45 ссылаются в отдаленные губернии, а остальные *освобождаются!..»* Сколько комментарий можно бы сделать на это последнее слово: *«освобождаются»!* Значит, признаются совершенно невинными?? да? а за то, что их били, и за то, что они и в голоде и в холоде сидели, лишенные свободы около 2-х месяцев,— за это что??

(Продолжение рассказа извозчика). «Ну, вот совсем было ушли, да вспомнили шкапчик с посудой, заглянули туда и вытащили бумагу, ну и повезли меня к обер-полицмейстеру. Тот так и вскрикнул на меня: «Как ты смеешь развозить такие бумаги» и проч. Я, так и так, ему докладываю, что я, дескать, не развожу, что у меня на дрожках оставили и что я еще все искал случая, как бы самому об этом царю донесть. Ну, и отпустил, только наказывал строго, чтоб я прямо так и вез в часть, если еще такой седок попадется!»

8-е декабря 861 г., утро.

Гулевич вернулся вчера! Я радостно обняла его, и все его друзья тоже. Боже, боже, что он порассказал нам! Мы много знали, о многом слышали от *почти* очевидцев, но что он рассказал нам, превосходит все слышанное нами. Думала ли я, что доживу до такой безобразной обстановки?.. Я ненавижу *его* и все это!.. Горе тому, кто не найдет в себе способность ненавидеть!..

Вот как это происходило: Гулевич шел мимо Университета, не имея никакого положительного намерения. Подошел к толпе, чтобы спросить, что там такое? — Их будочники окружили. Так как он и многие другие были в партикулярном платье и заметно было, что они только что подошли, то им предложили (начальство, полиция) отойти, выйти из цепи, удалиться.

«Я бы мог выйти,— сказал он,— но считал это неловким, и потому еще, что, выйди я, за мною вышло бы и несколько других, и было бы нехорошо, неприлично!.. Я остался...» Тут жандармы с лошадьми и *преображенцы* со штыками вышли на сцену кровавым пятном на русскую честь и правительство!.. «Я не потерялся, все помню,— сказал Гулевич,— и штыки блестящие, обращенные на нас, безоружных (потому что мы все, у кого были трости, и их бросили, повинуясь громкому голосу одного из нас бросить трости и остаться совершенно беззащитными), лошади жандармские, теснящие нас, лезшие на дыбы прямо на нас; одну минуту потом меня так стиснули, что мне сделалось дурно, и я бы упал, если б меня двое товарищей не поддержали... Потом отвели нас во двор, где заперли и переписали наши имена. Потом провели между солдатами, жандармами и будочниками, так что на каждого из нас было по трое вооруженных людей!..»

Кровавая комедия! Человек шесть было ранено штыками и прикладами: *Лебедев,* которого солдат ударил так сильно прикладом по голове, что тот упал и вскрикнул: «За что ты бьешь безоружного?» Тот в ответ еще раз его ударил, уже лежачего, так что он некоторое время находился в опасности помешаться: от раны на голове потрясен мозг! Их гнали в крепость, подгоняя *отсталых* прикладами. В крепости же они были 5 дней без постелей и при самой гнусной пище. Одна женщина, жена кого-то из живущих в крепости чиновников, раздавала им хлеб и все, что только нашлось у нее съестного,— бедной, измученной голодом толпе!.. Когда их повезли в Кронштадт (они не знали еще куда), то один из пароходов зацепился за плашкоут моста и чуть было не погиб; в это время на берегу стояли и смотрели Михаил и Николай Николаевичи... Холод был очень силен (12-е октября), но капитан того парохода, где ехал Гулевич, был добр и милосерд; он всех пускал в каюту, где Гулевич улегся у камина и проспал до Кронштадта. Другой же капитан (надо будет узнать его имя) не позволял озябшим входить в каюту, отчего один, слабый еще после недавнего тифа, простудился насмерть — он получил чахотку, от которой теперь

умирает. А знаете ли что? У нас есть пытка!.. Когда я это услышала от одной дамы в 1-й раз, я думала, что это сплетня, выдумка, клевета!.. Увы! Это факт. Это то, что, описывают, делали будто бы с маленьким дофином во время терроризма... Приготовляемого к допросу несколько дней томят бессонницей,— лишь только он уснет, его будят, стучат; потом, когда он достаточно раздражен и ослаблен такой процедурой, его ведут изнеможенного к допросу... Так было, вероятно, с Михайловым!.. Он уже осужден сенатом на 12 лет в каторжную работу — царем милостиво уменьшен срок *наполовину!..* Студентам объявили милостивое избавление от тюрьмы 6 декабря — день тезоименитства наследника!.. Как мило!.. Он пресмешные, преуморительные эпизоды рассказывал, да я сегодня в желчном и грустном настроении; после расскажу. Tout cela est de domaine de l'histoire*.

Где-то вы теперь, наш хороший, наш милый Цвет? Если бы вы знали, как мы вас любим!

А Гулевич? Он хорошая, честная, разумная натура. Вообразите — они разделены на 4 категории, да так смешно, так смутно, так бестолково, что я уж и рассказать не умею. Например: самое слабое наказание (ссылка в дальние губернии) и самое сильное — то же. Потом, или ссылка, или дозволение остаться, если есть родные поручители[29]. Гулевичу назначено выехать чрез 2 недели и пока пребывать под строжайшим надзором полиции, потому он ни за что не хотел пока у нас остаться. Вчера Софья Христиановна прибежала к нам и провела у нас вечер; сегодня нас зовет обедать и Гулевича.

9-е декабря 861 г., С.-Петербург.

Вообразите мое, наше удивление. Констанция вчера была у меня и сказала *новость:* что «Богатырь» и Попов возвращаются!..

Теперь такие новости распускаются в Петербурге, что не сразу всякой поверишь; но я таки задумалась над

---

* Все это из области истории *(фр.).*

этой... и — сообщила ее у Даневских. На что Пий Николаевич Даневский сказал: «Это значит, денег нет на экспедицию!» — и прибавил еще: «Передержано сто миллионов!» Ужасно!.. Что же тогда вы будете делать? Ясно, что если предполагаемая экспедиция не состоится, то и вы должны вернуться! Радоваться ли этому или нет? А вы молчите, и ни словечка от вас не получено вслед за первым грустным вашим письмом.

Вчера ждали Константина Николаевича. Почему вчера 8-го, а не 5-го или 6-го, как предполагали,— это неизвестно *пока;* не знаю почему, я интересуюсь его приездом... Я думаю, потому, что тут есть хоть *что-нибудь;* все остальное так бесцветно, пошло!..

Вот еще один рассказ извозчичий, очень занимательный, идея почти та же. Один юноша желал услышать, как они понимают студенческую историю... Извозчик был хмелен маленько, следовательно, разговаривал, а in vino veritas*; молодой человек сказал ему, что приехал недавно издалека и желал бы знать, что тут такое была с студентами за *история.* «А вот я вам расскажу, барин; все как *есть* видел собственными глазами... Они, вот видишь ли, все такие умные да ученые нынче, уж без книжек ни-ни. Вот они и хотят все учиться, а им говорят: «Подавай 50 целкачей, так будешь учиться, а не то убирайся». Ну, а иные есть такие, что разбеднеющие... Ну, они и пришли раз в Ниверситет. Хвать, а Ниверситет заперт! Как быть? Что делать? Они к набольшему их, к *генералу-то,* что в Колокольной улице,— так все гурьбой и пошли спросить, что, мол, это значит, что заперт Ниверситет! Ну, генерал им сказал: «Подите, отопрут!» Они и пошли так тихо, скромно и все *книжки читают,* так по Невскому проспекту идут смирно и все читают! Пришли к Ниверситету-то, а там *войско* всякое такое и жандары... их и накрыли, моих голубчиков! Больно жалко их, бедненьких. Не хорошо только, что, говорят, между ними будто есть и такие, что замышляли что-то недоброе против царя. Ну, это неладно! Царь добрый, он нам волюшку дал. *Его не замай*».

* истина в вине *(лат.)*.

Вчера у Даневских, где мы обедали с Гулевичем, он нам рассказывал тьму-тьмущую вещей, одна другой раздирательнее, возмутительнее; между прочим, что когда их гнали в крепость, то отстававших от слабости или болезни подгоняли солдаты преображенские прикладами; один из них едва тащился на костылях... В Кронштадте же, где нам говорили, что их так хорошо содержат, им давали чай (из пожертвованного им) в оловянных кружках, от которых постоянно тошнило, потому что грязные и после больных... Однажды у них по всем камерам сделалась тошнота и корчи. Это событие навело на них всех страшное уныние. Кроме того, от спертого воздуха и прочих условий тюремной жизни развился тиф. Я сама, узнавши это, чуть не написала царю послание или Александре Сергеевне Долгоруковой[30]. Но, к счастью, меня уведомили, что дело решено... Я попрошу Гулевича, чтоб он тут у меня вписал несколько строк об этом *абдеритском*[31] решении и распределении категорий!.. Ай да мы! Вот тебе прогресс 19-го века!.. Смешно и грустно, грустно до слез, до кровавых слез!

Допрос Красильникову:

— Были ли вы под судом или под следствием?

— Был.

— Отчего же вы здесь?

— Взят на поруки.

— Где же ваш поручитель?

— Во второй камере второго *каземата.*

Однажды им предложили, не желает ли кто из них в церковь православную. Они все пожелали. Комендант чрезвычайно обрадовался, подумав, что все они православные. На 2-е воскресенье комендант предложил: если есть католики между ними, то могут идти в католический костел, все пошли опять! Потом, когда они пожелали в лютеранскую церковь, их уж не пустили, побоявшись, что они и в мечеть и в синагогу, пожалуй, попросятся!

При первом же допросе вместе,— говорит Гулевич,— Андреевский[32] сказал им: «Ведь вы не были на сходке, ведь вы *не* нарочно туда пришли?»... Это добродушное предостережение заставило их всех засвиде-

тельствовать, что они туда попали нечаянно... Впрочем, их ответы не имели никаких последствий, на них не обращалось никакого *внимания...* Как это логично, справедливо и честно... Например: человек говорит, что он давным-давно *кончил* курс Университета,— его записывают студентом.— Во всех их действиях явно высказывается желание заподозрить, сделать виноватым правого! Гулевич сказал, что он три года слушал курс в Харьковском университете, потом жил в Москве на кондиции, теперь в Петербурге ходил вольнослушающим,— его записали харьковским студентом, как он ни протестовал! Вследствие чего его, захваченного *нечаянно, мимоходом,* партикулярного человека, присудили, после почти 2-х месяцев тюремного заключения, отдать под строжайший надсмотр полиции на 2 недели, потом выслать на *родину* (на родину, где больной старой матери нечего есть, где он ее содержал своими уроками в Петербурге!) или оставить здесь, если найдутся родные поручители... Любо-дорого слушать такие дела и умиляться над ними! Мы с Софьей Христиановной кипим; Констанция тоже, несмотря на свое прежнее предубеждение насчет его величества. Она и теперь говорит: «Будь *он* здесь, ничего бы подобного не случилось!» Что касается меня, я уже *ему* совершенно не верю!

У меня всегда вертится один характеристический факт об нем — я при случае его рассказываю; и теперь расскажу, если не рассказала еще. После 8-летнего заключения Михаила Бакунина в Шлиссельбургской крепости[33] мать, старуха лет около 70, приехала сюда (отец 90-летний умер, не дождавшись); ей сказали, чтобы она попробовала еще одно средство: встретясь с царем в Петергофском саду, попросить лично царя о помиловании преступного сына. Она, бедная, это и исполнила. Подошла к нему с видом умоляющим и сказала, на вопрос *его, кто* она, что она мать кающегося сына и проч. и проч. Он остановился, вспомнил, *о ком* речь, скорчил, вероятно, *николаевскую* гримасу и сказал: *«Перестаньте заблуждаться, ваш сын никогда не может быть прощен!»* И только. Она как стояла, так и повалилась, как сноп, на стоящую тут скамейку. Удивляюсь, как ее, бедную, толстую, тучную женщину, не пристукнуло тут

же! Он постоял немножко, посмотрел на нее и — *пошел дальше!* А вы скажете: «Да как же это? Да ведь он прощен, то есть сослан». Разумеется, что после Шлиссельбургской крепости позволение жить и служить даже в Омске или Томске, не знаю, — милость; да не в том сила, а вот в чем, что через несколько месяцев все это последующее совершилось; не знаю, *как* и *откуда* зашли, чтоб это устроить... Матери-то, надеющейся на милосердие, каково должны были прозвучать адские слова: «Lasciate ogni speranza»* Дантовы. А вот *он* теперь в Лондоне, говорят. Желаю ему от всего сердца иметь возможность отблагодарить за прочувствованное его матерью в эти минуты!.. Вчера, 14 декабря, прочитала в газетах, что в 8 ч. утра на площади близ Мытнинского рынка будет объявлено решение суда бедному *Михайлову* [34] по приговору на 12 лет в каторжные работы, по царскому велению на 6 лет. Это прочитала в 10 ч. утра в газете, что в 8 ч. это совершится. Как ловко!.. Ожидали демонстрации на 14 декабря от студентов, которые собирались служить панихиды по декабристам, но полиция уже знала и послала запрещение служить панихиды по Кондратии, Сергее и проч. и проч.; и с той и с другой стороны глупо.

Нам сказали, что Попов возвратится, мы и думали: «Неужели и Цвет возвратится?» Вдруг он третьего дня явился с визитом к Александре Бальтазаровне и Констанции Петровне и — ни гугу о Цвете: ни письма, ни вести, прямо ничего!.. Нам стало очень грустно; а мы бы могли вот эти подробности переслать, все же лучше, чем «посылаю вам поклон, мы здоровы, чего и вам желаем» и проч. и проч.

Вчера, 14-го декабря, отправлена прелестная мантилья и зеленая бархатная шляпка с пером вашей матушке. Шляпа стоит (изумительно дешево по времени) 11 р.; мантилья 26 р. Пересылка три рубля. Все это устроила Констанция Петровна; я очень довольна, что так успешно. День ото дня ее больше люблю, а меня она так любит, что мне даже совестно и за нее и за себя. Гулевич у нас живет и кипятится страшно... Сего-

* Оставь всякую надежду *(ит.)*.

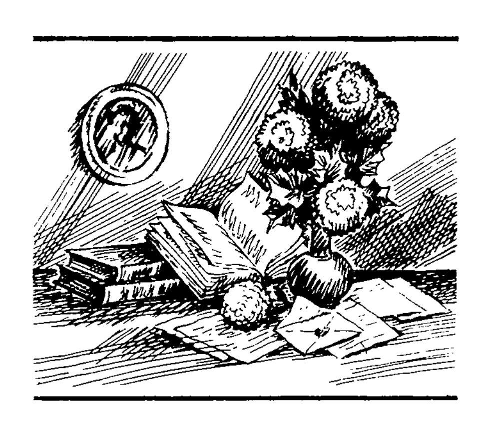
дня Суворов ему позволил отдаться на поруки Даневскому. Я жду там романа (inter nos)*, не знаю только, в каком роде. Прочитайте (кстати о романах) новую современную повесть, прелестную, хотя юную совершенно и первый опыт: наблюдательности бездна. Она называется «Молотов», в «Современнике». Фамилия подписавшегося *Помяловский* и — вообразите — семинарист!..

18-е декабря, утро.

Вчера, воскресенье, у Тютчевых были; слышали, во 1-х, *вести* свежие о вас!.. Какой-то юный господин, видевший вас почасту, — их привез и *письмо...* Письмо, конечно, отправлено нераспечатанное Николаю Николаевичу в деревню. Я такой *веры,* что этого бы не сделала по 99-ти причинам; во 1-х, потому (если по почте), что письмо может или пропасть, или попасть не туда, куда нужно, а потом и не узнают, что в нем находилось весьма интересное; конечно, если по почте, мы ничего от вас *интересного* не получали! Потом вечером пришел Pinto и рассказал много *приятных* новостей: что Путятин уничтожается и проч. и проч. (на его место, кажется, Головин), и потом кое-что о новых постановлениях университетских, довольно утешительных, — Казанский уже открыт. Суворов своей гуманностью и благородным образом действий производит фурор! Дай бог ему здоровья! Между прочим, один из *красных* выразил такую мысль: что это страшно, какую он приобретает популярность!.. Понимаете?.. Вот мазурики-то неугомонные!

---

* между нами *(лат.).*



ПЕРЕПИСКА

ПИСЬМА
А. П. КЕРН К ПУШКИНУ И ПУШКИНА К А. П. КЕРН

А. Г. Родзянко и А. П. Керн — Пушкину

10 мая 1825 г. Лубны
<А. Г. Родзянко>

Лубны 10-го маия 1825-го года
пред глазами Анны Петровны

Виноват, сто раз виноват перед тобою, любезный и дорогой мой Александр Сергеевич, не отвечая три месяца на твое неожиданное и приятнейшее письмо, излагать причины моего молчания и не нужно, и излишнее, лень моя главною тому причиною, и ты знаешь, что она никогда не переменится, хотя Анна Петровна ужасно как моет за это выражение мою грешную головушку. Но, невзирая на твое хорошее мнение о моих различных способностях, я становлюсь в тупик в некоторых вещах и, во-первых, в ответе к тебе. Но сделай милость, не давай воли своему воображению и не делай общею моей неодолимой лени, скромность моя и молчание в некоторых случаях могут быть вместе с обвинителями и защитниками ее; я тебе похвалюсь, что благодаря этой же лени я постояннее всех Амадисов[1] и польских и русских, итак, одна трудность перемены и переноски своей привязанности составляет мою добродетель, *следовательно,* говорит Анна Петровна, *немного стоит добродетель ваша!* А она соблюдает молчание,— <*Керн:*> Молчание знак согласья.— <*Родзянко:*> И справедливо. Скажи, пожалуй, что вздумалось тебе так клепать на меня, за какие проказы? — за какие шалости? — но довольно, пора говорить о литературе с тобою, нашим Корифеем.— <*Керн:*> Ей-богу, *он* ничего не хочет и не намерен вам сказать! насилу упросила! — Если б вы знали, чего мне это стоило! — <*Родзянко:*> Самой безделки; придвинуть стул, дать перо и бумагу и сказать: пишите.— <*Керн:*> Да спросите, сколько раз повторить это должно было! — <*Родзянко:*> Repetitia est mater studiorum*. Зачем

* Повторение — мать учения *(лат.).*

не во всем требуют уроков, а еще более повторений, жалуюсь тебе, как новому Оберону [2], отсутствующий, ты имеешь гораздо более влияния на *ее*, нежели я со всем моим присутствием, письмо твое меня гораздо более поддерживает, нежели все мое красноречие.— <*Керн:*> Je vous proteste qu'il n'est pas dans mes fors! * — <*Родзянко:*> А чья вина? — вот теперь вздумала мириться с Ермолаем Федоровичем, снова пришло остывшее давно желание иметь законных детей, и я пропал, тогда можно было извиниться молодостию и неопытностию, а теперь чем? — ради бога, будь посредником! — <*Керн:*> Ей-богу, я этих строк не читала! — <*Родзянко:*> Но заставила их прочесть себе 10 раз.— <*Керн:*> Право, не 10.— <*Родзянко:*> А 9 — еще солгал. Пусть так, тем-то Анна Петровна и очаровательнее, что, со всем умом и чувствительностию [светской] образованной женщины, она изобилует такими детскими хитростями — но прощай, люблю тебя, и удивляюсь твоему гению, и восклицаю:

О, Пушкин, мот и расточитель
Даров поэзии святой
И молодежи удалой
Гиерофант и просветитель,
Любезный женщинам творец,
Певец [бр<одяг>] разбойников, Цыганов,
Безумцев, рыцарей, Русланов,
Скажи, чего ты не певец.

Моя поэма *Чупка* скончалась на тех отрывках, что я тебе читал, а две новые сатиры пошлю вскорости напечатать.

Аркадий Родзянко.

<*А. П. Керн*>

Вчера *он был вдохновен мною!* и написал — Сатиру — на меня. Если позволите, я вам ее сообщу.

Стихи насчет известного *примирения.*
Соч. Аркадий Родзянко сию минуту.

«Поверьте, толки все рассудка
Была одна дурная шутка.
Хвостов <в> лирических певцах;

* Уверяю вас, что он не в плену у меня! *(фр.)*

Вы *не притворно* рассердились,
Со мной нарочно согласились,
И кто, кто? — я же в дураках.

И дельно; в век наш греховодный
Я вздумал нравственность читать:
И совершенство посевать
В душе к небесному холодной;
Что ж мне за все советы? — Ах!
Жена, муж, оба с мировою
Смеются под нос надо мною:
«Прощайте, будьте в дураках!»

NB:

Эти стихи сочинены после благоразумнейших дружеских советов, и это было его желание, чтоб я их здесь переписала.

Пушкин — А. П. Керн

25 июля 1825 г. Михайловское

Я имел слабость попросить у вас разрешения вам писать, а вы — легкомыслие или кокетство позволить мне это. Переписка ни к чему не ведет, я знаю; но у меня нет сил противиться желанию получить хоть словечко, написанное вашей хорошенькой ручкой.

Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое некогда произвела на меня встреча наша у Олениных. Лучшее, что я могу сделать в моей печальной деревенской глуши,— это стараться не думать больше о вас. Если бы в душе вашей была хоть капля жалости ко мне, вы тоже должны были бы пожелать мне этого,— но ветреность всегда жестока, и все вы, кружа головы направо и налево, радуетесь, видя, что есть душа, страждущая в вашу честь и славу.

Прощайте, божественная; я бешусь и я у ваших ног. Тысячу нежностей *Ермолаю Федоровичу* и поклон г-ну Вульфу.

25 июля

Снова берусь за перо, ибо умираю с тоски и могу думать только о вас. Надеюсь, вы прочтете это письмо тайком — спрячете ли вы его у себя на груди? ответите ли мне длинным посланием? пишите мне обо всем,

что придет вам в голову,— заклинаю вас. Если вы опасаетесь моей нескромности, если не хотите компрометировать себя, измените почерк, подпишитесь вымышленным именем,— сердце мое сумеет вас угадать. Если выражения ваши будут столь же нежны, как ваши взгляды,— увы! — я постараюсь поверить им или же обмануть себя, что одно и то же.— Знаете ли вы, что перечтя эти строки, я стыжусь их сентиментального тона — что скажет *Анна Николаевна? Ах вы, чудотворка или чудотворица!*

Знаете что? пишите мне и так, и этак,— это очень мило*.

Пушкин — А. П. Керн

13 и 14 августа 1825 г. Михайловское

Перечитываю ваше письмо вдоль и поперек и говорю: *милая! прелесть!* божественная! ...а потом: *ах, мерзкая!* — Простите, прекрасная и нежная, но это так. Нет никакого сомнения в том, что вы божественны, но иногда вам не хватает здравого смысла; еще раз простите и утешьтесь, потому что от этого вы еще прелестнее. Напр., что вы хотите сказать, говоря о печатке, которая должна для вас *подходить и вам нравиться* (счастливая печатка!) и значение которой вы просите меня разъяснить? Если тут нет какого-нибудь скрытого смысла, то я не понимаю, чего вы желаете. Или вы хотите, чтобы я придумал для вас девиз? Это было бы совсем в духе Нетти[1]. Полно, сохраните ваш прежний девиз: *«не скоро, а здорово»,* лишь бы это не было девизом вашего приезда в Тригорское — а теперь поговорим о другом. Вы уверяете, что я не знаю вашего характера. А какое мне до него дело? Очень он мне нужен — разве у хорошеньких женщин должен быть характер? главное — это глаза, зубы, ручки и ножки — (я прибавил бы еще — сердце, но ваша кузина[2] очень уж затаскала это слово). Вы говорите, что вас легко узнать; вы хотели сказать — полюбить вас? вполне с вами согласен и даже сам служу тому доказательством: я вел себя с вами, как четырнадцатилетний мальчик,— это возмутительно, но с тех пор, как я вас больше не вижу, я постепенно воз-

---

* Последние несколько слов написаны поперек письма в разных направлениях.

вращаю себе утраченное превосходство и пользуюсь этим, чтобы побранить вас. Если мы когда-нибудь снова увидимся, обещайте мне... Нет, не хочу ваших обещаний: к тому же письмо — нечто столь холодное, в просьбе, передаваемой по почте, нет ни силы, ни взволнованности, а в отказе — ни изящества, ни сладострастия. Итак, до свидания — и поговорим о другом. Как поживает подагра вашего супруга? Надеюсь, у него был основательный припадок через день после вашего приезда. *Поделом ему!* Если бы вы знали, какое отвращение, смешанное с почтительностью, испытываю я к этому человеку! Божественная, ради бога, постарайтесь, чтобы он играл в карты и чтобы у него сделался приступ подагры, подагры! Это моя единственная надежда!

Перечитывая снова ваше письмо, я нахожу в нем ужасное *если,* которого сначала не приметил: если моя кузина останется, то осенью я приеду и т. д. Ради бога, пусть она останется! Пострайтесь развлечь ее, ведь ничего нет легче; прикажите какому-нибудь офицеру вашего гарнизона влюбиться в нее, а когда настанет время ехать, досадите ей, отбив у нее воздыхателя; опять-таки ничего нет легче. Только не показывайте ей этого; а то из упрямства она способна сделать как раз противоположное тому, что надо. Что делаете вы с вашим кузеном?[3] напишите мне об этом, только вполне откровенно. Отошлите-ка его поскорее в его университет; не знаю почему, но я недолюбливаю этих студентов так же, как и г-н Керн. — Достойнейший человек этот г-н Керн, почтенный, разумный и т. д.; один только у него недостаток — то, что он ваш муж. Как можно быть вашим мужем? Этого я так же не могу себе вообразить, как не могу вообразить рая.

Все это было написано вчера. Сегодня почтовый день, и, не знаю почему, я вбил себе в голову, что получу от вас письмо. Этого не случилось, и я в самом собачьем настроении, хоть и совсем несправедливо: я должен быть благодарным за прошлый раз, знаю; но что поделаешь? умоляю вас, божественная, снизойдите к моей слабости, пишите мне, любите меня, и тогда я постараюсь быть любезным. Прощайте, *дайте ручку.*

14 августа

Пушкин — А. П. Керн

21 (?) августа 1825 г. Михайловское

Вы способны привести меня в отчаяние; я только что собрался написать вам несколько глупостей, которые насмешили бы вас до смерти, как вдруг пришло ваше письмо, опечалившее меня в самом разгаре моего вдохновения. Постарайтесь отделаться от этих спазм, которые делают вас очень интересной, но ни к черту не годятся, уверяю вас. Зачем вы принуждаете меня бранить вас? Если у вас рука была на перевязи, не следовало мне писать. Экая сумасбродка!

Скажите, однако, что он сделал вам, этот бедный муж? Уже не ревнует ли он часом? Что ж, клянусь вам, он не был бы неправ; вы не умеете или (что еще хуже) не хотите щадить людей. Хорошенькая женщина, конечно, вольна... быть вольной*. Боже мой, я не собираюсь читать вам нравоучения, но все же следует уважать мужа,— иначе никто не захочет состоять в мужьях. Не принижайте слишком это ремесло, оно необходимо на свете. Право, я говорю с вами совершенно чистосердечно. За 400 верст вы ухитрились возбудить во мне ревность; что же должно быть в 4 шагах? (NB: Я очень хотел бы знать, почему ваш двоюродный братец уехал из Риги только 15-го числа сего месяца и почему имя его в письме ко мне трижды сорвалось у вас с пера? Можно узнать это, если это не слишком нескромно?) Простите, божественная, что я откровенно высказываю вам то, что думаю: это — доказательство истинного моего к вам участия; я люблю вас гораздо больше, чем вам кажется. Постарайтесь хоть сколько-нибудь наладить отношения с этим проклятым г-ном Керном. Я отлично понимаю, что он не какой-нибудь гений, но в конце концов он и не совсем дурак. Побольше мягкости, кокетства (и главное, бога ради, отказов, отказов и отказов) — и он будет у ваших ног,— место, которому я от всей души завидую, но что поделаешь? Я в отчаянии от отъезда Анеты; как бы то ни было, но вы непременно должны приехать осенью сюда или хотя бы в Псков. Предлогом можно будет

* В подлиннике — игра слов: maitresse *(фр.)* значит — и хозяйка, госпожа самой себе, и любовница.

выставить болезнь Анеты. Что вы об этом думаете? Отвечайте мне, умоляю вас, и ни слова об этом Алексею Вульфу. Вы приедете? — не правда ли? — а до тех пор не решайте ничего касательно вашего мужа. Вы молоды, вся жизнь перед вами, а он... Наконец, будьте уверены, что я не из тех, кто никогда не посоветует решительных мер — иногда это неизбежно, но раньше надо хорошенько подумать и не создавать скандала без надобности.

Прощайте! Сейчас ночь, и ваш образ встает передо мной, такой печальный и сладострастный: мне чудится, что я вижу ваш взгляд, ваши полуоткрытые уста.

Прощайте — мне чудится что я у ваших ног, сжимаю их, ощущаю ваши колени, — я отдал бы всю свою жизнь за миг действительности. Прощайте, и верьте моему бреду; он смешон, но искренен.

Пушкин — А. П. Керн

28 августа 1825 г. Михайловское

Прилагаю письмо для вашей тетушки; вы можете его оставить у себя, если случится, что они уже уехали из Риги. Скажите, можно ли быть столь ветреной? Каким образом письмо, адресованное вам, попало не в ваши, а в другие руки? Но что сделано, то сделано — поговорим о том, что нам следует делать.

Если ваш супруг очень вам надоел, бросьте его, но знаете как? Вы оставляете там все семейство, берете почтовых лошадей на Остров и приезжаете... куда? В Тригорское? вовсе нет: в Михайловское! Вот великолепный проект, который уже с четверть часа дразнит мое воображение. Вы представляете себе, как я был бы счастлив? Вы скажете: «А огласка, а скандал?» Черт возьми! Когда бросают мужа, это уже полный скандал, дальнейшее ничего не значит или значит очень мало. Согласитесь, что проект мой романтичен! — Сходство характеров, ненависть к преградам, сильно развитый орган полета, и пр. и пр. — Представляете себе удивление вашей тетушки? Последует разрыв. Вы будете видаться с вашей кузиной тайком, это хороший способ сделать дружбу менее пресной — а когда Керн

умрет — вы будете свободны, как воздух... Ну, что вы на это скажете? Не говорил ли я вам, что способен дать вам совет смелый и внушительный!

Поговорим серьезно, т.е. хладнокровно: увижу ли я вас снова? Мысль, что нет, приводит меня в трепет. — Вы скажете мне: утешьтесь. Отлично, но как? влюбиться? невозможно. Прежде всего надо забыть про ваши спазмы. — Покинуть родину? удавиться? жениться? Все это очень хлопотливо и не привлекает меня. — Да, кстати, каким же образом буду я получать от вас письма? Ваша тетушка противится нашей переписке, столь целомудренной, столь невинной (да и как же иначе... на расстоянии 400 верст). — Наши письма наверное будут перехватывать, прочитывать, обсуждать и потом торжественно предавать сожжению. Постарайтесь изменить ваш почерк, а об остальном я позабочусь. — Но только пишите мне, да побольше, и вдоль, и поперек, и по диагонали (геометрический термин). Вот что такое диагональ*. А главное, не лишайте меня надежды снова увидеть вас. Иначе я, право, постараюсь влюбиться в другую. Чуть не забыл: я только что написал [письмо] Нетти письмо, очень нежное, очень раболепное. Я без ума от Нетти. Она наивна, а вы нет. Отчего вы не наивны? Не правда ли, по почте я гораздо любезнее, чем при личном свидании; так вот, если вы приедете, я обещаю вам быть любезным до чрезвычайности — в понедельник я буду весел, во вторник восторжен, в среду нежен, в четверг игрив, в пятницу, субботу и воскресенье буду чем вам угодно, и всю неделю — у ваших ног. — Прощайте.

28 августа.

Не распечатывайте прилагаемого письма, это нехорошо. Ваша тетушка рассердится.

Но полюбуйтесь, как с божьей помощью все перемешалось: г-жа Осипова распечатывает письмо к вам, вы распечатываете письмо к ней, я распечатываю письма Нетти — и все мы находим в них нечто для себя назидательное — поистине это восхитительно!

---

* Это фраза написана из угла в угол письма — по диагонали.

<*П. А. Осиповой*>

Да, сударыня, пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает. Ах, эти люди, считающие, что переписка может к чему-то привести. Уж не по собственному ли опыту они это знают? Но я прощаю им, простите и вы тоже — и будем продолжать.

Ваше последнее письмо (писанное в полночь) прелестно, я смеялся от всего сердца; но вы слишком строги к вашей милой племяннице; правда, она ветрена, но — терпение: еще лет двадцать — и, ручаюсь вам, она исправится. Что же до ее кокетства, то вы совершенно правы, оно способно привести в отчаяние. Неужели она не может довольствоваться тем, что нравится своему повелителю г-ну Керну, раз уж ей выпало такое счастье? Нет, нужно еще кружить голову вашему сыну, своему кузену! Приехав в Тригорское, она вздумала пленить г-на Рокотова и меня; это еще не все: приехав в Ригу, она встречает в ее проклятой крепости некоего проклятого узника и становится кокетливым провидением этого окаянного *каторжника*! Но и это еще не все: вы сообщаете мне, что в деле замешаны еще и мундиры! Нет, это уж слишком: об этом узнает г-н Рокотов, и посмотрим, что он на это скажет. Но, сударыня, думаете ли вы всерьез, что она кокетничает *равнодушно*? Она уверяет, что нет, я хотел бы верить этому, но еще больше успокаивает меня то, что не все ухаживают на один лад, и лишь бы другие были почтительны, робки и сдержанны,— мне ничего больше не надо. Благодарю вас, сударыня, [за ваше] за то, что вы не передали моего письма: оно было слишком нежно, а при нынешних обстоятельствах это было бы смешно с моей стороны. Я напишу ей другое, со свойственной мне дерзостью, и решительно порву с ней всякие отношения; пусть не говорят, что я старался внести смуту в семью, что *Ермолай Федорович* может обвинять меня в отсутствии нравственных правил, а жена его — издеваться надо мной.— Как это мило, что вы нашли портрет схожим: «смела в» и т. д. Не правда ли? Она отрицает и это; но конечно, я больше не верю ей.

Прощайте, сударыня. С великим нетерпением жду вашего приезда... мы позлословим на счет Северной Нетти[1], относительно которой я всегда буду сожалеть,

что увидел ее, и еще более, что не обладал <?> ею <?>. Простите это чересчур откровенное признание тому, кто любит вас очень нежно, хотя и совсем иначе.

Михайловское.
Госпоже Осиповой.

Пушкин — А. П. Керн

22 сентября 1825 г. Михайловское

Ради бога, не отсылайте г-же Осиповой того письма, которое вы нашли в вашем пакете. Разве вы не видите, что оно было написано только для вашего собственного назидания? Оставьте его у себя, или вы нас поссорите. Я пытался помирить вас, но после ваших последних выходок отчаялся в этом... Кстати, вы клянетесь мне всеми святыми, что ни с кем не кокетничаете, а между тем вы на «ты» со своим кузеном, вы говорите ему: *я презираю твою мать.* Это ужасно; следовало сказать: *вашу мать,* а еще — лучше — ничего не говорить, потому что фраза эта произвела дьявольский эффект. Ревность в сторону,— я советую вам прекратить эту переписку, советую как друг, поистине вам преданный без громких слов и кривляний. Не понимаю, ради чего вы кокетничаете с юным студентом (притом же не поэтом) на таком почтительном расстоянии. Когда он был подле вас, вы знаете, что я находил это совершенно естественным, ибо надо же быть рассудительным. Решено, не правда ли? Бросьте переписку,— ручаюсь вам, что он от этого будет не менее влюблен в вас. Всерьез ли говорите вы, уверяя, будто одобряете мой проект? У Анеты от этого мороз пробежал по коже, а у меня голова закружилась от радости. Но я не верю в счастье, и это вполне простительно. Захотите ли вы, ангел любви, заставить уверовать мою неверующую и увядшую душу? Но приезжайте, по крайней мере, в Псков; это вам легко устроить. При одной мысли об этом сердце у меня бьется, в глазах темнеет и истома овладевает мною. Ужели и это тщетная надежда, как столько других?.. Перейдем к делу; прежде всего, нужен предлог; болезнь Анеты — что вы об этом скажете? Или не съездить ли вам в Петербург? Вы дадите мне знать об этом, не правда ли? — Не обманите меня, милый ангел. Пусть вам буду обязан я тем, что познал

счастье, прежде чем расстался с жизнью! — Не говорите мне о восхищении: это не то чувство, какое мне нужно. Говорите мне о любви: вот чего я жажду. А самое главное, не говорите мне о стихах... Ваш совет написать его величеству тронул меня, как доказательство того, что вы обо мне думали — на коленях благодарю тебя за него, но не могу ему последовать. Пусть судьба решит мою участь; я не хочу в это вмешиваться... Надежда увидеть вас еще юною и прекрасною — единственное, что мне дорого. Еще раз, не обманите меня.

22 сент. Михайловское.

Завтра день рождения вашей тетушки; стало быть, я буду в Тригорском; ваша мысль выдать Анету замуж, чтобы иметь пристанище, восхитительна, но я не сообщил ей об этом. Ответьте, умоляю вас, на самое главное в моем письме, и я поверю, что стоит еще жить на свете.

Пушкин и Анна Н. Вульф — А. П. Керн

8 декабря 1825 г. Тригорское

<*Пушкин*>

Никак не ожидал, чародейка, что вы вспомните обо мне, от всей души благодарю вас за это. Байрон [1] получил в моих глазах новую прелесть — все его героини примут в моем воображении черты, забыть которые невозможно. Вас буду видеть я в образах и Гюльнары и Леилы [2] — идеал самого Байрона не мог быть божественнее. Вас, именно вас посылает мне всякий раз судьба, дабы усладить мое уединение! Вы — ангел-утешитель, а я — неблагодарный, потому что смею еще роптать... Вы едете в Петербург, и мое изгнание тяготит меня более, чем когда-либо. Быть может, перемена, только что происшедшая [3], приблизит меня к вам, не смею на это надеяться. Не стоит верить надежде, она лишь хорошенькая женщина, которая обращается с нами, как со старым мужем. Что поделывает ваш муж, мой нежный гений? Знаете ли вы, что в его образе я представлю себе врагов Байрона, в том числе и его жену.

8 дек.

Снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю вас, что иногда вас ненавижу, что третьего дня говорил о вас гадости, что я целую ваши прелестные ручки и снова перецеловываю их, в ожидании лучшего, что больше сил моих нет, что вы божественны и т. д.

<Анна Н. Вульф>

Наконец-то, милый друг, Пушкин принес мне письмо от тебя. Давно было пора получить мне от тебя весточку, так как я не знала, что и подумать о твоем молчании; однако из письма твоего я не вижу, что могло тебе помешать писать ко мне, и не могу понять, на какое письмо ты мне отвечаешь — на то ли, которое я тебе послала через мадмуазель Ниндель, или на другое; твои письма всегда меня сбивают с толку. Алексей писал мне, что ты отказалась от намерения уехать и решила остаться. Я поэтому совсем было успокоилась на твой счет, как вдруг твое письмо так неприятно меня разочаровало. Почему ты не сообщаешь мне ничего определенного, а предпочитаешь оставлять меня в тревоге? Не бойся за свои письма, можешь писать теперь просто на мое имя в *Опочку*. Моих писем больше уже не вскрывают, они тащатся через Новоржев и иногда могут даже затеряться. Вполне ли решен твой отъезд в Петербург? Последнее событие не изменит ли твоих планов? Байрон помирил тебя с Пушкиным; он сегодня же посылает тебе деньги — 125 рублей, его стоимость. Следующей почтой постараюсь прислать тебе свой долг, мне очень неприятно, что я заставила тебя так долго ждать. Сейчас не могу заговаривать об этом с матушкой, она очень больна, уже несколько дней в постели, у нее рожистое воспаление на лице... Что тебе еще рассказать? Этой зимой надеюсь непременно уехать в Тверь, а покамест томлюсь, тоскую и терпеливо жду: отвечай мне поскорее. Бетшер давно уже в Острове, *но нам от этого не легче. Прощай, мой друг,* навсегда твоя подруга.

Анета.

Анна Н. Вульф и А. П. Керн — Пушкину

16 сентября 1826 г. Петербург

Петербург, 16 сентября.

<Анна Н. Вульф>

Я так мало эгоистична, что радуюсь вашему освобождению и горячо поздравляю вас с ним, хотя вздыхаю, когда пишу это, и в глубине души дала бы многое, чтобы вы были еще в Михайловском, [и] все мои усилия быть благородной не могут заглушить чувство боли, которое я испытываю оттого, что не найду вас больше в Тригорском, куда влечет меня сейчас моя несчастная звезда, чего бы только не отдала я за то, чтобы не уезжать из него вовсе и не возвращаться туда сейчас.— Я послала вам длинное письмо с князем Вяземским — мне хотелось бы, чтобы оно не дошло до вас, я была тогда в отчаянии, узнав, что вас взяли[1], и не знаю, каких только безрассудств я не наделала бы. Князя я увидела в театре и занималась только тем, что лорнировала его в течение всего спектакля, я надеялась тогда рассказать вам о нем! — Я была чрезвычайно рада вновь увидеться с вашей сестрой — она очаровательна — знаете, я нахожу, что она очень похожа на вас. Не понимаю, как не заметила я этого раньше. Скажите, пожалуйста, почему вы перестали мне писать — из равнодушия или забвения? Гадкий вы. Вы не заслуживаете любви, мне надо свести с вами много счетов — но горе, которое я испытываю оттого, что не увижу вас больше, заставляет меня все забыть. *Бедному богдыхану*[2] *сколько хлопот, я думаю, в Москве — я думаю, он устанет внимать гимну беспрестанно.— А. Керн вам велит сказать, что она бескорыстно радуется вашему благополучию <А. П. Керн:> и любит искренно без затей. <Анна Н. Вульф:>* Прощайте, мои радости, миновавшие и неповторимые. Никогда в жизни никто не заставит меня испытывать такие волнения и ощущения, какие я чувствовала возле вас. Письмо мое доказывает, какое у меня доверие к вам.— Надеюсь поэтому, что вы не станете меня компрометировать и разорвете это письмо; получу ли я на него ответ?—

Господину
Александру П.—
подставному братцу, дабы не скандализовать общество.

Алексей Н. Вульф, Анна Н. Вульф и Пушкин — А. П. Керн

1 сентября 1827 г. Тригорское

<Алексей Н. Вульф:>

Точно, милый мой друг, я очень давно к тебе не писал; главнейшая причина была та, что я надеялся ежедневно ехать в Петербург, но теперь, когдя я вижу, что сия желанная минута не так скоро приближится, я решил тебе снова напомнить обо мне.— Судьбе угодно, чтобы прежде, нежели я вступлю на опасную стезю честолюбия, я бы поклонился праху предков моих, как древние витязи севера, оставляя родину, беседовали на могилах своих отцов — коих в облаках блуждающие тени — прости, мой ангел, я было хотел себя сравнить с Оссиановыми героями и уже был на пути — но сестра, которая, стоя перед зеркалом, взбивала кудри, дала мне заметить, как хорошо у ней [ле<вая>] правая* сторона взбита, и тем прервала полет моей фантазии.

<Анна Н. Вульф:>

Не могу вытерпеть, чтоб не прервать его поэтического рассказа [за кото<рый>] и чтоб не сказать тебе, что ты обязана сему двум тарелкам орехов и яблоков с зернышками, которые он съел для вдохновенья**, et cela par sympathie en voyant dans ma lettre que tu mangeais du pâté et lui mange des noisettes et des pommes etc. etc.*** — *<Алексей Н. Вульф:>* Ты видишь, что сестра не дает.

<Пушкин:>

Анна Петровна, я Вам жалуюсь на Анну Николаевну — она меня не целовала в глаза, как вы изволили приказывать. Adieu, belle dame****.

Весь ваш
Яблочный Пирог.

---

* (ошибся, левая). *(Прим. Ал. Н. Вульфа.)*

** <Алексей Н. Вульф:> кои для меня столь же вкусны, как для тебя пироги яблочные.

*** и это из чувства симпатии, увидев в моем письме, что ты ела пирожные, и он ест орехи и яблоки и проч. и проч. *(фр.)*.

**** Прощайте, прекрасная *(фр.)*.

<*Алексей Н. Вульф:*>

Равно как и Александр Пушкин мне, сказать тебе без дальних околичностей, что я на сих днях еду в Тверь, а после, когда бог поможет, и к Вам, в Питер. Вот тебе покуда несколько слов, приехав в колыбель моей любви, я напишу тебе более. Здравствуй.

1 сентб. 827
Тригорск.

Распечатав пакет, ты найдешь на нем вид Тригорского[1], написанный Александром Сергеевичем Пушкиным. Сохрани для потомства это доказательство обширности *Гения,* знаменитого поэта, обнимающего все изящное.

Пушкин — А. П. Керн

Май 1833 — март 1836 г. Петербург

Прошу Вас, милая Анна Петровна, прислать ко мне Арендта[1], но только не говорите об этом бабушке и дедушке[2].

Е. М. Хитрово — А. П. Керн

1830-е годы. Петербург

Получила вчера утром ваше милое письмо, сударыня, и сама приехала бы к вам, если бы не серьезная болезнь моей дочери. Если бы вы смогли посетить меня завтра в полдень, я была бы вам очень рада

Ел. Хитрова.

Е. М. Хитрово и Пушкин — А. П. Керн

1830-е годы. Петербург

<*Е. М. Хитрово — рукою Пушкина:*>

Дорогая г-жа Керн, у нашей малютки корь, и с нею нельзя видеться; как только моей дочери станет лучше, я приеду вас обнять.

Ел. Хитрова.

<Пушкин:>

У меня такое скверное перо, что госпожа Хитрова не может им пользоваться, и мне выпала удача быть ее секретарем.

Е. М. Хитрово — А. П. Керн

1830-е годы. Петербург

Вот, дорогая моя, письмо от Шереметева — сообщите, что в нем. Я собиралась сама вручить вам его, но мне не везет, начался дождь.

Ел. Хитрова.

Пушкин — А. П. Керн

1830-е годы. Петербург

Вот ответ Шереметева. Желаю, чтобы он был вам благоприятен — г-жа Хитрова сделала все, что могла. Прощайте, прекрасная. Будьте покойны и довольны и верьте моей преданности.

Пушкин — А. П. Керн

(Отрывок)

1830-е годы. Петербург

Раз вы не могли ничего добиться, вы, хорошенькая женщина, то что уж делать мне — ведь я даже и не красивый малый... Все, что могу посоветовать, это снова обратиться к посредничеству...

ПИСЬМА
Н. О. И С. Л. ПУШКИНЫХ К А. П. КЕРН

Н. О. Пушкина — А. П. Керн

сего 16 августа 1827. С. Петербург

Дорогая и добрейшая моя Анета, еще прежде, чем я получила ваше письмо, переданное через Руссильона, я написала вам, дабы поделиться доброй весточкой от Леона[1], по счастью, письмо его дошло до нас раньше газеты с сообщением о военных действиях, которая, получи мы ее раньше, не только бы нас не обрадовала, а ввергла бы в еще большее беспокойство о судьбе моего сына — мы бы даже не знали, жив ли он. Добрая моя Ольга[2] избавила меня от нескольких мучительных часов, в утро того самого дня, когда получено было его письмо,— она, встав пораньше, отправилась на утреннюю прогулку и, зайдя по пути к одной из своих приятельниц, прочитала там реляцию о событиях 5 июля, а вернувшись домой, нашла в себе мужество скрыть от нас свои чувства — только при чтении письма от нашего дорогого Леона она вдруг разразилась рыданиями и призналась, что провела самое страшное утро в своей жизни, сознавая ту опасность, в которой находился нижегородский полк, и ничего не зная о судьбе брата. Пока, на какое-то время, мы успокоились, но ведь война не кончена!

Надеюсь на божественное Провидение, доселе оно хранило дорогого моего Леона, Господь не останется глух к молениям матери, я уповаю на милосердие его. И, быть может, я вскоре буду иметь счастье увидеть сына и прижать к своему сердцу.

Александр изредка пишет два-три слова своей сестре, он сейчас в Михайловском, подле своей «доброй нянюшки», как вы мило ее называете. Давно уже не имею вестей от Прасковьи Александровны. Анета пи-

шет Ольге. У меня нет более времени продолжать беседу с вами, любезная Анета, будьте здоровы и попрежнему любите меня.

Н. О. Пушкина — А. П. Керн

Сего 22 августа 1827. [Ревель]

До чего же я обязана вам, любезнейшая моя, дорогая Анета, за то, что вы так аккуратно отвечаете мне и хлопочете по моему поручению о приискании для нас квартиры; очень мне жаль, но дом, который находится в одном дворе с вашим, никак нам не подходит — я эту квартиру знаю, она уныла как тюрьма, ни одно окно не выходит там на улицу, солнца не бывает никогда. Это тот самый дом, который в прошлом году снимал Неёлов. Нам несколько лет назад его уже предлагали, но мы отказались, потому что он показался нам унылым словно *острог.* Цена то его как раз подходящая. Другая же квартира, что по соседству с вами, слишком для нас дорога. Какая жалость, что не хватает одной комнаты в доме Полторацких. Я полагаю, что барон Дельвиг охотно бы ее нанял, поскольку ни сарай, ни конюшни ему не нужны, и ежели бы ему уступили немного, она бы вполне его устроила, но он и сам в этом убедится; завтра вечером он уезжает и, полагаю, в пятницу будет в Петербурге. Мы остаемся здесь еще до 14-го, а затем я отправлюсь в окрестности Нарвы повидаться с кузинами, а вы пока что, моя милая, добрая Анета, постарайтесь подыскать нам квартиру, не смущаясь тем, что первые две нам не подошли. Мне самой это обидно — я так люблю Фонтанку. Однако хватит на сегодня толковать о квартирах. Позвольте мне немного попенять вам, что вы так мало пишете о себе; вы ничего не говорите, принимаете ли вы ванны, которые должны были принести вам облегчение; что поделываете? С кем встречаетесь? Все так же ли вы ленивы ходить пешком? Как ваши денежные дела? Извольте ответить на все эти вопросы, которые лишь свидетельствуют о том, с каким живейшим интересом я отношусь ко всему, что касается до вашей прелестной особы. Базен[1] все не едет, не может расстаться с вами — его можно понять.

Что сказать о себе, дорогая Анета. Письмо Леона воодушевило меня всего лишь на несколько дней, и я снова в тревоге: война ведь еще не кончена, и потом он ведь ничем не награжден, получи он какое-либо награждение, об этом было бы в приказах, нам об этом написали бы из Петербурга, и мне незачем просить вас постараться добыть их; а потом, бог знает, когда еще мы узнаем о нем что-либо, он так далеко, он подвергается таким опасностям, тревоги моей не выразить словами, я пытаюсь отвлекаться, но тщетно. Я писала ему через Оппермана, мы послали ему денег, но получит он их не ранее как через месяц, а он, быть может, в них сейчас нуждается; все это терзает меня, и я никогда не кончу, если дальше стану писать обо всем, что мучает меня, посему предпочитаю кончить свои йеремиады, пойду сейчас прихорошусь. Нынче день коронации, и я еду на бал в дворянское собрание; будет музыка и иллюминация в саду, все веселятся, и я не отстаю от других, мне просто более грустно на душе — только всего и разницы. Прощайте! Шлю тысячу нежных приветов всем вашим. Целую вас от всего сердца. Ольга сейчас одевается к балу, я думаю, завтра она напишет вам через баронессу [2]. Мой муж целует ваши ручки. Прасковья Александровна перестала писать мне с тех пор, как Александр подле нее. Что поделывает Netty [3]? Обнимаю мою племянницу. Мои Фурманы [4] в деревне. Анна Н. написала мне лишь один раз, можно подумать, что она на Камчатке, а не в девяти верстах от Петербурга...

Н. О. Пушкина — А. П. Керн

Без даты. [Петербург]

Что вы поделываете, любезная Анна Петровна, как ваше здоровье, а также здоровье вашего ребенка [1]? Нынче я счастлива, только что получила письмо от Леона, хотела утром же идти к вам пешком, да страшная грязь на улице. Буду ли я иметь удовольствие видеть вас у себя? От всего сердца обнимаю вас и сестру вашу.

Н. П.

Н. О. Пушкина — А. П. Керн

Без даты. [Петербург]

Тысяча благодарностей, любезная Анна Петровна, за вашу милую предупредительность. Черную шаль я оставлю у себя только на несколько часов, мне нужно сделать визит соболезнования. Надеюсь иметь удовольствие еще нынче вас обнять — вы ведь придете к нам обедать, неправда ли?

Н. О. Пушкина — А. П. Керн

Без даты. [Петербург]

Придете ли вы нынче пообедать к нам, любезная моя *Анна Петровна?* Надеюсь, вы доставите мне это удовольствие. Ваша тетушка[1] едет навестить свою кузину Бегичеву[2], а вечером все мы будем у Дельвигов, где Леон обедает. *Прасковья Александровна* пообещала тоже быть там. Не желаете ли к нам присоединиться?

Н. О. Пушкина — А. П. Керн

16 сентября 1835. [Павловск]

Лишь в эту субботу имела я удовольствие получить письмо ваше, дорогая Анна Петровна. Должна ли я говорить, как тронута я вашим вниманием к моей особе. Вы угадали, я безмерно счастлива оказаться вместе с моей дочерью и ее ребенком[1]. Отдаю им все свое время, потому и не сообщила вам до сих пор о ее приезде, со дня на день откладывая письмо к вам, хотя не сомневалась в ваших дружеских чувствах и в том, что вам доставит удовольствие свидеться с ней. Что до собственного моего здоровья, то лучше оно не стало, я все такая же желтая и худая и еще больше слаба, чем прежде. Мы не собираемся покидать Павловска, стоит такая прекрасная погода. Надеюсь, что вы выполните свое обещание приехать потеснить <или обнять?> нас, ждем вас с нетерпением вкупе с вашим <неразб.>.

Н. П.

Приписка С. Л. Пушкина:

Присоединяюсь к просьбе жены прибыть в Павловск в сопровождении, как вы о том пишете, барона Сердобина[2] и вашего кузена<?>. Почтительно целую ваши ручки.

С. Л. Пушкин — А. П. Керн

21 августа 1838. Михайловское.

Дорогая и добрая Анна Петровна! Вы мне перестали писать!.. Должно ли мне заключить из этого, что хотя дороги вы мне по-прежнему, вы уже не так добры ко мне, как прежде, а между тем ваши письма были для меня больше, чем радостью, и нынешнее отсутствие их больше, чем огорчает меня. Вы же хорошо понимаете, что одно неотделимо от другого. Я одинок и печален более, чем когда-либо. Я не могу долее выносить своего сиротливого существования, оно непереносимо. Чтобы я мог выдержать эту жизнь, мне необходимы старинная подруга, доброе слово, дружеский взгляд. С какой благодарностью вспоминаю я о предложении, коим вы однажды удостоили меня, посулив в случае если я найму квартиру неподалеку от вас, время от времени заходить ко мне, дабы разделять мое одиночество. По возвращении в Петербург, которое, надеюсь, уже не за горами, я, в зависимости от того, как вы примете меня, решу, что мне делать дальше. Дорогая Анна Петровна, я еще не влюблен в вас, но именно с вами хотелось бы мне прожить оставшиеся мне еще последние печальные дни. Вы примирили бы меня с этой жизнью, которая причиняет мне одни страдания и продлить которую, как бы ни был мал отпущенный мне еще срок, я не испытываю ни малейшей охоты. Вот стихи Бенедиктова, которые подходят к тому, что я пишу вам о своем положении. Мне очень они понравились. Прочитайте их и скажите, что вы о них думаете.

Я не люблю тебя; но как бы я желал
Всегда с тобою быть, с тобою жизнью слиться,
С тобою пить ее фиал,
С тобой от мира отделиться!
И между тем как рыцарь наших дней
Лепечет с легкостью и радостью волшебной
Воздушное *люблю* красавице бездушной,

Как сладко было б мне, склонясь к главе твоей
И руку сжав твою рукою воспаленной
И взор твой обратив отрадный на себя,
Тебе шептать: мой друг бесценный,
Мой милый друг, *я не люблю тебя.*

Я кажусь вам, должно быть, очень смешным, что пишу вам все это в моем возрасте, но моя ли вина, что сердце мое осталось молодо. Неужто Всевышний покарает меня за то, что я не могу жить без любви... Другое дело быть любимым, это для меня уже невозможно, это я понимаю, но дружбы, капельку дружбы! Не отказывайте же мне в ней, вы все, которых я боготворю!

Прощайте, дорогая и добрая Анна Петровна, почтительно и нежно целую ручки ваши. Не показывайте этого письма вашим кузинам, если вы видаетесь с ними, как я это предполагаю.

С. Л. Пушкин — А. П. Керн

25 июня 1845. Санкт-Петербург

Дорогая и любезнейшая Анна Петровна! Поскольку дочь ваша[1] поделилась со мной своим желанием послать вам зеленого чая, который вы иногда мешаете с тем, который обычно пьете, я испросил у нее позволения сделать это за нее и умоляю принять от меня два фунта оного чая.

Жизненный мой опыт говорит мне, что *маленькие подарки поддерживают дружбу.* В дружбе, которой дарите меня вы, так много доброты и благорасположения, что она и не нуждается в них, но вы всегда так снисходительно принимаете все, что я осмеливаюсь вам предлагать. Povero è il don, Ricco è il Desir*, говорят итальянцы. Думайте же не о стоимости сего подношения, а только о моем желании выразить вам посредством его неизменную свою привязанность к вам. Передайте тысячу приветов г-ну Виноградскому. Тысячу раз нежно и почтительно целую ручки ваши.

С. Пушкин

---

* Здесь: беден подарок да велико чувство *(ит.)*.

С. Л. Пушкин — А. П. Керн

21 сентября [1845]

Дорогая, любезнейшая моя Анна Петровна! Благодарю вас за бесценное любезное письмо ваше, переданное через вашу дочь. Я глубоко тронут вниманием и приязнью, кои вы в нем мне изъявляете. Вы пишете, что никогда меня не забудете. Но вы-то разве не уверены, вернее, разве можете сомневаться в том, что являетесь для меня предметом самых благостных воспоминаний и неизменно нежных чувств? Ничего не могу сообщить вам на этот раз об Оленьке. Уже больше месяца не имею от нее никаких известий. Поистине вещь небывалая! Ибо она писала ко мне не менее трех раз в месяц. В последнем своем письме она сетует, что давно не имеет от меня никаких известий, что весьма меня удивляет. С тех пор я самолично стал относить свои письма на почту, но все так же безуспешно; и это наводит меня на тревожную мысль, уж не хворает ли она сама либо дети[1]. Она спрашивала у меня ваш адрес, я ей его тотчас же послал. Не писала ли она к вам? Соблаговолите сообщить мне об этом. Время от времени у меня все же появляется маленький луч надежды, что она сама приедет навестить меня, и мысль эта помогает переносить и ее молчание, и мое одиночество, которое становится почти непереносимым. Каким я чувствую себя несчастным, что не могу быть вам полезным касательно графа Шереметева[2] — я незнаком ни с ним, ни с кем-либо из его друзей, ежели только таковые существуют, ибо он ведет жизнь крайне уединенную. Никто ничего о нем не слышал, неизвестно, где он прозябает, ибо жизнью это, по-моему, не назовешь. Зачем не могу я доказать вам неизменную свою дружбу, как рад был бы я содействовать всему, что могло бы послужить к вашему утешению и способствовать вашему благополучию! Прощайте! Целую прелестные ручки ваши и прошу передать тысячу добрых слов г-ну Виноградскому.

P.S. Если бы я был графом Шереметевым!.. Надеюсь, мне нет нужды говорить вам, что бы я сделал, будь я на его месте. Но на беду свою я не более как преданный вам

С. Пушкин.

С. Л. Пушкин — А. П. Керн.

25 декабря [1845]

Тысяча и тысяча благодарностей, любезнейшая Анна Петровна, за бесценное письмо ваше, переданное мне через м-ль Керн. Одновременно примите горячие поздравления по случаю наступающего нового года, равно как мои сердечные пожелания, чтобы оный год, так же как и все последующие, принес вам счастье и благоденствие. Я крайне тронут, что вы вспомнили обо мне, равно как и г-жа Захарова, и очень признателен вам обеим за то, что вам угодно было проявить ко мне ваше внимание. Вы в скором времени, должно быть, получите письмо от Ольги, в ответ на ваше, от которого она в восторге. Она пишет, что адресует его на мое имя, с тем, чтобы я переслал его вам, дабы быть уверенной, что оно дойдет до вас без промедления.

Пишу вам в день Рождества Христова, чтобы начать столь торжественный праздник с приятного для себя занятия. Да будет день этот для вас радостным, как можно более радостным! И себе самому желаю, чтобы принес он мне самую большую радость на свете, и потому с утра отправляюсь к вашей уважаемой дочери, чтобы принести ей свои поздравления. Надеюсь, что вы не рассердитесь на эти слова — это не пошлая фраза, не пустой комплимент, это чистая правда — для меня поистине праздник, когда мне выпадает счастье повидать ее.

Прошу передать г-ну Виноградскому мои поздравления с новым годом. Да исполнятся все желания его. Нежно и почтительно целую ручки ваши и прошу, в случае, если вам доведется повстречаться с г-жой Захаровой, снова напомнить ей обо мне.

Прощайте! Будьте счастливы так, как я вам того желаю, и верьте в неизменные чувства мои к вам.

Всегда ваш С. Пушкин.

С. Л. Пушкин — А. П. Керн

5 июня 1846. Санкт-Петербург

Тысяча благодарностей, любезнейшая Анна Петровна, за доброе ваше письмо от 5 мая; я имел удоволь-

ствие получить его почти через месяц и отвечаю обратной почтой 5-го июня. Мадемуазель Керн передала мне его в самый день его получения. Вы просите сообщить вам самые верные сведения о состоянии ее здоровья. Не стану скрывать от вас, что нахожу ее весьма слабенькой и требующей тщательного ухода. Г-н Фробен, лекарь весьма искусный, это тот самый, что так удачно врачевал ее во время прошлогодней ее болезни, навещает ее каждый день и, как мне кажется, лечит со всем необходимым старанием и настойчивостью. Он питает самые добрые надежды на будущее. Это тот самый врач, что пользует баронессу, и дружески принят у Евпраксии Николаевны, Бориса Александровича[1] и Шенигов[2]. Воспитывался он и учился частично в Дерптском университете, частично в Германии. Могу также удостоверить, что это человек бескорыстный и вашу уважаемую дочь лечит с любовью. Она сильно похудела и побледнела; впрочем, она каждый день выходит из дома, дышит воздухом, который приносит ей большую пользу, пьет воды, порекомендованные ей врачом, и принимает лекарства, строго следуя его предписаниям. На все можно надеяться, когда молод! По-видимому, ее поездка в Гельсингфорс не окончательно еще решена. Не думаю, чтобы близость к морю могла причинить ей какой-либо вред. Я знавал одного барона Корфа, которому в качестве режима лечения было предписано пребывание на берегу Ревельского залива, после чего он очень хорошо поправился. Пусть успокоит вас все то, что я написал вам относительно состояния м-ль Катерины. Я видел ее и вчера и третьего дня. Сегодня, как мне известно, она собирается провести день на даче г-на Сухарева, у м-ль Анненковой, внучки Федора Марковича, очаровательной женщины, с которой она связана дружбой[3].

Теперь, когда я ответил на главный вопрос вашего письма, который, разумеется, более всего вас занимает, скажу вам несколько слов о собственном моем здоровье, которое оставляет желать лучшего, но на которое, в сущности говоря, мне не приходится особенно жаловаться. Я страдаю астмой, которая лишь утомляет меня, когда мне приходится подниматься по высоким лестницам; но гораздо более беспокоит меня здоровье Ольги, она проделала весьма серьезную болезнь. Вследствие запущенной простуды она получила воспа-

ление в легких и вот уже не то три, не то четыре месяца никак не может поправиться. Ей запретили говорить, она пьет ослиное молоко и слаба сверх всякой меры. Вы ведь знаете, как она уже хорошо себя чувствовала. На этих днях я получил от нее письмо на шести страницах, чтобы успокоить меня, но оно меня не успокаивает. Вот почему я подумываю о том, не съездить ли к ней в Варшаву, если это не отнимет больше месяца, хотя я и не очень рассчитываю на свои силы.

Леон, как мне кажется, с Федором Марковичем незнаком. Он никогда со мной о нем не говорил, а сам я, дорогая и любезная моя Анна Петровна, никогда не состоял с ним в переписке и уверен, что письмо от меня не произведет на него никакого действия. Не попробуете ли вы написать ему сами? Простите мне эту откровенность. В первом же своем письме к Леону я сообщу ему все то, что вы написали мне о вашем дядюшке, и не премину тотчас же вам об этом отписать. Тысячу раз целую ваши ручки и прошу передать привет г-ну Виноградскому. И прошу вас, верьте в мои неизменно нежные чувства к вам.

С. Л. Пушкин — А. П. Керн

8 марта 1847. Санкт-Петербург

Дорогая и любезнейшая моя Анна Петровна! Получив от уважаемой вашей дочери драгоценное для меня известие, что вы помните меня и выражаете желание узнать о моих делах, беру на себя смелость написать вам и, прежде всего, умоляю простить за то, что не писал так долго. Единственное, в чем могу вас уверить положа руку на сердце, что все это время я не переставал думать о вас с чувством неизменной дружбы и глубочайшей признательности за дружество, которым вы меня всегда дарили. Как вам, вероятно, известно, я провел лето в Польше, у Ольги, которая была тяжело больна вследствие воспаления в легких. Получив письмо от своего зятя с несколькими приписанными ее рукой строками, я понял, что она чувствует себя хуже, чем пишет об этом. Я тотчас же отправился почтовой каретой и через четыре дня был уже подле нее. Радость, которую она испытала, неожиданно увидев меня, немало способствовала ее скорейшему выздоровле-

нию. Ей с каждым днем становилось все лучше, и я провел три месяца вместе со всем семейством на загородной даче, которую она наняла в трех верстах от города и куда мы время от времени выезжали.

Сейчас она пишет мне, что здоровье ее уже пошло на поправку, но оно еще не таково, как бы я того желал. Мы часто там говорили о вас, и, поверьте, она сохраняет о вашей дружбе самые нежные воспоминания. Когда я вернулся сюда, у меня было несколько приступов астмы, которой я всегда был подвержен и которая с недавних пор еще усилилась. И в довершение к этому я испытывал мучительную тревогу в связи с тяжелой болезнью вашей дочери и не раз, попрощавшись с ней вечером, наутро со страхом посылал к баронессе узнать о ее состоянии. Благодарение небесам, Провидение хранит ее — а набожность ее и покорность воле Всевышнего поистине беспримерны; нынче здоровье ее лучше, чем когда-либо. Все, кто любят ее, другими словами, все, кто ее знают, не могут нарадоваться на теперешнее ее состояние. Простите меня, дорогая Анна Петровна, что я отношу и себя к числу тех, кто нежно любит ее, и да будет позволено мне признаться в своих чувствах наравне с теми, кого я считаю наиболее себе близкими.

Нежно и почтительно целую руки ваши. Умоляю вас не лишать меня вашей приязни и благосклонности. Что до моей привязанности к вам, то она принадлежит вам навечно. Тысячу приветов г-ну Виноградскому. Прошу считать меня до конца дней моих глубоко преданным вам Сергеем Пушкиным.

ПИСЬМА
А. А. И С. М. ДЕЛЬВИГ К А. П. КЕРН

А. А. Дельвиг и С. М. Дельвиг — А. П. Керн

1829—1830 годы. Петербург

<А. А. Дельвиг:>

Милая жена, трудно давать советы. Предложения Петра Марковича могут удасться и нет[1]. И в том и в другом случае вы будете раскаиваться, как бы вы ни поступили. Повинуйтесь сердцу. Это лучший совет мой. Сонечку я нынче не отпускаю к вам. Мне неможется; притом я боюсь, чтобы в ее положении она не получила кашля[2]. Будьте здоровы.

<С. М. Дельвиг:>

Дорогой друг! Ежели ты согласишься на предложение Петра Марковича, то муж поможет тебе написать вернейшее письмо. Я имела неосторожность сказать при нем, что у Ольги коклюш, и он теперь боится, никак не соглашается меня пускать к тебе. Тебе бы написать отцу, что у тебя нет ни ума, ни времени, ни здоровья, чтобы отвечать скоро. Эту спекуляцию надобно обдумать; тут и в самом деле надобно более думать, нежели чтобы отвечать на то, что людей не на что отправлять и что ты остаешься без человека (кажется, на это он не имеет ни ума, ни времени отвечать?). Мне очень грустно, что я не могу у тебя быть.

Между тем вот тебе известие: за твой перевод дают 300 рублей[3]. Согласна ли ты на это? Ежели согласна, то мы сыщем писаря — ведь надобно переписать все это. Завтра, как поведут детей[4], я велю зайти к тебе, и ты напишешь мне ответ. А я все-таки узнаю, что возьмут за переписку. Надеюсь, что сюда не так еще скоро

приедет твой о т е ц. А (неразб.) твои не могут к нему попасть. Целую тебя, мой ангел. Будь покойна. Нечего делать, коли бог дал такого отца.

С. М. Дельвиг и О. М. Сомов — А. П. Керн

1829—1830 годы. Петербург

<С. М. Дельвиг:>

Надеюсь, ангел мой, что ты не сердишься на меня за то, что я не была у тебя вчера, — ты ведь знаешь, какое для меня лишение не видеть тебя, так что вини здесь моего мужа, дурную погоду, в общем, кого тебе вздумается, только не меня.

Завтра я непременно должна обедать у Александры Дмитриевны, но вечер приеду провести с тобой; я предупрежу ее, что к ней приеду рано, чтобы так же рано уехать. Она рано обедает. Господин Сомов предполагает также быть у тебя, не передаю тебе от него поклонов, ибо он сам хочет приписать несколько слов к моей записке. Лангер, который сейчас здесь, просит сказать, что явится к тебе, когда будет более презентабелен, т. е. когда снимет свой парик и закажет новое платье. Еще у меня Максимович[1], который приехал проститься. Мне все эти дни очень скучно, не знаю, куда деваться. Благодарю тебя, мой ангел, за р е з е д у — ты мне этим доставила большое удовольствие.

Прости, моя радость, Христос с тобой. Целую вас с Ольгой крепко и нежно.

<О. М. Сомов:>

Сомов припадает к стопам ея превосходительства и просит ее позволить ему приехать к безмену*, чем Сомов будет совершенно счастлив

<С. М. Дельвиг:>

Не правда ли, что он очень милый человек? Муж тебе очень кланяется.

---

* Целование рук *(фр.)*.

ПИСЬМА
А. П. КЕРН К А. В. НИКИТЕНКО
И А. В. НИКИТЕНКО К А. П. КЕРН

А. П. Керн — А. В. Никитенко

24 июня 1827 г. Петербург

Посылаю вам отрывки ваши[1] и — если позволите — скажу вам мнение об оных и чувства, возбужденные сим чтением: я нахожу, что ваш Герой — не влюблен! — что он много умствует и что после холодного, продолжительного рассуждения как бы не у места несколько пламенных и страстных выражений. Я бы думала заставить его (относясь к ней же, может быть), говорить все это прежде, чем он полюбил ее всеми способностями души; но после — не годится. Глубокое чувство — не многоречиво. Вот мое мнение; не подосадуйте за смелость, с которою я здесь его изложила. Мне не хотелось скрыть его от вас, и, признаюсь, подумала, что оно не будет для вас бесполезно. Вы желаете сделать впечатление на чувства и чтоб изображаемые вами были найдены естественны и сильны? — заставьте любить вашего Героя,— он не любит, он холоден как лед! — Поверьте, что я не ошибаюсь, и чтение, и опытность — позволяют мне судить о сей статье.

Простите еще раз,— отвечайте, чтоб я видела, что мои замечания не произвели над вами неприятного впечатления и что вы не понегодуете на меня за оные.

Вам преданная и готовая к услугам

А. Керн.

<А. В. Никитенко> 24 июня 1827 г.

/На обороте/: NB. Пришлите мне мои листки[2], если вы их прочли. Александру Васильевичу Никитенке.

А. В. Никитенко — А. П. Керн

27 июня 1827 г. Петербург

1827. Июня 27.

Милостивая государыня, Анна Петровна!

Благодарю Вас за ту откровенность, с которою Вы изложили свои мысли о моих отрывках. Я принадлежу к роду людей, коих характер не вдруг можно себе изъяснить, хотя думаю, что изъяснявши его раз, не будут делать дополнений, не будут стараться изгладить из памяти узнанное. Но мне приятно, что Вы успели получить об нем столь хорошее мнение, что не думали оскорбить меня, осуждая во мне автора. Вы не ошиблись.

Позвольте и мне с такою же искренностию сказать несколько слов не в защиту себя, но для того, чтобы изъяснить несколько причину впечатления, произведенного в Вас моим опытом. Мне кажется, оная заключается, во-первых, в том, что опыт сей содержит в себе частицу, в коей недостаток связи с другими препятствует ей быть столько ясною и определительною, сколько должно. Мне бы надобно было прежде присоединить к ней другие, и тогда Вам представить. Во-вторых, может быть, наши мысли о некоторых предметах различны. Для сего я должен сказать Вам несколько слов о себе и о тех понятиях, на коих я основываю мою деятельность умственную и нравственную. И мне приятно думать, что различие сих понятий с Вашими заключается не в ином чем, как только в разных точках зрения, с которых смотрим мы на предмет, равно занимающий нас, равно занимающий всех, отделенных жребием души от толпы.— Я добр и нежен в сердце моем. *Нежен,* — скажете Вы, может быть, с улыбкой удивления? Да, точно так! Но сие тонкое чувство слишком глубоко скрыто в моем сердце, оно слишком дорого для меня, слишком разборчиво, чтобы быть обыкновенным явлением в моей жизни.

Господствующая страсть, занимающая все силы души моей, есть любовь к человечеству, соединенная с пламенным стремлением проникнуть в тайну его блага и его злополучий. Я испытал бурю страстей: они были сильны и глубоки, но смею сказать, что ни одна из них не оставила на сердце моем следа, которого бы я должен быть стыдиться,— они могли погубить меня,

но не унизить. Из хаоса их, из хаоса несчастий, которые не были ни обыкновенны, ни мечтательны, я изнес душу мою в первобытной ее чистоте, но мужественную, потерявшую вкус к обыкновенным удовольствиям жизни, готовую отвергнуть всякое счастие, не соединенное со славою доблести. Вот, может быть, почему люди, имевшие ко мне соотношения, всегда почти располагались ко мне двояким образом: одни ощущали ко мне любовь с некоторым родом томительного страха — как они сами говорили.— Чистота моих намерений, которую обыкновенно узнают люди в других по какому-то инстинкту,— производила первую; то, чего они не могли понять, рождало другой. Другие, имевшие случай узнать меня короче, любили меня просто и тихо и говорили, что это для них хорошо. К третьему разряду можно бы причислить врагов, но я почти их не имел — и за что сделались бы они моими врагами, когда я без всякого педантского великодушия в минуту их злобы всегда готов спросить у них спокойно: «не нужен ли я для них?» Я имел еще гонителей; но это были слепые орудия судьбы.

После сего Вам ясно будет, что, готовясь действовать в кругу людей словом и делом и начиная хоть с первого, я совсем не имею в виду растрогать чувствительность или занять сердце их игрою их собственных чувствований; но направить их, если можно, к лучшему, то есть к простоте и благоразумнейшему понятию о их собственном благе. Я смотрю более на то, что совершается и зреет в недрах нашего века, нежели на то, что в особенности движет какое-нибудь из сердец, им увлекаемых. Выражение любви в моем отрывке кажется Вам холодно; оно и не должно быть так пламенно, чтобы могло сжечь все прочие чувствования. Следуя духу писателей, достойных своей славы и благодарности людей, также собственному моему убеждению, я желаю писать о человеке и для человека. Любовник, друг, враг, счастливый и несчастный должны быть у меня только, так сказать, средствами, чтобы сделать что-нибудь полезное для первого. И бывает ли, когда человек только друг, только любовник, враг, счастлив или несчастлив? Этого нет в природе! Наши нужды и отношения, наши должности слишком многосложны, чтобы мы могли, чтобы мы смели заключить себя в одном понятии или в одном чувстве. Одна добродетель имеет силу их примирять, сосредоточи-

вать и приводить в гармонию — и самое лучшее для человека есть то, чтобы был чаще добродетельным. Посему любовь у меня не должна составлять главного, единственного предмета; она не должна поглотить всего сердца — моего Героя, но занять только большую его часть — большую, ибо сие чувство в самом деле сильнее многих. В век любви рыцарь говорил своей красавице: «Я люблю тебя больше моей славы и меньше чести!» Это потому, что человек с возвышенною душою почитает любовь за добродетель, но не за такую, в которой бы оканчивались все его должности. Поверьте, что если мужчина любит более всего, то он или не достоин своего предмета, или любит воображением, а не сердцем. Самая любовь делается для него средством к тому, чтобы возвысить себя героизмом доблести. Здесь не любовь производит великое; но великое, уже рожденное, уже созревшее в душе благородной, объемлется с любовью и делается могущественным союзом сил. Вы весьма тонко и справедливо заметили ошибку Руссо в характере Юлии[1]; мне кажется, что он сделал ее также и в характере Сен-Пре. Он малодушен; он никогда не в состоянии был бы сказать своей любезной, как сказал один римлянин: «Не плачь, мой друг! Я расстаюсь с тобой, чтобы пасть за отечество». Бомстон учит его, как школьника, быть несколько добродетельным. Гомер в этом случае лучше Жан-Жака знал человеческое сердце; у него Андромаха видит, знает, любит одного Гектора; это естественно: для женщины предмет, ее достойный, не только любовник: он для нее все — он составляет для нее целый мир. Но Гектор не может так чувствовать: ибо Троя стоит на краю пропасти и Ахилл не дремлет. Любовник — только любовник и беспрестанно любовник должен быть несносен для своей любезной.

Еще: мой Герой умствует — говорите вы. — Как же быть? Он должен высказать часть понятий и чувств века. Лишь бы он не завирался — моя героиня хоть из любви к нему будет слушать его речи. Я не желаю, чтобы, прочтя мою книгу, сказали только: «Как она приятна! Автор ее должен быть любезный человек». Но чтобы, несколько задумавшись над ней, сказали: «Она и полезна — автор ее желает нам блага. Он должен быть добрый человек».

Вот Вам часть моей исповеди. Когда Вы истребите письмо сие, о чем усердно Вас прошу, то сохраните,

однако ж, в памяти некоторые черты из оного. Лета пролетят. Вы услышите обо мне, если не забудете моего имени, сравните сии черты с подлинными и скажите: «Это тот самый человек, которым я знала его прежде!»

Вы желаете, чтобы записки Ваши не произвели во мне неприятных впечатлений; судя по тому, сколь много я уважаю Ваши мнения, они должны бы родить их. Но из письма сего Вы видите то, что несколько меня утешает,— и я думаю, что если бы целое было пред Вами точно так, как оно есть в уме моем, то и Вы не отказали бы мне в своем одобрении. Истинно прискорбно было бы для меня то, если бы Вы за ошибки автора осудили самого человека; но этого я не страшусь: ибо уверен, что Ваши понятия о людях и вещах слишком возвышенны, слишком обширны, чтобы могли определить приговор столь односторонний.— Имевши счастие познакомиться с Вами, я со всею пылкостью, свойственною духу моему, признал в душе Вашей то, что возбуждает уважение, и в положении Вашем то, что возбуждает участие,— это признание, особенно, смею сказать, в моем характере, не таково, чтобы мелкие расчеты самолюбия или, лучше сказать, эгоизма могли его опровергнуть. Браните мои сочинения — а я всегда скажу: «Она думает о такой-то вещи так, а я иначе: что нужды? Смешна нетерпимость мнений между людьми, одинаково любящими свободу ума и сердца».

Возвращаю Вам Ваши записки, хотя приятнее бы было иметь их у себя. Они прекрасны по душе, которая в них выражается, по самим выражениям, простым, но милым и трогательным. Верьте этим словам. Они справедливы. Имёя перед глазами моими благородный пример искренности, я из соревнования не должен уступить Вам пальму в добродетели.

С истинным и совершенным почтением честь имею быть:

Ваш покорнейший слуга A. N.

P. S. Извините, что ответ мой и записки Ваши доставлены Вам мною не так скоро, как бы надлежало. В пятницу совсем неожиданно пригласили меня одни из моих знакомых на дачу, я думал возвратиться скоро — но меня не пустили, и я вчера только, и довольно поздно, приехал домой.

ПИСЬМА
М. И. ГЛИНКИ К А. П. КЕРН
(МАРКОВОЙ-ВИНОГРАДСКОЙ)

М. И. Глинка — А. П. Керн

10 июля 1840 г. Петербург

Среда, 10 июля

Я в отчаянии, сударыня, что не могу явиться по вашему любезному приглашению: не предвидел его и назначил сегодня вечером встречу некоторым лицам, которую мне невозможно отложить. Завтра между одиннадцатью и полуднем я предстану перед вами и буду к вашим услугам.

Прошу вас передать вашей дочери прилагаемые книги от моего имени, как скромный подарок на память.

Благоволите принять уверение в моем совершенном уважении и (если вы позволите) в искренней дружбе вашего преданного слуги

М. Глинки.

М. И. Глинка — А. П. Керн

17 августа 1840 г. Смоленск

Смоленск, 17 августа.

Вы можете представить себе, как тягостно мне было, расставшись с вами, продолжать мое путешествие. Когда ваша карета скрылась от моих взоров, я почувствовал себя как бы осиротелым и сел в коляску в самом грустном и мрачном расположении духа. Лошади тащили шагом по раскаленному песку, и на каждой станции меня держали по три или четыре часа, так что едва уже ввечеру я добрался до Порхова, сделав менее 60 верст в день. От Порхова же зато решился ехать день и ночь и, приехав в Смоленск днем ранее предположенного, хотя и чувствую усталость, однако же, слава богу, здоров и крепок.

Как вы поживаете в Тригорске? Сообщите мне подробное описание вашего там пребывания, в особенно-

сти о месте, где покоится прах Пушкина. Душевно сожалею, что обязанности к матушке не позволили мне вам сопутствовать.

Теперь только август, а я уже терпел от холода и м о р о з а. Итак, не оставайтесь долго в Псковской губернии, а поскорей в Малороссию, иначе пострадаете дорогой.

Вы у меня требовали маршрута, теперь сообщу вам его: из Тригорска вам надобно отправиться на Великие Луки, от этого города до Витебска около 160 верст. В Витебске отдохните сутки, потом в Могилеве, где рекомендую то же сделать, из Могилева в Чернигов, а там уже сами знаете, как добраться до Лубен.

Прикажите в Тригорске и во всяком городе, где будете останавливаться, тщательно осматривать экипаж.

Извините, что я наскучаю вам этими наставлениями, но полагаю, что это будет не излишнее, в особенности принимая в соображение неопытность вашего человека.

Сегодня утром я отправляюсь далее, завтра надеюсь быть у матушки — и постараюсь преодолеть себя, чтобы быть ей в утешение. Она с нетерпением меня ожидает. Здоровье мое не пострадало от мучительного пути, и я надеюсь, что бог подкрепит меня в моем намерении успокоить редкую мать, осыпавшую меня бесчисленными благодеяниями. Вы также, надеюсь, будете ангелом-хранителем для вашей дочери и, наблюдая за нею со свойственной вам проницательностию, изгладите и последние остатки ее недугов. Поверяя себя в ваше дружеское расположение, остаюсь с чувством искренней дружбы и признательности вашим преданнейшим слугой.

М. Глинка.

Милого Сашу[1] целую.

М. И. Глинка — А. П. Керн

30 января 1841 г. Петербург

30 декабря[1].

Если бы я мог следовать влечению своего сердца, то, конечно, я предупредил бы вас, сударыня, уже с давних пор, но, хотя вы и утверждаете, ч т о н е п и-

шут потому, что не хотят писать, я могу вас уверить, что мое нравственное состояние таково, что я ни в какой степени не владею собою, ибо мои нервные боли поразили главным образом голову и сердце. Имейте же, умоляю вас, немножко снисхожденья к тому, кого вы некогда считали другом, и примите доброжелательно мои поздравления с новым годом и горячие пожелания вам счастья.

Известие о смерти г. Керн[2] огорчило меня тем сильнее, что я могу живо себе представить горе, причиненное вашей дочери. Большое счастье, что вы были там, чтобы осушить ее слезы и разделить с нею ее печаль,— отсутствующие лишены этого сладкого утешения, их нет в те минуты, когда присутствие их было бы хоть чем-нибудь полезно, а письменные утешения приходят обыкновенно слишком поздно.

Я очень досадую, сударыня, что мог доставить вам неудовольствие выражениями, которые вы находите странными,— мне нет необходимости распространяться, чтобы сказать вам, что беспокойство и упадок духа не располагают к логической последовательности и что больное сердце говорит языком странным для того, кто имеет счастье жить благополучно и спокойно. Так и со мною. В деревне я опасно захворал, и эта болезнь перевернула все — я не могу ничего предпринять, ни строить какие-либо предположения относительно будущего — моя странная и капризная болезнь всегда дает себя знать и способна разрушить все в любой момент. Таким образом, все эти фразы, которые вы находите необъяснимыми, являются в действительности лишь выражением того же самого беспокойства относительно отсутствующего лица, горести которого всегда представляются большими, чем они являются, может быть, на деле. Пребывание в деревне является для меня столь антипатичным, что я находил бы весьма естественным, если бы и другие держались по этому поводу того же мнения — родные и соседи (если они имеются) с их наклонностью к сплетням и коварным пересудам превратили бы рай в настоящий ад.

Несмотря на это отвращение к деревне, я благословил бы небо, если бы оно даровало мне счастье провести несколько дней возле вас,— и если вы еще сохраня-

ете ко мне остаток былой дружбы, это время не так отдалено, как вы изволите предполагать.

Мое путешествие с сестрой еще не решено — и я слишком мало им интересуюсь, чтобы настаивать на нем перед матерью; в случае, однако, если оно состоится, оно продлится не более нескольких месяцев и по возвращении я с радостью отправляюсь в Малороссию, если это будет вам приятно.

Прошу вас извинить, что обеспокоил вас по поводу денег: я предполагал, что вы разбогатели, если же еще нет, я никоим образом не стеснен.

Примите, сударыня, уверение в моем совершенном уважении и (если вы еще позволяете) в искренней дружбе вашего преданнейшего слуги

М. Глинки.

Поцелуйте нежно вашего ангелочка[3] от меня.

Простите недостаток связности и неразборчивость этого письма, я очень страдаю.

М. И. Глинка — А. П. Керн

1 марта 1841 г. Петербург

1 марта 1841.

Прошу вас верить, сударыня, что, несмотря на мое молчание, моя привязанность к вам неизменна и что мое сердце неспособно забыть тех, кто был мне когда-либо дорог и от кого оно получило столько доказательств дружбы! Однообразное и в то же время утомительное существование не позволяет мне писать вам так часто, как я хотел бы. И что я мог бы вам сказать? Повествование о постоянной грусти, которую я непрерывно испытываю, о жизни, лишенной поэзии, непригодно для того, чтобы развлечь вас в вашем одиночестве. С тех пор как вы покинули Петербург, небо не даровало мне ни одного дня счастья. И хотя я окружен друзьями и почитателями, мое сердце не имеет прибежища, и напрасно вздыхает оно о прекрасных днях, которые не могут более возвратиться, здесь по крайней мере.

Я истинно счастлив взяться за выполнение дела, о котором идет речь[1]; мне, лишенному вашего утеши-

тельного общества, приятно быть вам сколько-нибудь полезным.

Так как все дела у нас совершаются по форме, спешу сообщить вам форму прошения. Оно должно быть написано, как и все просьбы на высочайшее имя, на двухрублевых листах, одним словом, по приложенному образцу. Вы, без сомнения, найдете кого-нибудь, кто вам все это устроит, тогда отошлите просьбу в инспекторский департамент военного министерства и с тою же почтою известите меня о том, чтобы я имел время хлопотать. Дело зависит от Клейнмихеля[2], и к нему у меня есть верный путь. Не думаю, чтобы ваше присутствие было необходимо (хотя был бы счастливейший человек, если бы вашим присутствием вы оживили мрачную для меня столицу),— если же что непредвиденное случится, не премину вас уведомить. Во всяком случае, поспешите, мне остается только два месяца быть в Петербурге.

В конце апреля я оставляю Петербург. Не знаю еще наверно, куда занесет меня враждебная судьба моя. Сколько могу заметить из писем матушки, она желает, чтобы я ехал с сестрою[3] и зятем[4] за границу, вероятно полагая, что путешествие изгладит из моего сердца горестные воспоминания,— с другой же стороны, она за отъездом сестры и зятя (самых близких ей людей, с коими она привыкла жить почти неразлучно) останется в печальном одиночестве, и я уверен, что была бы обрадована и утешена моим присутствием. В последнем письме я писал ей, что готов приехать к ней и что ожидаю на то ее приказаний. Итак, если матушка решит, что мне остаться, я не премину летом навестить вас. Тогда снова возобновятся для меня счастливые дни — чтение, дружеские беседы, прогулки, одним словом, поэтическая жизнь, которою судьба дарила меня в течение прошлого лета в вашем мирном убежище на Петербургской стороне[5].

В течение шести почти месяцев томительно единообразная жизнь моя не изменилась — до половины зимы я еще находил отраду в музыке и писал довольно много. Но теперь силы мои, изнуренные продолжительностью зимы, мне изменяют, и вдохновение от меня отлетело. Если судьба, сжалясь надо мною, подарит мне еще хоть несколько дней счастия, я уверен, что

мой бедный Руслан быстро пойдет к окончанию. В настоящем же положении я за него решительно не принимаюсь.

Несмотря на удовольствие беседовать с вами, я должен кончить. Спешу не опоздать на почту. Пожелав вам всего лучшего, а себе — счастия скорее вас видеть, остаюсь искреннейше преданный вам

М. Глинка.

М. И. Глинка — А. П. Керн

28 марта 1841 г. Петербург

Через несколько дней я надеюсь иметь счастие видеть вас, теперь же, к несчастию, это для меня еще невозможно. Что же касается вашего дела, то будьте уверены, что я и мои друзья сделаем все, что от нас зависит. Наибольшее затруднение в настоящий момент представляет отсутствие вашего пасынка[1]. Так как он отлучился всего на 28 дней, то лучше подождать его возвращения; только тогда вы сможете представить прошение, так как формальности требуют, чтобы с прошением были представлены:

1) указ об отставке (который вы должны вытребовать от вашего сына),

2) формулярный список (это я беру на себя и изготовлю вам просьбу),

3) свидетельство о смерти вашего мужа (об этом похлопочите чрез хозяина дома, где жил муж ваш, чтобы узнать доктора, который лечил, и священника, который хоронил его, от них и возьмите свидетельства).

Когда эти документы будут в порядке, тогда вы можете свободно ехать по подании просьбы, передав хлопоты кому-нибудь из моих или ваших друзей.

Желаю от души, чтобы ваша усталость и ее последствия скорее миновались, с нетерпением ожидаю минуты свидания с вами. Верьте искренности чувств душевно преданного вам

М. Глинки.

28 марта.

М. И. Глинка — А. П. Керн

21 апреля 1841 г. Петербург

21 апреля.

Прилагаю билет на мою оперу[1]; благоволите не упустить им воспользоваться, так как меня живо интересует знать, какое впечатление произведет на вас это произведение. Что касается меня, то я досадую, что должен отказаться от счастия сопровождать вас, ибо мои страдания еще слишком сильны, а театр отличается от всех других мест тем, что там легче всего простужаются.

Имеете ли вы известия от своих? Здоровы ли они? — прошу словечка ответа по этому поводу[2].

Дело моей жены[3] находится определенно в синоде, — вскорости я буду знать, что с ним. Весьма возможно, что все устроится и без каких-либо выступлений с моей стороны, — поскольку в деле замешан военный, невозможно, чтобы император не был об этом осведомлен. Итак, потерпим и будем надеяться.

Пусть мое бедное произведение даст вам хоть несколько минут удовольствия, слушая его, подумайте немного о вашем всецело преданном слуге и друге

М. Глинке.

Ее превосходительству г-же Керн.

М. И. Глинка — А. П. Керн

2 июня 1841 г. Петербург

2 июня. С.-Петербург.

Въехав сюда, я приказал остановиться возле дома Серапина[1], воображая застать вас еще в Петербурге, но мне сказали, что за три дни до моего приезда вы уехали. Если это известие огорчило меня для меня собственно, то вместе с тем порадовался за вас и ваше милое семейство. Это письмо, вероятно, застанет вас уже на месте, дай бог, чтобы ваше путешествие было столь успешно и благополучно, как и мое. О себе писать не стану, вам сообщат все, что бы я мог сам сказать вам, равно как и то, что дело мое идет хорошо, но не так скоро, как бы желать надлежало, и что я имею более

нежели надежду видеть вас в августе, хотя дело протянется, вероятно, до зимы.

Хотя это письмо отправится на почту только послезавтра, но я решился писать к вам сегодня, предвидя множество дел и хлопот первые дни. Сегодня понедельник, следуя предрассудку, я отложил на этот день все дела и посвятил его отдыху. Я теперь живу на той самой квартире, где жила сестра до отъезда в Париж,— если судьба заставит меня быть зимою в Петербурге, меня услаждает мысль, что матушка с меньшей сестрицей (весьма доброй и милой девушкой), а также и сестра Lisette с племянником [2] и зятем, по возвращении из-за границы зимою сюда приедут — будет с кем душу отводить.

Михаила Петровича я еще не мог видеть, но в самом скором времени непременно с ним повидаюсь. Горю нетерпением знать, кончили ли вы ваше дело с Юсуповой? Получили ли ответ от Адлерберга?

Не поленитесь подробно известить меня о вас, о вашем милом семействе, о вашем чудесном малютке. Как он должен быть мил — еще раз прошу все подробности о вас и ваших. Вы знаете по опыту, сколько они важны для отсутствующих.

На обратном пути в Смоленск я встретился с Корсаком. Приятная варшавская жизнь округлила его формы до неблагопристойно-несоразмерной толщины, а всегдашняя краснота лица просияла, как пурпур. Эта фантастическая наружность, невольно приводящая в смех, возвышается от его странных движений и поговорок, вроде тех, кои вам уже известны. Сверх того, сей господин воображает себя любезным; он исполнил много польских куплетов с аккомпанементом фортепьяно, и мы вместе с ним танцевали кадриль.

Прошу вас передать от меня тысячу приветов Александру Васильевичу и попросить его продолжать писать мне, так как я обещаю ему регулярно отвечать. Сомневаюсь, однако, что я буду в состоянии писать с каждой почтой,— ввиду моих дел; впрочем, это не так необходимо, как тогда, когда вы были в Петербурге. Тем не менее вы будете иметь новости обо мне регулярно каждую неделю.

Я уверен, что как по собственным вашим чувствам, так и по чувству дружбы, которые вы питали ко мне, вы будете беречь дорогое дитя [3]; воспользуйтесь хоро-

шим временем года, чтобы укрепить ее хрупкое здоровье. Чтобы предохранить вас от скуки, я пошлю вам книг. Купили ли вы три пары чепчиков? Пришлите мне список книг, которые вы желаете иметь. До свиданья, сударыня, будьте счастливы и здоровы, — вы и все ваше драгоценное семейство; не забывайте вашего друга

М. Г.

М. И. Глинка — А. П. Керн

*1 июля 1841 г. Петербург**

Я счастлив узнать, дорогой и прекрасный друг, что вы уже у себя. Как должно было успокоиться ваше сердце в присутствии всех ваших, после столь же продолжительной, как и тягостной, разлуки. Дай бог, чтобы вам не пришлось более подвергаться подобному испытанию.

Несмотря на обольстительные надежды, которые представляет мне будущее, и на развлечения прекрасного времени года, столь благоприятного для моего здоровья, — сердце мое страдает. Только близ вас и в вашем милом семействе надеюсь я найти утешение и забыть все мои горести. Я одинок, совершенно одинок в настоящую минуту, но одиночество — не единственная причина моих страданий. Я не могу скрыть от вас, что только что пережил живейшую тревогу по поводу здоровья мадемуазель Екатерины. Леченье железистыми ваннами как раз то, которое наиболее противоречит ее физическим данным. Не буду распространяться, но скажу вам просто, что я потерял моего друга Евгения Штерича[1] именно вследствие подобного лечения, я даже мог наблюдать шаг за шагом роковые последствия лечения, на которое он возлагал такие надежды. Поэтому, во имя всего, что вам дорого, не поднимайте более вопроса об этом пагубном способе лечения; скорее наоборот — нервное состояние вашей дочери может быть улучшено лишь правильным образом жизни, свежим воздухом, диетой, а особенно — душевным спокойствием. Верьте моему долгому и тяжкому опыту.

---

* На верху листа рукою А. П. Керн написано: «Это письмо Глинки получено по приезде из С.-Петербурга».

В течение восьми дней я надеюсь положительно сообщить вам о времени своего приезда[2]. В ожидании же этого благоволите передать мою благодарность вашему отцу за сердечное письмо, которым он почтил меня, и уверить его, что я поспешу лично доказать ему, как сильно растроган вниманьем, которое он изволил мне оказать.

Дело мое идет превосходно, хотя и медленно. Так как оно не может быть закончено ранее зимы, то, по совету тех, кто ведет его, я решил не хлопотать об ускорении его хода, тем более что до настоящего времени судьба была ко мне чрезвычайно благосклонна. Я действую с благоразумием и в то же время не изменяя моим рыцарским чувствам.

Что вы поделываете? Каковы ваши планы? Ваши дела? В конце концов я надеюсь узнать все это от вас самих, так как сомневаюсь, что у вас будет время ответить на эти вопросы ранее моего отъезда отсюда.

Поцелуйте вашего ангела от меня и напомните ему обо мне, равно как и Александру Васильевичу.

Мне нет необходимости просить вас беречь ваше дорогое дитя: ваше прекрасное сердце не является ли моим ходатаем?

Как я ни печален, я страдаю менее, когда пишу вам, и особенно, когда думаю о счастии увидеть вас скоро. Прощайте, добрый и прекрасный друг, будьте счастливы и думайте иногда о вашем бедном друге.

М. И. Глинка — А. П. Керн (Марковой-Виноградской)

1 февраля 1856 г. Петербург

1 февраля 1856 года.

Любезнейшая и многоуважаемая Анна Петровна!

Получив письмо ваше и главу из романа вашего перевода, я не отвечал вам потому, что по старой глупой привычке хворал, и потому не гневайтесь на меня.

Перевод ваш мне кажется очень натуральным, что, по-моему, весьма недурно, и, хотя я не знахарь в литературе (в особенности новейшей, которую вовсе не люблю), но полагаю, что переводы ваши могут занять не

последнее место между другими, появляющимися у нас теперь.

Так, например, с января нынешнего года выходит периодическое издание под заглавием: Собрание иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык. С.-Петербург, в типографии *Королева и комп.*

Имени редактора не означено. Советую справиться о том в означенной типографии, может быть, ваш перевод повести: *Не шути с горем* и другие ваши переводы примут в это издание.

Уже более пяти лет, как здесь и за границей я решительно отказался от света. Все мои связи с литераторами разорваны; осталось только довольно дружеское отношение к Краевскому[1], и я должен побывать у него. При свидании попрошу о том, чтобы он принял ваши переводы и дал вам постоянную работу. За успех заранее отвечать не могу. Краевский с норовом и несколько педант.

Несмотря на желание видеть вас и ваших, не могу еще назначить вам вечера. Нет еще ответа от Бартеневой[2] по известному вам делу, а сверх того, я еще не совершенно освободился от простуды.

Поручаю себя вам и вашему мужу, в надежде скорого свидания остаюсь всею душою ваш

Михаил Глинка.

Екатерине Ермолаевне мой усердный поклон.

Сестра Марья Ивановна поручает мне вам усердно кланяться и просит, чтобы вы доставили мне адрес Екатерины Ермолаевны.

ИЗ ПИСЕМ
А. П. КЕРН (МАРКОВОЙ-ВИНОГРАДСКОЙ) К Е. В. МАРКОВОЙ-ВИНОГРАДСКОЙ (БАКУНИНОЙ) И А. А. БАКУНИНУ

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной)

12 августа 1850 г. Сосницы

Долго мы с мужем тосковали о мечте жить и служить в Торжке! Почти было решено, что нельзя нам подняться; дорого будет стоить... и все одолжаться!? это страшно мучительно! Притом же, говорят, по выборам иначе служить нельзя, как надо иметь свою собственность, хоть маленькую, в том уезде. Потом, подумай ты сама: если нам здесь трудно прожить, т. е. *промаяться,* 700 р. в год, то там еще труднее будет; там все дороже, здесь же у нас хлеб, соль, дрова и все овощи зимой и летом не покупные. Главное — проезд! Обсуди все хорошенько. Я бы пространно так не толковала об этом, если бы очень не хотелось! Напиши, моя душечка, обо всем подробно брату, потолкуй со всеми и пусть общий совет решит. Мне — страшно! Je suis une bête d'habitude*: я так люблю не двигаться с места, мне так хорош кажется наш уголок иногда — когда мы одни здесь или с тобою были! Мне будет досадно на тебя, что ты нас заставила мечтать понапрасну. Я заметила сегодня разницу в письмах наших; муж говорит, что ты *не дописываешь* своих мыслей, а я нахожу, что я *переписываю.* On sait à quoi s'en tenir avec moi**. Вот если бы дядюшка Константин Маркович[1] на меня обратил милостивое внимание; или если б что-нибудь вышло из наших писем с тобою к Татьяне Борисовне[2]: смело бы можно ехать. Если б выбрали хоть в заседатели!

---

* Здесь: Я домоседка *(фр.).*

** Здесь: Имея дело со мной, не приходится ничего домысливать *(фр.).*

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной)

17 декабря 1850 г. Сосницы

Я не согласна с тобою, что лучше быть первыми в деревне и проч. Я сама так думала в молодости; когда впоследствии удалось заметить, что можно быть не *последнею в Петербурге,* то нашла, что это гораздо приятнее! Я еще думаю, что люди, способные привыкать сильно к чему бы то ни было: к месту или другим людям, способны и любить глубже и постояннее тех, которые сейчас готовы из родного гнезда лететь. Я не люблю таких. Я бы поехала в Петербург для счастья мужа, по службе и выгод его, но мне тяжко, очень тяжко расстаться с родным приютом.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной)

18 декабря 1850 г. Сосницы

Мне тоже не нравится повесть Евгении Тур «Долг»[1]: слишком избитая тема и ничего нового! А что, ты не читаешь «Домби и сына»?[2] В «Современнике» перевод прекрасный и тебе бы напомнило наше общее чтение начало его, так несносно прерываемого милой тетенькой[3].

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной)

17 августа 1851 г. Сосницы

Скажу тебе еще нечто радостное; но так как все радостное неверно и все ожидаемое редко сбывается, то я и боюсь полагаться: мужу обещают дать какое-то значительное имение в опеку; и он будет получать 10 копеек с рубля, что, говорят, составит 250 рублей серебром в год. Если это сбудется, то можно будет чай пить по утрам и вечерам и иногда кофе. Теперь же, признаюсь тебе, один преферанс поддерживает наше существование.

Я тебе писала или нет, что Василич занимается французским языком? Его Пезаровиус[1] подзадорил; меня это очень радует и даже если на него найдет стих написать повесть, то это поможет ему. Меня же Пезаровиус обещал выучить читать по-польски. Это приятно, чтобы Мицкевича читать в оригинале.

Я сижу теперь одна, вяжу себе чулки и читаю старый, ужасного перевода роман Вальтер-Скотта «Приключения Нигеля»[2]. Несмотря на варварский перевод, все-таки интересно.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной)

8 сентября 1851 г. Сосницы

Расскажу тебе еще неудавшийся сюрприз мужу. Я видела, что он не совсем равнодушно по утрам обходится без кофею, и потому сказала ему, когда он взял жалованье за треть вперед для расплаты за печи и прочее: «А что, не купить ли кофею?» — «Нет, не должно»,— сказал он. Я промолчала и потихоньку послала на свои деньги (ты знаешь, что у меня есть свои деньги: 10% его выигрыша) купить ½ фунта; велела изготовить и подать в воскресенье. А он тоже, верно, думал, что мне очень хочется, сегодня утром стал отсчитывать деньги и спросил: «Ты не посылала за кофеем?» Досадно мне было, и я ему призналась довольно неэффектно, что я уже купила и велела изготовить. Нужды нет! Бедность имеет свои радости, и нам всегда хорошо, потому что в нас много любви. За все, за все благодарю моего Господа! Может быть, при лучших обстоятельствах мы были бы менее счастливы.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

9 января 1852 г. Сосницы

Как мне приятно было читать твое описание Премухина. Вот там живут и старые, и малые, и молодые, пока Господь не призовет чистые и праведные души в лоно свое!

В конце царствования Александра вошла в моду любовь супружеская и семейные добродетели, в начале царствования Николая она еще поддерживалась, а теперь, говорят, маскарадные удовольствия вытеснили все! La famille Impériale, jeunes et vieux, donnent l'exemple non seulement de legereté, mais de la dissolution des moeurs la plus parfaite*.

Мне иногда хочется сильно умереть. Я думаю, что тогда Василич был бы свободен, бросил Сосницу и уехал к вам — там и служить, и жить! В здешнем обществе гибельно вращаться, а вовсе от него отказаться — мудрено.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

13 февраля 1852 г. Сосницы

Я читала Шерля[1], хоть и без 1-й части; мне в ней только нравится — подробности семейной жизни англичан, весь же роман растянут и вял. Какая разница — Копперфильд![2] Всякая глава — и наслаждение, и поучение! К тому же, перевод очень дурен. Вот мне понравился Пенденнис[3], которого я прочла 1-ю часть. Пропасть юмору и тонких наблюдений! Теперь еще читаем «Современник» за январь, где прекрасная повесть Панаева[4]. Начало очень мило, я люблю Панаева. Читала ли ты повесть Авдеева «Иванов»?[5] Удивительно хорош язык и характеры.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

25 марта 1852 г. Сосницы

Теперь мы читаем Пенденниса Теккерея. Я нахожу, что это гораздо занимательнее Шерла; и мужу тоже очень нравится. Характеры так развиваются исподволь,

---

* Императорское семейство, молодые и старые, подают пример не только легкомыслия, но и полнейшего развращения нравов *(фр.)*.

как в жизни; и пропасть милых подробностей, как во всех английских романах. Прочитайте и вы его: это в «Библиотеке».

Добровольский, которого перевели из Стрелкового батальона в 1-й Московский корпус ... обещал нам ... узнать, в какое заведение пристроить Сашу ... Василич хочет его определить в Межевой Институт, если б это было возможно — на казенный счет ... Я боюсь корпусов и не люблю офицерства, из которых $^{9}/_{10}$ всегда пошлость, кутилы, хорошие товарищи (т. е. пустые люди) и лентяи. Удивляюсь маменькам, которые радуются офицерским эполетам.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

28 марта 1852 г. Сосницы

Привези нам посмотреть картины, что тебе подарил Петр Сергеевич. На меня живопись больше действует, чем музыка. Ученую музыку я не понимаю, а живопись чувствую и наслаждения от нее выше всего, мною испытанного.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

3 апреля 1852 г. Сосницы

1-й день Пасхи мы обедали у Тетушки запросто, а 2-й — храмовой наш праздник — она опять просила и нас, и Полторацких. Вследствие чего я не обошлась без embarras gastrique*, несмотря на всевозможную воздержность и вспоминая Дельвига стихи:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Дурного масла и яиц гнилых,—
Так приходи со мной обедать
Сегодня у своих родных.

* расстройства желудка *(фр.)*.

На 3-й день мы великолепно и вкусно отобедали у Полторацких, а вчера — у Ник. Вас. Полт-го. Все было хорошо, да ветчина сама приползла из кухни.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

13 апреля 1852 г. Сосницы

Я вам завидую, что вы катали яицами на св. неделе. Маминька моя это очень любила, и в Берново у Дедушки все собирались в большую залу, и дворовые женщины с корзинками являлись, это было очень весело. У меня много приятных воспоминаний моего детства!

Джонсон [1] говорит о браке: «Вступая в брак, усильте наблюдение над самим собою, не упускайте из виду малейших предметов домашней жизни». Юнг [2] сказал памятные слова: «Из песчинок составлены горы, и год состоит из минут»,— и эта мысль пусть руководит вами в вашем новом положении. Он еще говорит: «Если бы женщины понимали, что нужно стараться всегда нравиться своему мужу,— их мужья вели бы себя лучше; некоторые из мужей единственно потому изменяют своему долгу, что жены их не стараются поддерживать в них супружеской привязанности».

Я перечитывала на днях «Вексфильдский Священник» [3], а Василич теперь читает, и очень ему нравится.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

16 апреля 1852 г. Сосницы

Вчера вечером мы прочитали в «Новоселье» [1] повесть Брамбеуса «Счастливец» [2]. Гарун Аль-Рашид заболел и когда, по многократном лечении несколькими медиками, болезнь, усилившаяся от лечений, оказалась неизлечимою, какой-то пустынник посоветовал надеть рубаху счастливейшего человека; стали искать и когда, наконец, отыскали человека, утверждающего, что он считает себя счастливым,— оказалось, что у этого счастливца не было даже и рубахи.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

1 мая 1852 г. Сосницы

Знаешь ли, что я читала эти дни? — «Consuelo» [1], перечитывала и с наслаждением. Вообрази, что Альберт мне кажется таким точно, как твой муж и еще больше на него похож, чем ты на Consuelo de méalmo. Я читала и переводила Василичу (он перестал заниматься французским языком). Я нахожу, что есть глубокая мысль в Iux Rudolstadt [2] в особенности и прошу вас — тебя и Альберта Бакунина — вместе перечитать... Мне смешно, когда поверхностные судители говорят, что она безнравственна, что она против браку! Может ли быть что более нравственное, как идея, которою проникнуто это создание, мысли его о браке и любви супружеской? Понимаю, отчего тетушке Татьяне Петровне нравилась больше 1-я часть: она, бедная, не знала любви в браке и усмиряла стремление или отрешение себя от оной мелкими доводами о своем семействе.

Скажи почтенному Александру Михайловичу [3], что я его помню, когда он после свадьбы приезжал в Берново, и мы любовались детьми, умению его жить и любить свою жену. Она была молодая, веселая, резвая девушка; он — серьезный, степенный человек, и, однако, на них было приятно смотреть. Я помню их сидящими дружно рядом, когда он ее кругом обнимет своими длинными руками, и в выражении ее лица видно было, как она довольна этой любовью и покровительством. Иногда она его положит на полу и прыгает через него, как резвый котенок. Его положение тогда не было ни странно, ни смешно. И тут являлась с любовью покоряющая сила и доброта — идеал доброты! Помню еще раз бальный вечер; они сошлись в нашей общей комнате с маминькой; он лежал на ее кровати, она, в белом воздушном платье, прилегла подле него, и как он шутя уверял ее, что кольцо, надетое на его палец, не скинется, врастет в него; она беспокоилась, снимала его, велела подать воды, мыла, а он улыбался, и, наконец, успокоил ее, что это была шутка. И все такая любовь, во всем — и в мелочах! Спроси у него, помнит ли и он меня? Это мудренее. Видишь, как дети совсем

не так бессмысленно смотрят на все их окружающее, чем иные думают. Мне тогда было 10 лет, я замечала, однакож, ощущала и наблюдала! Как я люблю воспоминания моего детства в Бернове! Над всем этим парит мой благодатный гений Дедушка[4], идеал кротости, любви и милосердия. Не странно ли это (я сознаю это теперь), что я тогда всех понимала, как нельзя лучше, как теперь о них сужу и понимаю. Тетушка, являющаяся туда изредка из Грузин,— и ту я тогда понимала точно так, как теперь. О! дети бывают очень разумны; жаль, что мало их — то понимают, мало разговаривают с ними!

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

23 июня 1852 г. Сосницы

Я получила письмо от дочери, она и какой-то г. Шокальский просят моего благословения. Я обрадовалась и заплакала[1].

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

15 июля 1852 г. Сосницы

Разве вам не нравится Пенденнис? Я его еще не кончила, нахожу, что есть таки длинноты, но и подробности преинтересные. *А Матушка Пена, не находишь ли, что на меня немножко похожа?* А дядя майор?

Василич пишет теперь какую-то ученую статью о литературе Греков и Римлян. Молю Бога, чтоб он решился что-нибудь написать для печати.

Il n'ya que le premier pas qui conte en cela surtout Nous voyans tous le jours à quel point les premiers essais de nes litterateurs les plus célèbres sont faibles en comparaison de ceux qui suivent. C'est alors que j'eusse pu me dire parfatement heureuse et contente de mon sort, si notre bien — être pauvait m'être assuré por, notre travaié; je dis *notre,* car j'y aurai aidé de tous mes moyens tontêt par tradure, tantêt par copier. Si Sacha étudie bien, je desire lui inspirer l'amour de la litterature et peut être que mon veux-le plus clier se réalisera en lui!*

---

* Важно лишь начать, особенно в этой области. Мы видим каждый день, до чего первые пробы пера самых прославленных наших

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

7 августа 1852 г. Сосницы

Бог послал нам случай обрадовать себя и вас: послал доброго человека, который берет с собою мужа до Москвы; а там он сядет в вагон, и вы его увидите! Грешно было упускать такой случай; а как Саше тоже до смерти хотелось съездить к вам, то и его берут. Я забываю о себе, от одной мысли, какую радость тебе принесет свидание это.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

20 августа 1852 г. Сосницы

Я сейчас прочитала мысль Eug Sue, очень справедливую: «Les enfants ue se trompent jamais sur les sentiments et sur les caracteres de ceux qui les entourent». «Leur pénétration confend; quand ils se voyent aimés, ils savent avec une incroyable habi leté assurer bur empire» *. Я всегда вспоминаю, что в детстве я не любила ни Пелагею Петровну, ни Анну Ивановну [1] и меньше всех их — Федосью Петровну... Я полагаю, что если б Василич решился писать, то мог бы презанимательную повесть написать из нашей жизни, à l'instar de **. Копперфильд. Сколько эпизодов занимательных нашлось бы, сколько анекдотов метких! Авось он решится. Напр., не забавно ли это. При мне Анютка собрала все яблоки, какие бы-

---

литераторов слабы по сравнению с последующими их сочинениями. Я тогда лишь почувствовала бы себя полностью счастливой и довольной своей участью. если бы благополучие наше могло бы быть мне обеспеченным нашей работой — говорю *нашей,* ибо помогала бы изо всех моих сил то переводами, то переписыванием. Если Саша хорошо будет учиться, я хочу внушить ему любовь к литературе и, быть может, моя самая дорогая мечта осуществится в нем!

* Эжен Сю... Дети никогда не ошибаются относительно чувств и характеров тех, кто их окружает. Проницательность их поражает, когда они чувствуют себя любимыми, они умеют с невероятной ловкостью установить свое господство *(фр.).*

** Наподобие *(фр.).*

ли, я сама назначила, какие посолить и которые так оставить: разумеется, ей обо всем доложили. Она зовет гостей и приказывает при них идти на базар купить *яблочков каких-нибудь.* Анютка подает свои, что ей и приказано по секрету. Это было сделано потому, что тут были гости, новый заседатель, у которого есть фрукты в саду. К тому же, если она покупает на базаре, то я не имею права себе попросить. Cela s'appelle faire d'une pierre deux coups* или «умом жить», как она выражается.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

28 августа 1852 г. Сосницы

Я осталась <после отъезда мужа> больная совсем, а уж какая грустная, ты себе этого и представить не можешь. Пока я их знала в дороге, я мучилась несказанно и боялась ужасно. ...Я не переставала томиться и беспокоиться, пока не получила письма из Митина.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

16 сентября 1852 г. Сосницы

Я слышала, что брат Александр[1] осуждает меня за то, что я осуждаю. Мне бы хотелось ему растолковать себя и род моих осуждений! Во-первых, я осуждаю, т. е. делаю критический разбор, анализирую все и всяческое. Мне кажется, что я это делаю без желчи и совершенно логически. М-м де Сталь говорила, что она «осуждает и родных и друзей, но желала бы, чтобы ее любили только те, которых она осуждает, как она их любит». Рассмотрите, пожалуйста, отчего происходит отсутствие всякого осуждения? Разберите беспристрастно, и вы увидите, что оно происходит более или менее от эгоизма. «Egoïste, c. àd. un homme de bonne compagnie», кажется, это сказал Custine**. Во-вторых, я осуждаю горячо только тех, которых сильно люблю

* Это называется одним выстрелом убить двух зайцев *(фр.).*
** Эгоист, т. е. человек воспитанный. Кюстин — французский путешественник.

или — любила. Подозреваю, что в последнем случае это бывает не без примеси желчи, т. е. боли в сердце. Вот вы меня теперь осудили за мое осуждение, но осудили хладнокровно, потому что не знаете меня и не сильно любите: если бы знали и горячо любили, то осудили бы горячо и с раздражением, а может быть и вовсе не осудили бы, потому что захотели бы рассмотреть поближе причины. Есть обстоятельства и мелкие неудовольствия жизни, которые *ни в сказке сказать, ни пером описать,* и надо это все рассмотреть слишком близко и с большим участием, чтобы верно судить. Например, если я убедилась, что человек для самой малейшей *своей* материальной выгоды готов жертвовать счастьем и спокойствием своего ближнего, как же мне не осудить действий такого человека и *как такой* человек может быть приятен? Когда подобные действия повторяются и проявляются во всех мелочах повседневной жизни и тяготеют над всеми нашими движениями и даже помыслами? [...]

Je suis juste avant tout et rien ne me boubverse taut quand on ne l'est pas vis-a-vis de moi...* Знаете что? Когда я выходила замуж, мне *назначили* в приданое по моему выбору: имение в Тверской губернии, принадлежащее матери моей, и ее приданое. Я не плакала, когда его отняли! Потом бабушка Агафоклея Александровна[2] дала нам 50 тысяч и Кушниково,— я опять не тужила, когда отец отнял. Такая уж натура была глупая! Вещей тысяч на 15 прокутили моих и Батюшка и муж покойный[3], я и не охнула, а когда отправляли Дедушку[4] на время к Анне Ивановне, я горько заплакала и все время тосковала и приписывала все свои и горести, и неудачи именно этому. А Тетушка 20 лет его не спрашивала,— и не тужила!

Так мой Дедушка скоро ко мне приедет? Как я ему буду рада! Я не знаю человека добрее, кроме него; какое божественное, благоговейное воспоминание! Ты права, мой ангел сестра, что не надо иметь портретов: это предрассудок, которому не придерживаюсь нисколько...

---

* Я прежде всего справедлива, и ничто так не выводит меня из себя, как несправедливость по отношению ко мне *(фр.)*.

Напиши мне, душечка моя, про Михаила[5] — что он? нет ли надежды на спасение? ограничено ли время его заточения? Как он себя чувствует? И почему не позволено видеться?

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

30 сентября 1852 г. Сосницы

...Мне бы самой хотелось разбогатеть *для штуки!* для счастья богатства мне не нужно: я и так очень, очень счастлива и за все благодарю Бога, но *для штуки* я говорю потому, что очень бы хотелось посмотреть некоторые физиономии *тогда!*

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — А. А. Бакунину

25 ноября 1852 г. Сосницы

Благодарю вас, мой добрый брат, за ваши труды. Портрет очень похож и прекрасно сделан. Один мой глаз мог только отличить его от подлинника. Завидный талант у вас, один, к которому я всей душой всегда сочувствовала. Например, трудной, ученой музыки я не понимаю, а к живописи я всегда была чрезвычайно чувствительна, и портретная была мне более всего по сердцу. Это может быть потому, что я несколько физиономист. В Петербурге, где я вела жизнь довольно уединенную и по вкусу, и по средствам своим,— когда отпирались двери Академии художеств, я не пропускала ни одного дня.

Мне сказывал муж, что вы, Александр, находите, что Тетушка А<нна> Ив<ановна> имеет более моего прав на портрет Дедушки? Мне хотелось бы вам доказать, что вы ошибаетесь. Вот видите ли, если бы она имела эти права, то она давно бы его вытребовала от отца, который вовсе не дорожил им, а я знаю, что она этого не сделала. Мать моя скончалась в 1832 году, десять лет он пробыл у отца и вот уже почти столько, как я его взяла к себе. Тетушка, не переписываясь со мною и вообще не оказывая мне никогда никакого

участия, написала мне письмо, наполненное ласки и лести, в котором просит прислать ей взглянуть на него и показать детям своим, которые его не знали. Я это исполнила с рвением великодушия и поручила его Лизе, которая обязалась мне его возвратить непременно. Напиши она мне прямо, благородно: «отдай мне его, я требую и тебе его возвращу после моей смерти»,— я бы не осмелилась отказать, но приняла бы свои меры сделать для нее копию; и я вам ручаюсь, что 70-ти летняя женщина, которая 40 лет его не видела, была бы довольна, если бы даже копия была гораздо ниже вашей, которая — совершенство.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной

13 апреля 1853 г. Сосницы

Я читаю (в очень плохом переводе) «Семейство Какстонов»[1], и очень мне это нравится. Перечитывать буду еще с Василичем. До смерти люблю Английские романы и их комфорт, и их семейную жизнь, и их дельный ум.

ПИСЬМА
А. П. КЕРН (МАРКОВОЙ-ВИНОГРАДСКОЙ)
К П. В. АННЕНКОВУ И П. В. АННЕНКОВА
К А. П. КЕРН (МАРКОВОЙ-ВИНОГРАДСКОЙ)

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — П. В. Анненкову

Апрель — май 1859 г. Петербург

Милостивый государь Павел Васильевич.

Мне захотелось воспользоваться вашим позволением к вам писать, чтоб сообщить вам о появлении нашей статьи и еще раз выразить вам мою благодарность. Вы не можете себе представить, как мне было отрадно, что это сделалось чрез ваше посредничество, — и вы не поверите, скольких неприятных волнений вы меня избавили. Я узнала о появлении статьи чрез г-на Тютчева[1], который сказал об этом мужу и весьма лестно об ней отозвался.

Больше я ни от кого ничего не слыхала; но для меня так много значит похвала Тютчева, что больше ничего не нужно!

Я сама, однако, недовольна многим, но не редактором и не вами, а своей леностью и доверчивостью к г-же Пучковой[2], которая, во-первых, мне обещала непременно ее поместить, а потом возвратила, чтобы я сама о ней хлопотала, что мне было так антипатично, что я даже не заглянула в рукопись до счастливого мгновения вручить ее вам.

Вот что мне не нравится: в самом 1-м параграфе на 1-й странице: «меня увезли из дома дедушки в 12-м, а в 16-м выдали замуж за генерала». — Я последнее просила вычеркнуть, понимаете для чего? Я нахожу, что так лучше, и не так щекотливо, и не так очень уж ясно и проч. и проч. Об этом генерале довольно сказано дальше; оно и так многим глаза колет... Ну, да это, конечно, если перепечатают когда-нибудь особенной брошюрой (чего бы я желала), то попрошу, чтобы это исправили и еще кое-что недосмотренное при переписке писем, напр.: «Mes respects (кажется) à Ермолаю Федоровичу. Mes compliments à Monsieur Woulf

(à Alexis), они напечатали: à M-me Woulf, il n'y avait alors chez moi que les m-lles Woulf — leur mère était M-me Ossipoff — la phrase n'est pas exacte, et puis le sel n'y est plus! Vous comprenez?

A propos de M-me Ossipoff je puis vous anonncer qu'elle n'est plus la pauvre femme depuis le 8 avril le mercredi de la Semaine Sainte elle a cessé d'exister; les derniers moments ont été fort tristes; et moi — j'en ai pleuré et prié de toute mon âme!*

Мне кажется, я была одна из самых ее близких, которая с любовью ее вспомянула и опечалилась глубоко ее печальной смертью и печальным остатком жизни.

Вы когда-то у меня спросили: «что такое была Прасковья Александровна Осипова». Мне кажется, я теперь вот могу это сказать почти безошибочно. С тех пор как она скончалась, я долго об ней думала, и она мне теперь ясно нарисовалась. Это была далеко не пошлая личность — будьте уверены, и я очень понимаю снисходительность и нежность к ней Пушкина. Я вам только скажу о ней два факта, которые тотчас вызовут вашу симпатию.

Их было две сестры; не знаю, каких лет они лишились матери, но знаю, что они росли и воспитывались под надзором строгого и своенравного отца, г-на Вындомского. Сестра ее, увлеченная сердцем, вышла против желания отца за Ганнибала[3] (отсюда я полагаю их сближение с семейством Пушкина); она, то есть сестра Прасковьи Александровны, бежала из дома родительского. Отец ее не мог простить и лишил наследства, отдав все Прасковье Александровне, тогда Вульф; после смерти отца Прасковья Александровна разделила имение (состоявшее из 1200 душ) на две равные части и поделилась им с сестрою. Скажите: многие ли бы это сделали?? У Прасковьи Александровны тогда было пятеро детей, у той — только двое. Я лично этому не удивляюсь, но жизненный опыт мне доказал, что мно-

---

* Передайте мое почтение... Привет господину Вульфу (Алексею)... госпоже Вульф, но у меня в то время были только девицы Вульф, дочери г-жи Осиповой,— так что эта фраза неверна и к тому же здесь пропала вся соль! Вы меня понимаете?

Кстати, относительно г-жи Осиповой. Могу сообщить вам, что ее уже нет больше на свете, бедняжка скончалась 8 апреля, в среду, на Святой неделе; минуты прощания были очень печальны, я плакала и от души за нее молилась!.. *(фр.)*

гие могут удивляться. Второе — то, что она, которая жила в среде необразованной вовсе или, что еще хуже, полуобразованной и имея старшего сына (Алексея), записанного пажом (по протекции, я полагаю, Петра Ивановича Вульфа, который тогда служил при дворе кавалером при великих князьях Николае Павловиче и Михаиле Павловиче), она пожелала и осуществила свое желание, отдав сына в Дерптский университет.

Это было во время моего там пребывания. Я, признаюсь вам, после смерти сестры, мною горячо любимой, очень желала содействовать примирению матери и сына, в память сестры Анны Николаевны, которая этого весьма желала и меня просила употребить мое влияние на Алексея[4]. Но — они оба зашли очень далеко, — и мое заочное влияние было бессильно при других... недоброжелательных. Каково все поколение, происшедшее от г-на Осипова, и его собственная дочь, та самая Алина, к которой относятся нежные стихи Александра Сергеевича. Не помню начала, но вы, верно, помните между проч.:

За все мучения наградой —
Мне ваша бледная рука...[5]

Я писала к Алексею вскоре после смерти его сестры, но — безуспешно, потом говорила ему кое-что — именно об этом факте, что его мать не без заслуг перед ним, — по крайней мере за то, что пожелала дать ему университетское образование, а не то, к которому он был присужден судьбою. Он отвечал мне легко: «Это потому, что ты (я) тогда жила в Дерпте». Конечно, последнее время она была очень и очень виновата против брата, но мне жаль, мне грустно, что его раздражали только еще больше против нее и ни у кого из них не нашлось настолько чувства и христианства, чтобы ее извинить и их сблизить! Почем он знает, что ее также не вооружали против него?.. Я ей писала, но что значит письмо, когда так много вблизи вредного и постоянного влияния?.. Если б я могла к ней поехать, иначе бы было; но я не имела ни времени, ни средств; а они все, конечно, этого не желали.

Странное дело, она меня всегда любила: и в детстве, и в молодости, и в зрелом возрасте, несмотря на то что от бесхарактерности делала вред, почти что поло-

жительное зло. Я тогда сердилась на нее, но всегда потом ей прощала; она была так ласкова, так нежна со мною, как никто из моих близких, ни одна из моих родных теток!

Растолкуйте, например, эту странность: она была очень строга в детстве с Анной Николаевной. Мне рассказывали (то есть не мне, а при мне, что все равно,— дети все записывают на своих памятных скрижалях), что она была даже жестока с нею ребенком. Била ее (когда учила, весьма бестолково, надо сознаться, учила), драла за уши до крови и проч. и проч. Вообразите, что она при мне этого никогда не делала! Что ж такое была я для нее? Девочка одних лет с ее дочерью. И — боялась ли она меня встревожить таким обращением с сестрою, которую я, при первой нашей встрече, принялась любить изо всех сил. Она также, и я до сих пор не встречала детей и молодых особ, так привязанных друг к другу, как мы с Анной Николаевной.

Когда мы съехались в Берново, нам было по восьми лет, и пока не приехала ожидаемая гувернантка, мы учились у своих матерей. Иногда Прасковья Александровна меня к себе брала ночевать, и я с радостью вставала зимою со свечою, оттого что так будили Анну Николаевну, и мы с нею вместе учили уроки и пили: я — чай, а она смородину у пылающего камина, очень весело и дружелюбно. Никогда, повторяю, она не кричала на нее и не била свою дочь при мне. Это — факт. Не отсюда ли зародыш привязанности нашей, и особенно со стороны сестры. Она была любящая тоже, но в ней было меньше элементов глубоких чувств,— потому я не всегда была ими довольна. Впрочем, Euphrosine* мне сказала, когда я после ее смерти выразил при встрече с нею это сомнение: «Elle n'a aimé de sa vie personne autant que V[ous]! Vous étiez son idéal!**

Но обратимся к Прасковье Александровне, которую мне хочется дорисовать вам так, как она теперь представляется мне и в Бернове в детстве и после.

Когда нас отдали на руки гувернантке m-lle Benoit (тоже знаменитость в своем роде: она была привезена по требованию двора из Англии вместе с m-lle de Sybo-

* Евпраксия *(фр.)*.
** Никого на свете она так не любила, как Вас! Вы были ее идеалом! *(фр.)*

urg тоже швейцаркой, которой предложила вместо себя занять место при ее высочестве Анне Павловне, а сама ограничилась скромным званием деревенской воспитательницы в провинции), то мы опять вместе и учились, и спальню имели общую подле комнаты m-lle Benoit. Когда же случалось, что я заболевала, то уходила во флигель и переписывалась с Анной Николаевной. Кстати вспомнить, что она сохранила мои записочки десятилетнего возраста и показывала их мне, когда я к ней приехала замужняя.

И так мне рисуется Прасковья Александровна в те времена. Не хорошенькою,— она, кажется, никогда не была хороша,— рост ниже среднего, гораздо, впрочем, в размерах, и стан выточенный, кругленький, очень приятный; лицо продолговатое, довольно умное (Алексей на нее похож); нос прекрасной формы; волосы каштановые, мягкие, тонкие, шелковые; глаза добрые, карие, но не блестящие; рот ее только не нравился никому: он был не очень велик и не неприятен особенно, но нижняя губа так выдавалась, что это ее портило. Я полагаю, что она была бы просто маленькая красавица, если бы не этот рот. Отсюда раздражительность характера.

Она являлась всегда приятно и поэтически. То приходила читать у нас что-нибудь (если позволяла m-lle Benoit), то учиться по-английски вместе с нами. Она была очень любознательна,— и как же, скажите, ей теперь это не вменить в достоинство? Ведь этому, без одного года, пятьдесят лет!! Иногда она приходила показать нам какой-нибудь наряд, выписанный ей дядюшкой Николаем Ивановичем Вульфом или им привезенный из Петербурга. Она мало заботилась о своем туалете, а дядюшка был большой мастер выбирать и покупать. Она только все читала и читала и училась! Она знала языки: французский порядочно и немецкий хорошо, я полагаю. Любимое ее чтение когда-то был Клопшток[6] (кажется, первое время пребывания Пушкина в Михайловском). Согласитесь, что, долго живучи в семье, где только думали покушать, отдохнуть, погулять и опять чего-нибудь покушать (чистая обломовщина!), большое достоинство было женщине каких-нибудь двадцати шести — двадцати семи лет сидеть в классной комнате, слушать, как учатся, и самой читать и учиться.

Ах, я и не заметила, что третий листок кончаю, так увлеклась воспоминаниями детства, а вместе желанием познакомить вас несколько и, может быть, восстановить несколько в вашем воображении портрет, который вы желали.

Простите, ради бога, мою болтливость, и если вы будете так добры, что захотите ответить, то потрудитесь сказать мне, имеют ли намерение перепечатать статью нашу отдельно и дадут ли мне хоть несколько экземпляров для моих друзей.

Еще один вопрос: у меня набросано несколько воспоминаний — о Дельвиге, Веневитинове, Глинке и пр. интересных личностях. Тютчев сказал мужу, что у меня теперь их возьмут. Что вы на это скажете, я от вас хочу знать.

Извините, если прибавлю еще листок, чтоб дорисовать, как смогу и как сумею, мою бедную Прасковью Александровну Осипову.

Последние годы ее жизни доказали, как можно исказить существо бесхарактерное, если за это возьмутся недобрые люди! Она была любящая, поэтическая, любознательная натура, и все это ни к чему хорошему не привело. Ее последние поступки достойны были порицания всех и каждого!.. Да простит ей господь, как и она прощала, если обращались с нежностью прямо к ее сердцу.

Я вам забыла рассказать и в своих Воспоминаниях о Пушкине забыла упомянуть о своем вторичном посещении тетушки в Тригорском уже с мужем (с Керном)[7]. Вы видели из писем Пушкина, что она сердилась на меня за выражение: «Je méprise la mére»*. Еще бы!.. Было и за что. Помните?

Керн предложил мне поехать. Я не желала, потому что, во-первых, Пушкин из угождения к ней перестал писать, а она сердилась. Я сказала мужу, что мне неловко поехать к тетушке, когда она сердится. Он, ни в чем никогда не сомневающийся, как следует храброму генералу, объявил, что берет на себя нас примирить. Я согласилась. Он устроил романическую сцену в саду (над которой мы после с Анной Николаевной очень смеялись). Он пошел вперед, оставив меня в экипаже. Я через лес и сад пошла после и — упала в объятия

---

* Я презираю твою мать *(фр.)*.

этой милой, смешной, всегда оригинальной маленькой женщины, вышедшей ко мне навстречу в толпе всего семейства. Когда она меня облобызала, тогда все бросились ко мне, Анна Николаевна первая. Пушкина тут не было. Но я его несколько раз видела. Он очень не поладил с мужем, а со мной опять был по-прежнему и даже больше нежен, хотя урывками, боясь всех глаз, на него и на меня обращенных.

С тех пор она, приезжая в Петербург (где я постоянно жила, поместивши детей в Смольный монастырь[8]), бывала у меня, даже у меня останавливалась, показывая и доказывая усердие и приязнь неизменяемые. Все говорят: она была сумасшедшая, она была взбалмошная, а никто не скажет ничего в ее оправдание, в извинение хоть.

Отчего это человек так склонен ухватиться за дурное только, а хорошему и похвальному гораздо менее готов отдать справедливость? Исключения весьма редкие.

Еще раз прошу у вас прощения, что так вас обременила своим мараньем и своей докучливой болтовней. Вы привыкли разбирать руки, а также и мысли, вероятно. Мои всегда слишком быстро набегают одна на другую. Я не успеваю писать, а мое неумение их классировать представляет их в хаосе, из которого что-нибудь понять довольно трудно.

Итак, скажите мне — последовать ли мне совету Николая Николаевича Тютчева (которого знаю только по словам мужа, а лично не имею счастья знать) и написать ли мне нечто вроде дополнения к Воспоминаниям о Пушкине, т. е. об нем еще кое-что, о Дельвиге, Веневитинове, Глинке и проч.[9] — Попрошу мужа привести это в порядок и, если позволите, доставлю вам. Я же сама ничего не умею сделать, ничто никогда не переписывала и не перечитывала, и теперь уж не выучиться.

Примите мое усердное и глубочайшее почтение и признательность.

*Анна Виноградская**.

---

* Поперек 5-й страницы написано: «А не прислать ли этого вам, позволите? Вам преданная и признательная от сердца А. Виноградская. Муж вам свидетельствует свое глубочайшее почтение».

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — П. В. Анненкову

9 июня — 4 июля 1859 г. Петербург

9-е июня 859-го г. С.-Петербург

Я вчера имела счастье, совершенно неожиданно, познакомиться лично с семейством Тютчевых, чего давно, давно пламенно желала. Они были так добры, что обещали доставить письмо к вам, и много мне об вас говорили, совершенно сообразно с тем впечатлением, которое на меня произвело наше знакомство. Очень была бы довольна, если бы с вашей стороны я могла предполагать хоть небольшую часть подобного впечатления. Наше непродолжительное знакомство внушило мне такое глубокое чувство уважения и доверенности к вам, как будто бы я вас знала многие годы; и когда я сказала об этом впечатлении вчера Александре Бальтазаровне[1], она меня уверила, что мой инстинкт не обманул меня.

17-е июня, утро

Меня прервали, и я до сего дня не нашла времени свободного и расположения продолжать начатое письмо; мне кажется, что я хотела тут прибавить замечательную мысль одной нашей остроумной знакомой, моей современницы в доме Пушкиных — графини Ивелич[2] (мы все ее звали Катериной Марковичем Ивелич).

Она говорила: «Антипатия гораздо более способна вызвать отзвук, нежели симпатия». Это очень верно, не правда ли? Неприязнь к кому-либо инстинктивно вызывает у предмета ее ответную неприязнь, между тем как любовь нередко испытываешь к тому, кто никогда на нее не ответит. Смею надеяться, что нас с вами это не касается, ибо я искренно, от всей души, желаю, чтобы вы относились ко мне хоть немного дружественно.

Вернемся, однако, к нашим баранам, вернее к тому маленькому робкому барашку, которого вы были так добры взять под свое покровительство и ввести в литературу. Как хорошо, что благодаря своей настойчивости я все же добилась встречи с Вами, но я не могу (говоря между нами) простить м-ль Пучковой того, что она, во-первых, отговорила меня обратиться прямо к

Вам еще в ноябре, во-вторых, позволила одно из писем Пушкина взять г-ну Геннади, который в настоящее время неизвестно где находится, и еще того, что она внушила мне необоснованные надежды и пр. и пр. Сержусь я на нее и за то, что она исключила некоторые очень характерные анекдоты, которые я добавила и которые очень кстати бы пришлись. Прежде всего вот этот: «Тетушка Прасковья Александровна сказала ему однажды: «Что уж такого умного в стихах «Ах, тетушка, ах, Анна Львовна»?», а Пушкин на это ответил такой оригинальной и такой характерной для него фразой: «Надеюсь, сударыня, что мне и барону Дельвигу дозволяется не всегда быть умными». А еще я вспомнила одно словечко Крылова. Однажды он уснул в самый разгар литературной беседы. Разговор продолжался под храп баснописца. Но тут спор зашел о Пушкине и его таланте, и собеседники захотели тотчас же узнать мнение Крылова на сей счет; они без стеснения разбудили его и спросили: «Ив. Андреевич, что такое Пушкин?» — «Гений!» — проговорил быстро спросонья Крылов и опять уснул.

Я еще вспомнила несколько литературных суждений, которые мне удалось слышать от Александра Сергеевича. Он любил и восхищался стихотворениями Евгения Абрамовича Баратынского; после Дельвига он, кажется, больше всех любил Евгения Баратынского как человека и как поэта! Баратынский присылал Дельвигу свои произведения, и они до напечатания читались в присутствии Пушкина. Он с чувством их прослушивал и всегда восхищался.

Тут же вспоминал о своем впечатлении — в Одессе — при получении романса барона Дельвига «Прекрасный день, счастливый день, и Солнце и Любовь!». Там певал его Яковлев, лицеист тоже, очень приятным голосом и с прекрасной методой.

Кстати, о музыке. Мне хочется написать свои Воспоминания о Глинке, которого я знала в это самое время, и по некоторым сближениям его с Дельвигом, семейством Пушкиных эти подробности могут иметь интерес. Если позволите, я вам сообщу, а вы мне скажите, могу ли я кому-нибудь из господ журналистов это предложить. Я коротко знала его, очень любила и — жалела впоследствии, еще больше восхищалась всегда его музыкальным талантом и некогда блестя-

щим, изумительным исполнением его импровизаций на фортепиано.

Теперь позвольте мне попросить у вас тысячу извинений за это неразборчивое маранье, болтовню нескончаемую и докучливость мою.

Я не успела написать вам с семейством Тютчевых, хотя Констанция Петровна обязательно предлагала вам его доставить. Вы увидите Николая Николаевича Тютчева, который имеет какое-то поручение в Симбирске — возьмите на себя труд засвидетельствовать ему наше почтение и глубокую преданность. Я привыкла его считать нашим провидением, и мне всегда грустно (хоть я его лично еще не знаю), когда я услышу, что он уезжает! Так было, когда он ехал за границу прошлого года. Так живо передал мне муж впечатление первого знакомства с ним. Это он (Николай Николаевич) виноват, что я теперь посягаю на ваше терпение и намереваюсь вас обеспокоить новыми воспоминаниями!

Примите выражение моего душевного уважения и преданности, с которыми всегда буду ваша усердно почитающая и искренняя слуга.

Анна Виноградская.

4-е июля! Вот как!

NB:

Я на днях видела брата Алексея Вульфа, который сообщил мне странную особенность предсмертного единственного распоряжения своей матери, Прасковьи Александровны Осиповой. Она уничтожила всю переписку с своим семейством: после нее не нашли ни одной записочки ни одного из ее мужей, ни одного из детей!.. Нашли только все письма Александра Сергеевича Пушкина.

Не сердитесь на меня за мое маранье и бестолковое письмо. Муж не хотел, чтоб я вас им обеспокоила, но переписывать я никогда не умела, а мне хотелось, до смерти хотелось побеседовать с вами. Не сердитесь же на меня и приезжайте скорее.

Мы переменили квартиру. Теперь живем на Знаменской, на углу Итальянской, в доме Казакова, № 59-й по Итальянской и 19-й по Знаменской. Напишите словечко, чтоб я не боялась, что вы сердитесь за мою докучливость.

Муж свидетельствует свое душевное почтение.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — П. В. Анненкову

1860 г. Петербург

Простите, что я беру на себя смелость присовокупить к сему кое-что из личной переписки, только для образца. Если вы возьмете на себя труд взглянуть на одни только автографы, среди коих есть весьма ценные, Вы убедитесь в справедливости моих рассказов — и это сможет возместить недостаточную связность и последовательность моих воспоминаний, которыми Вы, по исключительной доброте своей, заинтересовались.

Если Вам удастся что-то сделать с присланными мною прежде *«Воспоминаниями о Пушкине»,* я бы покорно Вас просила включить эту музыкальную фразу туда, где ей и надлежит быть — в рукописи № 1. Признаюсь Вам, что мне это очень важно... Думаю, что это произведет впечатление. Фраза Александра Сергеевича.

Сердечно Вам кланяюсь.

Приношу мильон извинений, что, несмотря на Вашу крайнюю занятость, о которой слышала у *Тютчевых* от *Констанции Петровны,* я позволяю себе затруднить Вас этим беспорядочным ворохом писем. Если бы Вы нашли возможность дать мне знать, что Вы на меня за это не гневаетесь, меня очень бы это обрадовало, а то, по правде говоря, я в большом беспокойстве.

Преданная Вам А. В.

П. В. Анненков — А. П. Керн (Марковой-Виноградской)

28 июля 1859 г., с. Чирсково

Милостивая государыня Анна Петровна!

Доброе и любезное Ваше письмо я получил. Бедная Прасковья Александровна, которую Вы так живо описали, что, кажется, я будто вижу эту маленькую, круглую, немножко экстравагантную, но сильно-умную женщину — и она отошла к предкам. Современников Пушкина все более и более накопляется по ту сторону жизни; тем более обязанностей лежит на тех, которые остались по сю сторону. Вы пишете, что только от

одного лица слышали одобрение (Н. Н. Тютчева) своей статьи; жаль, что Вы не были в Москве во время ее появления. Я там слышал со всех сторон и даже от незнакомых людей, в театре единственный приговор, что — только одна умная женская рука способна так тонко и превосходно набросать историю сношений, где чувство своего достоинства, вместе с желанием нравиться и даже сердечною привязанностью, отливаются разными и всегда изящными чертами, ни разу не оскорбившими ничьего глаза и ничьего чувства, несмотря на то, что иногда слагаются в образы, всего менее монашеского или пуританского свойства. Вы напрасно, по моему мнению, беспокоитесь о слишком резком характере отдельных фраз или выражений. Все это пропадает в общей гармонии целого, которое само по себе, в одно время и очень откровенно и очень благородно, вполне добродушно и вполне прилично. Действительно, так писать могут только женщины, потому что наш брат непременно в каком-нибудь уголку, где потемнее, да переложил бы красок, не удержался бы от эффекта и растушевки. Не понимаю — отчего Вы не получили 10 экземпляров отдельных оттисков Вашей статьи? Я бы попросил г. Виноградского забежать при случае к книгопродавцу Печаткину и спросить от моего имени — куда девались 10 экз., которые были им определены для отсылки к вам, в дом Ронова. Если Вам удастся получить их, то позвольте мне быть челобитчиком перед Вами и домогаться о получении одного из них, с Вашей надписью и из Ваших рук.

Не могу, однако же, обойтись и без критической заметки.

При том верном такте изложения, каким Вы обладаете в высокой степени, Вы действительно сказали менее того, что могли и должны были сказать. Потому из Вашей записки вышли превосходные «Воспоминания», между тем как из нее должно было, по-доброму, выйти начало замечательных «Мемуаров». Понимаете разницу? Я глубоко обрадовался, узнав из письма Вашего, что у Вас готовы заметки о Дельвиге, Глинке и проч. Это самая счастливая мысль. Заметками этими Вы поставите себя на степень летописца известной эпохи и известного общества и выйдете из роли автора маленькой *исповеди,* которая, как бы хороша и интересна ни была, все-таки не более как личное дело, каприз,

остроумная проба своих способностей, листок из милого альбома. Роль составителя *записок* и важнее, и серьезнее, и почетнее: имя его уже связалось с историей литературы, т. е. с историей общественного нашего развития! Понятно, что при этом уже пропадает всякая необходимость полудоверий, умолчаний, недоговоров как в отношении себя, так и в отношении других — нужна только добросовестность и любовь к людям, которых описываете. Если Вы станете на эту точку зрения, то уже увидите под ногами своими все, что теперь может Вас остановить, или все, что теперь Вас затрудняет — фальшивое понятие о дружбе, о сбережении памяти человека, о приличии и неприличии... Задача делается только показать лицо и событие во всей их правде и так, чтобы самая эта правда нисколько не мешала ни любить, ни уважать их. Конечно, для этого надобно уже отделиться от маленьких и пошленьких соображений мещанского понимания морали, comme il faut'а, допускаемого и недопускаемого в обществе, но только на этом основании получается имя летописца эпохи, которое Вы бы заслуживали иметь.

Если Вы удостоите меня присылкой Ваших заметок, я Вам скажу откровенно свое мнение о них, будучи уверен теперь, что они составляют важное приобретение для истории литературы. Я проживу в деревне до половины сентября. Николай Ник<олаевич> Тютчев и Александра Петровна так быстро проехали через Симбирск, что не закинули даже вести в мою деревеньку, а письмо мое, написанное при первом известии о их появлении на нашем горизонте, пошло бегать за ними, как ласточка за бабочками. Поклонитесь от меня всему их осиротевшему семейству. Жму руку супругу Вашему и препоручаю себя в Ваше доброе и ласковое воспоминание.

28 июля, с. Чирсково *Павел Анненков.*

ПРИЛОЖЕНИЯ

А. В. Марков-Виноградский

ОТРЫВКИ
ИЗ ЗАПИСОК И ЖУРНАЛА НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Воспоминания о давно прошедших годах детства приносят милый образ матери и разливают чувство тепла, которым счастливо было мое детство, взлелеянное ее ласками... И теперь мне делается хорошо, когда всплывает в душе нежное впечатление, проникавшее меня в минуты ласк моей родной, когда я был еще ребенком... В эти чудные мгновения мысль не приходила, что может настать время, когда эти ласки не будут согревать меня и нежить. А когда и набегала изредка такая мысль, то вдруг становилось и холодно и страшно. Страшно было вообразить себя в этой пустоте без живительной нежности матери, и я в такие минуты ближе припадал к ней, мечтая, что легче было бы лечь с нею в могилу, что и тут согреешься у ее груди... В особенности мне нравилось сидеть с нею перед вечером на диване и, склонивши голову на ее руки, слушать рассказы о жизни детства ее в доме бабушки... Лучи заходящего солнца бывало мягко вливались в раскрытое окно вместе с запахом растущей тут же липы, а птички десятками щебетали, усаживаясь между ее ветвей на ночлег... В эти счастливые минуты моя, едва начинавшаяся жизнь тесно сливалась с прошлым доброй матери и бабушки, с жизнью всего их окружавшего; и в будущем все казалось и светло и радостно.

Многие из рассказов матери и теперь, в грустную, вечернюю уже пору моей жизни, когда лучи солнца на закате скрываются за крышами домов и едва заметно поднимается сумрак ночи, приходят мне на память <...>

Под нежный говор матери, так кротко и ласково смотревшей на меня серыми своими глазами, в ожидании вечернего чая и выхода из кабинета отца, куда он

обыкновенно удалялся перед чаем по служебным своим занятиям, я иногда сладко дремал, мечтая о чем-то чудесном, и мне грезилось, что кто-то невидимый, светлый положит нам на окно много денег, в которых мы всегда нуждались, или что я вдруг по воле Божьей заговорю по-французски или заиграю прекрасно на гитаре, чего очень желалось моей матери.

Но вот голос отца, чай подан... Мечты все разлетелись, и я, в другой уже комнате, сижу верхом у него на коленях, скачу с приказаниями начальства, как адъютант, и слушаю рассказы про Суворова... Отец мой был военный, страстно любил Суворова, с которым был в Италии, и, при одних воспоминаниях, выходил из себя, называя Аракчеева, своего тогдашнего начальника.

Противоположные по существу своему рассказы моих родителей развивали во мне мистическую мечтательность, любовь ко всему живущему, уважение к добродетели и ненависть к притеснениям.

Мать моя, из фамилии П[олторацки]х, была обаятельно добра, обладала здравым смыслом, считала правду и справедливость выше всего на свете, и этими качествами привлекала к себе сердца многих... Она не была хороша, но в ее лице был отблеск прекрасной души; она невольно нравилась и внушала доверие и симпатию. У ней не было врагов: она никому не колола глаз своими совершенствами, обращалась со всеми кротко и внимательно и не возбуждала ни в ком зависти, а не в этих ли слабостях, даже людей хороших, причины враждебных отношений со многими? Жизнь свою она прошла тихо, с упованием на Бога, с любовью к ближним, которым всегда непритворно и дружески улыбалась, стараясь сделать им что могла приятное или полезное.

Отец, закаленный военною службою, поседелый в трудах и заботах о насущном хлебе, был энергичен, правдив и честен. Он начал службу чуть ли не с детского возраста и служил до самой смерти. Прямой в обращении с людьми, он пользовался любовью и уважением всех достойных любви и уважения, и мне случалось встречать почтенных стариков, вспоминавших о моем отце со слезами. Несмотря на ограниченность образования, его беседа, благодаря остроте его ума, была зани-

мательна и для образованных людей, и они часто весело смеялись его безобидным шуткам за ароматным пуншем... Но он был вспыльчив, раздражался часто из-за пустяков... Мать знала это хорошо и умела всегда его утешить и успокоить... Они жили счастливо, но недолго. Мать пережила отца восьмью годами и умерла в 1837 году.

Таковы были мои родители. У них было четверо детей, из которых остались в живых сестра Лиза и я.

Мы все родились в местечке К., Могилевской губернии, где стоял полк моего отца <...>

Прежде чем говорить о жизни в корпусе, мне хочется вдаться в некоторые подробности о бабушке моей, о нашем городке и обо всем окружавшем и занимавшем мою душу.

Наш город живет произведениями лугов, полей, табачных плантаций, и внешним своим видом и населением, по преимуществу земледельческим, мало походит на город. Он своими клунями (сараями, где хранится и молотится хлеб), своими скирдами ржи, ячменя, гречихи и прочее, и стогами сена, окружающими белые крестьянские хаты и дворянские будынки (постройки) <...> и своими фруктовыми садами, с дорожками, обсаженными крыжовником, смородиной, напоминает скорее большое селение, нежели город. Он не увеличивается и не украшается и носит на себе печать застоя... перемены в его физиономии производят только времена года... Из них самое несносное — лето, когда цветет табак и душит жителей одуревающим запахом никотина. В нем все невыгоды деревни и ни одной из выгод городских.

Усадьба эта (моей матери), вместе со стоящею против ее ворот, на другой стороне площади, каменной церковью Воскресения, построена была для деда моей матери, протоиерея Ф. П.[1], сыном его, любимцем Императрицы Елизаветы[2]. Одноэтажный, деревянный дом усадьбы, осененный роскошными липами и кленами, был так близок к церкви, что с его крыльца, покрытого навесом на четырех колонках, можно было слышать церковную службу. Колонки эти остряки называли тасканскими, так как их таскали по лесу и притащили на место, немного употребив усилий на отдел-

ку... Церковь была о трех куполах самой простой архитектуры... Она была разбита громом и так долго стояла без крыши, что на ней выросла береза... Она реставрировалась уже, по моей памяти, стараниями бабушки, долго собиравшей пожертвования по книжке, выданной из консистории...

Ф. П., впоследствии протоирей упомянутой церкви, попал в духовное звание вследствие царских указов, гнавших дворян с печки на службу, к которой он не чувствовал никакой симпатии. У него было три сына. <...> Я обращусь прямо к третьему, к моему деду. Он был бунчуковый товарищ казачьего войска, нечто вроде майора, и отличался голубиною кротостью, добротою и здравомыслием в советах <...>

Невозмутимая кротость его души простиралась до того, что когда средний брат его записал на свое имя имение, подаренное им обоим старшим братом, то он сказал: «Бери, братику, тоби больше треба», и не только не завел с ним иска, но даже не поссорился... Он, как истый мудрец, довольствовался малым и жил припеваючи на двадцати душах родового малоземельного имения с водяною мельницею, пивоварнею и шинком.

Дед мой был женат два раза и от этих браков имел двадцать одного человека детей. Из них десять были от второго брака... Он гордился количеством детей и называл их благодатию Божиею. Последний раз он женился шестидесяти лет на моей бабушке. Ее выдали шестнадцати лет насильно, но она прожила с ним счастливо более сорока лет, закрыв старику глаза с горьким плачем на сто четвертом году его жизни, в годину торжества нашего над Наполеоном.

Бабушка была очень красива и стройна. Ее строгое, правильное лицо дышало умом и сильною волею, улыбка и взгляд были добры, хотя и не очень ласковы. Она была исполнена религии и христианской любви и ее мысли и чувства принимались глубоко, а дела и отношения к людям сияли строгою честностью <...>

Живя в Малороссии, мне кажется, нельзя не полюбить ее улыбающейся природы и юмористически ухмыляющегося, весьма оригинального народа.

Не воздержусь, чтобы не сказать хоть несколько слов о моих милых хохлах...

Они расположены к чистоте, порядку, ко всему красивому, ласкающему взор, и осуществляют эти наклонности в своих опрятных жилищах, раскинутых обыкновенно в тени садов. Во всей их порядливой, не лишенной некоторой поэзии, жизни... они хлопочут не об одном только полезном, но часто и о приятном... У них не один только хлеб на уме, но также и удобства и некоторые удовольствия в жизни... А это уже признак умственного и нравственного развития. Оно особенно заметно в их браках.

Браки у них устраиваются по большей части на основании сердечных влечений, по обоюдному согласию. <...> Составившиеся браки обусловливают в некоторой степени супружескую верность и чистоту общественных нравов, но вместе с тем развивают и чувство ревности. Эта страсть переживает иногда у малороссов все другие страсти и прорывается даже на старости... Ревность доводит часто моих земляков и землячек не только до семейных ссор, но даже до преступлений, а желание взаимной любви до ворожбы и разных приворотных зелий... Любя независимость, малороссы оженившись, отделяются от родителей и устраивают самостоятельные хозяйства по личным вкусам, средствам и способностям... Усадьбы свои они не ставят в ряд, одна подле другой, как великороссы, а в разбивку... стараясь приютиться поудобнее и покрасивее. <...>

В числе недостатков моих земляков резко бросается в глаза охота к тяжбе. Они тягаются из-за пустяков, часто лишь бы поставить на своем или удовлетворить своей мстительности, которая у них сильно развита вместе с упрямством. Однажды два соседа обращались к исправнику, чтобы он разобрал, кому кукушка куковала, когда они пахали поле и вместе считали ее куку... Исправник помирил их на том, что кукушка ему куковала, так как оба привезли ему по возу пшеницы. Случается иногда, что тяжущиеся стороны едут на одном возу и почти не питают одна к другой вражды, а только желают перехитрить одна другую и настоять на своем по страсти к ябедничеству и к крючкотворству, ко-

торые поддерживаются в них легионом писателей-ярыжек, наполняющих Малороссию и живущих ябедами.

Сутяжничество в особенности развито между панами, немногие из них живут в мире с соседями. Образованные из панов редко бывают в своих имениях — их все тянет к северу... а полуобразованные, и в умственном и в нравственном отношении, очень плохи.

<...> Так один пан замечателен был своим обжорством. Раз на сенокосе над рекою, богатою рыбою, он до того напаковался щуками и раками, что не мог ни лежать, ни сидеть, рыба подымалась кверху и душила. Сон морил его, и чтобы дать возможность объевшемуся пану заснуть и переварить поглощенную им пищу, окружающие принуждены были приставить его к дубу и, обложив подушками и сеном, привязать под руки к развесистым ветвям... В таком положении пан проспал более четырех часов... потом выпил самовар пуншу и, воротясь домой, съел за ужином гуся... Этот субъект часто закусывал водку только после тринадцатой рюмки....

Подобные безобразия сходили с рук, вероятно, по милости благодатного, живительного воздуха, палящего жара... и по милости силы и прочности организма, развившегося... в полном довольстве.

Среди такого-то климата и людей провел я отрочество, ласкаемый и ободряемый доброю матерью и милою малюткою-сестрою, учимый и капризно муштруемый теткою и ласкаемый поэтическими мечтами детской привязанности к институтке<...>

Но пробил час и меня, продержав несколько месяцев в лицее, отправили в корпус... Это случилось в 1834 году. Господи, сколько слез было при прощании! С матерью, бабушкою и институткою! Это прощание было на веки!.. Ужасно, что на жизненном пути прогоны приходится платить нам утратами близких сердцу!..

1840, 2 мая. Сумерки.

Хорошо любить! Есть сердце родное: есть что крепко прижать к сердцу и в грустное время сказать: «Душенька, мне грустно!» Даже ссориться с близким душе приятно! Это все равно что ссориться с самим собой за

что-нибудь и убеждать себя в том или другом! Вообще хорошо любить! Я ее, мою Анеточку, очень люблю! Все, что ни делается, от Бога, и наш союз, как он ни странен, Им благословен! Иначе мы не были бы так счастливы, не имели бы такого Сашечку, какой нас теперь так утешает! Ни о чем случившемся жалеть не надо, все к лучшему, все хорошо! И одно непредвиденное верно.

Писал в Лохвице.

Вы видели Михайла Ивановича Глинку? — Нет! — Что же видели вы после этого? И не слышали его чудной игры?.. Нет! — Зачем же вам слух дан? Ей Богу, не понимаю! Ну, наконец, вы вероятно знаете, что он существует, что он славится как глубоко понимающий и чувствующий музыку композитор? — Нет! — Ну, следовательно, вы просто глупы и ничего не знаете! Сплетите себе ожерелье из ваших «нет», которыми вы так щедро мне отвечали, и ходите по улицам надевши его, чтобы все знали, что вы отрицательное существо и, положительно, изящного не знаете и не стремитесь узнать! <...> Я так люблю рассказывать об этом поэте звуков, вспоминая то счастливое время, когда я его слышал, я повторяю прошедшую жизнь, прошедшие наслаждения!..

Я глубоко благодарен Глинке за те поэтические минуты, какие испытывали мы, слушая его страстную и разумную игру на фортепьяно. Каждая клавиша фортепьяно издает у него тысячи разнородных звуков! И как мягки, как сладостны его звуки! Как плавны у него переходы! Ну, так ласково сливаются одни звуки с другими, так непрерывно бегут они друг за другом, что каждая, кажется, его нота влюблена в другую и стремится за нею по внушению чувства!

Глинка ораторствует своей красноречивой музыкою! Его дивные звуки в состоянии убедить самого отчаянного скептика в существовании счастья на земле — стоит долететь им до ушей этого несчастливца!

Я слышал составленную им музыку на 12 романсов Кукольника! Что за прелесть. Как глубоко изучает он сюжеты романса и как соответственно ему делает му-

зыку на слова! Его музыка умна, дышит чувством и внушает слушающему наслажденье! Он пишет теперь оперу «Руслан и Людмила» и ласкал нам слух музыкальным отрывком из нее <...>

Я не учился живописи! Мне хотелось без учения выразить лишь резвою кистью... перенести на полотно очарование идеи — волшебством красок! Но увы! При всем желании быть живописцем никогда не мог учиться рисовать. Мне давали для копирования рисунки, и я не мог им близко подражать... Черты оригинала мелькали передо мной, не отраженные во мне! Они сливались во что-то неопределенное, и я никогда не мог ни точно снять абриса, ни положить тени так, как в оригинале. Всегда фантазировал!

Но я хочу живописи. Я хочу выразить всё в роскошном свете красок. Запрыгать вдохновенною кистью на холсте!.. Любовь моя тогда заалеет в чудных изображениях! Ни одна черта милых моих не убежит от своенравной кисти моей. Я их буду любить в каждом движении кисти, они будут сиять предо мной радужным счастием!..

Так мечтал я на Петербургской стороне вечером, когда присутствие ее наполняло меня счастливой нежностью, когда Сашечень наш спал...

Я мечтал!.. и остался все-таки офицером. Ух, какая пошлость быть офицером! Ну, нечего делать — не отдали меня в Академию художеств! Впрочем, что ни делается, все к лучшему!

1841 г. март

Она в П<етербур>ге хлопочет о делах по имению. Уехала 5 марта 1841 г. О, как тяжело без нее!!

25 мая

Мне так томительно грустно, такая жестокая тоска гнетет дух мой! Ты раньше 15-го июня не приедешь! А я вчера еще ждал со всею силою мечтательного чувства к 1-му июню! Мне казалось, что ты уже в дороге. Уже приволье счастливой жизни радужно рисовалось

в воображенье; а теперь снова ожиданье должно пуститься, прихрамывая в дальний путь и, не переводя духу, томить меня еще до 15 июня. Сегодня я получил твое письмецо и радовался твоим нежным думкам! Ты так ласково всегда мечтаешь. Но потом, узнав, что ты завтра только выедешь из этого Питера, мне очень грустно стало!

27 мая

О, как тяжело слушать намеки из нечистых уст о нашем чудном соединении! На сердце кошки!! И ничем не можешь отвечать, потому что это только намеки! Да и что я могу отвечать — я безответственный для всего кроме дружбы и любви?! О, Боже, как это всё тяжело! Обвенчаемся, дружочек мой, родная моя душечка: утешь, осчастливь меня этим. Я буду тогда смелей льва и пламенней демона любящего! Святость чувств моих всегда будет заставлять меня обращаться к Богу: этому щедрому, милостивцу нашему, и заживем!!.

Ноябрь

Настала зима со своими бесконечными вечерами. Три робера в вист уже сыграно, а еще только седьмой час, спать рано, и мы начали читать Онегина, восхищаясь нашему светлому гению — нашему великому Пушкину. Воображение наше воспалилось и начало играть с неутомимою деятельностью.

Но обратимся еще к семейной жизни. Какое высокое наслаждение, после тяжких трудов, в самом жалком изнурении, упасть на роскошную грудь жены, утонуть в нежности ее ласки, жарких поцелуях и забыться чудным, спокойным сном. Улыбка высокого удовольствия и умиления... на устах спящего счастливца! И как радостно его пробуждение. Ласковый голос жены лепечет ему нежности: душистые губки ее сымают с глаз, отуманенных сном, ночные грезы и освещают их зарею своей милой улыбки!

Мы живем для того, чтобы любить Бога и ближнего и тем самым прославлять Творца, от избытка Своей

святой великой любви создавшего мир! Мы должны любить всех так, как солнце освещает всё живущее. Но так как оно не может равно освещать всё, так и мы не можем любить всех с одинаковою силой и, следовательно, должны избрать предмет, на который бы устремились все наши чувства! От нас требует этого власть Всевышнего, даровавшего нам душу, а с нею и любовь. Всех сделать нельзя счастливыми, так надо делать хоть кого-нибудь, следовательно, надо жениться и жениться по любви!

19 декабря

Вскоре до слуха моего дошел образчик уважения к женщине в наших местах... Мне рассказывали, как брат моей милой жены, П. П. Полторацкий, считающий себя образованным, сек при помощи своих крепостных девок свою жену, из фамилии Гриневичей, за какие-то промахи относительно хозяйства, за несоблюдение каких-то приличий и прочее... Что мудреного, когда он при мне бил девку по щекам, державшую ему урильник, когда он мочился...

Но придет время, когда идеи образования войдут в плоть и кровь нашего животного царства, носящего название помещиков, чиновников, и оно очеловечится...

1842, 26 апреля

Уволен из Артиллерии подпоручиком и занялся хозяйством по данной доверенности Петра Марковича в милой нашей <неразб.> луже. Когда бы удержалась она за нами!!

1843 г. 8 января

Я провел этот день читая, выписывая и отдыхая подле своей больной душечки: она при всей боли, мучившей так странно ее, меня ласкает, и мне хорошо. Вообще, только любовь и занятия полезные, как физические, так равно и умственные, делают человека довольным и счастливым. Здесь источник тем тайным ра-

достям, которые так часто посещают трудолюбивого и любящего свою жену человека!! Да, так, так и по книгам так!

21 мая

Читал биографию голландского поэта Катса[3], жившего 200 лет назад. Выписывал несколько стихов и из его биографии <...>

Вечером. После ужина

После обеда я с милым нашим Сашею ездил в лодке на охоту. Дичи видели много, зубы острили на нее, да глаза и рука изменяли мне и ездившим с нами охотникам; и мы, слава Богу, ни одной птицы не убили... Не люблю я убивать! Саша не боялся стрельбы и все смотрел в воду на водяные растения и тянулся с рук няньки за желтыми цветами кувшинок... Мы возвращались домой, когда тучи начали очень серьезно поговаривать о предстоящей грозе!.. Сашу, нашего голубчика, очень занимала молния, и он силился рассказать что-то о прогулке, сидя на коленях мамаши...

Теперь я сижу в уютной нашей спальне. Она, моя голубушка, уже легла в постель и ей может быть уже и снится что-нибудь, а я пишу и хочу сказать несколько слов о Пушкине, о котором мы с нею часто беседуем и перечитывали его «Цыган»... Она была знакома с ним, и он ее воспел в двух стихотворениях: «Я помню чудное мгновенье» и «Я ехал к Вам». Она вдохновляла также Подолинского... Да, кто не восхищался ее внутренней и внешней красотою?..

«Сын Отечества» вздумал уверять, что Пушкин не мировой гений!! Мне это досадно!.. Как, Пушкин, написавший «Цыган», «Онегина», «Годунова» и пр., не принадлежит всему миру и всем векам?.. В его произведениях воспроизведены общечеловеческие мысли, чувства и действия и затронуты общечеловеческие нравственные интересы, которые для всех людей и всегда занимательны <...> В «Цыганах», в лице Алеко, поэт изобразил вообще человека, существо, тщетно ищущее счастия, удовлетворения своим желаниям и стремлениям. Он не находит его ни в шумном свете, ни в мир-

ном свободном таборе цыган и вносит в простой круг бедных скитальцев, где властвует старик-мудрец и Земфира — тип женщины вообще, тревогу, несчастие. Губит других и сам гибнет от собственных страстей — причины всех наших бед! Разве это не общечеловеческая идея?.. Нет, Пушкин велик!..

В «Онегине» отразился современный человек, продукт века, и когда тунгусы достигнут такого образования, каким мы обладаем, и у них явятся разочарованные, пресыщенные, стыдящиеся чувства и не любящие труда эгоисты, на манер Онегина, тогда и они поймут и прочувствуют великое создание великого нашего поэта! Оно в них пробудит, так же как пробудило и в нас, сознание самих себя и осмыслит их жизнь! <...>

Музыка стихов его отчетливо, верно изображает чувства и, читая их, кажется, что Пушкин и мыслил стихами, так они естественны!.. Ни одна строка не написана им для рифмы... Его стихи подобны дождю, лились из сердца и западают в сердце каждого <...> Несмотря, однако, на гениальность, Пушкин во всех своих произведениях народен... Человек никогда не может отделиться от своей народности! <...>

Как смеет какой-нибудь журналист касаться до святых верований человечества, громко признавшего гением нашего великого Пушкина! Ругались бы между собой! Да и кто же старается унизить Пушкина? — Булгарин, являющийся в каждом своем писании шарлатаном <...> игравший присягою, как мечом. Умеющий только описывать грязности и зверские пытки. Благородство же описуемое не трогает сердце <...> оно сухо, вяло, натянуто, потому что есть плод ума, а не дитя горячего доблестного сердца. Он по преимуществу комик, сатирик, написавший очень много в разных родах. Он учился в 1-ом кадетском корпусе и вышел в уланы в 1808 году. Дрался с русскими под Фридландом, а с поляками во французской армии в Испании. До 1819 г. жил в Польше, а в этом году переехал в Петербург и вместе с Гречем стал обогащать русскую литературу всем, что требовалось и нравилось тогдашней публике. Так они действуют и поныне.

Родители Греча были богемцы, бежавшие в Россию... Он родился в Петербурге в 1787 году, учился в юнкерском институте при Сенате, образовывавшем чиновников. Не захотел служить, а сделался учителем, прослушав лекции в Педагогическом институте. Потом в 1829 году назначен редактором журнала Министерства внутренних дел и пошел писать <...> но нигде не обнаружил таланта. Что мудреного, что они с Булгариным бросали грязью в Пушкина... Булгарину только денег нужно <...> И он смеет грязными, порочными устами судить Пушкина, окутанного плащом вечной славы... О, люди, вам бы только в карты играть, убивающие душу, потемняющие ум, расстраивающие здоровье и годные только для забавы сумасшедших, а не касаться святого гения, не лезть в высоту, когда нет средств на это, а оставаться в грязи повседневной жизни! <...>

Вечер. Голубушка моя родная часто говорит мне о Пушкине... и мне захотелось набросать несколько черт из его биографии, не касаясь его литературных произведений.

Отец его — старый дворянин — напоминал легкомыслием, любезностью и волокитством старого французского маркиза. Он был пустейшим из самых бестолковых и до того влюбчив, что был влюблен накануне смерти в дочь моей жены и хотел на ней жениться. Он, в припадке слюнявой нежности к ней, ел тихонько кожицу от клюквы, которую она выплевывала на блюдечко <...>

30 июня

Неясная грусть томила меня, болезненно сжимала сердце, и я только и получил облегчение на груди у моего нежного друга <...> и грусть освободила сердце для упоительных ощущений любви! Вдруг пришло в голову ехать в Лубны, и мы поехали!

26 августа

В них <в Лубнах>, кроме грязи, в которой тонут не только собаки, но и лошади и даже иногда люди — бывали такие случаи — есть и библиотека для чте-

ния! Да и помимо этого Лубны достойны замечания по своему древнему живописному положению и прекрасному климату. Верно, тут в древности промышляли лубом, а может, как некоторые думают, любовью, и от того город и получил свое название? Лесу тут когда-то было много. Лубны раскинулись по холмам и террасам высокого правого берега р. Сули, впадающей в Днепр. Они замечательны ботаническим садом и казенною аптекою, заведенною Петром I. В них около 3000 жителей, из которых одна треть евреев. До XVII века они принадлежали гетманской булаве. В 1658 году тут были стычки поляков с русскими <...> А в 1802 году сделались уездным городом Полтавской губернии. Вот Вам и Лубны.

22 сентября

Кажется, я несколько дней только не писал ничего в этом дневнике, а между тем, мы успели совершить важное дело. Мы сошлись с братом и сестрою, с которыми были не в ладах по тому обстоятельству, что отец оказал нам предпочтение перед ними, доверив нам, а не им управление Лучкою, когда уехал год назад в Петербург сбивать крупянковое масло... О, зависть!

Писал сегодня тетке Федосье Петровне Полторацкой, владеющей моим именьицем, что пора бы мне прислать из него что-нибудь, что я уже не Сашенька в углу, нуждающийся больше в наставлениях, чем в деньгах.

1844 год

Начался большими неприятностями от отца. Ну, да Бог с ним. Поедем в мой прадедовский дом... в Сосницу.

23 февраля

Вот мы и в Соснице. Приехали сюда 20 февраля. Что-то будет? Чем-то будем жить?! Разумеется, службою! Но как найти место?.. Увидим!.. Бог не без милости, казак не без счастья!..

Марлинский в XII томах своих разнообразных произведений, состоящих из 140 больших и малых статей, в которых особенно замечательны критические статьи и повести, блещет пышностью выражений, яркостью сравнений, прикрывающих иногда пустоту мыслей. В них много претензий на эффект. В сочинениях не встречается обдуманных и резко очерченных характеров, но зато досыта можно насладиться богатыми описаниями внешности. В них весьма часто попадаются изящные картины, как, например, красное покрывало. Во многих повестях он увлекается игривыми описаниями местности и домашнего бытия, но иногда читатель спотыкается в них на вздутые фразы, исполненные тщеславия. Он хлопотал об оригинальности <...> Он лучше критиковал, чем повествовал... Но что бы он ни производил, на все клал печать своего благородного, свободолюбивого духа и во всем проявлял ум, начитанность, честность, благоразумие и все то, что внушает сочувствие и симпатию в благородных душах.

Начитанность его была громадна. В этом ему помогали знание языков: французского, немецкого, английского и итальянского. Сверх этих языков он знал татарские языки. Занятия литературою и службою, изучение языков и чтение не мешали ему блистать в свете и побеждать женщин. Они были без ума от его красоты и любезности, и он пользовался этим и наслаждался ими до пресыщения... Он был большой бабник!.. Такие увлечения не разоряли его... Он был очень благоразумен и сумел составить небольшой капитал из доходов от литературы... Независимо от этого он много помогал братьям, когда они были в нужде, особенно Павлу.

Марлинский, то есть Александр Александрович Бестужев, родился в 1797 году. Отец его, Александр Федосиевич Бестужев, был замечательно умный, свободомыслящий человек и литератор. Имения Бестужевых были в Псковской губернии и Новгородской, но они были небогаты и жили службою и литературными трудами. Александр Александрович учился в Горном корпусе, а служил в лейб-гвардии драгунском полку...

Квартира его в Петербурге была близ пруда Марли. От этого пруда он и назвался — Марлинским. Потом он был адъютант принца Виртенбергского, управляющего Путями Сообщений, того самого, у которого была на носу шишка и которого звали по этому случаю Принц-шишка. Бестужев увлекся масонством, стремившим уничтожить всякого рода зло и разврат, а потом революционными идеями, силившимися, в свою очередь, подорвать всех возможных родов деспотизм и, в конце концов, пострадал с прочими декабристами.

Когда он шел на лобное место для выслушивания приговора, и когда снимали с обвиненных мундиры, чтобы их сжечь, то он первым бросил свою шляпу с большими перьями в огонь и был очень элегантен своею сословною осанкою и воодушевленной красотою... Во время совершения казни назло пошел дождик и народ говорил: «Сам Бог их прощает!.. но люди не прощают...»

Бестужев был сослан сначала в Якутск, но потом, во внимание к молодым его летам, таланту, ходатайству близких к царю, его перевели на Кавказ солдатом.

Братья его Николай и Михаил попали на каторгу... Петр на Кавказ, где сошел с ума. Уцелел только Павел. Он остался офицером в артиллерии.

Обаяние Александра Александровича на людей было так сильно, что с ним водили знакомство даже генералы... но не все... многие косились, встречая его у своих одноэполетников. Раз, один из таких, за завтраком у товарища подошел с закускою в руках к сидевшему в солдатской шинели за маленьким столом и евшему что-то Бестужеву, остановился против него и нагло спросил: «Какая разница между ослом и человеком?» — «Весьма небольшая,— отвечал Бестужев,— осел ест стоя, а человек сидя!»

Другого из подобных господ, утверждавшего в жарком споре о целях службы, что он служит из чести, Бестужев срезал замечанием, что всякий служит из того, чего нет у него: один из денег, другой из чести!.. Много подобных анекдотов приписывают Бестужеву, но едва ли справедливо... он сам любил их рассказывать другим. Но достоверно, однако, что он раз за свое

неосторожное слово должен был драться... В 1825 году он однажды приехал в один дом вслед за майором Р-м и назвал его квартирьером... Майор из немцев обиделся и, сказав, что квартирьерами бывают только нижние чины, вызвал на дуэль... Он первый стрелял и промахнулся... тогда Бестужев отказался стрелять и объявил, как объявлял и прежде, что он не имел намерения оскорбить майора... Майор бросился ему на шею.

Читал он свои произведения, как только они выходили из-под его пера, товарищу по палатке, весьма тупоумному и едва грамотному добряку... Но все его странности стушевывались, бледнели пред высокими достоинствами его доблестной души, исполненной правды, любви, изящества и безукоризненной честности. Кто не любил и не уважал его! Вследствие этого всего и отчаянной храбрости его, барон Розен убедительно просил императора, в частном письме, простить заблуждавшегося, но омывшего свои заблуждения слезами многолетних страданий и своею кровью на войне. В ответ на это письмо вышло запрещение ходатайствовать о Бестужеве, так как он личный... враг царя и он сам знает, когда его простить.

Скорее всего царя смущала трагическая история, случившаяся в квартире Бестужева в Дербенте. К нему ходила за шитьем белья Ольга, дочь вдовы-солдатки Нестерцовой, и он часто беседовал с нею. Раз она расшалилась, бросилась на постель Бестужева и, кувыркаясь там, толкнула пистолет, лежавший под подушками, и пуля пронзила легкие. Она умерла через пять часов; утверждали при снятии с него показаний прибежавшими на зов Бестужева офицерами, что она застрелилась нечаянно и что никого не подозревали в ее смерти. То же повторяла она и в бреду, но враги Бестужева старались воспользоваться случаем, чтобы ему насолить, и коверкали дело на все манеры, но истина восторжествовала, и Бестужев был оправдан. Вскоре после этого он произведен в чин офицера, получил вместо заслуженных им трех Георгиев одного и, наконец, прапорщичьи эполеты. Окрыленный радостию, хотя и больной болезнями головы, кишок и легких, он сел на корабль с десантом и отправился к мысу Адлеру, высунувшемуся в Черное море на юг его близ Поти, и вме-

сте с другими высадился на берег и кинулся впереди стрелковой цепи в лес, наполненный черкесами... Пули жужжали, как пчелы. Наших били враги нещадно из деревьев и завалов. Первую нашу атаку не подкрепили, и после жаркого дела с горцами Бестужев исчез. На поле сражения было найдено ружье его, а через несколько времени перстень его на руке мертвого чеченца...

У него было предчувствие смерти и он пред экспедицией написал завещание[4].

8 марта

Все эти дни я полон был мыслей Паскаля[5] и забывался в них от хозяйственных дрязг и теткиной воркотни <...> Что это за пошлая злючка! Бедная моя Анна! Как много ей приходится терпеть неприятностей от бывшего своего друга! Уж она и забавляется игрою в преферанс... нет, ничто не помогает. Ко всему придирается, за всё упрекает и нескончаемо ворчит... Прошли наши красные денечки! Настала нужда и неприятности...

30 мая

Один туземный франт, чванящийся своею светлостью и несмотря на это плюющий на ковер и бросающий скорлупу орехов на пол, утверждал вчера вечером, что в «Цыганах» Пушкина нет идеи... Это так меня раздосадовало, что я чуть не поссорился с ним, и долго ночью волновали его фразы, оскорблявшие мой взгляд на Пушкина!

13 июня

Говорили как-то о картине Брюллова «Последний день Помпеи» и дивились, что изображенные в ней лица занимаются личными, по большей части, интересами в минуту неизбежной гибели! Мне кажется, что они не сознают еще этой минуты, надеются еще спастись и уносят с собой все, что может понадобиться... Человека никогда не оставляет надежда. Жаль, что это произведение, совершенное в пластическом отноше-

нии, не наводит, как бы следовало по содержанию, ужаса на зрителя! Он не трепещет за участь спасающихся, не содрогается. Он восхищен... изображением пластической красоты, художественным воспроизведением тела и не чувствует совершающейся пред его глазами катастрофы...

Он <Брюллов> мастер изображать внутреннего человека, и его портреты дышат жизненною правдой. Один наш богатый вельможа, увлекшись этими достоинствами Брюллова, захотел воплотить свою образину на полотне и заказал свой портрет Брюллову. Художник воспроизвел вельможу так живо, что он пришел в коровий экстаз и в пылу его забыл заплатить за портрет. Тогда Брюллов, выждав время и не получая расчета, уговорил вельможу возвратить портрет для необходимых поправок и улучшений, и когда получил его, то намалевал сверх ясновельможной образины тюремное окно с решеткою. Пришел в мастерскую художника царь Николай и спросил его, что означает поразивший его портрет вельможи за решеткой? А то, Ваше Величество, что он не заплатил мне за труд и посажен за долги в тюрьму. Царь смеялся: «...а ведь можно заплатить вдвое, лишь бы выйти из-за решетки!» Брюллов остроумен! Это душа кутящей компании Лейхтенберского, Глинки, Кукольника и других...

1845 г. 13 января

При первой встрече с человеком я бываю очень молчалив: не нахожу мыслей в голове, не знаю, как заговорить и, боясь высказаться глупым, я решаюсь быть скучным. Я говорю, когда воодушевляюсь и когда знаю, что меня поймут... О как весело, когда говоришь с теми, которые поймут и подстрекнут ум к дальнейшим рассуждениям и дадут средства блистать мыслью и фразою. Надо, чтобы человек меня заинтересовал, чтобы я увидел, что он может понять меня и вести разговор, полный ума и жизни, и тогда только я решусь с ним говорить. С кем же я заговорил откровенно, с тем мы значит подружимся.

22 февраля

Тетка ненавидит мою жену. Отчего же она и меня не так же ненавидит? Это меня огорчает! Она, стерва, думает, что жена управляет мною. Между тем, мы живем согласно, и одна любовь наполняет нашу жизнь <...> и управляет нашими действиями и мыслями...

20 марта

Ах, как мне хорошо возвращаться к жене, как много наслаждения в радостном поцелуе свидания! Я счастлив! Я возвращаюсь к ней с восторженным нетерпением: это знак, что мне хорошо с нею, моею душечкой. Да, я отыскал то, что и другие ищут, да редко находят потому, что идут окольными путями; а я отыскал счастие! Господи, не отыми от меня его!

8 июня

Пушкин вечен — т. е. его будут читать всегда, потому что в его творениях обрисованы люди и природа с такою верностью и точностью, что всегда будет иметь ответ в душах читателей. Пока будут существовать люди — до тех пор будут читать Пушкина — как глубоко знавшего их и верно изобразившего.

26 июня

Я собираюсь жить. Прежде чем осознал я жизнь — я испытал счастие любви, в упоительной сфере ее я забывал всё — прошедшее не являлось мне — о будущем я не думал! Ни того, ни другого для меня не существовало! Я весь был проникнут счастием и дышал ароматами любви. Жизнь моя сосредоточилась в одних мечтах. Любовь развивала меня и так как обстоятельства, возбуждающие энергию, не помогали ей, то она развила во мне только чувства! Жаль, что я стремлюсь к добру, мечтаю о добре, но не действую в пользу его. Из этого всего я заключаю, что мне бы надо было избрать жизнь артистическую, но образование мое, недостаток средств <неразб.> по пути согласном со стремлениями натуры. Мне необходима

служба, как средство к существованию, но прозаически, беспокойные занятия страшат меня! Я боюсь, что буду бесполезен, что не сумею заняться ею, как должно. Я боюсь, что надо будет отказаться от поэтических мечтаний, какие иногда услаждают меня.

28 июня

Есть люди тихие! В их глазах сияет грусть безотчетная, их взгляды летают по поднебесью... Эти люди насквозь проникнуты красою природы и вечно грустят, любуясь ею... Эти люди, тихие с виду, богаты качествами бурными. В них глубокие чувства таятся до поры, до времени. Эти грустные натуры высокой организации! Ищи сношений с тихо грустными людьми — они не обманут!

20 августа

У нас теперь из новых поэтов замечательны два: Майков [6] — поэт анталогический, отличающийся роскошью формы, и Полонский [7] — богатый идеею. Кажется, с этим поэтом я делил прозу жизни в Кадетском корпусе?.. Он был головастик, старый кадет и обжора... Смотрел хмуро, но умно.

Идея есть заря мысли, а мысль есть солнце духовной сферы.

16 октября

Байрон выше, характернее и образованнее Пушкина, в нем больше силы, его фантазия богаче. Но я люблю Пушкина, а к Байрону чувствую больше удивления, как к герою, отважно боровшемуся с обществом, его предрассудками и с деспотизмом <...> Этот апостол свободы погиб, ратуя за нее и на словах и на деле. Он был хотя и легкомыслен и тщеславен, но далеко не так, как Пушкин. Большая часть мыслей, которыми теперь щеголяют наши поэты, принадлежит Байрону. Жаль мне этих мыслей — у Байрона они ходили в царских одеждах, а у наших некоторых молодцов прикрываются иногда лохмотьями.

3 ноября

Я сказал, что верен своей жене, и надо мною подшучивают — уверяю всех, что не изменяю ей никогда, и мне не верят и все-таки подшучивают. Это уже начинает меня оскорблять, и я прекращу плоские шутки! Что людям за дело, что я люблю свою жену и не могу ей изменять?.. Странны многие люди! Нет ли тут зависти, что я этой верностию выше других?.. Слабость характера моего поддерживала эти шутки, но пора их кончить. У нас никого не уважают, не презирают, следовательно, в нашем обществе нельзя заслужить ни уважения, ни презрения. Честный человек в наших домах равно принят, как и тот, который получил на площади оплеуху <...>

В семейной жизни ни один из супругов не должен другому делать ни выговоров, ни наставлений, то есть не должен оскорблять самолюбие, чтобы не охладить чувства и не сделать эту жизнь цепью пошлых неприятностей. Спокойствие лучше всего — тот неблагоразумен, кто питает семейную жизнь ссорою. Супруги должны смотреть на недостатки один другого снисходительно. Они не должны стеснять друг друга, а должны только заботиться об общем удовольствии, общей пользе. Надо помогать взаимно жить, а не мешать.

Жена или сидит с теткою и играет в преферанс в угождение ей, и я один, или сидит со мною и молчит, потому что неприятные обстоятельства так стиснули нашу жизнь, что язык не хочет шевелиться. Как же мне после этого не искать иногда общества. Но какое счастье, когда на душе сделается ясно и мы говорим... слух упивается... и в жилах течет наслаждение. О, за отрывок нашего разговора я <неразб.> всех прошедших и будущих трудностей. Но редки эти разговоры — жизнь наша теперешняя слишком засорилась тоскою и злыми фразами тетки.

Благодарю тебя, Господи, за то, что я женат! Без нее, моей душечки, я бы изныл скучая. Всё надоедает, кроме жены, и к ней одной я так привык, что она сделалась моею необходимостью! Какое счастье возвращаться домой! Как тепло, хорошо в ее объятиях. Нет

никого лучше, чем моя жена. Семейная жизнь, освещенная любовью, есть величайшее счастье — она уравновешивает все несчастия наши.

1846. 25 января

Жена. Она, моя голубушка, боится, чтобы я не разлюбил, не изменил ей. В начале нашей связи она этого же боялась... и опасения ее в течение девяти лет преследовали ее, как необходимый спутник счастья! Но моя любовь срослась со всем моим организмом и сделалась необходимым элементом моей жизни. Мы так счастливы друг с другом, что, разумеется, боимся перемены. Кому нечего терять, тот и не страшится потери! Я извиняю ее ревнивые выходки, но в себе уверен, потому что знаю себя, — моя к ней любовь неизменна, как свет солнца!..

Я люблю ее, мою душечку! Люблю со всей нежностью и нет сил в природе, которые бы могли разрушить мою горячую привязанность к ней! Всё, что есть во мне, всё принадлежит ей! Ее теплота насквозь проникает меня и производит во мне сладостные ощущения, каждый мой нерв всасывает ее... я счастлив от ее прикосновений <..> ее голос, мягкий и мелодический, чарует меня. Я весь любовь, весь счастие, и нет для меня радости за чертой моей семейной жизни. Боже, благослови нас, улучши наше состояние во всех отношениях!.. О, как жестоки внешние обстоятельства, нас окружающие! Они убивают нас!

1847 г. 6 февраля

Моему сыну я хочу дать воспитание кроме общего еще и торговое, так, чтобы он мог быть всегда полезным членом общества и богатым; в нем я замечаю деятельность и наклонности к хозяйству. Труд определяет жизнь.

Мы стараемся удалиться от общества; оно до тех пор приятно, пока не разгадано, когда же его узнаешь, то оно, потеряв всю занимательность новости, делается скучным.

Торговля и труд — вот общество, среди которого должен жить благоразумный человек, думающий о семействе.

Что может быть лучше семейства?! В нем всё, в нем любовь, в нем счастье, к нему должны стремиться все наши действия, потому что в нем найдем самый усладительный отдых от трудов. Семейство — цель наша, наше Божество.

21 февраля

Рисунки дагерротипные — есть мертвые копии. Можно дивиться их точности, но восхищение они не могут внушить, между тем как картина хорошего художника заставляет нас жить несколько мгновений восторженной жизнью. Потому что ее творила душа и из-под ярких красок ее сияет вдохновение художника!.. Как же можно спорить, что дагерротип вытеснит живопись, поэтому копии из судейских протоколов могут вытеснить романы? <...> Человек, любящий свет и его рассеянности, похож на того земледельца, который рассыпает зерна на каменистой земле, потому что светская болтовня — пустая игра ума, в которой душа не участвует, не приносит никаких плодов, а если и бывают от нее следствия, то самые неприятные, похожие больше на крапиву, чем на что-нибудь полезное

Скука — это следствие пустоты душевной, когда ни чувства, ни мысли, ни воображение не заняты ничем.

Грусть — унылое состояние души, при котором всё, о чем ни подумает человек, одевается в темные краски.

Тоска — состояние души, подавленной мрачными мыслями, изнывающей под гнетом стесненных обстоятельств и не видящей впереди ничего радостного.

У нас же все эти три состояния души называют одним именем: скука.

8 марта

Мне хочется обнять тебя, моя душечка родная, разогреть тебя нежностью своей любви! Мне хочется почувствовать у сердца мое милое, родное! Тебя, моя любовь. Я всё мое бытие на тебе сосредоточил. От тебя

мне тепло, при тебе мне светло. Ты всё для меня, и без тебя тоска!.. Страдание не чувствовать тебя близко. Когда же ты вернешься от Коленковых из Прилук, моя подруга? Ты же так долго не едешь! Мне плакать хочется! Я боюсь за тебя! Ну что если Десна задержит? Не переезжай через Десну без предосторожностей! Ах, как мне страшно! Господи, помилуй нас!

1848 г. 5 января

Настал Новый год, но люди всё те же и потому нечего нам ждать приятного. Если бы люди помнили и понимали, что они делали, то они бы не делали того, что теперь делают.

14 июля

Вот уже более месяца тяготеет над нами и в нас, и среди нас, холера! Ох, как страшна эпидемическая болезнь! Мы столько мук перенесли в течение трехнедельного ее разгула, что не многие испытали столько и в течение всей их жизни. Каждую минуту всякий из нас ждал смерти, томился мрачною мыслию о последнем часе; и до того мы истерзаны были беспокойством от беспрестанных слухов о несчастьях, напоминающих и, собственно, нашу опасность, что каждый звук, доходивший до нас, казался нам откликом какой-нибудь беды. Мы от всего тревожились, и сердце постоянно трепетало в страхе.

Этот ужас разоблачил всех: куда девались церемонии, соблюдение приличий? Всё поглотил эгоизм, всё уничтожила заботливость о личном здоровье.

Многие же, бросив своих крестьян, бежали! Тело их так боялось расстаться с прелестями земли, что они не побоялись открыто высказать свое малодушие! Пусть будет так, да и отчего же предосудительно увлекаться побуждениями тела, когда позволительно всякое душевное увлечение.

Видимость смерти страшна! Лучше быть в самом жарком сражении, нежели среди эпидемической битвы, но все-таки беглецы — подлецы!..

Во время народного бедствия и те, чьи уста чаще всего раскрывались для похабностей, стали молиться,

и те, что заколочены были крепко в броне эгоизма, раскрывались для обещаний делать добро. Все хороши, пока нам худо.

Следовательно, и это страшное бедствие имело свою хорошую сторону, но мне кажется, что если бы оно более продлилось, то мы бы все очерствели от беспрестанных тревог и страхов за свою жизнь и сделались бы глубокими эгоистами, думающими только о своем животе.

1849 г. 3 мая

Год давно начался и с ним вместе началась снова тоска... так что и в будущем, кажется, нет радостей... Всё та же тетка, всё те же долги, и нет конца неприятностям, беспрестанно возникающим от невежества большой части членов нашего общества. А тут еще не видишь средств вырваться из этой пошлой среды.

Я уже хотел бросить вести этот журнал, мне все надоело, но вдруг пришла охота набросать несколько мыслей.

Теперь читаю я «Три страны света», написанные Некрасовым и госпожою Панаевой, женой литератора Панаева, скрывающейся под псевдонимом Станицкого[8].

Сюжет романа очень прост. Герой романа — Каютин, сын промотавшегося дворянина, окончив университет, очутился в положении интеллигентного пролетария, влюбившись в бедную швею Полиньку. Он сознал, что для их счастья необходимо заработать состояние, сохранив при этом честность, и бросился отыскивать по свету прибыльной работы. Из сонливого шалопая и белоручки Каютин превратился в энергичного и практичного дельца и привез из трех стран Полиньке богатство <...>

В этом романе, смахивающем на романы Евгения Сю, верно описан русский человек. Он впечатлительно знакомит читателя с Новою Землею, Ледовитым морем, древнию Камчаткой и вообще исполнен истины, прозорливости и вдохновения! И по обдуманности, с которой составлен, по увлеченности, с каким писан, и по терпению, с каким обработаны в нем различные эпизоды, он отличает в авторах способности немало-

важные. Это один из русских романов, который читать полезно.

В русских романах видна какая-то тяжеловатость — лень ума... Не оттого ли что русский человек живет в изобильной стране, всегда сыт, живот его туго наколочен гречневою кашей и ум его, отягощенный парами тяжелой жизни, неповоротлив? То ли дело француз... У него в желудке листик салата грациозно плавает в желудочном соку и не затемняет и не обременяет ума, а потому француз пишет легко.

2 октября

Мне иногда приходят в голову прекрасные мысли, так что, одев их делом, я мог бы сделать много хорошего..., но препятствия, встречающиеся на пути исполнения, доводят меня до апатии, и я, воскрешенный сначала благою идеею, снова погружаюсь в невозмутимую лень... и в памяти моей нет дела, которым бы можно было гордиться... Я трус, боюсь всего! Но при соревновании мог бы сделать кое-что, да где же это соревнование? Где люди, которые бы задели за живое своим добром, и поддержали бы во мне искру доброй мысли, и увлекли на подвиг?.. Да и возможен ли подвиг, когда возле гнет, цепи?!.

Выборы дворянские наши составлены большею частию из людей, до которых образование не коснулось, которые не имеют простых понятий ни о добре, ни о зле, у которых совесть свободна, как старый разношенный сапог, и от этих выборов зависит судьба моя! Если я буду причиною решения дела не в пользу означенных господ, то меня не выберут и я при чистой совести своей все-таки буду нищим. Положение, кажется, незавидное!

1850 г. 28 января

И этот год начался как прежний... тихонько себе подполз и потащился ровным шагом, влача за собой вереницу дней и ночей. Мы собрались встречать его как

какое-нибудь чудо, а он незаметно перевалился через порог, при звуке полночи, и пошел, пошел, увлекая нас в неизвестное будущее!

8 февраля

До свидания, душенька! Будьте здоровы, мои голубчики, и не тоскуйте... Еду к сестре в Торжок.

5 марта

Приехал 3-го... Ничто не мило без семьи, вечное беспокойство о том, что с ними делается.

25 марта

«Воспоминанья предо мной,
Свой длинный развивают свиток...»*

Сегодня, беседуя с сестрой и женой, я припоминал прошедшее и нежность прежних дней вливалась мне в душу, я взывал к тому счастью, в котором мужала моя юность <...> Как описать всю страстность? Где взять слова, чтобы выразить это наслаждение, коим упивался каждый атом во мне на заре моей жизни?..

Я помню приют любви, где мечтала обо мне моя царица <...>, где поцелуями пропитан был воздух, где каждое дыхание ее было мыслью обо мне. Я вижу ее улыбающуюся из глубины дивана, где она поджидала меня... Когда сходил я с лестницы той квартирки, где осознал я жизнь, где была колыбель моих радостей <...> по мере удаления моего от заповедных дверей, грусть больнее и сильнее вкрадывалась в сердце, и на последней ступеньке невольно всплыли слезы на отуманенных глазах... Никогда я не был так полно сча стлив, как на той квартире!!. Из той квартиры выходила она и медленно шла мимо окон корпуса, где я, прильнувши к стеклу, пожирал ее взглядом, улавливал воображением каждое ее движение, чтоб после, когда видение исчезнет, тешить себя упоительной мечтой!! Она повернула за угол... кончик черного вуаля мелькнул из-за угла и нет ее... О, как жадно порывалось сердце вслед за нею... хотелось броситься на тротуар..., чтобы и след ее не истерся посторонним, казалось, и в нем была ласка и завидовал я тротуару!.. А суббота

настанет... в чаду мечты летишь по проспекту, не замечая ничего и никого, превратившись весь в желание скорее дойти до серенького домика, где ее квартира... И вот уже взгляд отличает то, к чему сквозь здания, сквозь деревья и дом... Уже обозначилось в доме окно... и она выглядывала из него, освещенная заходящим солнцем... И вот поцелуй сливает нас, и мы счастливы, как боги!.. Так я царствовал в сереньком домике на Васильевском острове!..

А эта беседка в Петергофе, среди душистых цветов и зелени в зеркалах, когда ее взгляд, прожигая меня, воспламенял... И мы под песню соловья, в аромате цветов, любовались друг другом, смотря в зеркальные стены беседки <...> Она так чудно хороша, что я был в счастливом забытьи... И все это прошло... О, Боже! Оставь же мне хоть это спокойное счастье, каким теплимся нынче мирно мы!

Много, много чудных воспоминаний толпится в моей душе теперь... Но можно ли выразить всё очарование происшедшего блаженства?? Не сильны вы, холодные буквы!

26 марта

Кто живет постоянно под влиянием сухой логики без участия сердца, кто всегда действует по одним лишь логическим соображениям... тот может дойти до больших ошибок, а иногда и до преступлений, смотря по его характеру. Сердце и голова должны сохранять между собой равновесие.

Пушкин гораздо добрее и простодушнее Лермонтова. В Пушкине больше грациозной мягкости, а Лермонтов сильнее и резче выражает негодование. В Пушкине игривая ирония и злые выходки против людских погрешностей согреты таким теплым чувством, до которого Лермонтову не удавалось возвыситься и в самые нежные свои минуты.

29 марта

Я прежде любил шумную беседу кутил, где пенилóсь вино и текла вольная речь и где я в минуты пьяного восторга увлекал всех своею любезностью. На этих

пирах мое самолюбие ликовало! Но после них такая остается нищенская пустота в душе, так совестно, что потрачена сила духа на грязности... и я, взглянув раз с истинной точки на эти вакханалии, такое получил отвращение от шумных бесед, что не вливаю в себя ни капли хмельного.

Побывал я в разумной беседе трезвых людей — разумных Бакуниных! Сколько ума, знаний, сколько доблести в этом чудном семействе!..

Я восхищался один раз, бывши в Тверской губернии, как один сын Бакунина посвящал целый вечер на то, чтобы разговаривать со слепым отцом об любимых его предметах, и с какою любовью он услаждал потухающую жизнь старца, описывая ему красоту вновь выписанных цветов, до которых отец был большой охотник.

4 августа

Результатом чтения моего (кн. Жака Араго «Воспоминания слепого»)[10] возникает в душе моей идея, что люди родятся злыми или добрыми, а не делаются дурными или хорошими вследствие различий воспитания и образования. Иначе дикие, которым не внушали добрых правил, были бы все злы, а просвещенные люди, отполированные нравственными щитами и умственно развитые до сознания прелести добра, были бы добры. А между тем, часто встречается, что европейцам нужно бы много заимствовать благородства и доброты у дикарей!

А сколько у дикарей талантливых личностей, выводящих их из дикого состояния, без которых они были бы вечно дикарями?.. Да и у всех народов мало ли самородных талантов? Наш, например, поэт Кольцов? Алексей Васильевич Кольцов родился в 1808 году в Воронеже, в зажиточной семье прасола-скотопромышленника. Не кончив уездного училища, полуграмотный, но талантливый юноша занялся на заре жизни по воле отца перегоном гуртов по степям; степи и села развили в нем поэтический дар, и он свободное время посвящал чтению, беседам с семинаристами, гимназистами, педагогами и другими образованными людьми,

увлекавшимися литературою... и сам сделался народным поэтом. Ему помогали развиваться Станкевич и Белинский в Москве, Жуковский, кн. Вяземский и кн. Одоевский в Петербурге, куда Кольцов приезжал по торговым и тяжебным делам. Занимаясь торговлей, стихами и тяжбами, Кольцов умер от чахотки в 1842 году.

Вчера кончил биографию Байрона, и грустно мне стало, что смерть не разбирает личностей и косит не в пору без смыслу направо и налево и великое и ничтожное. А может и есть мысль в этом видимом бессмыслии? А жаль было, что рано эта великая душа вознеслась в беспредельность. Одно утешение, что великий пал во время борьбы за великое дело греческого освобождения. Он угас, может, и в самую пору? Он умер на берегах Греции в раю, запакощенном людьми, в 1824 г.

Нас призывают родные служить в Торжок. А нам так хорошо по временам в своем мирном приюте... Я так свыкся со стенами моего дома, обхватывающими меня с родственной лаской, так хорошо, покойно в своих креслах <...> и смотреть в окно на роскошные липы, посаженными моей доброй матерью!.. Но, может, я там пойду в ход и буду иметь деньги? О, честолюбие, оставь меня в покое! А то, не говоря, наскучило мне грязнуть в пошлой среде, нас теперь охватывающей! Да, жаль покинуть свое и ехать на чужое! Будь, что будет!

27 августа

В «Современнике» разобран поэт Веневитинов[11], который умер не созрев и оставил по себе том стихотворений, полных высокого стремления! Он в особенности хорош, когда говорит о назначении гения и о призвании поэта. Умер, истощившись от трудов ученых и литературных на двадцатых годах своей жиз-

ни. Он любил греческих классиков и считал необходимым изучение мертвых языков для умственной выработки. Он был чист душою и любящ.

24 сентября

Семейство есть фундамент государственному зданию... Оно есть основание общественному и частному благополучию. Одинокий человек, не имея особенных причин сдерживать порывы своих страстей, предоставлен своеволию, дикому произволу... Его жизнь не осмысленна, бесцельна и он гуляет в ней, как шальной... Семейство — есть священная связь, сливающая людей в гармоническое целое. Есть, однако, люди, которые не уважают этих святых уз! Им кажется стеснительным ограничить свое сладострастие одной женщиной <...> Они находят, что одна женщина может надоесть и что сераль занимательнее семейства!

Мне же кажется, что мало смыслу в распутстве... Несколько любовниц скорее прискучат, чем одна любящая жена, потому что они не привязывают к себе духовно, а только горячат кровь, между тем как жена своей искренностью, нежностью всякий день делает милее мужу и как бы сливается с бытием его, составляет часть его самого, течет в его крови, наполняет его дух и делается элементом его жизни! Кто против семейства, тот, значит, против счастья, которого ищет человек...

2 октября

Какой смысл в человеке, беспрестанно толкующем о святости религии Христовой и беспрестанно подающем иски за обиды?..

14 октября

Когда-то я мечтал об идеальной честности и уверен был в возможности осуществить эти мечты. Настало время действовать... и что же? Необходимость породила долги, бедность замедлила уплату их... И что сталось с честностью? Начал служить... и стали появляться у меня подарки. Не принять — значит обидеть дающего

и притом жалованье мало, а потребностей много!.. Я беден, я ничтожен!! Ох, как мучительно кажется обожание честности. Я страдаю иногда, как отец запятнанной дочери. Мне совестно показать в люди свою честность! Нет оснований моей гордости! Я также беру подарки, как и другие, хотя и без вынуждения: всё же это взятки!

Впрочем, упомянутые подарки не легли на совесть. Раз прислал мне 50 рублей Платон Алексеевич Закревский — очень богатый и честный человек — за то, что я, служа в Уездном суде, собрал в архиве, хотя это было не мое дело, так как я был заседателем, а не архивариусом, сведения, необходимые для него тотчас, как было подано прошение об этом, не полагаясь на сомнительного архивариуса.

Другой раз за то, что я немедленно поехал в имение больного богатого старика для принятия от него законного акта — приобретенное его имение отдавалось бездетной жене, мне прислали 25 руб. при любезном письме. Кроме того, мои приятели помещики Максимов, Бумштедт, Скоропадский, пользовавшиеся нередко нашим приятельством, присылали нам иногда сахар. Один из них — Бумштедт — подарил мне янтарь на трубку. Вот и все подарки, от которых по временам коробится моя душа!

Упомянутый выше Закревский — родной брат Софьи Алексеевны Закревской, прославившей себя очень занимательной повестью «Институтка»[12]. В ней она показывает вскользь свою мать-красавицу с синими, как небо, глазами, с черными волосами и неизъяснимо приятным выражением всего красивого лица — стройную Варвару Ивановну. Эта добрая женщина имела приятельницами своими двух, тоже красавиц, Богдану Васильевну Горленкову, ослеплявшую блеском темных глаз, и Анну Васильевну Рейзарову, сиявшую своими добрыми серыми глазами... и великолепными плечами. Все они были рослы, отлично сложены, непорочны и чисты, как статуи Праксителя. Их очень ласкала богачка тогдашняя Татьяна Густавовна Вальховская, страстная картежница, наблюдательница нравов, установительница репутаций и вообще влиятельная особа,

славившаяся своими балами, роскошным угощением и радушием. Все они любили мою милую голубоньку, тогда девочку 15 лет...

18 октября

Читаю теперь «Нравы, обычаи и памятники всех народов Земного шара», изд. Станкевича и Тютчева[13]. Мое любопытство и воображение заинтересованы Индиею. В ней всё величественно от растительности до животных. В ней вечный шум, крик от избытка жизни, от несметного количества существ, вращающихся в раскаленном воздухе...

23 октября

Вот несколько дней был в гостях. Есть же люди, у которых много дров и мало тепла в комнатах, у которых диван по их росту <...> и вместо описаний индийских нравов, так грациозно изображенных Тютчевым, в гостях приходилось удовольствоваться гиперболическими размерами хвастовства...

4 ноября

Кончил наконец «Ярмарку тщеславия»[14] и дивлюсь, как самому сочинителю не надоело чрез 600 страниц тянуть монотонно одну ноту юмора! Саркастическое направление речи в этом романе съёживает сердце так, что оно ни разу не забилось поэтическим увлечением, какого читатель всегда ожидает от романиста... Ни разу воображение мое не было очаровано живописною картиною, и ни одно чувство не возгорелось в душе, кроме негодования или презрения к людям.

1851 г. 10 июня

Давно я не развертывал этой тетради! Пришли военные, нашлись между ними люди, которые понравились мне, и я увлекся их обществом... А как они все, хоть и очень приятные люди, но праздные, то и я заразился праздностью! К этому еще присоединилась забота по случаю приближавшихся выборов. О том, выберут ли меня в какую-нибудь должность — и эта забота

окончательно поглотила все мои мысли, так что я впал было в апатию. Рассеянности искал среди офицеров и любезности их, не удовлетворяя меня, рассеивали только мои мысли и в голове делалось пусто, а апатия усиливалась. Наконец, забота о том, что будет после «переборов», как выразился один мужик в кабаке, кончилась весьма печально. Ехал я в Чернигов с большим беспокойством. Я, в числе прочих, был отдан под суд за отдачу на поруки из острога цыган, подозревавшихся в воровстве, хотя мы сделали это на законном основании, имея в виду строгие предписания не держать в острогах подсудимых, если они не могут быть приговорены к тяжким наказаниям.

Дворяне выбрали меня во все должности, а подлый Гессе утвердил только в одной, самой незначительной. Его умоляли сделать исключение в мою пользу и утвердить меня, хотя и подсудимого, в должности судьи, но напрасно! Я 7 июня присягнул на должность попечителя хлебных магазинов!

Теперь снова могу заниматься чтением и маранием этого журнала.

Что сказать о дворянских выборах? Они для совести многих составили гимнастическое упражнение, заставили ее принимать самые трудные акробатические позы, чтобы извинить себя в резком противоречии присяге, только что выполненной... Всё это запятнало их (дворян) совесть, как удовольствие, не стоящее тех денег, какие на них тратились и которые могли бы быть употреблены с пользою для ближних!

Я был прерван приходом гостей. Гости есть выражение пустоты и скуки... Ходят они от скуки по домам и воцаряют в них скуку. Да, что они могут доставить нам, когда праздность выела у них все мысли и в душе образовалась пустота.

В уездном городке труднее жить, чем в столице, потому что в нем я знаком со всеми и должен довольствоваться тем, что есть! А если кроме пошлости ничего нет? Надо и с пошлостию ладить, чтобы не иметь несчастия быть со всеми в ссоре. Между тем, как в столице я нахожусь в обществе людей по выбору и, которые приятны душе. В ней есть из чего выбирать! Живя

в уездном городке подчас сожалеешь, что есть в человеке стремление к обществу и, что он так поставлен, что без людей обойтись не может! Мудрость нужна большая, чтобы жить в ладу с тем, к кому не лежит сердце. Это все равно, что есть противное кушанье и не морщиться!..

Странно... как пойдут неприятности, то одна за другой, как голуби, выгнанные из голубятни...

Огорчил меня Саша, скрывая от меня, что его за науки и трубку уже наказывали в училище и что он постоянно обманывал известиями о своих успехах. Этот обман и фальшь его вооружили мою руку розгами и она избичевала его славно. Но за то сколь стоило мне дорого; я долго был, как сам не свой. Горько очень, что пришлось сына наказывать за обман!

Некоторые говорят, что не следует детей наказывать розгами, что надо действовать убеждениями <...> Эти родители не хотят того сообразить, что впечатления от убеждений слишком скоро проходят, чтобы быть действительными и что без розог тогда можно обойтись, когда дитя постоянно находится перед глазами наставника, все ему объясняющего, удаляющего его от соблазнов и следящего за каждым шагом воспитанника, направляя его к высокому и благородному.

...А разве это можно соблюсти в бедности, когда родители трудами сыскивают себе хлеб и, когда не могут видеть постоянно перед собой ребенка?.. Притом, мальчик, привыкший руководствоваться советами матери, сделавшись большим болваном, будет чувствовать всю жизнь потребность в наставнике и, следовательно, будет ничтожен!.. В бедности родители находятся в необходимости дать своему ребенку волю, но чтобы он не получил чрез эту свободу дурных наклонностей, непременно надо держать его в страхе, т. е. под розгами.

1852 г. 15 января

Мне предводитель поручил написать о торговле и образовании во вверенной мне округе. Но что я буду писать? Сказать, что наши паны так глупы, ленивы и недоверчивы друг к другу, что не составляют торговых компаний и позволяют богатеть на свой счет жидам? Что они не имеют столько технического образова-

ния, чтобы самим заниматься сахарными заводами и допускают на свои средства сооружать богатства голым пришельцам немцам?.. Но ведь за это обидятся. Особенно, если я добавлю, что они своих детей поручают воспитывать говорнянькам, которые знают арифметику до сложения простых чисел, и дозволяют учить мальчиков семинаристам, которые уверяют, что бесов из человека можно выгнать оливою?! Ох, лучше и не браться за эту материю!

23 января

Меня грызет раскаяние, что я увлекся гневом вчера и побил неумеренно женщину, наделавшую грубость жене. Разве нельзя было без побоев усовестить виновную в ее поступке и убедить до раскаяния? Тогда бы не лежало у меня на совести ничего, а то совестно мне взглянуть на побитую бабу, досадно, что я унизился до непозволительного рукоделья. Надо быть осторожнее и помнить, что крепостные наши — люди!! Вина не так велика, чтоб за нее болели кости у виновной. Мы ведь от грубостей бабы ничего не потеряли, а та охает. Ох, как мне стыдно!

7 сентября

Давно я не развертывал этой тетради. Причиною этого было то, что я ездил к милой своей сестре, Лизе Бакуниной, за 900 верст в Торжок видеть ее, моего дружочка, — жил несколько дней ее жизнью и, истомившись мрачными мыслями о том, что делается у меня дома, возвратился 30 августа в объятия своей жены...

Я ездил с Сашею, хотел ознакомить его с лучшим миром, нежели тот, в котором он прозябает. И он насмотрелся на многое, что и во сне не видел прежде.

1853 г. 3 января

На нашем театре, до актера Дмитревского[15] преобладала натянутая декламация и неестественные фигурные позы. Он первый понял, что для возбуждения слез в зрителях надо актеру самому заплакать и ввел, вследствие этой мысли, естественную игру, проникну-

тую глубоким знанием человека и верным подражанием его натуре.

Когда Дмитревский состарился, то явился на сцену Яковлев[16]. Он был сын бедных купцов, остался малюткой без родителей. Увидевши игру Дмитревского, он так увлекся страстию к театру и чтению, что в лавке, где служил приказчиком, постоянно сидел за драмами, декламировал монологи из них и обратил на себя этим внимание Дмитревского. Этот славный актер-ветеран вскоре развил талант Яковлева до того, что он сделался славою русской сцены. Испытав сильную, но безнадежную страсть к особе высоко стоявшей на ступенях общества, он постоянно носил несчастие в сердце, и тоскующая его душа всегда проникнута была высоким лиризмом печали. От этого в ролях, где нужно было выразить муки сердца, он был неподражаемо велик.

<...> Вообще естественность и способность войти в характер и положение представляемого лица были главными его достоинствами как актера, а доброта и великодушие, при обширности ума, отличали его от многих людей!.. Усердная его игра, в которой участвовали всегда все его нервы, любовь к вину, как противоядию горя, грызшего его постоянно, рано свели в могилу великого актера!! Он был женат хоть и без любви, но счастливо. Жена его любила, лелеяла... а он всё тосковал о недосягаемой звезде!!.. Тосковал, играл, пил и умер в самом цвете лет... Мир праху твоему, поэт!!

5 февраля

На днях мы были обрадованы известием, что сестра Лиза родила нам племянника Алексея 20 января текущего года. Тут, кстати, выписал аналог нашего чистого, полного божественных светлых мыслей и чувств, поэта Жуковского: «Помни всегда, что в тот день, когда ты родился на свет, все веселились и радовались, а ты одна плакала. Помни это и живи так, чтобы в тот день, когда ты будешь умирать, все бы плакали, а ты бы радовалась».

ИЗ ПИСЕМ А. В. МАРКОВА-ВИНОГРАДСКОГО Е. В. МАРКОВОЙ-ВИНОГРАДСКОЙ (БАКУНИНОЙ) И А. А. БАКУНИНУ

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. Бакуниной

5 сентября 1850 г. Сосницы

< *Анна Петровна была тяжело больна, но поправилась.* >
Мне даже не представлялось возможным разлучиться с тою, кем живу: мне казалось, что она с собою увлечет меня и мы не будем розно. Много в ту ночь перешло через меня разных мыслей... Но, Бог милостив,— и мы по-прежнему сидим за самоваром и вспоминаем тебя, нашего ангела.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. Бакуниной

3 октября 1850 г. Сосницы

Кончил маленькую повесть Шарля Ребо: «Без приданого»[1]. Автор не поскупился на краски и вышла преэффектная сказочка. В ней изображено страдание от безобразия и озлобление уродливости на красоту; впрочем, все кончается хорошо, безобразие умирает и смертию своею служит счастием красоте. Эта повесть имеет много успокоительного, столько же, кажется, как и в нашей аптеке, где все — успокаивающее.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. Бакуниной

24 декабря. 1850 г. Сосницы

Вчера вечером я упивался удовольствием от чтения «Эрнеста Мальтровера» Бульвера[1]: в нем так осязательно выполнены характеры, что все персонажи движутся передо мной, как мои короткие знакомые, и представляются мне с отчетливою ясностью. От сцен и картин этого романа веет такою истиною и жизнью, как будто видишь их на самом деле. Магическое слово Бульвера заставляет сочувствовать всем мыслям и чувствам его героев и шевелит в душе глубоко скрытые думы; он заставляет переживать снова все то, что когда-то дума-

лось и чувствовалось, и, философически разбирая все, чем волнуется людской род, силою своего слова вливает в страждущую душу смирение пред необходимостью! Страдания Алисы так кротки, как грусть ангелов, сетующих о грехах людей. А жизнь Эрнеста так полно очерчена, со всеми ее волнениями и стремлениями, и так мудро выяснена, что можно, не живши, а читая только такие описания, выучиться жизни и приобрести опыт. Образ грустной и детски наивной Алисы таится в моем воображении как самое светлое его видение и как идеал женщины. Впечатление от ее незаслуженных страданий похоже на впечатления летнего вечера, когда звезды задумчиво смотрят на засыпающую землю, дышащую ароматом, и когда в воздухе разлита нега грусти. Весь же роман остается в памяти, как воспоминание о людях, виденных в юности, когда еще не приелись они, и когда с любопытством наблюдаешь их, как свежую новость.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. и А. А. Бакуниным

23 февраля 1852 г. Сосницы

Не стану тебе, брат, описывать ни себя, ни своей жизни: ...что можно сказать интересного про жизнь тех людей, которые сосредоточили свое существование в самих себе и наслаждаются тем, что внутри их, не сочувствуя внешней суете и тяготясь ею, как причиною томительной скуки? Я только в то время счастлив совершенно, когда читаю в своей семье что-нибудь освежающее душу или беседую с близкими моими. Тогда забываются все неприятности и упоенное сердце не подозревает, что они сторожат его наслаждения и завтра уже заменят их... Я весь принадлежу минуте; сегодня мне хорошо: что ж за беда, если завтра будет худо? Не думаю о завтрашнем, предполагая, что оно подумает о нас, беспечных. Весь состою из увлечений и принимаюсь за дело только по самой крайней необходимости или когда совесть упрекнет в постыдном бездействии или бесполезном существовании; но и тут лень нашептывает мне, что если я существую, то полезен уже тем, что существую: стало быть, нечего много хлопотать,

и можно продолжать лениться в мечтательном покое. К довершению всех этих качеств должен еще прибавить, что я также и фанатик: для меня нет серединки.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. и А. А. Бакуниным

5 марта 1852 г. Сосницы

Очень благодарен вам, друзья, что вы, говоря о поэзии, вспоминаете нас. Если и точно у нас есть способность поэтизировать жизнь, то мне кажется, что это произошло от той *нужды* и *стеснений,* какими всегда колола нас судьба, и мы, отчаявшись приобрести когда-нибудь материальное довольство, дорожим всяким моральным впечатлением и гоняемся за наслаждением души и ловим каждую улыбку окружающего мира, чтобы обогатить себя счастием духовным. Богачи никогда не бывают поэтами: они столько имеют средств понежить свою физику, так увлекаются наслаждениями самолюбия и других, низших чувств, что и забывают о Боге, источнике поэзии, обитающем в них. Так могут ли быть они поэтами? Поэзия — богатство бедности... Там, где страдания, лишения, там и она сияет роскошно, чтобы вознаградить труженика за недостатки материальные. Не знаю, так ли я выразился, но, кажется, так думаю. Богатый не ищет счастья в своей семье,— для него так много наслаждений вне ея (которые, при этом, достаются без труда, между тем, как семейное благополучие надо вырабатывать) — что он семью держит как необходимую декорацию в жизни; он не живет в ней и, следовательно, не отражает дома, поэзии своей натуры! Бедняк же, *если он человек,* сосредоточен весь в своем семействе, он дышит им и для него; он весь в нем, со всеми помыслами и стремлениями, ему нет средства удовлетворить жажды наслаждений вне дома, и он сосредоточивает их у своего очага, *изобретает* материалы для увеличения их и работает головою и сердцем, чтобы умножить массу своего благополучия духовного, за неимением его материальных выгод. Его занимает много таких вещей, которые богач и не замечает; он должен действовать там, где богатый в дремоте.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. Бакуниной

5 апреля 1852 г. Сосницы

Жизнь наша по-прежнему спокойно переваливается со дня на день и разнообразится только пестротою журнальных статей, которые мы поглощаем по милости добрых людей пишущих и выписывающих. Теперь мы читаем роман Теккерея Пенденнис. Теккерей молодец, да не на все штуки. Он преисполнен юмору и острой наблюдательности, но его вечная усмешка, вечное стремление разочаровывать не есть еще признак богатства натуры. Высокий талант действует своим произведением разнообразно: он то кольнет совесть, то очарует ум, то согреет сердце,— и всегда найдет случай так распорядиться, чтобы все способности читателя оживились и получили движение к лучшему. В Теккерее же нет этой расторопности. Он чрез весь роман тянет одну только ноту своего беспощадного юмору. Разумеется, очень полезно заставлять своего читателя сквозь смех огорчаться несовершенством человечества; но ведь одно и то же кушанье надоедает и портит желудок,— и роман, трактующий, чрез все страницы, об одном и том же, усыпляет душу своею монотониею, и, следовательно, портит ее. Несмотря, однако же, на это все, Пенденнис не лишен художественной отделки. Характеры в нем развиваются с терпеливою постепенностию, выдерживают до конца и не противоречат действительности. Вообще, это сочинение писано без торопливости и обдуманно; оно своими подробностями, рельефно выполненными, основательно знакомит читающего с жизнью англичан и, как сочинение описательное, полно красот.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. Бакуниной

2 мая 1852 г. Сосницы

Что же ты мало пишешь об Александре Михайловиче и Варваре Александровне [1]? Они представляются мне в таком поэтическом свете, как начальники семейства в германских повестях и балладах,— и мне бы хотелось подробностей об их жизни как можно больше. Мне кажется, что, вглядываясь пристально в их

мирный быт, проникнутый глубокою идеею семейства, сочувствуя этим святым отношениям, которыми связана вся их семья,— можно научиться и жизни, и любви! Пожалуйста, побольше подробностей обо всех окружающих и пониже им от меня кланяйся.

А. В. Марков-Виноградский — А. А. Бакунину

14 мая 1852 г. Сосницы

Ты расшевеливаешь кое-что из смутных воспоминаний... Молодые, горячие думы мои побиты опытом, тяжелым знанием жизни, и резко они подымаются среди печальной действительности. Тем отраднее было почувствовать их жизнь от живительного Вашего слова. Благодарю и целую за утешение!

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. Бакуниной

15 июля 1852 г. Сосницы

Я нынче целый день занят. Утром читаю литературу Шлегеля, делаю из нее выписки, которые надеюсь вручить для исправления Александру <Бакунину>, и, наконец, предаюсь гастрономическим наслаждениям. После обеда Морфей, друг Кома, укладывает меня бережно на опочивальницу, и я, пронежась в сфере игривых сновидений около часа, встаю готовым на дело. Время между пробуждением и чаем вечерним употребляется на чтение различных литературных бредней, а там — прогулка, предпринимаемая мною на далекие расстояния, освежает мою голову, и я вечерние часы употребляю или на беседы со своими, или с чужими,— и так день, полный деятельности, оканчивается.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. Бакуниной

25 июля 1852 г. Сосницы

Анна уехала в Пекарев, разумеется,— по крайней необходимости, и мы с Сашей без нее так приуныли, что не знаем, что делать.

А. В. Марков-Виноградский — А. А. Бакунину

2 января 1853 г. Сосницы

Начнем с романов Купера. Мне больше всех его романов нравится «Путеводитель в пустыне»[1]. В нем так много искренней религии, такое неисчерпаемое богатство высоких мыслей, что самый бедный верою человек, при чтении этого романа, может направить нищенское состояние своего духа и почувствовать после чтения, что он кое-что приобрел. Кроме этого, кто не пленится грандиозною поэзиею лесов, озер, дремлющих под тенью величавой растительности, ревущих водопадов, бешено бьющихся среди мрачных скал, когда все это описано Купером, глубоко прочувствовавшим все движения чудной американской природы и понимавшим красноречивый говор ее жизни? Кто не сознает с любовью, после чтения романов Купера, что в природе живет великий и свободный дух, и что она роскошная риза необъятного Бога? Если найдется такой смертный, то он — не сын природы, не часть ее гармонического целого!! Купер по преимуществу поэт природы: он описывает ее с такою верностью, как будто она сама звучит его устами. Оттого и дикари, существа, еще не вырванные из ее горячих объятий цивилизациею и как будто слитые с нею, так рельефно и истинно им описаны, между тем, как очерки людей образованных, обрисованные Купером, не выдерживают строгой критики. Вообще, я так люблю Купера, что не могу без увлечения о нем говорить и прошу снисхождения к моим увлечениям Впрочем, восторженная преданность Купера к природе могла только развиться среди ее величавых красот, какими богата Америка, и, вероятно, не развилась бы совсем в нашем болоте, где квакают лягушки среди гнилых испарений.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. Бакуниной

6 января 1853 г. Сосницы

Преобразования, совершенные тобою в вашем домике, чрез которые мрачный кабинет Александра сделался, по словам твоим, веселенькою комнатою, напом-

нили мне Фебею, героиню романа Готорна «Дом о семи шпилях»[1], в которой так много жизненной полноты, столько свежей поэзии и так силен блеск юности, что она превращала самые печальные комнаты древнего замка в сияющие приюты веселья и вносила свежесть и улыбку в ту среду, которая без нее была мертвою юдолью тоски. Прочитайте этот роман — он в «Современнике». Еще в этом журнале замечательные пьесы Сувестра; они называются «Сцены и нравы приречных и приморских жителей»[2]. Они хотя мрачны, исполнены дикой поэзии суровых нравов, но так трогательны, что местами извлекают слезы. В них достоинство человека выставлено так высоко, что освежается тоскующая душа читателя и чувствует силу переносить без ропота всякие несчастья, могущие обременять человека. Отчего нам пасть под гнетом мелочного горя, когда Матье Ропэрь перенес великие несчастья? Подобные повести освежают душу так же, как гроза — запыленную природу.

А. И. Дельвиг

ИЗ «МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Мы приехали в Петербург на рассвете в последней половине октября 1826 г., так что меня при въезде не могла поразить красота петербургских улиц. Я удивлялся только их ширине. Остановились мы в угольных комнатах бель-этажа гостиницы Лондон, которая помещалась тогда на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади. Меня изумило великолепие Зимнего дворца, Главного штаба и длина здания старого Адмиралтейства, которые все были видны из наших окон... Меня на другой же день отвезли к Ф. А. Викторову, жившему на Захарьевской улице[1] в нижнем этаже казенного дома, против придворного экипажного заведения, которого он был начальником...

Викторовы жили очень скромно. У них почти никто не бывал, кроме старых сослуживцев Викторова... Мне у них было не весело. Я только и думал о том, как бы поскорее оставить их дом, или по крайней мере как можно чаще отлучаться. Последнее представлялось возможным, так как я воскресенья и праздники, а иногда и будни, проводил у двоюродного брата моего барона А. А. Дельвига.

В доме Дельвига открылся для меня новый мир, о котором я не думал и не гадал, и я к этому миру привязался всею душою.

В первую же субботу я был отпущен из дома Викторовых к Дельвигу. Это было 30-е октября, день его свадьбы, бывшей за год перед тем. Тогда я видел у Дельвига многих его знакомых, приехавших вечером его поздравить. Помню, что между ними был поэт Петр Александрович Плетнев со своею первою женою, бывший впоследствии ректором С.-Петербургского университета, товарищи Дельвига по Лицею: Михаил Лукьянович Яковлев, одного с ним выпуска, т. е. первого, и князь Эристов, второго лицейского выпуска; Сергей Львович Пушкин с женою Надеждою Осиповною, родители поэта Пушкина, и младший брат последнего Лев Сергеевич. Дельвиг принял меня совершенно по-родственному, так же как и жена его, и я с первого дня был у них совершенно как в своем

семействе. Дельвиг был очень добрый человек, весьма мягкого характера, чрезвычайно обходительный со всеми.

Во время моего приезда в Петербург ему было 28 лет от роду. Большая часть его стихотворений была уже написана, и он по некоторым из его песен и романсов считался лучшим в этом роде стихотворцем. Музыка ко всем его песням и романсам была написана лучшими тогдашними композиторами. Песня:

Соловей, мой соловей,
Голосистый соловей,
Ты куда, куда летишь,
Где всю ночку пропоешь, и т. д.[2]

была распеваема везде не только русскими, но и знаменитою приезжею певицею Зонтаг, а впоследствии и другими приезжавшими к нам знаменитостями. При необыкновенной лени, как физической, так и умственной, у Дельвига было много поэтического такта, так что друзья его, Пушкин и Баратынский, многие из своих стихотворений до напечатания читали ему или посылали к нему для оценки и большею частью принимали во внимание сделанные им замечания. Молодые петербургские писатели, как-то барон Розен, Подолинский, Щастный и другие, в подражание первостепенным поэтам, также просили его замечаний на их произведения.

Даже Крылов и Жуковский высоко ставили оценку Дельвигом произведений изящной словесности. Если бы все критические статьи, писанные Дельвигом для издававшейся им в 1830 г. «Литературной газеты», были за его подписью, то легко было бы понять причины вышесказанного мною уважения к мнениям Дельвига. Эти статьи, помещавшиеся в газете без подписи, не вошли в полное собрание сочинений Дельвига, изданное Смирдиным, равно как и многие его стихотворения, а теперь трудно критические статьи Дельвига отличить от помещавшихся в той же газете таких же статей Пушкина и Вяземского[3]. Но не все принимали замечания Дельвига с удовольствием, так что после очень близких отношений барон Розен и Подолинский совсем разошлись с Дельвигом, собственно вследствие сделанных им замечаний на поэму Розена «Рождение

Иоанна Грозного» и на поэму Подолинского «Нищий», несмотря на то, что эти замечания были высказаны весьма мягко и вследствие их собственного желания.

Впрочем, впоследствии Дельвиг и печатно, без подписи, строго раскритиковал «Нищего» в издававшейся им «Литературной газете».

Стихотворения Дельвига составляют весьма небольшой том; весьма многие в нем не помещены, а некоторые, вероятно, утратились. Он был одним из слагателей лицейских песен, которых множество было сочинено воспитанниками первого лицейского выпуска.

Эти песни, в которых часто мало складу, были очень любимы лицеистами и охотно ими пелись. Воспитанники первого лицейского выпуска собирались каждый год 19-го октября праздновать день учреждения Лицея и тогда они певали много песен, написанных в Лицее <...> [4]

В составлении лицейских песен, конечно, участвовали многие из воспитанников первого выпуска. Поэтами в Лицее считались: Пушкин, Дельвиг, Вильгельм Карлович Кюхельбекер, бывший впоследствии политический преступник 1825 г., Алексей Демьянович Илличевский и Михаил Лукьянович Яковлев. Последний по выходе из Лицея совсем оставил литературное поприще, но в Лицее считался хорошим баснописцем. В последние годы пребывания в Лицее, конечно, Пушкин высоко стал над всеми товарищами по своим поэтическим произведениям, но в первые годы он не очень смело пускался в поэзию. Великая заслуга Дельвига, что он понял всю силу гения своего молодого товарища и, подружившись с ним с самого вступления в Лицей, постоянно ободрял его. Это было, конечно, и причиною того, что дружба их никогда не изменялась до самой смерти Дельвига. Утвердительно можно сказать, что Пушкин никого не любил более Дельвига <...>

Дружбу Пушкина к Дельвигу и цену, которую он придавал таланту последнего, можно проследить в посланиях его к Дельвигу. Из них же можно видеть, насколько Дельвиг был ленив с самых молодых лет: его необыкновенная лень прославлена стихами его знаменитого друга.

Вот что писал Пушкин еще в Лицее в 1814 г., 15-ти лет от роду, в стихотворении под заглавием: «Пирующие студенты».

Дай руку, Дельвиг... Что ты спишь,
Проснись, ленивец сонный;
Ты не под кафедрой сидишь,
Латынью усыпленный.
Взгляни! здесь круг твоих друзей,
Бутыль вином налита,
За здравье нашей музы пей,
Парнасский волокита!

Дельвиг по своему добродушию никогда не ссорился со своими товарищами и был очень любим ими всеми. По мечтательности и рассказам Дельвига, они признали его поэтом еще в самой первой юности. Пушкин любил говорить с ним о литературе, всегда сознавал, что он много обязан поощрениям Дельвига, к которому питал редкую дружбу. Всегда строгий к себе, он ставил Дельвига выше действительного его достоинства. Укажу на некоторые другие послания Пушкина к Дельвигу; одно из них начинается стихами:

Блажен, кто с юных лет увидел пред собою...

Другое, когда 16-летний Пушкин собирается умирать:

Приди, певец мой дорогой,
Воспевший Вакха и Темиру,
Тебе дарю и песнь и лиру,
Да будут музы над тобой и проч.

Дельвиг не только горячо любил Пушкина, но восторгался им и первый предсказал 15-летнему поэту его славу, что видно из стихов:

Пушкин! Он и в лесах не укроется,
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.

За сим новое послание Пушкина к Дельвигу, начинающееся стихом:

Послушай, муз невинных
Лукавый духовник,
Жилец полей пустынных! и проч.

Приведу следующие стихи из послания Пушкина к Дельвигу, писанного в 1815 г.:

Да ты же мне в досаду
(Что скажет белый свет)
Стихами до надсаду
Жужжишь Икару вслед:
«Смотрите — вот поэт!»
Спасибо за посланье,
Но что мне пользы в нем? и пр.

В 1817 г. Пушкин начинает свое послание к Дельвигу следующими стихами:

Любовью, дружеством и ленью
Укрытый от забот и бед,
Живи под их надежной сенью,
В уединении ты счастлив: ты поэт.

Дельвиг, конечно, имел большое влияние только на начальные опыты Пушкина в поэзии, но мы еще обязаны ему тем, что он направил к поэзии Баратынского и был первым его руководителем. Баратынский также написал несколько посланий к Дельвигу. Приведу первую строфу из второго послания, писанного в 1819 г.

Где ты, беспечный друг, где ты, о Дельвиг мой,
Товарищ радостей минувших,
Товарищ ясных дней, недавно надо мной
Мечтой веселою мелькнувших.

Выпуск из Лицея был в июне 1817 г. Дельвиг был по успехам третьим с конца, а Пушкин четвертым. Торжественный акт в присутствии императора Александра I заключился длинною прощальною песнью воспитанников, сочиненною Дельвигом. Привожу последнюю строфу этой песни:

Шесть лет промчались как мечтанье
В объятьях сладкой тишины,
И уж отечества призванье
Гремит нам: шествуйте, сыны.
Простимся, братья! рука в руку!
Обнимемся последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
Быть может, породнила нас!

В течение двадцати лет эта песня пелась при следующих выпусках из Лицея.

В частной жизни Дельвиг был ленив и беспечен до крайности. В изданных и в неизданных стихотворениях он обличает свою лень, которою, казалось, он даже гордился. В посланиях к нему тогдашних поэтов всегда упоминалось об этой лени. Приведу первую строфу из послания к нему Плетнева в 1825 г.

Дельвиг, как бы с нашей ленью
Хорошо в деревне жить,
Под наследственною сенью
Липец прадедовский пить.

В стихотворении 19-го октября 1825 г. Пушкин обращается к Дельвигу со следующими стихами:

Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной,
И ждал тебя, вещун Пермеских дев,
И ты пришел, сын лени вдохновенный,
О, Дельвиг мой, твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил.
С младенчества дух песен в нас горел
И дивное волненье мы познали,
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел.
Но я любил уже рукоплесканья,
Ты гордый пел для муз и для души;
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Конечно, в этом мастерском обращении к Дельвигу видно дружеское пристрастие, но нельзя же было Пушкину так относиться к Дельвигу, если бы он не признавал в нем таланта, достойного уважения...

Впоследствии Пушкин высоко ценил гекзаметры Дельвига и в 1829 г., посылая ему в подарок бронзового сфинкса, приложил четверостишие под заглавием «Загадка»:

Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи, кто золотой угадал?
Кто Славянин молодой, Грек духом, а родом Германец?
Вот загадка моя, хитрый Эдип, разреши.

Когда Пушкин в своих стихотворениях под заглавием «19-е октября» обращается к некоторым из своих лицейских товарищей, то в их числе непременно упоминает о Дельвиге в самых дружеских, задушевных выражениях...

Дельвиг жил несколько времени с известным поэтом Евгением Абрамовичем Баратынским в Семеновском полку[5], где они и вместе и порознь писали много стихов, не попавших в печать. Там сочинена пародия на стихотворение Рылеева:

Так в Семеновском полку
Жили они дружно...

К этому же времени принадлежит и пародия на «Славься, славься», с припевом:

Славьтесь цензорской указкой,
Таски вам не миновать.

Некоторые из стихотворений Дельвига, известных тогда в рукописи, были приписываемы другим поэтам. Мне помнится, что к этому числу принадлежит песня «Давыд», которую часто певали; из нее приведу следующие стихи:

Любил плясать король Давыд,
А что же Соломон?
Он о прыжках не говорит,
Вино все хвалит он,
Великий Соломон!

и перевод из Беранже с припевом:

Je veux, mes enfants, que le diable mémporte,
Черт побери меня, ей-богу.

Этот перевод тогда всех очень занимал.

Несмотря на свою лень и кажущуюся апатию, Дельвиг в обществе был любезен. Его рассказы были всегда полны ума, какого-то особенного добродушия, и он нравился дамам. Были минуты, в которые он очень легко подражал стихам других поэтов. В начале 20-х годов молодые поэты очень ухаживали за С. Д. Пономаревой, сестрой одного из воспитанников учрежденного при Лицее пансиона[6]. У нее собиралось общество литераторов. Один день у нее бывали литераторы одного кружка, а другой день другого. Впрочем, случалось ли-

тераторам разных кружков встречаться у ней, но встречи эти никогда не были поводом к неудовольствиям. Из одного кружка она, видимо, предпочитала Измайлова, из другого Дельвига, на поэтическое дарование которого имела большое влияние. Он ей написал несколько посланий и других стихотворений. К большому горю всех ее знакомых, С. Д. Пономарева скончалась в мае 1824 г. Когда Жуковский написал «Замок Смальгольм», все прельщались этим стихотворением и, между прочими, Пономарева, которая раз сказала Дельвигу, что он не в состоянии написать ничего подобного. Дельвиг, конечно, в шутку отвечал, что, напротив, ничего нет легче, и, ходя по комнате с книгою, в которой был напечатан «Замок Смальгольм», он его пародировал очень удачно. Впоследствии появилось много пародий на это стихотворение. Приведу несколько стихов из пародии, составленной Дельвигом:

До рассвета поднявшись, извощика взял
Александр Ефимович с Песков
И без отдыха гнал чрез Пески, чрез канал,
В желтый дом, где живет Бирюков.

В старом фраке был он, был тот фрак запылен,
Какой цветом, нельзя распознать;
Оттопырен карман, в нем торчит как чурбан
Двадцатифунтовая тетрадь.

Вот к полудню домой возвращается он
В трехэтажный Моденова дом,
Его конь опьенен, его Ванька хмелен
И согласно хмелен с седоком.

Бирюкова он дома в тот день не застал и проч.

Далее:

Подойди, мой Борька, мой трагик плохой,
И присядь ты на брюхо мое;
Ты скотина, но, право, скотина лихой
И скотство понутру мне твое.

Для объяснения этих стихов скажу, что упомянутый в них Александр Ефимович был Измайлов, известный тогда баснописец и издатель журнала «Благонамеренный», о котором Пушкин в Онегине сказал, что он не может себе представить русскую даму с «Благонаме-

ренным» в руках. Измайлов любил выпить, и потому он в пародии представлен возвращающимся домой пьяным, из этого делается заключение, что «не в литературном бою, а в питейном дому, был он больно квартальным побит».

На одном из вечеров Дельвига он прочитал эту пародию Жуковскому, который ее не знал прежде. Она понравилась Жуковскому и очень его забавляла.

Борька в последнем приведенном куплете пародии на Смальгольмский замок, это Борис Михайлович Федоров, который и теперь (1872 г.) еще жив. В свое время он писал всякого рода стихи очень плохо, заслужил следующую эпиграмму от Дельвига:

У Федорова Борьки
Мадригалы горьки,
Комедии тупы,
Трагедии глупы,
Эпиграммы сладки
И, как он, всем гадки.

На эту эпиграмму Федоров отвечал:

У Дельвига Антонки
Скверны стишонки.

Из приведенных стихов я, может быть, некоторые перековеркал, и не трудно: прошло более 40 лет, что я оставил общество литераторов и был деятельно занят совсем на другом поприще.

Последние два приведенных стиха:

Ты скотина, но, право, скотина лихой
И скотство понутру мне твое,

были написаны в виде эпиграфа на сборнике статей под заглавием «Хамелеонистика», которые являлись в журнале «Славянин», издававшемся известным тогда литератором и публицистом, автором «Сумасшедшего дома», Александром Федоровичем Воейковым.

Эти статьи Дельвиг приказывал вырывать и сшивать вместе. Остальные статьи «Славянина» не читались, а выбрасывались. Раз Воейков, найдя в кабинете Дельвига раскрытую связку статьей «Хамелеонистики», вообразил, что это номер его «Славянина», чему очень обрадовался, но впоследствии заметил свою ошибку, прочитав эпиграф на обертке брошюры. Воейков, знаме-

нитый своим «Сумасшедшим домом», вообще пользовался дурною репутациею, но кружок лучших тогдашних литераторов держал его при себе на привязи, чтобы в известных случаях, как цепную собаку, выпустить на противную литературную партию.

Жена Дельвига Софья Михайловна была дочь Михаила Александровича Салтыкова, известного в своей молодости красавца, и жены его Елизаветы Францовны, урожденной Ришар, также красавицы. Салтыков воспитывался при графе Ангальте в 1-м кадетском корпусе, из которого выпущен поручиком в 1787 г. и был в 1794 г. уже подполковником. Это быстрое повышение объясняется тем, что он находился в 1789 и 1790 гг. при князе Потемкине...

С. М. Дельвиг ко времени моего приезда в Петербург только что минуло 20 лет. Она была очень добрая женщина, очень миловидная, симпатичная, прекрасно образованная, но чрезвычайно вспыльчивая, так что часто делала такие сцены своему мужу, что их можно было выносить только при его хладнокровии. Она много оживляла общество, у них собиравшееся.

Дельвиги в то время не имели детей и вскоре полюбили меня, как сына. Жена Дельвига, как умная и деятельная женщина, занялась моим воспитанием, насколько это было возможно в короткие часы, которые я проводил у них.

Дельвиг очень оскорбился тем, что мать моя прислала меня не к нему, а к постороннему человеку; писал к ней о том, что нельзя ли это изменить, но ввиду того, что до поступления моего в Строительное училище оставалось всего 4 месяца, эта мысль была оставлена, и я продолжал жить у Викторовых, а бывал у Дельвигов только по воскресеньям и праздникам. У них были назначены для приема вечера в среду и воскресенье. Я никак не мог в воскресенье оторваться от их общества и возвращался к Викторовым только в понедельник рано утром. Эти вечера были чисто литературные. На них из литераторов всего чаще бывали А. С. Пушкин, Плетнев, князь Одоевский, писавший тогда повести в роде Гофмана, Щастный, Подолинский, барон Розен и Илличевский. Жена Плетнева, урожденная Раевская, и жена Одоевского, урожденная Ланская, также ино-

гда бывали у Дельвигов. На этих вечерах говорили по-русски, а не по-французски, как это было тогда принято в обществе. Обработка нашего языка много обязана этим литературным собраниям. Суждения о произведениях русской и иногда иностранной литературы и о писателях меня очень занимали. Впрочем, на этих вечерах часто играли на фортепиано. Жена Дельвига, которая долго продолжала учиться музыке, хотя уже была хорошею музыкантшею, и некоторые из гостей занимались серьезною музыкою. Песни же и романсы певались непременно каждый вечер. В этом участвовал и сам Дельвиг, а особенно отличались М. Л. Яковлев и князь Эристов. Сверх того они оба умели делать разные штуки, фокусы, были чревовещателями и каждый раз показывали что-нибудь новенькое. В этих изобретениях особенно отличался Эристов, который, впрочем, бывал не так часто, как Яковлев; последний почти каждый день обедал у Дельвигов и проводил вечера. Он называл себя даже приказчиком Владимирской волости, так как Дельвиги жили на Владимирской улице и, действительно, по совершенному неумению Дельвига распоряжаться хозяйством и прислугою, Яковлев часто входил в его домашние дела, за что очень нелюбим был людьми Дельвига, которые называли его дьячком.

Один из самых частых посетителей Дельвига в зиму 1826—1827 г. был Лев Сергеевич Пушкин, брат поэта. Он был очень остроумен, писал хорошие стихи и не будь он братом такой знаменитости, конечно, его стихи обратили бы в то время на себя общее внимание. Лицо его белое и волосы белокурые, завитые от природы. Его наружность представляла негра, окрашенного белою краскою. Он был постоянно в дурных отношениях к своим родителям, за что Дельвиг часто его журил, говоря, что отец его хотя и пустой, но добрый человек, мать же добрая и умная женщина. На возражение Льва Пушкина, что «мать его ни рыба, ни мясо», Дельвиг однажды, разгорячившись, что с ним случалось очень редко и к нему нисколько не шло, отвечал: «Нет, она рыба». Конечно, спор после этих слов кончился общим смехом. Лев Пушкин вел не только рассеянную, но и дурную жизнь, причем издерживал более, чем позволяли средства. Он любил много есть и пить вина, вследствие чего Дельвиг одно из стихотво-

рений, написанных им вместе с Баратынским, начал следующею строфою:

Наш приятель, Пушкин Лев,
Не лишен рассудка,
И с шампанским жирный плов
И с груздями утка
Нам докажут и без слов,
Что он более здоров
Силою желудка (bis).

За этою строфою следовала строфа о поэте Федоре Николаевиче Глинке, известном тогда перелагателе в стихи псалмов Царя Давида.

Затем следовали строфы о других лицах и, между прочими, о Соколове, непременном секретаре бывшей Российской Академии.

Льву Пушкину было более 20 лет и по ограниченности состояния необходимо было служить вне Петербурга, а потому он определился юнкером в Нижегородский драгунский полк, которым командовал приятель его брата, Николай Николаевич Раевский, и уехал в феврале 1827 г. на Кавказ. Он уже в дорожном платье заезжал проститься с Дельвигом и его женою, причем было много выпито шампанского, и я в первый раз от роду также выпил много для юноши, которому не было еще 14-ти лет.

В зиму же 1826—1827 г. приехал из Москвы в Петербург молодой литератор Дмитрий Владимирович Веневитинов, человек с большими дарованиями, отлично образованный и весьма красивый собою. Он был у Дельвига, как в своей семье. Его очень любили, ласкали и уважали. Он, конечно, по молодости, очень увлекался молодыми и умными дамами, за что подсмеивались над ним прямо ему в лицо, но заочно не могли нахвалиться этим молодым человеком. Я его также очень любил. По поступлении моем в Военно-Строительное училище путей сообщения на первой неделе Великого поста в 1827 г., Дельвиг мне прислал горестное известие о неожиданной смерти Веневитинова, умершего 15-го марта на 22 году от рождения. В первое воскресенье, когда я был отпущен из училища, я нашел Дельвига и его жену в большом горе...

На литературных вечерах Дельвига никогда не говорили о политике, потому что большая часть общества была занята литературою, а частью и потому, что ката-

строфа 14 декабря была еще очень памятна. Размножившиеся же вновь учрежденные жандармы и шпионы III отделения собственной его величества канцелярии, в числе которых были и литераторы, не давали о ней забывать. Вообще Дельвиг избегал разговоров об этой катастрофе. Расскажу теперь же все, что я о ней от него слышал.

С Рылеевым, в котором он признавал мало поэтического таланта, он последнее время несколько разошелся, частию потому, что, быв женихом, ему некогда было посещать Рылеева, а также и по следующему обстоятельству. Рылеев и Александр Бестужев, собрав произведения разных писателей в прозе и стихах, помещали их в альманах под названием: «Полярная звезда». Издателем же этих первых альманахов в России, в 1823 и 1824 гг., был известный тогда книгопродавец Иван Васильевич Сленин, который за право издания платил Бестужеву и Рылееву определенную сумму. Последние задумали издать «Полярную звезду» на 1825 г. без участия Сленина, который, не желая лишиться получаемых им доходов с издаваемого альманаха и имея в виду хорошее знакомство Дельвига с Жуковским, Гнедичем, Крыловым и дружеские его отношения с Пушкиным, Баратынским и другими писателями, посоветовал ему издавать такой же альманах. Дельвиг немедля сообщил эту мысль Рылееву, который ничего не имел против нее, но когда вышел альманах «Северные цветы» на 1825 г. и когда он имел значительный успех, Рылеев, по словам Дельвига, был видимо недоволен тем, что многие произведения лучших поэтов украсили эту книгу, через что, конечно, много потеряла «Полярная звезда»*. В 1825 г. Рылеев, А. Бестужев и Дельвиг редко видались, и это обстоятельство, может быть, спасло Дельвига от участи, постигшей членов тайных

* Доказательством неудовольствия издателей «Полярной звезды» на Дельвига за то, что он предпринял издание «Северных цветов», служит следующий отрывок из письма к Рылееву 11 ноября 1824 г. от жившего на его квартире Сомова, в котором последний, описывая наводнение Петербурга 7 ноября 1824 г., говорит, что между прочими последствиями наводнения и «Северные цветы» подмокли и в луковицах и, вероятно, не скоро расцветут. Александр (Бестужев) говорил, что они, вероятно, были прежде очень сухи, а теперь слишком водяны (Сочинения и переписка Рылеева, изд. 1872 г., стр. 341). Сомов ошибся: «Северные цветы» вышли в конце декабря 1824 года *(Прим. А. И. Дельвига).*

обществ. Дельвиг, по своей лени, не мог быть действительным членом никакого общества, а по его политическим понятиям, насколько я мог их узнать, не поступил бы в тайные общества. Рылеев, при частых свиданиях, мог бы ему сказать об их существовании и, конечно, Дельвиг не донес бы о них правительству и мог бы подвергнуться той же участи, какой подверглись тогда многие, знавшие только о существовании тайных обществ. В своем месте я расскажу, как Дельвиг, пять лет спустя, потерпел не только без вины, но и без всякой причины.

Считаю не лишним прибавить, как Булгарин, более близкий к кружку Рылеева, чем к кружку Дельвига, в издаваемых им «Литературных листках» объявлял об издании «Полярной звезды» на 1825 г. и о замедлении в ее выходе:

««Северные цветы», издание книгопродавца Сленина, вступило в непосредственное соперничество с «Полярною звездою», издатели которой, предоставляя этому альманаху благоприятное время выхода в свет, желают ему еще благоприятнейшего успеха. Понятно, что издатели «Полярной звезды» не могли иметь желания предоставить «Северным цветам» благоприятного времени выхода в свет, а по другим причинам опоздали выпуском своего альманаха, который появился только в апреле 1825 г., четыре месяца после «Северных цветов» на этот год».

Дельвиг после женитьбы жил на Большой Миллионной улице[7] в доме Эбелинга. 14-го декабря, узнав, что большие толпы народа и войска собираются на Дворцовой площади, он пошел посмотреть на то, что делалось; прошел мимо войск и перед возмутившимся батальоном лейб-гвардии Московского полка и видел только одного офицера этого полка князя Щепина-Ростовского; более никого не было. Многие из участвовавших в мятеже были в кондитерской, бывшей тогда на углу площади и Вознесенской улицы, где теперь кафе-ресторан. Он в нее не входил. Новый император Николай Павлович находился близ Дворца, верхом, с большою свитою. Слова государя, которые Дельвигу удалось расслышать, дали ему понять важность происходившего, и он поспешил домой, чтобы успокоить жену. Вскоре по его возвращении домой началась пальба, а когда она окончилась, он, чтобы узнать подробно-

сти, пошел к жившему в одной с ним улице молодому поэту князю Одоевскому, но не застал его: он был уже арестован.

Впоследствии от Ореста Михайловича Сомова, жившего вместе с Александром Бестужевым, адъютантом бывшего главноуправляющего путями сообщения герцога Александра Виртембергского, в доме Российско-Американской компании, я слышал, что в тот же день, 14-го декабря, полиция забрала бумаги Рылеева, бывшего директором означенной компании и жившего в том же доме. Вскоре после того пришел к Сомову известный тогда поэт, издававший «Мнемозину», Вильгельм Карлович Кюхельбекер, лицеист первого выпуска. Он казался потерянным и хотел спрятаться в квартире Сомова, который с трудом уговорил его уйти, заявив, что полиция уже забрала бумаги Рылеева и очень легко может быть, что вскоре явятся за бумагами Бестужева и тут же арестуют Кюхельбекера. Известно, что последний, сумев, несмотря на свою неловкость и неуклюжесть, долго скрываться от розысков полиции, был пойман уже в Варшаве, и что хотя он был приговорен к каторжной работе на срок, но весь срок просидел в крепости, из которой только по его окончании был сослан на поселение в Сибирь, где женился. Я знал сестер и мать Кюхельбекера; последняя была, сколько я помню, кормилицею великого князя Михаила Павловича, который постоянно помогал всему семейству.

Сомов отгадал, что скоро придут за бумагами Бестужева: явился дежурный штаб-офицер корпуса путей сообщения полковник Варенцов с полициею. Он очень учтиво просил Сомова отделить бумаги Бестужева и взял их с собою, но вскоре снова пришла полиция и арестовала самого Сомова. Он был в числе прочих политических преступников представлен государю, который спросил его: «где он служил», и на ответ: «в Российско-Американской компании», сказал: «Хороша собралась у вас там компания. Впрочем, вы взяты по подозрению, и только что удостоверятся в противном, вы будете отпущены». Тем не менее Сомова посадили в сырую и темную комнатку Алексеевского равелина и только через три недели выпустили. У него на квартире жил в его отсутствие полицейский чиновник, которому было поручено сохранение имущества. Сомов,

воротясь домой, не нашел у себя ни одной ценной вещи. Конечно, их было немного и ценности небольшой, но все было похищено, даже бронзовые часы и чернильница. Еще слышал я, что известный тогда писатель, Фаддей Венедиктович Булгарин, после окончания суда над политическими преступниками, чтобы отвлечь от себя всякое подозрение, выдал двух сыновей родной своей сестры, но донос не понравился императору Николаю Павловичу, и молодые люди отделались тем, что были посланы на службу в отдаленные города[8].

Упомянув об альманахе «Северные цветы», я намерен сказать подробнее об его дальнейшей участи. Он с таким же успехом, как и в 1825 г., выходил с 1826 по 1831 г. включительно. В нем постоянно помещались произведения лучших тогдашних писателей, в особенности в поэтическом отделе, а именно: Пушкина, Жуковского, Гнедича, Батюшкова, Плетнева, Подолинского, барона Розена, Щастного и других. Из большого числа стихотворений Пушкина помещены были отрывки из неизданных еще глав «Евгения Онегина», весь «Нулин», которого Пушкин до его напечатания прочитал сам в рукописи жене Дельвига в моем присутствии, более при этом никого не было. Пушкин не любил читать своих новых произведений при родном моем брате Александре, так как последний, имея необыкновенную память, услыхав один только раз хорошее стихотворение, даже довольно длинное, мог его передать почти буквально.

В «Северных цветах» на 1829 г. были помещены переведенные Жуковским 600 стихов из Илиады. В это время перевод всей Илиады Гнедича не был еще напечатан. Дельвиг обыкновенно посылал по экземпляру вновь вышедших «Северных цветов» в подарок некоторым писателям и в том числе Гнедичу. Последний, получив в самый день нового 1829 г. «Северные цветы», в которых был помещен отрывок Илиады, переведенный Жуковским, возвратил его Дельвигу при записке, в которой резко выразил свое неудовольствие на Жуковского и на Дельвига, и, сколько помню, писал в ней, что не хочет даже видеться с ними до того времени, пока не будет напечатан его перевод. Гнедич так поторопился этою запиской, что Дельвиг получил ее в день Нового года, не вставая еще с постели. До этой размолвки Гнедич бывал часто у Дельвига. Он читал пре-

восходно стихи, но как-то слишком театрально. Я помню его декламирующим: «На все смотрю я мрачным оком», а так как он был крив, то это производило на меня особое впечатление.

О неприятностях между Гнедичем и Дельвигом остались следы в печати. По выходе Илиады Гнедича к 1830 г. «Литературная газета» объявила об этом с должною похвалою. Какой-то журнал назвал это объявление воззванием, обнаруживающим дух партии, так как и Гнедич в предисловии к своему переводу Илиады похвалил гекзаметры Дельвига. Вследствие этого заявления Пушкин напечатал в «Литературной газете», что объявление об Илиаде написано было им в отсутствии Дельвига, что отношения Дельвига к Гнедичу не суть дружеские, но что это не может вредить их взаимному уважению, что Гнедич, по благородству своих чувств, откровенно сказал свое мнение на счет таланта Дельвига. Вышепрописанное же обвинение журналиста Пушкин находил не только несправедливым, но и не благопристойным.

После смерти Дельвига мать его с детьми остались в очень бедном положении. Пушкин вызвался продолжать издание «Северных цветов» в их пользу, о чем было заявлено. «Северные цветы» были изданы только один раз на 1832 г. и сколько отчислилось от их издания, я никогда не мог узнать. Без сомнения, не было недостатка в желании помочь семье Дельвига, но причину неисполнения обещания поймет всякий, кто знал малую последовательность Пушкина во многом из того, что он предпринимал вне его гениального творчества. В 1834 г., когда Пушкин приехал на время в Москву, он встретил меня в партере Малого театра, где давался тогда французский спектакль, и дружески меня обнял, что произвело сильное впечатление на всю публику, бывшую в театре, с жадностию наблюдавшую за каждым движением Пушкина. Из театра мы вместе поехали ужинать в гостиницу Коппа, где теперь помещается гостиница «Дрезден». Пушкин в разговорах со мною скорбел о том, что не исполнил обещания, данного матери Дельвига, уверял при том, что у него много уже собрано для альманаха на следующий новый год, что он его издаст в пользу матери Дельвига, о чем просил ей написать, но ничего из обещанного Пушкиным исполнено не было[9].

В подражание «Полярной звезде» и «Северным цветам» тогда же появилось много других альманахов. Отсутствие в большей части из альманахов стихотворений наших тогдашних поэтов первой величины было причиною малого их успеха. Только в некоторых из них, как-то в «Деннице», изданной Максимовичем, и в «Царском Селе», изданном бароном Розеном и Каншиным, с приложением в 1830 г. портрета А. А. Дельвига, помещались стихотворения лучших тогдашних поэтов: Пушкина, Баратынского, Вяземского, Языкова, Дельвига и проч. Но они не достигали богатства и разнообразия «Северных цветов». «Невский альманах» появился одним из первых. Издатель его Аладьин очень упрашивал Пушкина поддержать второй год его издания присылкою стихов. Пушкин послал ему эпиграмму на «Невский альманах», а он, вероятно, не понял этого, и не только ее напечатал, но даже дал ей место, сколько помню, перед заглавным листом, по его мнению, наиболее почетное. Вот эти стихи:

Н. Н.

(При посылке ей Невского альманаха)

Примите Невский альманах,
Он мил и в прозе и в стихах:
Вы в нем найдете Полевова,
Великопольского, Хвостова*.
Княжевич, дальний ваш родня,
Украсил также книжку эту;
Но не найдете лишь меня:
Мои стишки скользнули в Лету.
Что слава мира?.. дым и прах,
Ах, сердце ваше мне дороже!
Но, кажется, мне трудно тоже
Попасть и в этот альманах.

Дельвиг же, напротив, так много получал стихотворений лучших писателей, что в 1829 г. перед Светлой неделей издал еще особый альманах, под названием «Подснежник», в котором была напечатана повесть моего родного брата Александра, под заглавием «Маскарад».

---

* По другому списку: Василья Пушкина, Маркова *(Прим. А. И. Дельвига).* В 7-й и 8-й строках неточности. Надо: «Но не найдете *вы* меня», «Мои стихи скользнули в Лету».

А. А. Дельвиг, помещая эту повесть, не знал, что она — произведение моего родного брата, и дурно отзывался о ней при авторе, хотя при тогдашней бедности литературы нашей, за исключением произведений писателей первой величины, нельзя было ее считать очень нехорошею, чему служит доказательством и то, что она попала в «Подснежник». Замечания Дельвига не понравились моему родному брату и они вследствие этого долго не виделись. Такие распри между ними случались довольно часто по необыкновенной вспыльчивости моего родного брата и по охоте Дельвига дразнить его. Этот случай делания замечаний на литературные произведения по незнанию, что автор налицо, напоминает мне другой следующий случай.

В «Северных цветах» 1829 г. была помещена повесть под заглавием «Уединенный домик на Васильевском острове», подписанная псевдонимом: «Тит Космократов», сочиненная В. Титовым. Вскоре по выходе означенной книжки гуляли по Невскому проспекту Жуковский и Дельвиг; им встретился Титов. Дельвиг рекомендовал его, как молодого литератора, Жуковскому, который, вслед за этой рекомендацией, не подозревая, что вышеупомянутая повесть сочинена Титовым, сказал Дельвигу: «охота тебе, любезный Дельвиг, помещать в альманах такие длинные и бездарные повести какого-то псевдонима». Это тем более было неловко, что Жуковский отличался особым добродушием и ко всем благоволил.

В письме из Рязани от 29 августа 1879 г. к А. В. Головнину Влад. Павл. Титов говорит следующее о статье Т. Космократова, помещенной в «Северных цветах» 1829 г. «Уединенный домик на Васильевском острове»:

«В строгом историческом смысле это вовсе не продукт Космократова, а Александра Сергеевича Пушкина, мастерски рассказавшего всю эту чертовщину уединенного домика на Васильевском острове, поздно вечером, у Карамзиных, к тайному трепету всех дам и в том числе обожаемой тогда самим Пушкиным и всеми нами Екат. Никол., позже бывшей женою кн. Петра Ив. Мещерского. Апокалипсическое число 666, игроки-черти, метавшие на карту сотнями душ, с рогами, зачесанные под высокие парики — честь всех этих вымыслов и главной нити рассказа принадлежит Пушкину. Сидевший в той же комнате Космократов подслушал, во-

ротясь домой не мог заснуть почти всю ночь и несколько времени спустя положил в памяти на бумагу. Не желая однако быть ослушником ветхозаветной заповеди «не укради», пошел с тетрадью к Пушкину в гостиницу Демут, убедил его прослушать от начала до конца, воспользовался многими, поныне памятными его поправками, и потом, по настоятельному желанию Дельвига, отдал в «Северные цветы» <...>

Пушкин после дозволения, данного ему в мае 1827 г., бывать в обеих столицах, приехал в первый раз в Петербург летом 1827 г., но за отсутствием Дельвига я его тогда не видал. Я его увидел в первый раз в октябре, когда он снова приехал из своего уединения, с. Михайловского.

17-го октября праздновали день моих именин. Пушкин привез с собой, подаренный его приятелем Вульфом, череп от скелета одного из моих предков, погребенных в Риге, похищенного поэтом Языковым, в то время дерптским студентом, и вместе с ним превосходное стихотворение свое: «Череп», посвященное А. А. Дельвигу и начинающееся строфою:

Прими сей череп, Дельвиг; он
Принадлежит тебе по праву;
Тебе поведаю, барон,
Его готическую славу;

и оканчивающееся строфою:

Прими ж сей череп, Дельвиг; он
Принадлежит тебе по праву.
Обделай ты его, барон,
В благопристойную оправу.
Изделье гроба преврати
В увеселительную чашу,
Вином кипящим освяти
Да запивай уху да кашу!
Певцу Корсара подражай
И Скандинавов рай воинской
В пирах домашних воскрешай,
Иди как Гамлет-Баратынский,
Над ним задумчиво мечтай;
О жизни мертвый проповедник,
Вином ли полный, иль пустой,
Для мудреца, как собеседник,
Он стоит головы живой.

Пили за мое здоровье за обедом из этого черепа, в котором Вульф, подаривший его Пушкину, держал

табак. Череп этот должен и теперь находиться у вдовы Дельвига, но едва ли он, по совету Пушкина, обделан «в благопристойную оправу».

За обедом в мои именины было много лицеистов, и в том числе Пушкин, которые собирались через день праздновать 19 октября, день учреждения лицея. Известно, что Пушкину, при императоре Александре, был запрещен выезд из его имения Псковской губернии, с. Михайловского. Император Николай, сняв это запрещение в 1826 г. в Москве, спросил у Пушкина, отчего он мало пишет, и вследствие ответа последнего, что не может ничего печатать по строгости цензуры ко всему им написанному, заявил, что он будет его цензором. С тех пор все стихотворения свои Пушкин доставлял Дельвигу, от которого они были отсылаемы к шефу жандармов, генерал-адъютанту Бенкендорфу, а им представлялись на высочайшее усмотрение. Само собою разумеется, что старались посылать к Бенкендорфу по нескольку стихотворений за раз, чтобы не часто утруждать августейшего цензора.

Стихотворения, назначенные к напечатанию в «Северных цветах» на 1828 г., были в октябре уже просмотрены императором, и находили неудобным посылать к нему на просмотр одно стихотворение «Череп», которое однако же непременно хотели напечатать в ближайшем выпуске «Северных цветов». Тогда Пушкин решил подписать под стихотворением «Череп» букву «Я», сказав: «Никто не усумнится, что Я — Я». Но между тем многие усомнились и приписывали это стихотворение поэту Языкову. Государь впоследствии узнал, что «Череп» написан Пушкиным, и заявил неудовольствие, что Пушкин напечатает без его цензуры. Между тем, по нежеланию обеспокоить часто государя просмотром мелких стихотворений, Пушкин многие из своих стихотворений печатал с подписью П. или Ал. П.[10].

Пушкин в дружеском обществе был очень приятен и ко мне с самого первого знакомства очень приветлив. Дельвиг со всеми товарищами по лицею был одинаков в обращении, но Пушкин обращался с ними разно. С Дельвигом он был вполне дружен и слушался, когда Дельвиг его удерживал от излишней картежной игры и от слишком частого посещения знати, к чему Пушкин был очень склонен. С некоторыми же из своих то-

варищей лицеистов, в которых Пушкин не видел ничего замечательного и в том числе с М. Л. Яковлевым, обходился несколько надменно, за что ему часто доставалось от Дельвига. Тогда Пушкин видимо на несколько времени изменял свой тон и с этими товарищами [11].

Несколько позже приехал в Петербург Сергей Александрович Соболевский, уже известный тогда своими едкими эпиграммами и острыми словами [12]. Он был незаконнорожденный сын Александра Николаевича Сойманова. В 1827 г. он ехал путешествовать за границу. Сколько мне помнится, он тогда не был еще так близок с Пушкиным и другими современными поэтами, но был очень нахален и потому, так сказать, навязывался на дружбу известных тогда людей. Нахальство его не понравилось жене Дельвига, и потому, дабы избегнуть частых его посещений, она его не принимала в отсутствии мужа. Но это не помогло: он входил в кабинет Дельвига, ложился на диван, который служил мне кроватью, и читал до обеда, а когда Дельвиг возвращался домой, то он входил вместе с ним и оставался обедать.

Читая лежа на диване, Соболевский часто засыпал. Раз он заснул, читая песни Беранжера. Книга выпала из его рук и была объедена большою собакою Дельвига. По этому случаю за обедом была сочинена песня с припевом:

Собака съела Беранжера,
А Беранжер собаку съел;

т. е. Беранжер большой мастер писать песни, он на этом, как выражаются в простонародье, собаку съел... [13]

В 1827 г., не помню по какому случаю, был у Дельвигов ужин, тогда как обыкновенно у них не ужинали. За ужином был Соболевский, который шутками своими оживлял все общество. Он меня в этот день поил много, и я в первый раз от роду был немного пьян. За ужином была Анна Петровна Керн, которая сама напечатала воспоминания об ее знакомстве с Пушкиным, написавшим к ней в 1825 г. стихотворение, начинающееся стихами:

Я помню чудное мгновенье;
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

А. П. Керн, дочь Петра Марковича Полторацкого, была отдана 15-ти лет от роду замуж за старого генерал-лейтенанта Керна, человека не очень умного. Она с ним жила недолго, имела от него дочь, которая в 1827 г. была уже в Смольном монастыре. Разойдясь с мужем, А. П. Керн жила несколько времени у Прасковьи Александровны Осиповой, по первому мужу Вульф, в с. Тригорском, по соседству с с. Михайловским, в котором Пушкин проводил время своего изгнания[14].

Во время пребывания своего в Петербурге старуха П. А. Осипова с своими дочерьми посещала Дельвигов, шутя сознавалась, что влюблена в Дельвига, и меня очень любила, так что в шутку уверяла, что она изменила Дельвигу и меня полюбила так же страстно. Дельвиг уверял, что ему счастье только на старух и что мне предстоит, вероятно, такая же участь.

Пушкин написал несколько посланий к П. А. Осиповой и к ее дочерям. Вот первая строфа послания к первой, написанного в 1825 г.:

Быть может, уж недолго мне
В изгнаньи мирном оставаться,
Вздыхать о милой старине
И сельской музе в тишине
Душой беспечной предаваться.

Вот начало послания к одной из дочерей П. А. Осиповой, написанного в 1828 г.:

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И воспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.[15]

В 1827 г. А. П. Керн была уже менее хороша собою, и Соболевский, говоря за упомянутым ужином, что на Керн трудно приискать рифму, ничего не мог придумать лучшего, как сказать:

У мадам Керны
Ноги скверны.

Жена Дельвига, несмотря на значительный ум, легко увлекалась, и одним из этих увлечений была ее дружба с А. П. Керн, которая наняла небольшую квартиру в одном с Дельвигами доме и целые дни проводила у них, а в 1829 г. переехала к ним и на нанятую ими

дачу. Мне почему-то казалось, что она с непонятною целию хочет поссорить Дельвига с его женою, и потому я не был к ней расположен. Она замечала это и меня недолюбливала. Между тем она свела интригу с братом моим Александром. Вскоре они за что-то поссорились. В 1829 г., когда А. П. Керн была уже в ссоре с братом Александром, она вдруг переменилась ко мне. Это, конечно, нравилось мне, тогда 16-ти летнему юноше, но ее ласки имели целию через меня примириться с братом, что однако же не удалось. Возбужденные во мне ее ласками надежды также не имели последствий. С дачи А. П. Керн переехала на квартиру, ею нанятую далеко от Дельвигов, и они более не виделись. Я продолжал у нее бывать, но очень редко; впрочем, произведенный в 1830 г. в прапорщики, был у нее у первой в офицерском мундире.

Впоследствии я у нее бывал в 1831 и 1832 гг., когда она была в дружбе с Флоранским, о котором говорили, что он незаконнорожденный сын Баратынского, одного из дядей поэта.

В ее старости я ее встречал в 60-х гг. в Петербурге у Николая Николаевича Тютчева и в последний раз в декабре 1868 г. в Киеве, где она жила со вторым мужем, уволенным от службы учителем гимназии, Виноградским, в большой бедности. Теперь (1872 г.) они живут в Лубнах.

В эту же зиму начал ездить к Дельвигам Орест Михайлович Сомов. Живя до 14-го декабря 1825 г. в одном доме с Рылеевым и на одной квартире с Александром Бестужевым, он был знаком с Дельвигом и прежде. Но их разлучила в 1825 г. небольшая размолвка Дельвига с Рылеевым и Бестужевым по вышеупомянутому мною случаю.

Выпущенный в начале 1826 г. из крепости и лишившись места секретаря Российско-американской компании, жалованьем которого он жил, а вместе с тем и почти всего своего движимого имущества, Сомов не знал, что ему предпринять, тем более, что считал обязанностию поддерживать любовницу Александра Бестужева, на которой лет через пять женился.

Сомов никогда не служил на государственной службе и не имел чина, за что в знаменитом стихотворении Воейкова «Сумасшедшем доме» назван безмундирным. Тогда было чрезвычайною редкостию, чтобы образо-

ванный дворянин не служил. После содержания в Петропавловской крепости, конечно, он и не нашел бы нигде казенной службы. Во всяком случае, не имея чина, жалованье на этой службе он мог бы получать самое ничтожное. Он уже был известен, под псевдонимом «Порфирия Байского», многими повестями, написанными хорошим слогом и с некоторым талантом (например, повесть под заглавием «Гайдамаки»), а потому решился заниматься исключительно литературою. Сочинением повестей, конечно, не мог он содержать себя и единственным путем в то время для приобретения денег в литературе было поступление на службу к Николаю Ивановичу Гречу и Фаддею Венедиктовичу Булгарину, издававшим тогда газету «Северную пчелу» и два журнала: «Сын отечества» и «Северный архив». Последние два впоследствии слились в один журнал.

В этих журналах и газете помещались разные нападки на Пушкина и поэтов, его последователей, и между прочим в первом была помещена длинная прескучная повесть под заглавием: «Мортирин и барон Шнапс фон-Габенихтс»; под этими именами подразумевались Пушкин и барон Дельвиг. Греч и Булгарин приняли Сомова в сотрудники, как человека им весьма полезного, но зная, до какой степени он находился в нужде, обходились с ним весьма дурно и даже обсчитывали. Наконец, терпение Сомова лопнуло и он, оставив лагерь Греча и Булгарина, обратился к Дельвигу, от которого при малой его литературной деятельности, конечно, не мог предвидеть получения большого содержания, но был уверен в лучшем с ним обращении.

Булгарин был тогда всеми признан за шпиона, агента III отделения собственной канцелярии. Греч часто говаривал, что Булгарин ему необходим по общей их литературной деятельности, и уверял, что к несчастию, связавшись с таким подлым человеком (что будто бы его весьма тяготит), он не может с ним расстаться. Но этим уверениям придавали мало веры, и все считали Греча также агентом III отделения, но в несколько высшей сфере, чем Булгарина.

Сомов, в лагере Греча и Булгарина, а прежде в лагере Измайлова, писал эпиграммы и статьи против Дельвига, и потому появление его в обществе Дельвига было очень неприятно встречено этим обществом. Наружность Сомова была также не в его пользу. Вообще

постоянно чего-то опасающийся, с красными, точно заплаканными глазами, он не внушал доверия. Он не понравился и жене Дельвига. Пушкин выговаривал Дельвигу, что тот приблизил к себе такого неблагонадежного и мало способного человека. Плетнев и все молодые литераторы были того же мнения.

Между тем все ошибались насчет Сомова. Он был самый добродушный человек, всею душою предавшийся Дельвигу и всему его кружку и весьма для него полезный в издании альманаха «Северные цветы» и впоследствии «Литературной газеты». Дельвиг не мог бы сам издавать «Северные цветы», что прежде исполнялось книгопродавцем Слениным, а тем менее «Литературную газету». Вскоре однако же все переменили мнение о Сомове. Он сделался ежедневным посетителем Дельвига или за обедом, или по вечерам. Жена Дельвига и все его общество очень полюбили Сомова. Только Пушкин продолжал обращаться с ним с некоторою надменностию.

Несмотря на свое крайнее добродушие, Сомов, в критических разборах разных литераторов, умел иногда относиться к ним довольно язвительно и даже писал эпиграммы, из которых привожу две, написанные на известного тогда издателя «Дамского журнала» и «Московских ведомостей» князя Шаликова:

Не классик ты и не романтик,
Но что же ты в своих стихах?
На козьих ножках старый франтик,
С указкой детскою в руках.

Дрожащий под ферулой школьник,
Тебя ль возьму себе в пример?
Ты говоришь, что я раскольник,
Я говорю, ты старовер.

Живя у Дельвига, я довольно часто бывал с ним и его женою у поэта слепца И. И. Козлова, талант которого тогда высоко ценили. Раз Дельвиг поехал к нему на извощичьих дрожках. Сломалась ось. Дельвиг расшиб себе руку и, по причине тучности, долго не мог оправиться. Немедля, по возвращении Дельвига домой, он меня послал к Козлову сказать о случившемся с ним. На слепых глазах Козлова показались слезы, и он сильно горевал тем более, как он выразился, что

это случилось в то время, как Дельвиг ехал к нему <...>

В тот месяц, который я провел в 1828 г. у Дельвигов, я очень часто у них видел польского поэта Мицкевича. Все были от него в восхищении. Кроме огромного поэтического таланта, он прекрасный рассказчик. Раза по три в неделю он целые вечера импровизировал разные большею частию фантастические повести в роде немецкого писателя Гофмана. В это время у жены Дельвига часто болели зубы. Кроме обыкновенных зубных лекарей, которых лекарства не помогали, призывали разных заговорщиц и заговорщиков и между прочим кистера какой-то церкви, который какою-то челюстью дотрагивался до больного зуба и заставлял пациентку повторять за собою: «солнце, месяц, звезды», далее не помню. Он все слова произносил, не зная русского языка, до того неправильно, что не было возможности удержаться от смеха. Мицкевич уверял Дельвигов, что есть какой-то поляк, живущий в Петербурге, который имеет способность уничтожать зубную боль. Послали меня за ним. Он жил на Большой Миллионной, и я застал его за игрою в карты. Но он, узнав от меня о причине моего приезда, сейчас бросил игру, переоделся и с перстнем на пальце направился со мною на извозчике и всю дорогу, расфранченный и надушенный чрез меру, с большим бриллиантом, выговаривал мне, что я, при значительном холоде, так легко одет. Я был в фуражке и в суконной шинели не только не на вате, но и без подкладки. Тогда кадеты не имели более теплой одежды. С появлением поляка, высокого и полного мужчины, утишилась зубная боль у жены Дельвига, что сейчас же приписали действию перстня и магической силе того, кто его имел на пальце.

Поляк остался пить чай. Он говорил очень дурно по-русски. В это время скончалась императрица Мария Федоровна, и он говорил, что он видел великолепный воз (так он называл колесницу), приготовленный для перевозки ее тела из дворца в Петропавловский собор. Дельвиги, Мицкевич и я с трудом удерживались от смеха и, когда не могли более удержаться, уходили хохотать в другую комнату. Мицкевич смеялся более всех <...>

Странным покажется, что Дельвиги, столь развитые, прибегали не к помощи ученых зубных лекарей,

а к разным шарлатанам-заговорщикам, но это объясняется тем, что в это время было еще более суеверия, чем теперь, а в особенности тем, что Дельвиг был постоянно суеверен. Не говоря о 13-ти персонах за столом, о подаче соли, о встрече с священником на улице и тому подобных общеизвестных суевериях, у него было множество своих примет. При встречах с священником он не пропускал случая, чтобы не плюнуть им вслед. Протоиерей Павский, бывший законоучителем в Лицее, а в это время законоучителем Наследника был очень любим и уважаем Дельвигом. Когда они встречались, то Павский говаривал Дельвигу: «Плюнь, отплюйся же, Антон, а после поговорим».

Мать А. А. Дельвига осталась после смерти мужа в бедности. У нее было три сына и четыре дочери, все остались на ее руках, кроме старшего сына и дочери Марии, бывшей замужем за бедным витебским помещиком Родзевичем. Пушкин написал ей, еще будучи в Лицее, стихотворение, под заглавием «К Маше», начинающееся строфою:

Вчера мне Маша приказала
В куплеты рифмы набросать
И мне в награду обещала
Спасибо в прозе написать.

Другое стихотворение, написанное к ней также в Лицее в 1815 г. и озаглавленное «Баронессе Марии Антоновне Дельвиг», начинается следующими стихами:

Вам восемь лет, а мне семнадцать било,
И я считал когда-то восемь лет;
Они прошли. В судьбе своей унылой,
Бог знает, как я ныне стал поэт.

Чтобы облегчить положение матери и дать образование своим братьям, которые с лишком двадцатью годами были его моложе, Дельвиг привез их в Петербург. Братья эти Александр и Иван Антоновичи жили у него и учились на его счет. Старший выказывал много способности в учении и хороший характер; младший ни в том, ни в другом не походил на брата. Во всяком случае, присутствие этих детей еще более оживило дом Дельвига. <...>

Почти все лето 1829 г. до поступления моего в Институт я провел на даче у Дельвигов, которую они на-

нимали близ Крестовского перевоза, в переулке, против дачи, бывшей Кожина. В строительном училище уже знали о моем переводе в Институт, что облегчило мой отпуск из училища. Это лето провели у Дельвигов очень весело; у них постоянно бывало много посетителей. <...>

В зиму 1829—1830 г. прежнее же общество посещало Дельвигов. <...>

Из новых лиц, которых я видел в эту зиму, всех замечательнее были Михаил Данилович Деларю и Сергей Абрамович Баратынский.

М. Д. Деларю вышел из Царскосельского Лицея в 1829 г. и, наравне со всеми лицеистами, был предан Дельвигу и даже более других, как поэт, которого первые стихотворения напоминали музу Дельвига, и как юношу, который лицом был похож на последнего. Он очень часто бывал у Дельвига и меня очень любил.

С. А. Баратынский, младший брат поэта и друга Дельвига, слушал курс медицины в Москве во время последнего через нее проезда Дельвигов. Весьма красивый, очень умный, с пылкими глазами, этот молодой человек полюбился Дельвигам, и мужу, и жене. Он приехал с ними повидаться и действительно, во время пребывания в Петербурге, целые дни проводил у них, не бывая ни у кого из своих родных и даже скрывая от них о своем приезде...

В 1830 г. публичный экзамен был 7-го мая. Только что я кончил его и следовательно был вполне уверен, что месяца через два надену эполеты, как получил радостное известие, что у Дельвигов родилась дочь. Они были женаты уже 4 ½ года и не имели детей, а потому понятна их радость. Я поспешил их поздравить и потом пошел к старшему брату моему Александру, жившему в казармах лейб-гвардии Павловского полка, объявить ему о двух радостях. Брат, перед этим за что-то поссорившийся с А. А. Дельвигом и долго не бывавший у него, сейчас пошел к ним. А. А. Дельвиг и брат обнялись и все прошедшее было забыто. По вспыльчивому характеру брата Александра ссоры между ними происходили довольно часто, тем более, что А. А. Дельвиг, всегда отменно хладнокровный, любил выводить брата из терпения, с целью отучить его от излишней вспыльчивости. Зная доброе сердце и благородство брата Александра, А. А. Дельвиг был уверен,

что никогда не дойдет между ними до совершенной размолвки и считал, что если кто может исправить брата, то он один, потому что брат всякого другого за малейшую шутку, которая показалась бы ему оскорбительною, непременно вызвал бы на дуэль.

Пушкин, получивший в начале сентября 1826 г. дозволение пользоваться советами столичных докторов, немедля выехал из Михайловского в Москву, где, среди забав и торжественных приемов, прочел в первый раз свою трагедию «Борис Годунов» и очень хлопотал об издании нового журнала. К «Московскому телеграфу», издававшемуся Н. А. Полевым, он не имел сочувствия, а альманахи считал пустыми сборниками без направления. О необходимости издания нового журнала Пушкин думал еще в Михайловском. Следствием этого было появление с 1827 г. журнала: «Московский вестник», под редакциею М. П. Погодина. Много усилий и увещаний употребил Пушкин на поддержание этого журнала.

Пушкин, однако же, недолго оставался доволен критическими статьями «Московского вестника». Редактор его М. П. Погодин, молодой литератор и профессор истории в Московском университете, отличался тогда, как и теперь (1872 г.), своеобразною резкостию выражений. Ему ничего не стоило наполнять десятки страниц пошлою бранью, не идущею к делу. Не того хотелось Пушкину. Несмотря на довольно большое число издававшихся тогда журналов и помещавшихся в некоторых из альманахов обозрений нашей словесности за минувший год, у нас не было критики, которая могла бы установить общественное мнение в литературе и в которой не было бы грубых личностей.

Сверх того русской литературой в Петербурге завладели Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин, издававшие журналы «Сын отечества» и «Северный архив» и газету «Северную пчелу». Они оба употребляли всякого рода средства, чтобы не допускать новых периодических изданий и держать литературу в своих руках.

В конце 1829 г. мысль о новом органе созрела и ее разделяли Пушкин, Жуковский, Крылов, князь Вяземский, Баратынский, Плетнев, Катенин, Дельвиг, Розен и многие другие. Так появилась мысль об издании с 1830 г. «Литературной газеты». Весьма трудно было найти редактора для этого органа. Пушкин был посто-

янно в разъездах, Жуковский занят воспитанием Наследника Престола, Плетнев обучением русской словесности Наследника и в разных заведениях, князь Вяземский и Баратынский жили в Москве, Катенин в деревне. Хотя Дельвиг, по своей лени, менее всего годился в журналисты, но пришлось остановиться на нем, с придачею ему в сотрудники Сомова.

Все означенные литераторы любили Дельвига и уважали его вкус и добросовестность в суждениях о произведениях литературы. Вместе с этим надеялись, что этот новый орган послужит отпором с каждым днем увеличивающейся бессовестности Греча и Булгарина. Не трудно было, однако же, предвидеть, что «Литературная газета» не будет иметь успеха. Хотя в ней обещались участвовать самые даровитые поэты и несколько даровитых прозаиков, но было очевидно, что их произведений будет недостаточно для газеты, которая должна была выходить через каждые пять дней листом большого формата, напечатанным довольно мелким шрифтом.

Печатание вообще, а периодического издания в особенности, еще более затруднялось тогдашними цензурными правилами, по которым не пропускались многие слова, между прочим: республика, мятежники, о чем не сообщалось журналистам, а только цензорам. Номера «Литературной газеты» цензировались в корректуре накануне их выхода. Означенные слова и многие другие вычеркивались цензором. Надо было заменить статью, в которой они заключались, другою, но некогда уже было, в ночь перед выходом номера, набирать новую статью. Оставалось одно средство: заменить вычеркнутые слова другими, и таким образом слово «республика» заменялось словом «общество», а слово «мятежник» заменялось словом «злодей». Случалось, по болезни Дельвига, мне заниматься корректурою, и помнится, что на мою долю выпали эти замещения, так что мне пришлось произвести в дельной статье галиматью. Было время, что цензоры не пропускали слов: Бог, Ангел с большой первоначальной буквы. Нелегко было добыть дозволение на издание нового периодического журнала, но оно было получено чрез ходатайство Жуковского, и 1-го января 1830 г. вышел первый номер «Литературной газеты», в котором первой статьей был отрывок из романа «Магнетизер» Погорельского (псев-

доним Перовского), автора романа «Монастырка», а второю отрывок из VIII гл. «Онегина», начинающийся стихом:

Прекрасны вы, брега Тавриды.

Дельвиг подвергался беспрерывным сатирическим выходкам тогдашних журналистов.

Впереди всех в этом отношении стоял Булгарин, с которым после 1825 г. прерваны были всякие сношения. Благородные чувства Дельвига ложились тяжелыми камнями на подобного человека. Явившийся в 1829 г. роман Булгарина «Иван Выжигин», который был расхвален другом автора Гречем, не мог нравиться Дельвигу, и Булгарин очень опасался, что Дельвиг раскроет недостатки романа публике, которая пленилась произведением нового рода в русской литературе. Греч хотя и уверял, что Булгарин его ссорит с порядочными людьми, но подчинялся влиянию последнего. А. Е. Измайлов и Бестужев-Рюмин, всегда грязные и большею частию пьяные, не могли выносить аристократическую фигуру Дельвига, который, хотя и любил покутить с близкими, но держал себя очень чинно. Измайлов не любил поэтов новоромантической, как тогда выражались, школы и называл их литературными баловниками, а Дельвига баловнем-поэтом, и в особенности сердился на последнего за пародию на «Замок Смальгольм». Беспрестанные, задорные и недоброжелательные выходки в издаваемом Измайловым журнале «Благонамеренный» и в других журналах не вызывали со стороны Дельвига ни одного печатного возражения. Он как будто боялся загрязнить себя ответом на них, и это равнодушие было весьма больно противникам. На все эти выходки Дельвиг отвечал только один раз посланием к Измайлову, которого и талант и добродушие ценил, но и этого послания не напечатал. Вот оно:

Мой по Каменам старший брат,
Твоим я басням цену знаю;
Люблю тебя, но виноват,
В тебе не все я одобряю.
К чему за несколько стихов,
За плод невинного веселья,
Ты стаю воружил певцов,
Бранящих все в чаду похмелья?
Твои кулачные бойцы
Меня не вызовут на драку.

Они, не спорю, молодцы;
Я в каждом вижу забияку;
Во всех их взор мой узнает
Литературных Карбонаров.
Но, друг мой, я не Дон-Кихот,
Не посрамлю моих ударов.

Бестужев-Рюмин беспрестанно печатно ругал Дельвига и в издававшейся им в 1829 г. «Северной звезде» дошел до нелепости, уверяя, что половина стихов последнего принадлежит Пушкину, а другая — Баратынскому.

С появлением «Литературной газеты», в одном из первых номеров которой было сказано, что она «у нас необходима не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могших по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов», брань журналистов против Дельвига усилилась. Они в этом заявлении увидели какое-то аристократическое стремление участников газеты и разразились бранью, но уже не на одного Дельвига, но и на Пушкина <...> [16]

Лето 1830 г. Дельвиги жили на берегу Невы, у самого Крестовского перевоза. У них было постоянно много посетителей. Французская июльская революция тогда всех занимала, а так как о ней ничего не печатали, то единственным средством узнать что-либо было посещение знати. Пушкин большой охотник до этих посещений, но постоянно от них удерживаемый Дельвигом, которого он во многом слушался, получил по вышеозначенной причине дозволение посещать знать хотя ежедневно и привозить вести о ходе дел в Париже[17]. Нечего и говорить, что Пушкин пользовался этим дозволением и был постоянно весел, как говорят, в своей тарелке. Посетивши те дома, где могли знать о ходе означенных дел, он почти каждый день бывал у Дельвигов, у которых проводил по нескольку часов. Пушкин был в это время уже женихом.

Общество Дельвига было оживлено в это лето приездом Льва Пушкина,— офицера Нижегородского Драгунского полка,— проводившего почти все время у Дельвигов. Я в начале мая окончил экзамен, а в конце июня надел офицерский мундир и таким образом мог жить у Дельвигов. Брат Александр, по окончании лагерного времени, также бывал у них каждый день.

Время проводили тогда очень весело. Слушали великолепную роговую музыку Дмитрия Львовича Нарышкина, игравшую на реке против самой дачи, занимаемой Дельвигами. Такая музыка могла существовать только при крепостном праве; с его уничтожением она сделалась, по моему мнению, невозможною, а потому такой уже более в России, слава богу, не услышат. Но нельзя не сказать, что хор роговой музыки Нарышкина, состоявший из очень большого числа музыкантов, был доведен до совершенства.

Чтение, музыка и рассказы Дельвига, а когда не бывало посторонних — и Пушкина, занимали нас днем. Вечером, на заре закидывали невод, а позже ходили гулять по Крестовскому острову. Прогулки эти были тихие и покойные <...>

Я выше говорил об аристократическом направлении, в котором журналисты упрекали Пушкина и Дельвига. В июне 1830 г. им до того это надоело, что они решили отвечать двумя заметками, помещенными в смеси «Литературной газеты». Шутя, в моем присутствии, они составили следующие заметки, конечно, нисколько не ожидая тех грустных последствий, которым они были первою причиною. Ввиду этих последствий, которые я расскажу ниже, привожу здесь вполне обе заметки.

Первая заметка:

«С некоторых пор журналисты наши упрекают писателей, которым не благосклонствуют, их дворянским достоинством и литературною известностию. Французская чернь кричала когда-то «les aristocrates à la lanterne»*. Замечательно, что и у французской черни крик этот был двусмыслен и означал в одно время аристократию политическую и литературную. Подражание наше не дельно. У нас, в России, государственные звания находятся в таком равновесии, которое предупреждает всякую ревнивость между ними. Дворянское достоинство в особенности ни в ком не может возбуждать неприязненного чувства, ибо доступно каждому. Военная и статская служба, чины университетские легко выводят в оное людей прочих званий. Ежели негодующий на преимущества дворянские не способен ни

* Аристократов на фонари. Припев французской революционной песни.

к какой службе, ежели он не довольно знающ, чтобы выдержать университетские экзамены, жаловаться ему не на что. Враждебное чувство его, конечно, извинительно, ибо необходимо соединено с сознанием собственной ничтожности, но выказывать его неблагоразумно. Что касается до литературной известности, упреки в оной отменно простодушны. Известный баснописец, желая объяснить одно из жалких чувств человеческого сердца, обыкновенно скрывающееся под какою-нибудь личиною, написал следующую басню:

Со светлым червячком встречается змея
И ядом вмиг его смертельным обливает.
«Убийца! — он вскричал, — за что погибнул я?»
— «Ты светишь» — отвечает.

«Современники наши, кажется, желают доказать нам ребячество подобных применений и червяков и козявок заменить лицами более выразительными. Все это напоминает эпиграмму, помещенную в 32-м № «Лит<ературной> газ<еты>».

Привожу также и эту эпиграмму Баратынского:

«Он вам знаком. Скажите, кстати:
Зачем он так не терпит знати?»
— Затем, что он не дворянин, —
«Ага, нет действий без причин.
Но почему чужая слава
Его так бесит?» — Потому,
Что славы хочется ему,
А на нее Бог не дал права,
Что не хвалил его никто,
Что плоский автор он. — «Вот что».

Вторая заметка, напечатанная в начале августа, была следующего содержания:

«Новые выходки противу так называемой литературной нашей аристократии столь же недобросовестны, как и прежние. Ни один из известных писателей, принадлежавших будто бы этой партии, не думал величаться своим дворянским званием. Напротив, «Северная пчела» помнит, кто упрекал помянутого Полевого тем, что он купец*, кто заступился за него, кто осмелился посмеяться над феодальною нетерпимостию некоторых чиновных журналистов**. При сем случае

* Конечно, Греч и Булгарин.
** Конечно, Пушкин и Дельвиг. *(Прим. А. И. Дельвига.)*

заметим, что если большая часть наших писателей дворяне, то сие доказывает только, что дворянство наше (не в пример прочим) грамотное: этому смеяться нечего. Если бы же звание дворянина ничего у нас не значило, то и это было бы вовсе не смешно. Но пренебрегать своими предками из опасения шуток гг. Полевого, Греча и Булгарина не похвально, а не дорожить своими правами и преимуществами глупо. Не дворяне (особливо не русские), позволяющие себе насмешки насчет русского дворянства, более извинительны. Но и тут шутки их достойны порицания. Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия (которых, впрочем, ни в каком отношении сравнивать с нашими невозможно) приуготовили крики: «аристократов к фонарю», и ничуть не забавные куплеты с припевом: «повесим их, повесим». Avis aux lecteurs*[18].

Вскоре по напечатании последней заметки, которая, казалось, была равно как и первая вполне согласна с тогдашним направлением нашего правительства, Дельвиг был потребован в III-е отделение собственной канцелярии государя. Требования в это отделение были, конечно, неприятны в высшей степени каждому. Для Дельвига же эта неприятность увеличивалась необходимостью встать рано и немедля выехать из дома, что при его лени было ему невыносимо. В III-ем отделении бывший шеф жандармов граф Бенкендорф дал строгий выговор Дельвигу за означенные заметки и предупреждал, что он впредь за все, что ему не понравится в «Литературной газете» в цензурном отношении, будет строго взыскивать и, между прочим, долго добивался, откуда Дельвиг знает песню: «les aristocrates à la lanterne». Конечно, Бенкендорф не читал заметок, за которые выговаривал Дельвигу, а вызвал последнего по доносу Булгарина, бывшего тогда шпионом III-го отделения и обязанного по этой должности доносить преимущественно на литераторов. В этом же случае Булгарин не только исполнял свои служебные обязанности, но и увлекался чувством ненависти к Дельвигу и желанием уничтожить его газету.

Вообще III-е отделение канцелярии государя было в то время очень придирчиво к печати, но эта придир-

* Вниманию читателей.

чивость еще более усилилась со времени последней французской революции.

Впоследствии еще раза два Бенкендорф призывал к себе Дельвига и выговаривал ему за статьи «Литературной газеты», не имевшие ничего противоцензурного, чего не допустил бы ни сам Дельвиг, потому что это было совершенно противно его понятиям, ни цензора газеты Щеглов и Семенов, из которых первый цензировал «Литературную газету» с ее начала до половины августа и снова после нижеописанной катастрофы с «Литературной газетой», а последний с половины августа до этой катастрофы, которая состояла в следующем.

В настоящее время последние страницы газет легко пополняются объявлениями, печатание которых составляет одну из главных статей дохода издателей. В то же время, когда оставалось пустое место в конце газеты, встречалось затруднение, чем его наполнить. Так случилось и с номером «Литературной газеты», вышедшим в конце октября 1830 г. Ко времени печатания этого номера Дельвиг получил письмо из Парижа, в котором сообщалось четверостишие, напечатанное в конце газеты следующим образом:

«Вот новые четыре стиха Казимира де-ла-Виня на памятник, который в Париже предполагается воздвигнуть жертвам 27, 28 и 29 июля:

France, dis-moi leurs noms. Je nén vois point paraitre
Sur ce funébre monument;
Ils ont vaincu si promptement
Que tu fus libre avant de les connairte.*

Казалось, что в этом четверостишии нет ничего противоцензурного; но вышло совсем напротив. Правительство сделало распоряжение, чтобы ничего касающегося последней французской революции не появлялось в журналах, но не дало об этом знать журналистам, а только одним цензорам. В ноябре Бенкендорф снова потребовал к себе Дельвига, который введен был к нему в кабинет в присутствии жандармов. Бенкен-

* Франция, скажи мне их имена.
Я их не вижу на этом могильном памятнике;
Они так быстро победили,
Что ты стала свободной раньше, чем успела их узнать.

дорф самым грубым образом обратился к Дельвигу с вопросом: «Что ты опять печатаешь недозволенное?»

Выражение *ты* вместо общеупотребительного *вы* не могло с самого начала этой сцены не подействовать весьма неприятно на Дельвига. Последний отвечал, что о сделанном распоряжении не печатать ничего относящегося до последней французской революции он не знал, и что в напечатанном четверостишии, за которое он подвергся гнёву, нет ничего недозволительного для печати. Бенкендорф объяснил, что он газеты, издаваемой Дельвигом, не читает, и когда последний, в доказательство своих слов, вынув из кармана номер газеты, хотел прочесть четверостишие, Бенкендорф его до этого не допустил, сказав, что ему все равно, что бы ни было напечатано, и что он троих друзей: Дельвига, Пушкина и Вяземского уже упрячет, если не теперь, то вскоре, в Сибирь. Тогда Дельвиг спросил, в чем же он и двое других названных Бенкендорфом могли провиниться до такой степени, что должны вскоре подвергнуться ссылке, и кто может делать такие ложные доносы. Бенкендорф отвечал, что Дельвиг собирает у себя молодых людей, причем происходят разговоры, которые восстановляют их против правительства, и что на Дельвига донес человек, хорошо ему знакомый. Когда Дельвиг возразил, что собирающееся у него общество говорит только о литературе, что большая часть бывающих у него посетителей или старее его, или одних с ним лет, так как ему всего 32 года от роду, и что он между знакомыми своими не находит никого, кто мог бы решиться на ложные доносы, Бенкендорф сказал, что доносит Булгарин и если он знаком с Бенкендорфом, то может и подавно быть знаком с Дельвигом. На возражение последнего, что Булгарин у него никогда не бывает, а потому он его не считает своим знакомым и полагает, что Бенкендорф считает Булгарина своим агентом, а не знакомым, Бенкендорф раскричался, выгнал Дельвига словами: «вон, вон, я упрячу тебя с твоими друзьями в Сибирь».

Так или почти так происходила эта сцена, но она в общем виде верна <...>

Немедленным последствием этой сцены было запрещение продолжать издание «Литературной газеты» и отставка цензора Семенова, который извинялся в сделанном им пропуске четверостишия тем, что хорошо

зная о направлении Дельвига, который никогда не подведет цензора под ответственность, не обратил внимания на то, что четверостишие относилось к последней французской революции, а не к революции прошедшего столетия, о которой не упоминалось в сделанном правительством распоряжении. Извинение несколько странное ввиду того, что в предшествовавших четверостишию строках «Литературной газеты» именно были упомянуты дни 2, 7, 28 и 29 июля <...>

Сцена между Бенкендорфом и Дельвигом сделалась вскоре известна всему городу. Из людей, близких Дельвигу и имевших некоторое значение при дворе, были министр юстиции Дашков, у которого Дельвиг в это время состоял на службе, товарищ министра внутренних дел Блудов и Жуковский.

Дашкова не было в Петербурге, следовательно он не мог принять участия в защите Дельвига. На Жуковского, как на литератора, хотя и воспитателя наследника, не всегда смотрели дружелюбно. Оставался один Блудов, который несколько раз приезжал к Дельвигу отговаривать его от подачи жалобы государю на Бенкендорфа, говоря, что можно жаловаться государю на всех, даже на самого государя, но не на Бенкендорфа, что подобная жалоба поведет Дельвига только к большим неприятностям, а он, имея жену и дочь, обязан стараться их избегать. Блудов при этом брал на себя объяснить все Бенкендорфу и довести его до того, что он приедет извиниться перед Дельвигом и что дозволено будет продолжать издание «Литературной газеты». Дельвиг, в душе уверенный в справедливости государя, с трудом согласился не подавать жалобы.

Действительно, вскоре приехал к Дельвигу служивший при III отделении канцелярии государя, чиновник 4-го класса Боголюбов (боюсь, не изменила ли мне память, не ошибаюсь ли я в фамилии этого чиновника) и приказал доложить, что он с поручением от Бенкендорфа. Означенный чиновник имел репутацию класть в свой карман дорогие вещи, попадавшиеся ему под руку в домах, которые он посещал. Дельвиг вследствие этого сказал мне, чтобы я убрал со стола дорогие вещи, но таковых, кроме часов и цепочки, не было, и я ушел с ними из кабинета Дельвига, так как его разговор с чиновником должен был происходить без свидетелей.

По отъезде чиновника Дельвиг сказал мне, что Бенкендорф прислал заявить, что сам по нездоровью не может приехать, а прислал извиниться в том, что разгорячился при последнем свидании с Дельвигом и что издание «Литературной газеты» будет разрешено, но только под редакцией Сомова, а не Дельвига, так как уже состоялось высочайшее повеление о запрещении издания под его редакциею[19].

Пушкин был тогда в Москве и долго ничего положительного не знал о происходившем, удивляясь только долгому замедлению в выходе «Литературной газеты».

Греч в это время рассказывал, что Дельвиг напрасно так огорчается поступком Бенкендорфа, что все-таки время сделало свое и Бенкендорф мог обойтись с Дельвигом хуже, приводя в пример обращение с ним, Гречем, графа Аракчеева по поводу статьи, помещенной некогда в издаваемом им «Сыне отечества» о конституции, хотя он не преминул в этой статье упомянуть, насколько всякая конституция была бы вредна для такого государства, как Россия. Аракчеев позвал к себе Греча, пригласил его сесть и, когда он не садился, то схватил его за оба плеча и, насильно посадив, спросил его: что такое он напечатал о конституции, и, не выслушав ответа Греча, сказал ему: «Ведь ты, Николай Иванович, учился у ученых немцев, а я у пономаря», и, ударив Греча по носу книжкою, в которой была помещена статья о конституции, прибавил: «А он учил меня, что конституция кнут; так, по нашему конституция — кнут, ученый Николай Иванович».

Греч это рассказывал, как бы в утешение Дельвигу, и кажется ему лично, но наверное не помню; может быть это передано кем-нибудь из общих знакомых.

Извинение Бенкендорфа нисколько не подействовало на Дельвига к лучшему. Он, всегда хворый и постоянно принимающий лекарства, заболел сильнее прежнего, так что пользовавший его доктор запретил ему выходить из дома. Нравственное состояние Дельвига было самое грустное. Он впал в апатию, не хотел никого видеть, кроме самых близких, и принимал посторонних лиц весьма редко.

Здоровье Дельвига в ноябре и декабре 1830 г. плохо поправлялось. Он не выходил из дома. Только 5-го января 1831 г. я с ним был у Сленина и в бывшем ма-

газине казенной бумажной фабрики, ныне Полякова, где Дельвиг имел счета. На этих прогулках он простудился и 11-го января почувствовал себя нехорошо. Однако утром еще пел с аккомпанементом на фортепиано, и последняя пропетая им песня была его сочинения, начинающаяся следующею строфою:

Дедушка, девицы
Раз мне говорили,
Нет ли небылицы
Иль старинной были?

Когда в этот день Дельвигу сделалось хуже, послали за его доктором Саломоном, а я поехал за лейб-медиком Арендтом. Доктора эти приехали вечером, нашли Дельвига в гнилой горячке и подающим мало надежды к выздоровлению.

Слушая в это время курс в Институте инженеров путей сообщения, я должен был ежедневно бывать там от 8 час. утра до 2-х пополудни и от 5 до половины 8-го вечером, так что я мог оставаться при больном Дельвиге только между 3-мя и 5-ю час. дня и по вечерам.

14-го января, придя по обыкновению в 8 часов вечера к Дельвигу, я узнал, что он за минуту перед тем скончался. Не буду описывать того, до какой степени был я поражен этою смертию, явлением для меня тогда новым, нисколько не ожиданным,—равно страшной скорбью его жены и всех знавших его близко, которые были преданы ему всею душою и понимали, как велика была потеря человека добродушного и служившего связью как для известного благороднейшего кружка литераторов, друга талантливейших из них и поощрителя менее талантливых и вообще начинающих, так и для лицеистов, к какому бы слою общества они ни принадлежали. И те и другие понимали, что их кружки, по неимению средоточия, распадутся.

17-го января в день именин Дельвига были его похороны. Встречавшиеся, узнав кого хоронят, очень сожалели о потере сочинителя песен, которые были тогда очень распространены в публике. Тело Дельвига похоронено на Волковском кладбище. На преждевременной его могиле был в ту же весну поставлен его вдовою памятник.

Боясь, что смерть Дельвига убьет его мать и желая ее хотя несколько к этому подготовить, просили Булгарина, чтобы он в первом выходящем номере издава-

емой им «Северной пчелы» не извещал о смерти Дельвига, но Булгарин не исполнил этой просьбы.

Таким образом мать Дельвига узнала о его смерти из «Северной пчелы». Она надеялась, что в этом извещении говорилось не об ее сыне, основываясь на том, что в извещении Дельвиг был назван надворным советником, а его семейство не знало о производстве его в этот чин. Она полагала, что умер кто-либо другой, хотя в извещении Дельвиг был назван известным нашим поэтом...

Литераторы, близкие к Дельвигу, выразили печатно свою скорбь о его потере.

В № 4 «Литературной газеты» 16 января 1831 г., который начинался статьею «Женщины» с подписью Н. Гоголь, в первый раз появившеюся в печати, были помещены «Некролог Дельвига», написанный Плетневым, и «К гробу барона Дельвига» В. Туманского. Выписываем несколько строк из некролога.

«Ум Дельвига от природы был более глубок, чем остер. Полнота и ясность литературных сведений Дельвига были залогами успехов его на новом (журнальном) поприще. Рассматривая новые книги, он уже изложил несколько главнейших своих мыслей о разных отраслях словесности».

Далее в том же некрологе:

«От одного присутствия Дельвига одушевлялось целое общество. Ежели он увлекался разговором, то обнимал предмет с самых занимательных сторон и удивлял всех подробностию и разнообразием познаний».

В той же газете были напечатаны стихотворения: «На смерть Дельвига» Гнедича, «Полет души» М. Деларю; его же «К могиле Дельвига», «Б. С. М. Д-г» (Баронессе Софье Михайловне Дельвиг) и «К Лизаньке Дельвиг» (дочери покойного) и барона Розена «Баронессе Елисавете Антоновне Дельвиг» и «Тени друга».

Пушкин был поражен смертью Дельвига. Он находился тогда в Москве. Не могу не выписать здесь отрывка из его письма к Плетневу от 21 января 1831 г.

«Ужасное известие получил я в воскресенье. На другой день оно подтвердилось. Вчера ездил я к Салтыкову <тестю Дельвига> объявить ему все — и не имел духу. Вечером получил твое письмо. Грустно. Тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд; я глубоко сожалел о нем, как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Из всех связей детства он один оставался на ви-

ду — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Баратынский болен от огорчения».

Глубокая горесть видна во всех письмах Пушкина, в которых он упоминает о потери Дельвига. Так 31-го того же января он, между прочим, пишет Плетневу:

«Я узнал его <Дельвига> в Лицее; был свидетелем первого, не замеченного развития его поэтической души, и таланта, которому еще не отдали мы должной справедливости. С ним читал я Державина, Жуковского, с ним толковал обо всем, что душу волнует, что сердце томит. Жизнь его богата не романтическими приключениями, но прекрасными чувствами, светлым, чистым разумом и надеждами».

Извещая 21-го февраля Плетнева о своей женитьбе, Пушкин, между прочим, пишет:

«Память Дельвига есть единственная тень моего светлого существования».

Десять месяцев после смерти Дельвига Пушкин заканчивает свое 19-е октября 1831 г. строфою:

И мнится, очередь за мной...
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и честных помышлений,
Туда, в толпу теней родных,
На век от нас ушедший гений.

ПРИМЕЧАНИЯ

Литературное наследие А. П. Керн (Марковой-Виноградской) состоит из воспоминаний, написанных в период с конца 1850-х годов до 1870 года (о Пушкине, Дельвиге, Глинке, о встречах с императором Александром I и о своем детстве), дневников — 1820 и 1861 годов и писем, к сожалению, сохранившихся в небольшом количестве (интереснейшая и чрезвычайно важная во многих отношениях многолетняя ее переписка с А. Н. Вульф, как и ее письма к Пушкину, О. С. Пушкиной-Павлищевой, С. М. Дельвиг и другим неизвестны). Мы знаем, что еще с конца 1820-х годов Анна Петровна неоднократно пыталась заниматься переводами французских романов. Рукопись одного такого перевода, выполненного в 1855 году, сохранилась в ее архиве. Однако предпринимавшиеся главным образом в целях заработка переводы эти сколько-нибудь серьезного литературного интереса не представляют.

Воспоминания, дневники и переписка А. П. Керн воспроизводятся нами по изданию: А. П. Керн (Маркова-Виноградская). Воспоминания. Дневники. Переписка. М., Художественная литература, 1974. Вступительная статья, подготовка текста и примечания А. М. Гордина. Здесь литературное наследство А. П. Керн представлено наиболее полно и точно.

По сравнению с указанным изданием введены нс публиковавшиеся ранее отрывки из писем А. П. Керн (Марковой-Виноградской) к Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной) и письма к ней Н. О. и С. Л. Пушкиных.

В приложении даны отрывки из неопубликованного дневника и писем А. В. Маркова-Виноградского, а также из «Моих воспоминаний» А. И. Дельвига, представляющие значительный интерес как дополнение и комментарий к написанному А. П. Керн, содержательные документы эпохи.

Все тексты печатаются по новой орфографии и с исправлениями пунктуации. Сохранены лишь немногие специфические формы правописания. Имена и фамилии, обозначенные у А. П. Керн инициалами или сокращенно, всюду, где это оказалось возможным, развернуты. Под строку вынесены авторские примечания и переводы иноязычных текстов. В некоторых случаях сохранены переводы, принятые при первых публикациях, в других — выполнены заново. В «Воспоминаниях о Пушкине», где Керн широко цитирует письма поэта к ней, под строкой даны переводы, напечатанные при первой публикации в «Библиотеке для чтения» 1859 года, с внесением в них некоторых уточнений; наиболее точные переводы, выполненные для академического Полного собрания сочинений Пушкина, читатель найдет в разделе «Переписка» нашего издания.

Все цитаты из писем и сочинений Пушкина приводятся нами по изданию: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 1—16. Изд-во АН СССР, 1937—1949.

ВОСПОМИНАНИЯ

Воспоминания о Пушкине

(Стр. 27—46)

Написаны в конце 1850-х годов, вскоре после переезда А. П. и А. В. Марковых-Виноградских в Петербург. Точная дата написания неизвестна. Местонахождение рукописи не установлено. Впервые напечатаны при жизни А. П. Керн (Марковой-Виноградской) в журнале «Библиотека для чтения», 1859, т. 154, апрель, с. 111—144, с приложением четырех писем Пушкина во французских оригиналах и переводах, без указания имени автора.

Как явствует из публикуемого нами письма А. П. Керн к П. В. Анненкову (см. с. 327), первоначально «Воспоминания» были переданы поэтессе Е. Н. Пучковой, обещавшей помочь их напечатать. Но обещания своего Пучкова не выполнила и вернула рукопись. Тогда, по-видимому при содействии кого-то из общих знакомых, Анна Петровна передала их Анненкову, продолжавшему собирать свидетельства современников о Пушкине и после того, как в 1855 году вышли его «Материалы для биографии А. С. Пушкина», составившие первый том Сочинений Пушкина под его редакцией. Сама мысль приняться за воспоминания, надо полагать, возникла у Керн под впечатлением от труда П. В. Анненкова. Естественно, рукопись не могла не заинтересовать исследователя. Он подверг ее некоторой обработке и передал для опубликования своему приятелю и единомышленнику — в то время редактору «Библиотеки для чтения» А. В. Дружинину.

Лицо, с обращения к которому начинает А. П. Керн свои воспоминания, было скрыто ею под инициалами Е. Н. Вопрос о том, кто эта «почтенная и добрая Е. Н.», издавна занимал читателей и исследователей. Точный ответ дает указанное выше письмо А. П. Керн к Анненкову. Е. Н. — это Екатерина Наумовна Пучкова.

Е. Н. Пучкова (1792—1867) была известной в свое время поэтессой. Ей адресованы две эпиграммы Пушкина-лицеиста — «Зачем кричишь ты, что ты дева...» и «Пучкова, право, не смешна...». В 1850-х годах стала членом кружка, собиравшегося у О. С. Павлищевой; здесь она встречалась с А. П. Керн.

[1] *Оленина,* рожд. Полторацкая, Елизавета Марковна (1768—1838) — тетка А. П. Керн, старшая сестра ее отца; была замужем за Алексеем Николаевичем Олениным (1763—1843), президентом Академии художеств и директором Публичной библиотеки, признанным знатоком и ценителем искусства. Дом Олениных на набережной Фонтанки, близ Обухова моста (ныне набережная Фонтанки, 101), был широко известен в Петербурге как место, где собирались виднейшие представители художественной интеллигенции — писатели, художники, актеры — разных направлений, куда стекались все новости художественной жизни столицы. Постоянными посетителями оленинских вечеров были Крылов, Жуковский, Гнедич, Батюшков, Озеров, молодой Пушкин, Кипренский, Семенова, Яковлев...

Двоюродный брат А. П. Керн, племянник Е. М. Олениной и отца Анны Петровны П. М. Полторацкого, *Полторацкий* Александр Александрович (1792—1855) служил в гвардии, вышел в отставку в чине капитана; с 1834 года был женат на Е. П. Бакуниной, предмете первой любви Пушкина-лицеиста.

[2] 28 декабря 1818 года умерла Екатерина Павловна, сестра Александра I, королева Вюртембергская.

[3] Первая встреча Пушкина с А. П. Керн в доме Олениных произошла в январе — начале февраля 1819 года.

[4] *Плещеев* Александр Алексеевич (1778—1862) — друг В. А. Жуковского и А. И. Тургенева, член литературного кружка «Арзамас».

[5] Строка из басни И. А. Крылова «Осел и Мужик» (1819).

[6] В восьмой главе романа «Евгений Онегин», строфах XIV—XVI и XXX, как предполагают, Пушкину виделась графиня Наталия Викторовна Строганова, рожд. Кочубей (1800—1854); мог вспоминать он и А. П. Керн и ее мужа — генерала. Но называть конкретный прототип в данном случае вообще представляется неправомерным.

В приведенных стихах имеются по сравнению с оригиналом расхождения в пунктуации и мелкие неточности; 13-я и 14-я строки XIV строфы читаются:

Du comme il faut (Шишков, прости:
Не знаю, как перевести).

[7] Первое издание «Кавказского пленника» вышло в Петербурге в конце августа или начале сентября 1822 года, с портретом Пушкина, гравированным Е. Гейтманом. Первое издание «Бахчисарайского фонтана» — в Москве 10 марта 1824 года. «Братья разбойники» впервые появились в альманахе А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева «Полярная звезда» на 1825 год, отдельным изданием вышли в 1827 году. Первая глава «Евгения Онегина» вышла в Петербурге 18 февраля 1825 года.

[8] *Родзянко Аркадий Гаврилович* (1793—1846) — автор лирических стихов и сатир, в большинстве не опубликованных. В 1818—1819 годах, служа в Петербурге в лейб-гвардии Егерском полку, был близок к декабристским кругам, состоял членом литературно-политического общества «Зеленая лампа». По-видимому, здесь он познакомился с Пушкиным, и между ними установились приятельские отношения. В 1821 году Родзянко вышел в отставку и поселился в своем богатом имении Родзянки Хорольского уезда Полтавской губернии, недалеко от Лубен, где жила у родных А. П. Керн. На протяжении 20-х годов Родзянко поддерживал сношения с Пушкиным, обмениваясь письмами и поэтическими посланиями, несмотря на то, что Пушкин был крайне возмущен выпадом Родзянко против него в сатире «Два века» (см. его письмо А. А. Бестужеву 13 июня 1823 г.). О посещении Пушкиным Родзянко в его имении при «возвращении с Кавказа» нет никаких сведений, кроме сообщения Керн.

[9] *Вульф Анна Николаевна* (1799—1857) — двоюродная сестра и ближайшая подруга А. П. Керн, дочь ее дяди, брата матери, Николая Ивановича Вульфа и Прасковьи Александровны, рожд. Вындомской, во втором браке Осиповой. Получив первоначальное воспитание вместе с А. П. Керн в доме их деда И. П. Вульфа в тверском имении его Бернове, она жила главным образом в Тригорском, псковском имении матери, временами наезжая в оставшееся после смерти отца тверское имение Малинники или в Петербург. В Тригорском в 1824—1825 годах она близко познакомилась с Пушкиным и увлеклась им, сохранив глубокое безответное чувство к нему на всю жизнь. О своем чувстве она откровенно писала поэту в 1826 году из Малинников в Михайловское (см.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 267—268, 270, 273—274). Письма эти — выразительные человеческие документы. Сохранились далеко не все из них. Письма Пушкина к Ан. Н. Вульф не сохранились вовсе, кроме двух шутливых записок. По-видимому, они были уничтожены самой Анной Николаевной, как и ее многолетняя переписка с А. П. Керн. Начитан-

ная, любящая и понимающая поэзию, добрая и отзывчивая Ан. Н. Вульф прожила невеселую одинокую жизнь, будучи в постоянной материальной зависимости от матери, ее понятий и капризов. Скончалась она в Тригорском 2 сентября 1857 года.

А. П. Керн допускает неточность, говоря, что Анна Николаевна «часто бывала в доме Пушкина»,— конечно, не она бывала у Пушкина в Михайловском, а он постоянно бывал в доме Вульф-Осиповых в Тригорском.

Прасковья Александровна Вульф-Осипова, рожд. Вындомская (1781—1859), приходилась теткой А. П. Керн, так как была первым браком замужем за родным ее дядей, братом матери,— Николаем Ивановичем Вульфом. Ранние годы провела в имении Тригорское, где получила первоначальное воспитание и образование под наблюдением отца — Александра Максимовича Вындомского, отставного полковника, энергичного помещика, человека по своему времени образованного и не лишенного даже литературных интересов, о чем свидетельствует сохранившийся альбом с выписанными его рукою стихами. После смерти отца, а затем и первого мужа Прасковья Александровна унаследовала имения Тригорское в Псковской губернии и Малинники в Тверской, где главным образом и жила со своими детьми от первого брака Алексеем, Анной, Евпраксией, Валерианом и Михаилом Вульф, от второго брака Марией и Екатериной Осиповыми и падчерицей Александрой. Рачительная помещица, не стеснявшаяся крутых мер в обращении как с крепостными, так и детьми, она в то же время постоянно пополняла свои знания путем чтения, изучения иностранных языков и проч. и стала человеком подлинно образованным, выделявшимся из окружающей среды просвещенным умом, широтой духовных интересов, самостоятельностью суждений. За это ее ценили и уважали такие люди, как В. А. Жуковский, А. И. Тургенев, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, бывшие с нею в переписке. Пушкин на протяжении двух десятилетий поддерживал с П. А. Вульф-Осиповой самые добрые отношения, справедливо видя в ней не только незаурядного человека, но и искреннего, бескорыстного друга, готового всегда прийти ему на помощь в любом трудном деле. Сохранилась обширная переписка Пушкина с П. А. Вульф-Осиповой, ей посвящено несколько стихотворений поэта. А. П. Керн много говорит о Прасковье Александровне в воспоминаниях о своем детстве; подробную ее характеристику дает в письме к П. В Анненкову, написанном вскоре после смерти П. А. Вульф-Осиповой (см. с. 328—333).

[10] Письмо Пушкина к А. Г. Родзянко, о котором здесь идет речь, было написано в Михайловском 8 декабря 1824 года. Стихи Пушкина приведены неточно. Полный и точный текст их такой:

Прости, украинский мудрец,
Наместник Феба и Приапа!
Твоя соломенная шляпа
Покойней, чем иной венец;
Твой Рим — деревня; ты мой Папа,
Благослови ж меня, певец!

Приводимые слова из письма не цитата, а пересказ по памяти. У Пушкина: «Баратынский написал поэму (не прогневайся, про *Чухонку*), и эта чухонка говорят чудо как мила.— А я про *Цыганку*; каков? подавай же нам скорей свою *Чупку* — ай да Парнас! ай да героини! ай да честная компания! Воображаю, Аполлон, смотря на них, закричит: зачем ведете мне не ту?» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 128—129).

Текст шуточного послания в стихах А. Г. Родзянко и А. П. Керн Пушкину см. в их письме от 10 мая 1825 года на с. 269—271 настоящего издания.

[11] Послание Пушкина «К Родзянке» («Ты обещал о романтизме...») является ответом на письмо Родзянко и Керн от 10 мая 1825 года. При жизни Пушкина не печаталось.

[12] В Тригорском летом 1825 года А. П. Керн гостила с середины июня по 19 июля, когда вместе с П. А. Вульф-Осиповой и ее дочерьми — Ан. Н. и Е. Н. Вульф — уехала в Ригу. Там в это время ее муж Е. Ф. Керн занимал должность военного коменданта.

[13] *Рокотов* Иван Матвеевич (1782— после 1840) — псковский помещик, владелец села Стехнево Новоржевского уезда, в 40 верстах от Михайловского и Тригорского. Часто бывал у Вульф-Осиповых, посещал и Пушкина.

[14] *«Сказка про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров»* позже, в 1827—1828 годах, была записана со слов Пушкина молодым литератором Владимиром Павловичем Титовым (1807—1891), посещавшим литературные собрания у Дельвига, и напечатана с согласия Пушкина в альманахе «Северные цветы» на 1829 год под названием «Уединенный домик на Васильевском».

[15] Поэма «Цыганы» была закончена Пушкиным в Михайловском осенью 1824 года.

[16] Посещение А. П. Керн Михайловского происходило в ночь с 18 на 19 июля 1825 года. В прогулке принимали участие, кроме нее и Пушкина, «тетушка» — П. А. Вульф-Осипова, «сестра» — Ан. Н. Вульф и двоюродный брат — Ал. Н. Вульф.

Алексей Николаевич Вульф (1805—1881) — старший сын П. А. и Н. И. Вульфов. Первоначальное образование получил в Горном корпусе. С 1822 по 1826 год — студент Дерптского университета, где подружился с Н. М. Языковым. С 1829 года служил в гвардии. В 1833 году вышел в отставку в чине штабс-ротмистра и всю дальнейшую жизнь, без малого пятьдесят лет, провел помещиком в своих имениях Малинники и Тригорское. Скончался в Тригорском 17 апреля 1881 года, там же похоронен — на семейном кладбище Вульф-Осиповых на Городище Ворониче. Со своей двоюродной сестрой А. П. Керн Вульф был дружен на протяжении всей жизни. С Пушкиным у него установились приятельские отношения сразу по приезде поэта в Михайловскую ссылку осенью 1824 года. Проводя каникулы в Тригорском, он постоянно общался с Пушкиным, особенно летом 1826 года, когда привез в Тригорское Н. М. Языкова. Известны письма и стихотворные послания Пушкина Вульфу; о нем — «дерптском студенте» — поэт писал в «Заметке о холере» (1831). Вульф уделяет много внимания Пушкину в своем «Дневнике», содержащем интересные и важные, но не всегда вполне достоверные сведения (см.: Вульф А. Н. Дневники. М.: Федерация, 1929).

[17] Керн имеет в виду строки из V строфы третьей главы романа «Евгений Онегин»:

Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне.

[18] *«Приют задумчивых дриад»* (лесных нимф) — строка из I строфы второй главы романа «Евгений Онегин». А. П. Керн относит ее к парку Михайловского, подчеркивая тем самым, что видит прямую связь между пейзажем «Онегина» и окружавшей Пушкина в псковской деревне природой.

[19] Керн ошибается, говоря, что накануне ее отъезда из Тригорского Пушкин принес ей «экземпляр 2-й главы *Онегина*». Вторая глава вышла из печати в октябре 1826 года. Это могла быть только первая глава, вышедшая в феврале 1825 года.

[20] Посвященное А. П. Керн стихотворение Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье...») было впервые напечатано в альманахе «Северные цветы» на 1827 год. Беловой автограф до нас не дошел. М. И. Глинка написал музыку на эти слова зимою 1840 года.

[21] Стихотворение Ивана Ивановича Козлова (1779—1840) «Венецианская ночь. Фантазия» (1824).

[22] Письмо Петру Александровичу Плетневу (1792--1865), поэту, критику, одному из близких друзей Пушкина, издателю его сочинений и помощнику во многих житейских делах, было написано 19 июля 1825 года.

[23] Письмо Пушкина к П. А. Вульф-Осиповой, где поэт «очертил портрет» А. П. Керн, не сохранилось. Намек на него содержится в приписке к письму от 28 августа 1825 года, адресованной якобы П. А. Осиповой, на самом же деле предназначенной также для А. П. Керн («Как это мило, что вы нашли портрет схожим: «смела в» и т. д.») (Пушкин А. С. Полн, собр. соч. Т. 13. С. 216; оригинал по-французски).

[24] Полный текст писем Пушкина, которые цитирует А. П. Керн, в точном переводе, принятом академическим Полным собранием сочинений Пушкина, см. на с. 271—280 настоящего издания.

[25] Пушкин приехал в Петербург после освобождения из ссылки 22 мая 1827 года. Его родители, Н. О. и С. Л. Пушкины, жили в это время в доме Устинова на набережной Фонтанки, у Семеновского моста (дом сохранился — набережная Фонтанки, 92, у Семеновского моста).

[26] А. П. Керн ошибочно называет среди друзей Пушкина, посетивших его в Михайловском, Е. А. Баратынского и не называет И. И. Пущина.

[27] Трактир Демута, где неоднократно останавливался Пушкин в 1827—1831 годах, считался одной из лучших петербургских гостиниц; находился он на набережной Мойки, возле Невского проспекта (дом перестроен, участок дома № 40).

[28] А. П. Керн с сестрой Елизаветой и отцом П. М. Полторацким в 1827 году жила на набережной Фонтанки, близ Обуховского моста, в доме генеральши С. И. Штерич — том самом, который ранее принадлежал Е. М. Полторацкой-Олениной и где в 1819 году произошла первая знаменательная встреча Керн с Пушкиным.

[29] День именин Пушкина — 2 июня.

[30] *Норов Абрам* (Авраам) *Сергеевич* (1795—1869) — в 1820-е годы активно выступал как поэт и переводчик, был членом «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» и «Общества любителей российской словесности»; позже — академик, сенатор, министр народного просвещения.

[31] Младший брат Пушкина, Лев Сергеевич (1805—1852), служил на Кавказе в Нижегородском драгунском полку в 1827—1829 годах и позже, в 1836—1841 годах.

[32] *Ивелич* Екатерина Марковна, гр. (1795—1838) — близкая знакомая А. П. Керн и семьи Пушкиных.

[33] *Веневитинов* Дмитрий Владимирович (1805—1827) с 1826 года жил в Петербурге и часто посещал литературные собрания у Дельвига. Известна его восторженная любовь к кн. З. А. Волконской.

[34] *Хомяков* Алексей Степанович (1804—1860) — поэт и публицист славянофильского направления.

[35] Стихотворение А. А. Дельвига «На смерть Веневитинова» («Дева и Роза») написано в 1827 году и впервые напечатано в альманахе «Северные цветы» на 1828 год.

[36] Поэма *«Полтава»* была написана Пушкиным в течение 1828 года. *«Ударил бой, Полтавский бой!»* — стих третьей песни поэмы. В окончательной редакции: «И грянул бой, Полтавский бой!»

[37] Стих из поэмы Пушкина «Цыганы».

[38] *Барков Дмитрий Николаевич* (1796 — после 1855) — известный в свое время театрал и поэт-дилетант. В 1819 году был членом «Зеленой лампы». Соль шуточного стихотворения Пушкина в том, что однофамилец Д. Н. Баркова Иван Барков (1732—1768) был известен как автор порнографических, «срамных» стихов.

[39] Младшая сестра А. П. Керн — Елизавета Петровна, в замужестве Решко.

[40] Пушкин подарил А. П. Керн отдельное издание поэмы «Цыганы», вышедшее в 1827 году.

В рукописи А. П. Керн «Мысли и замечания, выдержки из писем в Малороссию», хранящейся в Рукописном отделе Пушкинского дома (14.332/LXXX662), содержится такая запись разговора с Пушкиным по поводу поэмы «Цыганы»:

«А ведь Зарема-то ваша интереснее Марии»,— сказала я ему когда-то.

«Я люблю Зарему»,— отвечал он.

«Ваши «Цыганы» лучше всего, что вы написали»,— сказала я.

«Я и сам того же мнения, их не поняли; не оценили!..»

[41] *«Я ехал к вам. Живые сны...»* — стихотворение «Приметы». Написано в январе 1829 года. Напечатано в альманахе «Подснежник» в апреле 1829 года. В окончательной редакции четвертый стих первой строфы: «Сопровождал мой бег ретивый».

[42] Стихотворения *«Город пышный, город бедный...»* и *«Пред ней задумчиво стою...»* («Ты и Вы») обращены к Анне Алексеевне Олениной, которой в это время (1828 г.) Пушкин был увлечен и даже просил ее руки.

[43] Дельвиг с женой уехал в Харьков по служебным делам в феврале; вернулся в Петербург 7 октября 1828 года.

[44] Стихи *«Как в ненастные дни собирались они...»* известны и в непечатной редакции (см. письмо Пушкина П. А. Вяземскому от 1 сентября 1828 г.), которую, вероятно, и посылал Пушкин Дельвигу через А. П. Керн.

[45] Квартира Дельвига в 1827—1829 годах находилась на Загородном проспекте (продолжение Владимирской улицы), в доме Кувшинникова (Московская часть, № 167 и 168), а с осени 1829 года по январь 1831 года в доме Тычинкина, против Владимирской церкви (Московская часть, № 185 и 186). Этот дом сохранился (Загородный проспект, № 1).

[46] *Лангер* Валериан Платонович (1799— после 1870) — лицеист 2-го курса, художник-литограф, с 1841 года почетный вольный общник Академии художеств. *Эристов* Дмитрий Алексеевич (1797—1858) — лицеист 2-го курса, чиновник и литератор. *Яковлев* Михаил Лукьянович (1798—1868) — товарищ Пушкина и Дельвига по Лицею (прозвище «Паяц»), на их слова написал несколько романсов, которые сам исполнял, обладая хорошим голосом; хранитель архива 1-го курса Лицея и устроитель празднования годовщин 19 октября. *Комовский* Сергей Дмитриевич (1798—1880) — товарищ Пушкина и Дельвига по Лицею (прозвище «Лисичка»), впоследствии крупный чиновник, автор недоброжелательных воспоминаний о Пушкине. *Илличевский* Алексей Дамианович (1798—1837) — товарищ Пушкина и Дельвига по Лицею (прозвище «Олосенька»), поэт, в Лицее сопер-

ничавший с Пушкиным, автор книжки стихов «Опыты в антологическом роде» (1827).

[47] *Подолинский* Андрей Иванович (1806—1886) — поэт романтического направления, пользовавшийся значительной известностью в 20—30-х годах, автор поэм «Див и Пери» (1827), «Борский» (1829), «Нищий» (1830), «Смерть Пери» (1837) и большого числа лирических стихотворений, вошедших в двухтомное собрание его стихотворений и поэм (1837). А. П. Керн поддерживала знакомство с Подолинским в течение многих лет. *Щастный* Василий Николаевич (1802—после 1854) — поэт, переводчик и журналист. Известностью пользовались его переводы из «Крымских сонетов» Мицкевича, с которым он познакомился в 1828 году, вероятно у Дельвига; был постоянным посетителем дельвиговских вечеров и активно сотрудничал в «Северных цветах» и «Литературной газете»; переведенное Щастным стихотворение А. Мицкевича «Фарис» написано в 1828 году и посвящено И. И. Козлову.

[48] *Голицын* Сергей Григорьевич, кн. (1803—1868) — музыкант и поэт-дилетант, бывший в дружеских отношениях с М. И. Глинкой.

Тесное дружеское общение М. И. Глинки (1804—1857) с А. А. Дельвигом и его кругом относится к 1828—1829 годам. В своих «Записках» Глинка рассказывает: «Летом того же 1828 года Михаил Лукьянович Яковлев, композитор известных русских романсов и хорошо певший баритоном, познакомил меня с бароном Дельвигом, известным нашим поэтом. Я нередко навещал его; зимою бывала там девица Лигле, мы играли в 4 руки. Барон Дельвиг переделал для моей музыки песню «Ах ты, ночь ли, ноченька...», и тогда же я написал музыку на слова его же «Дедушка, девицы раз мне говорили...»; эту песню весьма ловко певал М. Л. Яковлев». (Глинка М. И. Литературное наследие. Т. 1. С. 110). Рассказывает Глинка и о посещении Дельвига на даче летом 1829 года, и о совместной поездке в середине того же лета на Иматру.

[49] *Мицкевич* Адам (1798—1855) был выслан из Польши в Центральную Россию под надзор полиции в 1824 году и с конца 1827 года до отъезда за границу весною 1829 года жил в Петербурге. В это время он близко сошелся с Пушкиным, Дельвигом и их кругом, был постоянным посетителем дельвиговских литературных собраний.

[50] Стихотворение Подолинского «Портрет» посвящено А. П. Керн; в 1828 году оно было вписано автором в ее альбом. Впервые опубликовано в альманахе «Подснежник», 1829.

На стихотворение Подолинского Пушкин сочинил пародию, которую тогда же, в 1829 году, записал в тот же альбом А. П. Керн:

Когда, стройна и светлоока,
Передо мной стоит она,
Я мыслю: «В день Ильи-пророка
Она была разведена!»

Стихотворение «К***», откуда А. П. Керн приводит последние шесть строк, по-видимому, также посвящено ей и написано в 1828 году.

Утверждение А. П. Керн, что Пушкин многими стихами Подолинского «восхищался», не подтверждается известными фактами.

[51] *Розен* Георгий (Егор) Федорович, бар. (1800—1860) — писатель и критик, автор многочисленных лирических стихотворений и исторических трагедий. Им написано либретто оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). В 1828—1829 годах сблизился

с кругом Пушкина — Дельвига, печатался в «Северных цветах» и «Литературной газете», часто посещал дельвиговские вечера.

[52] Пушкин уехал в Москву в начале марта 1829 года.

[53] Мать А. П. Керн — Екатерина Ивановна Полторацкая (рожд. Вульф) — скончалась в начале 1832 года.

[54] *...одна дама* — Е. М. Хитрово.

[55] Младшая дочь Керн — Ольга (род. в 1826 г.), умерла, по-видимому, в детстве.

Воспоминания о Пушкине, Дельвиге, Глинке

(Стр. 47—74)

Написаны в 1859 году в Петербурге как продолжение «Воспоминаний о Пушкине» (см. письма А. П. Керн — П. В. Анненкову и П. В. Анненкова — А. П. Керн на с. 327—339 настоящего издания). Впервые напечатаны в журнале «Семейные вечера» (старший возраст), 1864, № 10, с. 679—693, под названием: «Отрывок из записок. Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и Глинке».

[1] Собрания (литературные вечера) у Дельвига в доме Кувшинникова (до конца 1829 г.), а затем Тычинкина (до 1831 г.) происходили регулярно два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

[2] *Красный Кабачок* — трактир (ресторан) в нескольких верстах от Петербурга по Петергофской дороге. Пользовался большой популярностью среди светской столичной молодежи в конце XVIII — начале XIX века.

[3] Жена А. А. Дельвига София Михайловна, рожд. Салтыкова (1806—1888). Венчание ее с Дельвигом состоялось 30 октября 1825 года. Вскоре после смерти Дельвига она вторично вышла замуж за С. А. Баратынского, брата поэта.

[4] *Сомов* Орест Михайлович (1793—1833) — писатель, критик, журналист, в 1829—1831 годах ближайший помощник Дельвига по изданию «Северных цветов» и «Литературной газеты».

[5] *«Дева и Роза»* и *«На смерть Веневитинова»* — одно и то же стихотворение. См. «Воспоминания о Пушкине», с. 41 настоящего издания.

[6] Братья Дельвига Александр (1816—1882) и Иван (1819—...) были привезены им в Петербург вскоре после смерти отца (6 июля 1828 г.). Оба впоследствии были военными. Керн указывает возраст братьев неточно.

[7] Письмо С. М. Дельвиг написано 21 июля 1830 года. Лев Сергеевич Пушкин уехал из Петербурга 20-го, Александр Сергеевич приехал в столицу 19-го. Свадьба Пушкина с Н. Н. Гончаровой состоялась 18 февраля 1831 года.

[8] Сестра Пушкина Ольга Сергеевна (1797—1868), бывшая в дружеских отношениях с А. П. Керн, обвенчалась с Н. И. Павлищевым (против воли родителей) 27 января 1828 года.

[9] Под госпожой Н. имеется в виду сама А. П. Керн (ср. в воспоминаниях «Дельвиг и Пушкин», с. 78 настоящего издания).

[10] «Нам чувство дико и смешно» — строка XIV строфы второй главы романа «Евгений Онегин».

[11] Вероятно, речь идет об Анне Николаевне Вульф.

[12] Четверостишие Илличевского — пародия на заключительную строфу стихотворения Пушкина «Демон»:

Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

[13] Надежда Осиповна Пушкина скончалась 29 марта 1836 года. Пушкин отвез ее тело в Святогорский монастырь, близ Михайловского, где уже были похоронены ее родители Осип Абрамович и Мария Алексеевна Ганнибалы, и рядом с ее могилой купил место для себя.

[14] В журнальной публикации рассказа А. П. Керн о первой встрече с М. И. Глинкой в Юсуповом саду допущена грубая ошибка: назван Александр Сергеевич Пушкин вместо Льва Сергеевича. А. С. Пушкина в 1826 году не было в Петербурге.

[15] *Базен* Петр Петрович (1783—1838) — француз, принятый на русскую службу Александром I; в 1826 году — генерал-лейтенант-инженер, директор Института инженеров путей сообщения.

[16] С Л. С. Пушкиным Глинка вместе учился в С.-Петербургском Благородном пансионе при Педагогическом институте (1818—1821 гг.).

[17] *Фильд* Джон (1782—1837) — ирландский пианист и композитор; жил в России в 1804—1834 годах.

[18] Дача, которую снимали Дельвиги летом 1829 и 1830 годов и где вместе с ними жила А. П. Керн, находилась на Петербургской стороне, на берегу Невы, у Крестовского перевоза.

[19] Прогулка на Иматру — водопад на реке Вуоксе в Финляндии — проходила 28 июня — 1 июля 1829 года (А. П. Керн ошибочно называет 1830-й).

[20] *Будущие* — в терминологии подорожных того времени — люди, сопровождающие путешественника.

[21] Пансионский товарищ и земляк Глинки, с которым он жил некоторое время на одной квартире (Загородный проспект, дом Нечаева) и вместе совершил поездку на Иматру, большой любитель поэзии и музыки, сам писавший стихи,— Александр Яковлевич Римский-Корсак.

[22] Слово «фамилия» финн-таможенник понял как «семья».

[23] Е. А. Баратынский (1800—1844) в 1820—1826 годах служил в Финляндии рядовым Нейшлотского полка.

[24] Певец *Иванов* Николай Кузьмич (1810—1880) весною 1830 года вместе с Глинкой уехал в Италию для усовершенствования и отказался вернуться в Россию, несмотря на требования Николая I. С большим успехом пел в Италии, Франции и Англии. Глинке дружеское участие в судьбе Иванова и содействие его отъезду за границу доставило серьезные неприятности.

[25] Дочь Дельвига Елизавета Антоновна родилась 7 мая 1830 года (скончалась в 1913 г.).

[26] *Нарышкин Дмитрий Львович* (1758—1838) — камергер, владелец лучшего в России оркестра роговой музыки, состоявшего из крепостных музыкантов.

[27] М. И. Глинка женился на Марии Петровне Ивановой в апреле 1835 года; брак оказался крайне неудачным, и в 1839 году Глинка оставил жену, возбудив дело о разводе. Официальный развод был им получен только в 1846 году, хотя жена его еще в 1841 году тайно обвенчалась с камер-юнкером Н. Н. Васильчиковым, скрыв, что она замужем.

[28] Капельмейстером придворной певческой капеллы М. И. Глинка служил с января 1837 года по декабрь 1839 года.

[29] Весною 1839 года Глинка влюбился в дочь А. П. Керн — Екатерину Ермолаевну (1818—1904). Особенно частые посещения Глинкой А. П. Керн, о которых она вспоминает, относятся к 1839—1840 годам. Брак М. И. Глинки и Е. Е. Керн не состоялся. В 1852 году она вышла замуж за М. О. Шокальского.

[30] *Кукольник* Нестор Васильевич (1809—1868) — поэт, романист и драматург охранительного направления, в свое время пользовавшийся большой популярностью. Глинка был в товарищеских отношениях с Кукольником и писал музыку на многие его произведения.

[31] *«Ходит ветер у ворот...»* — песня из музыки Глинки к трагедии Н. Кукольника «Князь Даниил Дмитриевич Холмский» (1840), *«Пароход»* — «Попутная песня» (1840), *«Уснули ль голубые...»* — точно: «Уснули голубые...» — это и есть баркарола (1840).

[32] Сын А. П. Керн и Александра Васильевича Маркова-Виноградского Саша — Александр Александрович (1839—1879?).

[33] А. П. Керн с дочерью Екатериной Ермолаевной и маленьким сыном Сашей выехала из Петербурга в Лубны 10 августа 1840 года. По дороге они намеревались заехать в Тригорское к П. А. Вульф-Осиповой. М. И. Глинка сопровождал их до ст. Катежна, а оттуда направился через Смоленск в имение матери Новоспасское.

[34] Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила», задуманная еще в 1837 году, была впервые поставлена на сцене Большого театра в Петербурге 27 ноября 1842 года.

[35] Речь идет об увлечении Глинки Е. Е. Керн и намерении жениться на ней.

[36] *«Вреден север для него...»* — перефразировка стиха II строфы первой главы романа «Евгений Онегин»: «Но вреден север для меня».

Дельвиг и Пушкин

(Стр. 75—88)

Написано в 1859 году (см. письма А. П. Керн — П. В. Анненкову и П. В. Анненкова — А. П. Керн, с. 327—339 настоящего издания). Является вариантом первой части предыдущих воспоминаний о Пушкине, Дельвиге и Глинке, однако содержит ряд изменений и дополнений. Рукопись, авторизованная копия, хранится в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинского дома) АН СССР. Впервые напечатано в сб. «Пушкин и его современники», 1907, вып. V, с. 140—157.

[1] «Элегия на смерть Анны Львовны» («Ох, тетенька! ох, Анна Львовна...») — шуточное стихотворение, написанное Пушкиным и Дельвигом в апреле 1825 года в Михайловском. Тетка Пушкина Анна Львовна умерла 14 октября 1824 года.

[2] Стихотворение «Романс» написано в 1820 году и напечатано в альманахе А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева «Полярная звезда» на 1824 год.

[3] Стихотворения Е. А. Баратынского были изданы Дельвигом в 1827 году.

[4] Пародия на балладу В. А. Жуковского (перевод из В. Скотта) «Замок Смальгольм, или Иванов вечер» (1822). В пародии фигурируют реальные лица — журналист и баснописец А. Е. Измайлов, журналист Н. А. Цертелев, журналисты и мелкие стихотворцы В. Н. Олин, Б. М. Федоров, цензоры А. С. Бирюков, А. И. Красовский, К. К. фон Поль, реальные адреса — район Петербурга Пески, дом Маденова на Песках, где жил А. Е. Измайлов, Конная площадь там же.

[5] *Кок Поль де* (1794—1871) — французский романист.

[6] А. П. Керн допускает хронологическую неточность — поездка на Иматру происходила летом 1829 года, Пушкин женился в феврале 1831 года.

[7] *Ольга* — О. С. Павлищева.

[8] *Хитрово Елизавета Михайловна* (1783—1839) — дочь М. И. Кутузова. Была в близких, дружеских отношениях с Пушкиным.

[9] Записки Е. М. Хитрово и А. С. Пушкина к Керн в переводах и комментарии к ним см. в разделе «Переписка».

[10] *Дюме* — владелец известного петербургского ресторана на Малой Морской улице (ныне — улица Гоголя).

[11] «Три повести» Н. Ф. Павлова (1805—1864) («Именины», «Аукцион», «Ятаган») вышли в 1835 году. Пушкин в рецензии, оставшейся не опубликованной при его жизни, писал: «Три повести г. Павлова очень замечательны и имели успех вполне заслуженный. Они рассказаны с большим искусством, слогом, к которому не приучили нас наши записные романисты» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 9). Встреченные одобрительно широкими кругами читающей публики, повести Павлова были признаны вредными в официальных правительственных сферах. По распоряжению Николая I переиздание книги было запрещено.

[12] *Бульвер*-Литтон Эдвард Джон (1803—1873) — английский романист и политический деятель. Его роман «Пелам, или Приключения джентльмена» стал известен в России вскоре после выхода (1828). В полном русском переводе был опубликован как приложение к той же 4-й книжке 154-го тома «Библиотеки для чтения», 1859, где напечатаны «Воспоминания о Пушкине» А. П. Керн. Среди бумаг Пушкина, оставшихся после его смерти, сохранился план и отрывок сочинения, герой которого назван «Русский Пелам». По-видимому, поэт намеревался создать характер, близкий характеру героя романа Бульвера, и описать русское общество 20-х — начала 30-х годов, как сделал это английский романист в отношении английского общества своего времени. Фамилия Пелам встречается в незаконченных произведениях Пушкина «Роман в письмах» (1829) и «Роман на Кавказских водах» (1831).

[13] *Манцони,* или Манзони, Алессандро (1784—1873) — итальянский писатель: поэт, романист, драматург, теоретик литературы романтического направления. Один из наиболее популярных его романов — «Обрученные», из жизни Италии XVII века — вышел в 1825—1827 годах. Русский перевод, выполненный Н. И. Павлищевым, печатался в 1831 году в «Литературной газете». Отдельной книжкой вышел в 1833 году.

Три встречи с императором Александром Павловичем

1817—1820 гг.

(Стр. 89—102)

Написано во второй половине 1860-х годов. Точная дата написания неизвестна. Местонахождение рукописи не установлено. Опубликовано в «Русской старине», 1870, т. I, изд. 3-е, с. 230—243. Текст дается по этому изданию. Редактор «Русской старины» М. И. Семевский сопроводил публикацию воспоминаний А. П. Керн следующим примечанием: «Приведенный рассказ сообщен нам по поручению его составительницы Анны Петровны Марковой-Виноградской, в первом замужестве генеральши Керн, рожденной Полторацкой. Госпожа Керн была предметом любви Пушкина, и этой страсти русская литература обязана несколькими прелестными стихотворениями, таковы: «Я помню чудное мгновенье...», «Я ехал к вам. Живые сны...» и нек. др. В IV-й книге Библиотеки для чтения за 1859 г. помещена статья А. П. Керн «Воспоминания о Пушкине», в ней приведено несколько документов, а именно французских писем Пушкина к пред-

мету его пылкого увлечения. Подлинники этих весьма интересных писем ныне принадлежат редакции «Русской старины». В статьях, принадлежащих пишущему эти строки: «Прогулка в Тригорское» (напечатаны в С.-Петербургских Ведомостях, 1866 г., №№ 139, 146, 157, 164, 168 и 176), передано, между прочим, несколько подробностей об отношениях Пушкина к Анне Петровне Керн. Печатая ныне рассказ г-жи Марковой-Виноградской (Керн), мы не позволили себе смягчить тот порывистый, полный неостывшего увлечения тон, которым проникнут весь рассказ; уже сам по себе, помимо некоторых, хотя и мелких, но небезынтересных подробностей для обрисовки русского общества двадцатых годов, самый этот тон рассказа ныне преклонных лет представительницы тогдашнего общества весьма характеристичен».

[1] Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» впервые был частично опубликован в журн. «Русский вестник», 1865—1866. Первое отдельное издание вышло в 1868—1869 годах.

[2] *Сакен* Роберт Вильгельмович (1752—1837) — фельдмаршал русской армии.

[3] *Тутолмин* Павел Васильевич (1773—1837) — полтавский губернатор.

[4] *Сухозанет* Иван Ануфриевич (1788—1861) — артиллерийский генерал, позднее — генерал-адъютант, директор военной академии.

[5] *Орлов* Алексей Федорович, гр. (1786—1862) — генерал-адъютант, принимал активное участие в подавлении восстания Семеновского полка в 1820 году и восстания декабристов; с 1844 года — шеф жандармов, с 1856 года — председатель Государственного совета.

[6] *Семейство Раевских:* генерал Николай Николаевич Раевский, герой Отечественной войны 1812 года (1771—1829), в 1815—1824 годах командовал 4-м пехотным корпусом в Киеве; его жена София Алексеевна, рожд. Константинова, внучка Ломоносова (1769—1844); дочери — Екатерина (А. П. Керн ошибочно называет ее Ниной) (1797—1885), жена декабриста генерала М. Ф. Орлова; Елена (1803—1852); Мария (1805—1863), жена декабриста кн. С. Г. Волконского, последовавшая за ним в Сибирь; София (1806—1891); сыновья — Александр (1795—1868) и Николай (1801—1843). Общение с семьей Раевских оставило заметный след в жизни и поэзии Пушкина.

[7] *Дубельт* Леонтий Васильевич (1792—1862) — генерал, впоследствии (с 1835 г.) начальник штаба корпуса жандармов и (с 1839 г.) управляющий Ш отделением.

[8] *Мертваго* Варвара Марковна, рожд. Полторацкая, — сестра отца А. П. Керн; с 1804 года была замужем за сенатором Дмитрием Борисовичем Мертваго, автором «Записок» (М., 1867).

[9] *Волконский* Петр Михайлович, кн. (1776—1852) — генерал-адъютант, министр двора.

[10] *Полторацкий* Дмитрий Маркович (1761—1818) — старший брат отца А. П. Керн; жена его — рожд. Хлебникова, Анна Петровна (1772—1842).

[11] Н. М. Карамзин был женат вторым браком на Екатерине Андреевне Колывановой (1780—1851), единокровной сестре кн. П. А. Вяземского. С лицейских лет и до конца жизни Пушкин питал к ней особую привязанность. Она была среди тех ближайших друзей поэта, с кем он пожелал проститься перед смертью.

[12] *Афросимова* (Офросимова) Анастасия Дмитриевна в конце XVIII — начале XIX века пользовалась особым весом в кругах московского и петербургского «света». Она послужила прототипом Марьи Дмитриевны Афросимовой в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»,

а еще раньше — Анфисы Ниловны Хлестовой в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

[13] *Тетка* — Прасковья Александровна Вульф-Осипова.

[14] *Мойер* Мария Андреевна, рожд. Протасова (1793—1823), — племянница В. А. Жуковского, предмет его многолетней любви и источник поэтического вдохновения. Муж ее — Мойер Иван Филиппович (1786—1858), профессор хирургии Дерптского университета. Мать ее — Протасова Екатерина Афанасьевна, рожд. Бунина (1771—1848), единокровная сестра В. А. Жуковского.

[15] *Кайсаров* Василий Сергеевич (1783—1844) — в 1805 году адъютант М. И. Кутузова, позднее — генерал, занимавший видные командные посты в русской армии.

[16] *Паулучи* Филипп Осипович, маркиз (1779—1849) — генерал-губернатор Прибалтийского края; в 1824—1826 годах осуществлял наблюдение за ссыльным Пушкиным, так как в его ведении находилась и Псковская губерния.

Из воспоминаний о моем детстве

(Стр. 103—126)

Эти последние воспоминания А. П. Керн (Марковой-Виноградской) написаны в 1870 году в Лубнах. Впервые опубликованы в 1884 году в журнале «Радуга», № 18, 19, 22, 24, 25, под названием «Сто лет назад» и в том же году в «Русском архиве», кн. 3, под названием «Из воспоминаний о моем детстве». Различия между этими двумя текстами незначительные, главным образом стилистические.

В Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР хранится рукопись этих воспоминаний (27247/CXCV650) — сшитые листы писчей бумаги большого формата, исписанные с обеих сторон (21 л.) вначале рукою самой Анны Петровны, карандашом, крайне неразборчиво, далее чернилами рукою А. В. Маркова-Виноградского, по-видимому, переписывавшего с черновиков жены. Многочисленные черновики эти также сохранились среди бумаг Марковых-Виноградских. Рукопись не имеет названия. Перед текстом стоит лишь: «Февраль 1870 г. Лубны» и эпиграф из трагедии Пушкина «Борис Годунов» — «Еще одно, последнее сказанье — и летопись окончена моя». По-видимому, это первый вариант, который потом дополнялся, а перед опубликованием редактировался (в конце публикации «Русского архива» стоит дата «19 октября 1870 г.»). Но так как мы все же располагаем подлинной рукописью, а первые публикации уже посмертные, считаем необходимым воспроизвести в нашем издании текст рукописи. Хоть он и несколько менее полон, не лишен стилистической шероховатости, круг важнейших мыслей мемуаристки, своеобразие ее стиля выявлены здесь отчетливее, непосредственнее.

Отличие его от публикаций 1884 года значительное. В рукописи встречаются фразы и абзацы, которых нет в публикациях. С другой стороны, в ней отсутствует ряд мест, содержащихся в публикации «Русского архива».

Приводим наиболее существенные из них.

После слов: «...рассказывал ей самым добродушным образом смешные про нее же анекдоты» (с. 112) — «Однажды, когда были выбраны в нижний земский суд чиновники Рева, Горобец и Барвинский, он сказал экспромт:

Рева ревне,
Горобец спорхне,

Барвинок завяне,
И суда ныжняго не стане*.

Когда генерал-губернатор князь Яков Иванович Лобанов-Ростовский ревизовал присутственные места в Лубнах, то в числе прочих чиновников представлялся ему и упомянутый Горобец в чужом дворянском мундире, едва налезшем на его жирную фигуру. Пылкий нетерпеливый князь заметил красное лицо, вылезавшее из чужого узкого мундира, и спросил: «Ты что за птица?» — «Горобец, ваше сиятельство»,— отвечал тот. Князь так рассердился за этот ответ, думая, что он дан на смех, что выгнал его из своей приемной. Насилу могли уверить князя, что несчастный действительно носит фамилию Горобец.

После ревизии князь Лобанов-Ростовский обедал у батюшки, бывшего тогда предводителем дворянства, и за столом, сравнивая дворян русских с малороссийскими, сказал. что первые похожи на собак, потому что набрасываются, подобно им, на того, на кого нападают другие; а последние на свиней, защищающих обиженного собрата. Но на кого бы мои земляки ни походили, а в детстве они мне нравились...»

После слов: «Палытыка, палытыка, а рубатыся треба!..» (с. 112) — «и действительно рубился в сражениях с такою отчаянною храбростью, что не было преград его мужеству. В 1813 году, на второй день дрезденского сражения, он бросился в атаку с своим Лубенским гусарским полком на каре Наполеоновской гвардии, ворвался в него, но, пронизанный тремя пулями, пал на руки обожавших его солдат и умер славною смертию среди разбитого неприятеля. Тело его было погребено в Кульме. Он был остер, щедр до расточительности, любил свою красавицу жену Роксандру Михайловну, рожденную Кантакузену, и был любезен с детьми и в особенности со мною».

После слов: «...книги моей матери...» (с. 113) — «тут попадались мне, по большей части, переводные английские романы; из них нравились мне особенно: Octavia, par Anna Maria Porter, Felicie et Florestine** и другие. Многого, разумеется, я не понимала, но все-таки читала».

После слов: «Всех его афер мне и не перечесть...» (с. 114) — «Очень занимал меня один его проект: это пушка в бочке, которую везла легко одна лошадь. Этим проектом он очень насмешил военных, которым поручено было произвести пробу. От первого выстрела бочка разлетелась».

После слов: «...за Марка Федоровича Полторацкого» (с. 114) — «очень красивого и доброго человека, прекрасное лицо которого теперь смотрит на меня с портрета, сделанного Боровиковским. Когда к ним в дом приехал Марко Федорович, то няня Агафоклеи Александровны вошла к ней и сказала: «Феклушка, поди — жених приехал!» Вскоре после этого была и свадьба».

После слов: «...ума было много, но чувства мало» (с. 114) — «Притом они больше склонялись к враждебным чувствам, нежели к дружелюбию, и сарказмы были их утехою... Впрочем, доброта была общею чертою всех, так же как вспыльчивость, расточительность и любовь к аферам; но можно сказать, что умышленно они не сделали никому зла».

---

* Горобец значит воробей, барвинок — синий цветок. *(Прим. А. П. Керн.)*

** «Октавия» — роман Анны-Марии Портер; «Фелиция и Флорестина» *(фр.)*.

После слов: «...где не было у них родни» (с. 115) — «и часто их переводила с места на место и меняла. При этом тотчас обнаруживалось, честно ли вели себя старосты, и беда была тому, кто ее обманывал».

После слов: «...человек находит некоторое удовлетворение в своих стремлениях» (с. 115) — «Книг они не читали, а если читали, то ничего не вычитывали. Да и теперь-то немногие следуют тому разумному и нравственному, что таится в некоторых книгах, и книги мало улучшают и развивают, хотя это их прямое назначение».

После слов: «...но я расплакалась, и его увели...» (с. 118) — «Деспотизм в особенности тяжел был для ее дочерей; но они, однако, все вышли замуж по выбору сердца, а не по ее выбору. Каждая из них показывала вид, что не только холодна к избраннику своей души, но что если выйдет за него замуж, то сделает это только в угодность матери, не надеясь на личное счастье. С ней и во многих других случаях хитрили, лицемерили и этим путем добивались желаемого. Деспотизм всегда побуждает ко лжи и развращает людей, испытывающих его гнет. Как бы то ни было, но бабушка моя со стороны отца была недюжинная особа».

После слов: «Les soirées de la chaumière» (с. 122) — «Встречая в читанном скабрезные места, мы оставались к ним безучастны, так как эти места были нам непонятны. Мы воспринимали из книг только то, что понятно сердцу, что окрыляло воображение, что согласовано было с нашею душевною чистотою, соответствовало нашей мечтательности и создавало в нашей игривой фантазии поэтические образы и представления. Грязное отскакивало от наших душ. Они всасывали в себя только светлую непорочную поэзию».

После слов: «...мы проводили время дома» (с. 122) — «В зале нашего дома являлись на рождество ряженые из дворовых и тешили нас шутовскими костюмами и комическими представлениями».

После слов: «...цыганки из их табора были нашими приятельницами...» (с. 122) — «В этой же зале делали сговоры дворовых девушек. Они сходились толпою и становились во всю длину залы с одной стороны, а с другой стояли священник, сваты и жених. За девушками в углу сидела невеста и плакала. Потом совершалось рукобитие сватов, и священник обручал жениха и невесту с молитвою. Из залы все отправлялись гурьбой в назначенную и убранную избу, куда и мы все приезжали. Нас угощали орехами и пряниками. На другой день невесту водили в баню, и опять была вечеринка в той же избе, и мы опять на ней присутствовали. Всякий из присутствовавших чесал невесте косу и клал ей на колени деньги, а она плакала под свадебные песни. После угощения мы уезжали домой. После венца молодые приходили на поклон к дедушке с пряником и полотенцами. Дедушка дарил нам принесенное, а молодых награждал деньгами. Торжество этих обрядов меня очень занимало; но мне было всегда грустно смотреть на девушку, выходившую из нашей девичьей за бородача-мужика. Браки эти совершались без всякого приневоливания, с общего согласия жениха и невесты. Этого, я думаю, не делалось нигде. Вот такими-то развлечениями перемежались изредка наши занятия, да и то только зимою. В эту пору года приезжали по временам и родные».

После слов: «...не в городах, а по деревням» (с. 123) — «Терпели много неудобств; но кто тогда не терпел их? Позднее, когда наступили осенние холода, мы сильно терпели от холода, так как у нас не было теплой одежды. Все наше имущество было отправлено в Москву тогда еще, когда батюшка только что задумал переселение в нее, и погибло там вместе с его бульоном».

После слов: «...возвращен был из бегов» (с. 123) — «...и беспрестанно спорил о чем-то в большом одушевлении с аббатом, воспитателем Ипполита Муравьева, убитого в 1825-м году в схватке, во время которой был арестован брат его Сергей*. Во время этих споров он беспрестанно отгонял Ипполита, как слишком еще юного, чтобы участвовать в них».

После слов: «Это мне было очень грустно...» (с. 124) — «не касаясь общественной его деятельности, замечу, что в его душе была теплота, и он имел неотъемлемые достоинства как семьянин. Но достоинства семьянина не всегда совпадают с достоинствами гражданина».

После слов: «...мы благополучно доехали до Лубен» (с. 125) — «Они были всё те же. Обитатели их всё так же были добродушны, хлебосольны, так же беспечно веселились, не думая ни о чем. Да и могло ли быть иначе? Могла ли произойти перемена в четыре года моего отсутствия из них, когда и теперь, через 58 лет после того, едва заметны перемены в их общественной жизни, несмотря на прогрессивное движение повсюду? Люди теперь, правда, не те, но порядки всё те же. Но я умолчу о нынешнем состоянии Лубен и поспешу окончить воспоминания о своем детстве».

После слов: «...уча меньшего брата и сестер» (с. 125) — «мечтала в рощах и за книгами, танцевала на балах, выслушивала похвалы посторонних и порицания родных...».

После слов: «...разыгрывать разные комедии детские, петь романсы» (с. 125) — «и вообще вела жизнь довольно пошлую, как и большинство провинциальных барышень».

После слов: «...в 1817 году, 8 января...» (с. 126) — «Все восхищались, многие завидовали, а я... Тут кстати замечу, что бивуак и поле битвы не такие места, на которых вырабатываются мирные семейные достоинства, и что боевая жизнь не развивает тех чувств и мыслей, какие необходимы для семейного счастья. Я знаю это из опыта...»

[1] *Вульф Иван Петрович* (...—1817) — в то время, о котором повествует А. П. Керн,— тайный советник, после кратковременного губернаторствования в Орле доживающий свой век в богатом родовом имении Берново Старицкого уезда Тверской губернии.

[2] *Вульф,* рожд. *Муравьева, Анна Федоровна* (...—1810).

[3] *Полторацкая,* рожд. Вульф, *Екатерина Ивановна* (1781—1832) — старшая дочь И. П. и А. Ф. Вульфов.

[4] *Полторацкий Петр* Маркович (1775 — после 1851) женился на Екатерине Ивановне Вульф в 1799 году. Служил по дипломатической части, но рано вышел в отставку. Большую часть жизни прожил в Лубнах Полтавской губернии, где владел несколькими деревнями и семьюстами душами крепостных крестьян, выделенных ему матерью, А. А. Полторацкой. С П. М. Полторацким был знаком Пушкин — они встречались в Петербурге и в тверских имениях Вульфов. О нем в середине ноября 1828 года Пушкин писал А. А. Дельвигу (см.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 34).

[5] *Полторацкий Марк Федорович* (1729—1795) — из мелких украинских дворян. Обладая прекрасным голосом, был замечен гетманом

* Муравьев-Апостол Ипполит Иванович (1806—1826) — младший из трех братьев-декабристов; убит 3 января 1826 г. под Белой Церковью во время боя восставшего Черниговского полка с правительственными войсками. Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796—1826) — глава восстания Черниговского полка; повешен 13 июля 1826 г. в числе пяти руководителей декабристского движения.

Украины графом К. Г. Разумовским и привезен в Петербург. Позже состоял директором придворной певческой капеллы. Вторым браком был женат на А. А. Шишковой.

[6] Полторацкая, рожд. *Шишкова, Агафоклея Александровна* (...—1822) — прославилась огромным богатством (по некоторым данным, к концу жизни она владела тринадцатью тысячами душ) и чрезвычайной жестокостью в обращении как со своими крепостными рабами, так и с детьми, которых у нее было более двадцати человек.

[7] *Вульф Николай Иванович* (1771—1813) — один из четырех сыновей И. П. и А. Ф. Вульфов. Служил в гвардии. Вышел в отставку в 1798 году в чине поручика. В 1799 году женился на Прасковье Александровне Вындомской и с тех пор жил в своем наследственном имении Малинники или в псковском имении жены Тригорском.

[8] *Вревская,* рожд. Вульф, *Евпраксия* Николаевна (1809—1883) — младшая дочь Н. И. и П. А. Вульфов. С 1831 года замужем за бароном Б. А. Вревским, товарищем Льва Пушкина по университетскому Благородному пансиону. А. С. Пушкин, познакомившись с Евпраксией Николаевной («Зиной», «Зизи», как звали ее в семье) в Тригорском, когда она была еще девочкой, сохранил с нею до конца жизни самые добрые, дружеские отношения, встречался в Петербурге, навещал в имении Вревских Голубово (20 верст от Михайловского). Е. Н. Вульф посвящены стихотворения Пушкина «Если жизнь тебя обманет», «Зине», она упоминается в романе «Евгений Онегин» и неоднократно в письмах поэта.

[9] *Муравьев-Апостол Иван Матвеевич* (1768—1851) — писатель, член Российской академии, дипломат; отец декабристов М. И., И. И., С. И. Муравьевых-Апостолов.

[10] *Муравьев Михаил Никитич* (1757—1807) — писатель, член Российской академии, товарищ министра народного просвещения и попечитель Московского университета, отец декабристов Никиты и Александра Муравьевых.

[11] *Куракин Алексей Борисович,* кн. (1759—1829) — генерал-губернатор Малороссии, позже — министр внутренних дел.

[12] *Кочубей Виктор Павлович,* гр. (1768—1834) — министр внутренних дел, позже — председатель Государственного совета и Комитета министров.

[13] *Лобанов-Ростовский* Яков Иванович, кн. (1760—1834), был генерал-губернатором Малороссии после кн. Куракина, с 1808 по 1816 год.

[14] *Мелиссино* Алексей Петрович (1761—1813) — генерал-майор, убит в сражении под Дрезденом 26 августа 1813 года.

[15] *Львов* Федор Петрович (1766—1836) — литератор, директор придворной певческой капеллы в 1826—1833 годах.

[16] *Богданович* Ипполит Федорович (1743—1803) — поэт. Его «Душенька, древняя повесть в вольных стихах» пользовалась в свое время большой популярностью.

[17] Грамматика французского языка Ломонда вышла в 1780 году и считалась лучшей.

[18] *Жанлис* Стефани-Фелисите де (1746—1830) — французская романистка и автор нравоучительных книг для детей, пользовавшаяся в начале XIX века большой популярностью в России.

[19] *Дюкре-Дюмениль* Франсуа-Гийом (1761—1819) — французский романист сентиментального направления.

[20] *Муравьев Николай Александрович* (1787—1838) — капитан 1-го ранга, сын А. Ф. Муравьева, петербургского обер-полицмейстера.

[21] *Муравьева,* рожд. Колокольцева, *Екатерина Федоровна* (1771—1848) — жена М. Н. Муравьева, мать декабристов Н. М. и А. М. Муравьевых.

[22] *Муравьев Никита* Михайлович (1796—1843) — сын М. Н. и Е. Ф. Муравьевых, один из руководителей Северного тайного общества декабристов.

[23] *Муравьев Александр* Михайлович (1802—1858) — младший брат предыдущего, декабрист.

[24] *Растопчин* Федор Васильевич, гр. (1763—1826) — генерал-губернатор Москвы в 1812 году.

[25] Вульф, по мужу Понофидина, *Анна Ивановна* (1784—1873) — сестра матери А. П. Керн. Пушкин был знаком с Понофидиными и, по преданию, бывал у них в имении Курово-Покровское, в нескольких верстах от Бернова и Малинников.

[26] *Муравьев Михаил Николаевич* (1796—1866) — впоследствии граф Муравьев-Виленский, ярый реакционер, прозванный «Вешателем».

[27] *Безобразова,* рожд. Полторацкая, Елизавета Павловна — двоюродная сестра А. П. Керн, дочь ее дяди — Павла Марковича Полторацкого.

[28] *«Две горлицы покажут...»* — строки из стихотворения Н. М. Карамзина «Доволен я судьбою...».

ДНЕВНИКИ

Дневник для отдохновения, посвященный Феодосии Полторацкой, лучшему из друзей

(Стр. 129—246)

Этот «Дневник» А. П. Керн вела летом, с 23 июня по 30 августа 1820 года, в Пскове, где Е. Ф. Керн командовал бригадой. Частями она отправляла рукопись по почте в Лубны, к тетке (двоюродной сестре отца) Феодосии Петровне Полторацкой, которой «Дневник» посвящен и в виде обращения к которой сделаны все записи. Отсюда нумерация отдельных частей (40 нумеров). Позднее все части были переплетены в одну тетрадь, содержащую 76 листов, исписанных с обеих сторон. Тетрадь эта ныне хранится в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР, в составе фонда Марковых-Виноградских (27.257/CXCV652).

Записи свои Керн вела по-французски, но нередко перемежала французский текст русскими фразами и целыми страницами. «Дневник» опубликован полностью в переводе на русский язык впервые в издании: Керн А. П. Воспоминания.— М.: Academia, 1929. С. 73—241; затем: А. П. Керн. Воспоминания. Дневники. Переписка.— М.: Худож. лит., 1974, в новом, дополненном и исправленном переводе А. Л. Андрес, откуда и перепечатывается.

Все написанное А. П. Керн по-русски выделено курсивом.

Не сохранилась часть выписок, которые были сделаны Керн на отдельных листах.

[1] *«Язык цветов»* — условный язык, использующий названия цветов с определенным значением для выражения чувств. Был распространен среди дворянской молодежи тех лет и позже. А. П. Керн в своем дневнике прибегает к нему довольно часто. Так, Шиповником, а затем Иммортелем она называет предмет своей романтической любви — молодого офицера, с которым познакомилась в Лубнах, Желтой Настурцией — дружески расположенного к ней офицера Кира Ивановича.

[2] *Кир Иванович* — офицер, знакомый А. П. Керн еще по Лубнам, однополчанин и приятель «Иммортеля».

[3] Особа, о которой идет речь, вероятно, женщина, привезенная из Лубен для ухода за ребенком.

[4] *«Трумф,* или Подщипа» — комедия И. А. Крылова (1800), сатира на павловское царствование. Широко распространялась в списках.

[5] *«Мой друг-хранитель...»* — из стихотворения В. А. Жуковского «Песня» (1808), переложение стихотворения того же названия французского поэта Фабра д'Эглантина (1750—1794).

[6] *Лаптев* Василий Данилович (1760—1825) — генерал, командир дивизии. Другие генералы, неоднократно упоминаемые Керн: *Гильфрейхт* Богдан Борисович (1773—1843), *Ротт* Логин Осипович (1780—1851).

[7] *Магденко* — полковник, служивший с Керном в Лубнах и Пскове.

[8] *Поль* — маленький брат А. П. Керн.

[9] *Коцебу* Август Фридрих (1761—1819) — немецкий драматург и романист. Произведения его в большом количестве переводились на русский язык и пользовались широкой известностью. Реакционный политический деятель, Коцебу был убит студентом Зандом.

[10] Псковским губернатором в 1820 году был Б. А. Адеркас. В 1824—1826 годах с ним приходилось иметь дело ссыльному Пушкину.

[11] Вероятно, Анна Петровна ранее ездила из Пскова в Лубны.

[12] *Фонтенель* Бернар (1657—1757) — французский писатель.

[13] *Катенька* — дочь А. П. Керн, Екатерина Ермолаевна.

[14] *Керн П.* — племянник Е. Ф. Керна.

[15] *Беннигсен* — графиня, жена гр. Л. Л. Беннигсена (1745—1826), начальника штаба русской армии в 1812 году.

[16] *Пьенн де* — французская писательница. Ее роман «Два друга» вышел в 1810 году.

[17] *Сталь* Анна-Луиза-Жермена де (1766—1817) — французская писательница и публицистка. Ее книга «О Германии» («De l'Allemagne») вышла в 1810 году.

[18] Резиденцией псковского архиерея был Снетогорский монастырь на берегу Великой, в трех верстах от города.

[19] *Поль* — здесь, вероятно, имя того офицера, которого А. П. Керн обычно называет Иммортелем.

[20] «Je t'aime tant...» — первая строка стихотворения Фабра д'Эглантина «Песня», переведенного В. А. Жуковским («Мой друг-хранитель, ангел мой...»).

[21] *Йорик* — герой «Сентиментального путешествия» и «Писем Йорика к Элизе» Л. Стерна.

[22] *Бухарина* — сестра Ф. П. Полторацкой, двоюродная сестра отца А. П. Керн.

[23] *Сосницы* — уездный город Черниговской губернии, возле которого находилась маленькая усадьба, принадлежавшая Д. П. Марковой-Виноградской, рожд. Полторацкой. Здесь в 40—50-х годах, находясь в крайне стесненных материальных обстоятельствах, вынуждены были жить А. П. и А. В. Марковы-Виноградские.

[24] *Висковатов* Степан Иванович (1786—1831) — пскович родом, поэт и драматург и одновременно агент тайной полиции, сочинивший в 1826 году донос на Пушкина. Его «Гамлет», «подражание Шекспиру в стихах», вышел в 1811 году.

[25] Дочь П. А. Вульф-Осиповой — Мария Ивановна Осипова (1820—1895).

[26] Тетушка Дарья Петровна Полторацкая, по мужу Маркова-Виноградская, — двоюродная сестра П. М. Полторацкого, мать второго мужа А. П. Керн — А. В. Маркова-Виноградского.

[27] *Сен-Пре* — герой романа Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) «Новая Элоиза».

[28] *Флешье* Эспри (1632—1710) — французский духовный оратор и писатель.

[29] *Стерн* Лоренс (1713—1768) — английский писатель, автор широко известных в России книг «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» и «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии».

[30] *«Гений христианства»* — книга Франсуа-Рене Шатобриана (1768—1848), французского писателя-романтика.

[31] *Лабрюйер* Жан-Батист (1645—1696) — французский писатель. Его «Характеры, или Нравы этого века» вышли в 1688 году.

[32] *Озеров* Владислав Александрович (1769—1816) — автор трагедий, весьма популярных в начале XIX века.

[33] *Сюар* Жан-Батист (1733—1817) — французский писатель и журналист.

[34] *Севинье* Мари (1626—1696) — французская писательница. Широкую известность приобрели ее «Письма».

Рассказ о событиях в Петербурге

(Стр. 247—266)

Этот «Дневник» А. П. Керн вела в Петербурге с 20 ноября по 18 декабря 1861 года, как значится в заглавии,— «после отъезда Цвета для сообщения ему или пересылки, если возможность представится». Так же как и в «Дневнике для отдохновения», записи здесь имеют форму писем, обращенных к определенному лицу.

Впервые «Дневник» был опубликован в 1908 году в журнале «Минувшие годы», № 10, с. 49—69, под названием «Петербург в конце 1861 г. (Дневник А. П. Марковой-Виноградской)», с вступительной заметкой публикатора Б. Л. Модзалевского и его примечанием: «Он получен нами от ее внучки — Аглаи Александровны Кулжинской, по сцене Дараган». В 1929 году перепечатан по тексту журнала в сб. «А. П. Керн. Воспоминания».

В Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР хранится подлинная рукопись «Дневника» (14. 333/IXXX б. 63, фонд Марковых-Виноградских), представляющая собою две тетради, сшитые из сложенных пополам листов писчей бумаги, объемом 18 и 11 листов.

Сличение рукописи с публикацией 1908 года показало, что текст «Дневника» сильно пострадал при опубликовании от вмешательства цензуры — вычеркнуты все наиболее резкие места, относящиеся к Александру II и его правительству.

Впервые полностью «Дневник» был опубликован в издании: А. П. Керн. Воспоминания. Дневники. Переписка: М., 1974., откуда и перепечатывается.

События в Петербурге, о которых рассказывает А. П. Керн,— студенческие волнения осенью 1861 года — были одним из ярких проявлений общественного подъема 60-х годов.

Непосредственным поводом к началу волнений послужило введение властями новых правил для студентов Петербургского университета. Согласно этим правилам, запрещались студенческие сходки, отменялось бесплатное обучение для «недостаточных» студентов и вольнослушателей, заведование студенческими учреждениями — библиотекой, кассой и другими — изымалось из рук выборных представителей студенчества и проч.

Университетские лекции в 1861 году начинались 18 сентября. На многолюдной студенческой сходке 23 сентября (чтобы провести ее, студенты силой ворвались в запертый актовый зал) было принято решение не подчиняться новым правилам и не брать вновь вводимых матрикулов, в которых они были напечатаны. Профессор А. В. Ни-

китенко писал в своем «Дневнике»: «В университете продолжаются беспорядки. Запрещены сходки, но они, вопреки запрещению, собираются. Студенты шумят и требуют отмены всяких ограничений. Они, как и крестьяне в некоторых губерниях, кричат: «Воля, воля!», не отдавая себе ни малейшего отчета в том, о какой воле вопиют» (А. В. Никитенко. Дневник. Т. 2. ГИХЛ, 1955. С. 211).

Правительство временно закрыло университет. Но студенческие выступления продолжались. 25 сентября несколько сот студентов, к которым присоединилось много не имеющей отношения к университету молодежи, двинулись по Невскому проспекту и Владимирской улице в Колокольную, где жил попечитель Петербургского учебного округа Г. И. Филипсон. Там их ждали жандармы и полицейские. Власти прибегли к аресту «зачинщиков». Рассчитывая, что этой мерой удалось запугать студентов, правительство распорядилось 11 октября возобновить занятия. Однако 12 октября вокруг университета собралась большая толпа. Собравшиеся требовали освободить арестованных товарищей и отменить новые правила. Некоторые из студентов, кто под угрозой исключения из университета взял матрикулы, теперь демонстративно рвали их и переходили на сторону непокорных. Для усмирения волнений были вызваны полицейские и рота Преображенского полка. Было арестовано около 300 человек. Сперва их поместили в Петропавловскую крепость, а затем 240 студентов перевели в Кронштадт. Царь, находившийся в это время в Ливадии, отдавал по телеграфу распоряжения петербургскому генерал-губернатору и министру народного просвещения и поторопился вернуться в столицу. 4 декабря состоялось «высочайшее повеление» по делу арестованных (см. прим. 29). 20 декабря Петербургский университет был закрыт «впредь до пересмотра университетского устава».

Студенческие волнения осени 1861 года привлекли к себе внимание широких общественных кругов. Либерально настроенная интеллигенция осуждала репрессивные меры правительства.

О петербургских студенческих волнениях 1861 года см.: М. Лемке. Политические процессы в России 1860-х гг. М.—П., 1923; С. Я. Гессен. Петербургский университет осенью 1861 года (по неопубликованным материалам архива А. В. Никитенко) в сб. «Революционное движение 1860-х годов». М., 1932. С. 9—21; Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М.—П., ГИЗ. 1923; «История Ленинградского университета. 1819—1969». Л., 1969. С. 69—72.

Адресат дневника-писем А. П. Керн (Марковой-Виноградской) о событиях в Петербурге осенью 1861 года, Семен Николаевич Цвет, принадлежал к тому кругу лиц, с которым Анна Петровна и ее второй муж, А. В. Марков-Виноградский, сближаются, когда переезжают в Петербург в середине 1850-х годов. Центральной фигурой этого дружеского сообщества являлся Николай Николаевич Тютчев — либерально настроенный литератор и чиновник, в молодости один из видных членов кружка Белинского, сотрудник «Отечественных записок», сохранивший в последующие годы дружеские отношения с И. С. Тургеневым, П. В. Анненковым, В. П. Боткиным. С. Н. Цвет был родственником Н. Н. Тютчева. В 1861 году он в качестве секретаря экспедиции принимал участие в плавании трех русских корветов под начальством адмирала А. А. Попова. За «либеральные речи» и протесты против телесных наказаний С. Н. Цвет был высажен в Англии и возвратился в Петербург.

[1] *Саша* — Александр Александрович, сын А. П. и А. В. Марковых-Виноградских.

[2] *Гулевич* Михаил Семенович (...— 1874) — вольнослушатель Петербургского университета, домашний учитель Марковых-Виноград-

ских, позднее — член революционной организации «Земля и воля». Умер в эмиграции.

[3] *Игнатьев* Николай Павлович (1797—1879) — генерал-адъютант, с.-петербургский генерал-губернатор, впоследствии граф.

[4] *Толстой* Илларион Николаевич (1832—1904) — штабс-капитан Преображенского полка, или его брат Михаил Николаевич (1829—1875), капитан того же полка. Ни тот, ни другой не имели графского титула.

[5] *Марков-Виноградский* Александр Васильевич — муж А. П. Керн.

[6] *Измайлов* Павел Афанасьевич — чиновник, впоследствии помощник статс-секретаря Государственного совета. Был женат на Татьяне Петровне Дальгейм. Ее брат — участник студенческих волнений, барон Юлий Петрович Дальгейм.

[7] *Пинкорнелли* Иван Федорович — штабс-капитан, плац-адъютант Санкт-Петербургской крепости.

[8] *Даневская* София Христиановна — приятельница Марковых-Виноградских, жена известного юриста Пия Никодимовича Даневского (1820—1892).

[9] *Додт* де Констанция Петровна — сестра Александры Петровны Тютчевой (рожд. де Додт), жены Н. Н. Тютчева.

[10] *Путятин* Ефим Васильевич, гр. (1803—1883) — адмирал, министр народного просвещения с 20 июня по 25 декабря 1861 года, когда на его место был назначен Головнин Александр Васильевич (1821—1886).

[11] В знак протеста против правительственных репрессий подали в отставку профессора К. Д. Кавелин, М. М. Стасюлевич, А. Н. Пыпин, Б. И. Утин и В. Д. Спасович.

[12] *Суворов* Александр Аркадьевич, гр. (1804—1882), был назначен с.-петербургским военным губернатором в октябре 1861 года.

[13] *Муравьев* Михаил Николаевич — в это время председатель департамента уделов. См. о нем с. 446.

[14] *Стейнбок* Юлий Иванович, гр. (...—1879) — камергер, помощник председателя департамента уделов, впоследствии председатель.

[15] *Адлерберг* Владимир Федорович, гр. (1790—1884) — министр двора.

[16] *Телесницкий* Алексей Владимирович — чиновник департамента уделов.

[17] *Герштенцвейг* Александр Данилович (1818—1861) — генерал-адъютант, варшавский военный генерал-губернатор; умер в Варшаве 24 октября 1861 года; тело для погребения было привезено в Петербург.

[18] *Шварц* Алексей Николаевич — секретарь канцелярии председателя департамента уделов.

[19] *Додт* де Александра Бальтазаровна (...—1874) — мать А. П. Тютчевой.

[20] *Ковалевский* Евграф Петрович (1792—1867) был министром народного просвещения с 23 марта 1858 года по 20 июня 1861 года, когда на эту должность был назначен Е. В. Путятин.

[21] *Строганов* Сергей Григорьевич, гр. (1794—1882) — генерал-адъютант, член Государственного совета, участник наиболее реакционных мероприятий царского правительства.

[22] *Зеленый* Александр Алексеевич (1819—1880) — управляющий министерством государственных имуществ.

[23] *Тютчев* Сергей Николаевич — брат Н. Н. Тютчева.

[24] *Ржевский* Владимир Константинович (...—1885) — публицист, деятельный сотрудник реакционного журнала «Русский вестник», издававшегося М. Н. Катковым.

[25] *Анненкова,* рожд. Бухарина, Вера Ивановна (1812—1902) — родственница А. П. и А. В. Марковых-Виноградских, жена генерала Н. Н. Анненкова (1799—1856).

[26] *Колбасин* Елисей Яковлевич (1831—1885) — беллетрист, приятель И. С. Тургенева, автор книги «Литературные деятели прежнего времени» (1859).

[27] *Паткуль* Александр Владимирович (1817—1877) — генерал-майор, с.-петербургский обер-полицмейстер в 1860—1862 годах.

[28] В рассказе извозчика речь идет об известной революционной прокламации «К молодому поколению». Прокламация была написана Н. В. Шелгуновым и отпечатана в типографии Герцена в Лондоне. Рукопись привез в Лондон писатель М. И. Михайлов, популярный в то время романист, поэт, переводчик и публицист, сотрудник некрасовского «Современника». Он же тайно доставил прокламацию из-за границы в Петербург. В сентябре 1861 года прокламация распространялась в столице. Ее читали на сходках студенты университета. Как видно из документов III отделения, прокламация была разослана разным лицам и в казармы офицерам по городской почте, а также подброшена на лестницах и дворах домов. В прокламации, в частности, говорилось: «Если бы для осуществления наших стремлений пришлось бы вырезать сто тысяч помещиков, мы не испугались бы и этого».

[29] За участие в «беспорядках» по высочайшему повелению, отданному 4 декабря 1861 года, пять студентов — Евгений Михаэлис, Константин Ген, Адольф Герике, Александр Френкель и Марк Новоселицкий — были высланы в уездные города отдаленных губерний под надзор полиции, но с дозволением поступить на службу. 32 студента IV курса были исключены с отдачею на поруки родственникам и с разрешением поступить на службу по городам, где пожелают, а если не найдется поручителей — с высылкою в города Вятской, Вологодской и Олонецкой губерний. 192 студента I, II и III курсов были прощены, но со строгим внушением и дозволением в двухнедельный срок или поступить в университет, приняв матрикулы, или выехать на родину, или остаться в Петербурге под надзором полиции.

[30] *Долгорукова* Александра Сергеевна — дочь кн. С. А. Долгорукова, в семье которого А. В. Марков-Виноградский давал уроки.

[31] *Абдеристское решение* — нелепое, дурацкое решение.

[32] *Андреевский* Иван Ефимович (1831—1891) — либеральный профессор Петербургского университета, юрист.

[33] *Бакунин* Михаил Александрович (1814—1876) приходился дальним родственником А. П. и А. В. Марковым-Виноградским. Они живали в тверском имении Бакуниных Прямухине, вели переписку со многими членами семьи. М. А. Бакунин с 1851 по 1854 год содержался в Петропавловской крепости, с 1854 по 1857 год — в Шлиссельбургской, затем был сослан на поселение в Сибирь и жил в Иркутске; оттуда он бежал в Америку — в декабре 1861 года находился в Нью-Йорке (а не в Лондоне).

[34] *Михайлов М. И.,* арестованный по доносу, принял на себя всю вину за составление и распространение прокламаций «К молодому поколению». Он был осужден сенатом на двенадцать лет каторжных работ, которые царь заменил шестью годами. 14 декабря 1861 года на Сытном рынке был объявлен приговор Михайлову. Боясь антиправительственных демонстраций, власти объявили о «гражданской казни» Михайлова уже после ее совершения. М. И. Михайлов умер в Забайкалье в 1865 году.

ПЕРЕПИСКА

Письма А. П. Керн к Пушкину и Пушкина к А. П. Керн (С. 269—284)

Печатаются по изданию: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13, 15, 16. М.: АН СССР, 1937, 1948, 1949.

Автографы в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР в Ленинграде. Фонд 244 (Пушкин).

А. Г. Родзянко и А. П. Керн — Пушкину. 10 мая 1825 года из г. Лубны в Михайловское — т. 13, с. 170—171.

Ответ на письмо Пушкина от 8 декабря 1824 года из Михайловского.

О Родзянко, его отношениях с Пушкиным и Керн см. на с. 430 настоящего издания.

[1] *Амадис* — герой испанского рыцарского романа.

[2] *Оберон* — персонаж комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь», царь фей и эльфов.

Пушкин — А. П. Керн. 25 июля 1825 года из Михайловского в Ригу — т. 13, с. 192—193 и 539 (перевод с французского).

Пушкин — А. П. Керн. 13 и 14 августа 1825 года из Михайловского в Ригу — т. 13, с. 207—208 и 543—544 (перевод с французского).

[1] *Нетти* — Анна Ивановна Вульф, по мужу Трувеллер, двоюродная сестра А. П. Керн, дочь ее дяди по матери Ивана Ивановича Вульфа. Жила в Бернове и Петербурге, откуда приезжала гостить в Тригорское к тетке П. А. Вульф-Осиповой и двоюродной сестре Ан. Н. Вульф. Там познакомилась с Пушкиным; была с ним в переписке; Пушкин посвятил ей шуточное стихотворение «За Netty сердцем я летаю...». В 1835 году умерла от родов.

[2] *Кузина* — Анна Николаевна Вульф.

[3] *Кузен* — Алексей Николаевич Вульф.

Пушкин — А. П. Керн. 21(?) августа 1825 года из Михайловского в Ригу — т. 13, с. 212—213 и 545—546 (перевод с французского).

Пушкин — А. П. Керн. 28 августа 1825 года из Михайловского в Ригу. Приложенное письмо якобы «тетушке» — П. А. Вульф-Осиповой фактически предназначалось также А. П. Керн — т. 13, с. 213—216 и 546—547 (перевод с французского).

[1] *Северная Нетти* — А. П. Керн.

Пушкин — А. П. Керн. 22 сентября 1825 года из Михайловского в Ригу — т. 13, с. 228—229 и 549—550 (перевод с французского).

Пушкин и Анна Н. Вульф — А. П. Керн. 8 декабря 1825 года из Тригорского в Ригу — т. 13, с. 249—250 и 550—554 (перевод с французского).

[1] Издание сочинений Байрона в переводах на французский язык, 4-е (1822—1825) или 5-е (1822).

[2] *Гюльнара и Леила* — героини поэм Байрона «Корсар» и «Гяур».

[3] Смерть Александра I.

Анна Н. Вульф и А. П. Керн — Пушкину. 16 сентября 1826 года из Петербурга — т. 13, с. 296—297 и 560 (перевод с французского).

[1] Пушкин был увезен из Михайловского в Москву присланным за ним фельдъегерем 4 сентября 1826 года.

[2] Под *богдыханом* А. Н. Вульф подразумевает Николая I, находившегося в Москве по случаю коронации. Там 8 сентября произошла его встреча с Пушкиным.

Алексей Н. Вульф, Анна Н. Вульф и Пушкин — А. П. Керн. 1 сентября 1827 года из Тригорского в Петербург — т. 13, с. 342—343.

[1] Вид Тригорского, рисованный Пушкиным, до нас не дошел.

Пушкин — А. П. Керн. Май 1833 — март 1836 года в Петербурге — т. 15, с. 114 и 323 (перевод с французского), как адресованное предположительно А. П. Малиновской.

В издании «Пушкин. Письма последних лет, 1834—1837» (Л.: Наука, 1969. С. 130) напечатано как адресованное предположительно А. П. Керн. Однако в комментарии убедительно доказано, что адресат этого небольшого письма — именно А. П. Керн. Доводы, приводимые комментатором, могут быть еще дополнены тем фактом, что среди бумаг А. П. Керн, хранящихся в Пушкинском доме АН СССР, имеются две записки к ней Н. Ф. Арендта, свидетельствующие об их близком знакомстве в 30-е годы. Об этом свидетельствуют и публикуемые в настоящем издании письма к А. П. Керн Н. О. Пушкиной. Попытки искать каких-то иных адресатов (Временник Пушкинской комиссии. 1983. С. 138—140) лишены всяких оснований.

[1] *Арендт* Николай Федорович (1785—1859) — известный врач-хирург, лейб-медик Николая I; лечил Пушкина после дуэли, 27—29 января 1837 года.

[2] *Бабушка и дедушка* — Н. О. и С. Л. Пушкины.

Е. М. Хитрово и Пушкин — А. П. Керн. 1830-е годы. Петербург.

Три записки Е. М. Хитрово и Пушкина к А. П. Керн были включены ею в воспоминания о Дельвиге и Пушкине и впервые напечатаны в 1907 году в сб. «Пушкин и его современники», вып. V. Мы печатаем их по академическому Полному собранию сочинений Пушкина, т. 16, с. 208 и 403—404 (перевод с французского).

Записки связаны с хлопотами (не давшими положительных результатов) Е. М. Хитрово и Пушкина о возвращении А. П. Керн имения, проданного ее отцом, П. М. Полторацким, графу Шереметеву. Хлопоты эти относятся к середине 1830-х годов (после смерти в 1832 г. матери Анны Петровны — Е. И. Полторацкой). Сами записки не датированы.

К этим трем запискам здесь присоединены еще две, написанные самой Е. М. Хитрово, но относящиеся к тому же времени и посвященные той же теме. С текста этих записок, приведенного А. П. Керн в ее воспоминаниях (см. с. 85—86 настоящего издания), сделан новый перевод А. Л. Андрес.

Дочь Е. М. Хитрово, о которой идет речь,— Дарья Федоровна Фикельмон; *малютка* — внучка Е. М. Хитрово, дочь Д. Ф. Фикельмон.

Письма Н. О. и С. Л. Пушкиных к А. П. Керн

(стр. 285—295)

Печатаются по рукописям, хранящимся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР (ф. 244, оп. 20, ед. хр. 48 и 21).

Оригиналы по-французски. Перевод выполнен А. Л. Андрес.

Н. О. Пушкина — А. П. Керн. 16 августа 1827. С.-Петербург.

[1] *Леон* — Лев Сергеевич, в это время юнкер Нижегородского драгунского полка, принимавшего участие в военных действиях на Кавказе.

[2] *Ольга* — Ольга Сергеевна.

Н. О. Пушкина — А. П. Керн. 22 августа 1827 [Ревель].

[1] *Базен* — см. примечание 15 к Воспоминаниям о Пушкине, Дельвиге и Глинке, стр. 437.

[2] *Баронесса* — С. М. Дельвиг.

[3] *Netty* — Вульф, Анна Ивановна. О ней см. в Переписке Пушкина с Керн, стр. 452.

[4] *Фурман* Надежда Осиповна часто упоминает в письмах как «кузину».

Н. О. Пушкина — А. П. Керн. Без даты [Петербург]. Может быть датировано 1827—1829 гг. на основании упоминания письма от Льва Сергеевича.

[1] *Вашего ребенка* — имеется в виду третья дочь А. П. Керн — Ольга.

Н. О. Пушкина — А. П. Керн. Без даты [Петербург].

Может быть ориентировочно датировано 1827—1829 гг.

Н. О. Пушкина — А. П. Керн. Без даты [Петербург].

Может быть датировано концом 1829—1830 гг. на основании упоминания Льва Сергеевича, бывшего в это время в Петербурге.

[1] *Тетушка* — П. А. Осипова (приезжая в Петербург, она останавливалась у А. П. Керн).

[2] *Бегичева* — Екатерина Николаевна, урожд. Вындомская, двоюродная сестра П. А. Осиповой. С нею был знаком А. С. Пушкин.

Н. О. Пушкина — А. П. Керн. 16 сентября 1835 [Павловск].

[1] *С моей дочерью и ее ребенком* — речь идет об Ольге Сергеевне и ее сыне Льве Павлищеве.

[2] *Барон Сердобин* — Михаил Николаевич, брат по отцу Б. А. Вревского. С ним был знаком А. С. Пушкин.

С. Л. Пушкин — А. П. Керн. 21 августа 1838 г. Михайловское.

С. Л. Пушкин — А. П. Керн. 25 июня 1845. С.-Петербург.

[1] *Дочь ваша* — Екатерина Ермолаевна Керн (по мужу Шокальская).

С. Л. Пушкин — А. П. Керн. 21 сентября [1845].

[1] *Оленька* — Ольга Сергеевна; ее дети Лев и Надежда Павлищевы.

[2] *Граф Шереметев* — Дмитрий Николаевич или Николай Алексеевич.

На письме есть пометка А. В. Маркова-Виноградского: «Волочился за моей женой и дарил ей копеечные духи — скуп был... Впоследствии он влюбился в дочь ее, вышедшую потом за Шокальского».

С. Л. Пушкин — А. П. Керн. 25 декабря [1845].

С. Л. Пушкин — А. П. Керн. 5 июня 1846. С.-Петербург.

[1] *Евпраксия Николаевна* и *Борис Александрович* — Вревские.

[2] *Шениги* — родственники Вульфов, помещики с. Духово Островского уезда Псковской губернии.

Анненкова, внучка Федора Марковича — Вера Ивановна. О ней в Комментарии к «Рассказу о событиях в Петербурге», стр. 451.

С. Л. Пушкин — А. П. Керн. 8 марта 1847. С.-Петербург.

Письма А. А. и С. М. Дельвиг к А. П. Керн

(Стр. 296—297)

Печатаются по рукописям, хранящимся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР (ф. 93, оп. 4, № 22 и 23, собрание П. Я. Дашкова). Ранее не публиковались. Письма не датированы, но по содержанию могут быть безошибочно отнесены к 1829—1830 годам.

А. А. Дельвиг пишет по-русски; С. М. Дельвиг и О. М. Сомов — по-французски (перевела А. Л. Андрес).

А. А. Дельвиг и С. М. Дельвиг — А. П. Керн. 1829—1830 годы. Петербург.

Это письмо Дельвига А. П. Керн частично приводит в своих воспоминаниях.

[1] Здесь, как и в приписке С. М. Дельвиг, идет речь о какой-то очередной «спекуляции» П. М. Полторацкого, в которую он пытался вовлечь и дочь.

[2] Дельвиг боялся отпустить жену к Анне Петровне, маленькая дочь которой Ольга была больна коклюшем, так как София Михайловна в это время ждала ребенка (дочь Елизавета родилась 7 мая 1830 г.).

[3] О каком переводе Керн идет речь, неизвестно.

[4] *Дети* — младшие братья А. А. Дельвига, жившие у него,— Александр и Иван.

С. М. Дельвиг и О. М. Сомов — А. П. Керн. 1829—1830 годы. Петербург.

[1] *Максимович* Михаил Александрович (1804—1873) — этнограф, историк и литератор, профессор сначала Московского университета, затем, с 1834 года,— Киевского. Издавал сборники народных украинских песен и альманах «Денница».

Письма А. П. Керн к А. В. Никитенко и А. В. Никитенко к А. П. Керн

(Стр. 298—302)

Рукописи, хранятся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР.

А. П. Керн — А. В. Никитенко. 24 июня 1827 года. Петербург. Фонд А. В. Никитенко (18549/CXXII б. 6).

[1] *Отрывки ваши* — отрывки из романа «Леон, или Идеализм», над которым Никитенко в это время работал (позднее печатались в альманахах «Северные цветы», «Невский альманах» и др.; закончен роман не был).

[2] *Мои листки* — дневниковые записи (возможно, из «Дневника для отдохновения», 1820), которые Керн давала читать Никитенко.

А. В. Никитенко — А. П. Керн. 27 июня 1827 года. Петербург.

В Рукописном отделе Пушкинского дома в двух автографах. Первый не имеет конца, не датирован, с большим количеством помарок (ф. 93, оп. 4, № 24. Собрание П. Я. Дашкова). Впервые опубликован в сб. «Литературные портфели». 1. «Время Пушкина». Труды Пушкинского дома.— «Атеней», П., 1923, с. 90—94. Второй — законченный, без помарок, датирован 27 июня 1827 года (18356/CXXI б. 1). Судя по характеру автографов, можно предположить, что ни один из них не был отправлен адресату, что первый — черновой текст, а второй — авторская копия, оставленная Никитенко у себя. Отправлен же был какой-то третий, не дошедший до нас беловой автограф. Так как копия законченная, беловая, датированная, мы воспроизводим в настоящем издании именно этот текст. Отличия его от первого чернового небольшие, главным образом стилистические. В нем отсутствует фраза: «Вот с каким намерением начал я писать мое сочинение и с каким буду продолжать его не спеша, но зрело обдумывая и наблюдая вещи и людей» (после слов: «какое-нибудь из сердец, им увлекаемых»); иначе читается фраза после слов: «он составляет для нее целый мир» — «Но Гектор не может быть таким: ибо Троя бедствует и Ахилл не дремлет».

[1] Все, что говорится в письме о Ж.-Ж. Руссо и о героях романа «Новая Элоиза», относится к какому-то разговору Никитенко с А. П. Керн, так как в ее письме на эту тему нет ничего.

Приводим страницы «Дневника» А. В. Никитенко, тогда еще 23-летнего студента Петербургского университета, о его встречах с А. П. Керн у генеральши Серафимы Ивановны Штерич, где давал уроки ее сыну. А. П. Керн снимала квартиру в доме Штерич на Фонтанке (ранее принадлежавшем Олениным). Отсюда она переехала в тот дом, где жили Дельвиги, на Загородном проспекте.

Несомненный интерес представляет данное Никитенко описание внешности Пушкина, с которым он встретился у А. П. Керн.

Сестра А. П. Керн — Елизавета Петровна, жившая в это время вместе с нею.

Печатается по изданию: А. В. Никитенко. Дневник в 3-х томах, т. 1, 1826—1857. Гослитиздат, 1955, С. 46—51, 57. (Серия литературных мемуаров.) Дата «26-е июня», по-видимому, указана ошибочно — должно быть 28-е.

«1827. Май 23. Несколько дней тому назад г-жа Штерич праздновала свои именины. У ней было много гостей и в том числе новое лицо, которое, должен сознаться, произвело на меня довольно сильное впечатление. Когда я вечером спустился в гостиную, оно мгновенно приковало к себе мое внимание. То было лицо молодой женщины поразительной красоты. Но меня всего больше привлекала в ней трогательная томность в выражении глаз, улыбки, в звуках голоса.

Молодая женщина эта — генеральша Анна Петровна Керн, рожденная Полторацкая. Отец ее, малороссийский помещик, вообразил себе, что для счастья его дочери необходим муж генерал. За нее сватались достойные женихи, но им всем отказывали в ожидании генерала. Последний, наконец, явился. Ему было за пятьдесят лет. Густые эполеты составляли его единственное право на звание человека. Прекрасная и к тому же чуткая, чувствительная Анета была принесена в жертву этим эполетам. С тех пор жизнь ее сделалась сплетением жестоких горестей. Муж ее был не только груб и вполне недоступен смягчающему влиянию ее красоты и ума, но еще до крайности ревнив. Злой и необузданный, он истощил над ней все роды оскорблений. Он ревновал ее даже к отцу. Восемь лет промаялась молодая

женщина в таких тисках, наконец потеряла терпение, стала требовать разлуки и в заключение добилась своего. С тех пор она живет в Петербурге очень уединенно. У нее дочь, которая воспитывается в Смольном монастыре.

В день именин г-жи Штерич мне пришлось сидеть около нее за ужином. Разговор наш начался с незначительных фраз, но быстро перешел в интимный, задушевный тон. Часа два времени пролетели как один миг. Г-жа Керн имеет квартиру в доме Серафимы Ивановны Штерич, и обе женщины потому чуть не каждый день видятся. И я после именинного вечера уже не раз встречался с ней. Она всякий раз все больше и больше привлекает меня не только красотой и прелестью обращения, но еще и лестным вниманием, какое мне оказывает.

Сегодня я целый вечер провел с ней у г-жи Штерич. Мы говорили о литературе, о чувствах, о жизни, о свете. Мы на несколько минут остались одни, и она просила меня посещать ее.

— Я не могу оставаться в неопределенных отношениях с людьми, с которыми меня сталкивает судьба,— сказала она при этом.— Я или совершенно холодна к ним, или привязываюсь к ним всеми силами сердца и на всю жизнь.

Значение этих слов еще усиливалось тоном, каким они были произнесены, и взглядом, который их сопровождал.

Я вернулся к себе в комнату отуманенный и как бы в состоянии легкого опьянения.

24. Вот самый короткий роман, следовательно, и лучший. Вечером я зашел в гостиную Серафимы Ивановны, зная, что застану там г-жу Керн... Вхожу. На меня смотрят очень холодно. Вчерашнего как будто и не бывало. Анна Петровна находилась в упоении радости от приезда поэта А. С. Пушкина, с которым она давно в дружеской связи. Накануне она целый день провела с ним у его отца и не находит слов для выражения своего восхищения. На мою долю выпало всего два-три ледяных комплимента, и то чисто литературных. Старая дружба должна предпочитаться новой — это верно. Тем не менее я скоро удалился в свою комнату. Даю себе слово больше не думать о красавице.

26. Я вышел к себе на балкон. Она из окна пригласила меня к себе. Часа три быстро пролетели в оживленной беседе. Сначала я был сдержан, но она скоро меня расшевелила и опять внушила к себе доверие. Нельзя же в самом деле говорить так трогательно, нежно, с таким выражением в глазах — и ничего не чувствовать. Я совсем забыл о Пушкине в это время. Она говорила, что понимает меня, что желает участвовать в моих литературных трудах, что она любит уединение, что постоянна в своих чувствах, что ее понятия почти во всем сходны с моими... Наконец просила меня дня на три приехать в Павловск, когда она там будет.

После 24-го я держал сердце на привязи и решился больше не видаться с ней, но она сама позвала меня к себе...

29. Сегодня я хотел идти к ней, подошел почти к самым дверям ее и вернулся назад...

Июнь 1. Начался для меня дурно. Я болен...

8. Мне гораздо лучше. Доктор позволил уже выходить... Г-жа Керн переехала отсюда на другую квартиру. Я порешил не быть у нее, пока случай не сведет нас опять. Но сегодня уже я получил от нее записку с приглашением сопровождать ее в Павловск. Я пошел к ней: о Павловске больше и речи не было. Я просидел у ней до десяти часов вечера. Когда я уже прощался с ней, пришел поэт Пушкин. Это человек небольшого роста, на первый взгляд не представляющий из себя ничего особенного. Если смотреть на его лицо, начи-

ная с подбородка, то тщетно будешь искать в нем до самых глаз выражения поэтического дара. Но глаза непременно остановят вас: в них вы увидите лучи того огня, которым согреты его стихи — прекрасные, как букет свежих весенних роз, звучные, полные силы и чувства. Об обращении его и разговоре не могу сказать, потому что я скоро ушел.

12. Сегодня мы с Анной Петровной Керн обменялись письмами. Предлогом были книги, которые я обещался доставить ей. Ответ ее умный, тонкий, но неуловимый. Вечером я получил от нее вторую записку: она просила меня принести ей мои кое-какие отрывки и вместе с нею прочитать их. Я не пошел к ней за недостатком времени.

22. Сегодня г-жа Керн прислала мне часть записок своей жизни, для того чтобы я принял их за сюжет романа, который она меня подстрекает продолжать. В этих записках она придает себе характер, который, мне кажется, составила из всего, что почерпнуло ее воображение из читанного ею. В самом деле, люди, одаренные пламенным воображением, но без сильного рассудка и твердой воли, напрасно думают, что они сотворены с таким-то сердцем или такими-то наклонностями: я полагаю, что при лучшем воспитании то и другое было бы у них лучше. Мечтательность, неопределенность и сбивчивость понятий считаются ныне как бы достоинствами, и люди с благородными наклонностями, но увлекаемые духом времени, располагают свое поведение по примеру героев нынешней романтической поэзии. Не знаю, пересилит ли философия сию болезнь века. Но я в самом деле желал бы написать философский роман и в нем указать какое-нибудь простое, но действительное лекарство против оной. Мы заблудились в массе сложных идей. Надо обратиться к простоте. Надо заставить себя мыслить: это единственный способ сбить мечтательность и неопределенность понятий, в которых ныне видят что-то высокое, что-то прекрасное, но в которых на самом деле нет ничего, кроме треска и дыма разгоряченного воображения.

23. Вечером читал отрывки своего романа г-же Керн. Она смотрит на все исключительно с точки зрения своего собственного положения, и потому сомневаюсь, чтобы ей понравилось что-нибудь, в чем она не видит самое себя. Она просила меня оставить у нее мои листки.

Не знаю, долго ли я уживусь в дружбе с этой женщиной. Она удивительно неровна в обращении, и, кроме того, малейшее противоречие, которое она встречает в чувствах других со своими, мгновенно отталкивает ее от них. Это уж слишком переутонченно.

Вчера, говоря с ней о человеческом сердце, я сказал:

— Никогда не положусь я на него, если с ним не соединена сила характера. Сердце человеческое само по себе беспрестанно волнуется, как кровь, его движущая: оно непостоянно и изменчиво.

— О, как вы недоверчивы,— возразила она,— я не люблю этого. В доверии к людям все мое наслаждение. Нет, нет! Это нехорошо!

Слова сии были сказаны таким тоном, как будто я потерял всякое право на ее уважение.

— Вы не так меня поняли,— в свою очередь, с неудовольствием отвечал я,— кто всегда боится быть обманутым, тот заслуживает быть обманутым. Но если ваше сердце находит свое счастье только в сердцах других, то благоразумие требует не доверять счастью земному, а величие души предписывает не обольщаться им.

После этого мы дружелюбно окончили вечер.

24. Я не ошибся в своем ожидании. Г-жа Керн раскритиковала, как говорится, в пух отрывки моего романа. По ее мнению, герой

мой чересчур холодно изъясняется в любви и слишком много умствует, а не то просто умничает.

Я готов бы ее уважать за откровенность, тем более что по самой задаче моего романа главное действующее лицо в нем должно быть именно таким. Но требовательный тон ее последних писем ко мне, настоятельно выражаемое желание, чтобы я непременно воспользовался в своем произведении чертами ее характера и жизни, упреки за неисполнение этого показывают, что она гневается просто за то, что я работаю не по ее заказу.

Она хотела сделать меня своим историографом и чтобы историограф сей был бы панегиристом. Для этого она привлекала меня к себе и поддерживала во мне энтузиазм к своей особе. А потом, когда выжала бы из лимона весь сок, корку его выбросила бы за окошко,— и тем все кончилось бы. Это не подозрения мои только и догадки, а прямой вывод из весьма недвумысленных последних писем ее.

Женщина эта очень тщеславна и своенравна. Первое есть плод лести, которую, она сама признавалась, беспрестанно расточали ее красоте, ее чему-то божественному, чему-то неизъяснимо в ней прекрасному,— а второе есть плод первого, соединенного с небрежным воспитанием и беспорядочным чтением.

В моем ответе на ее сегодняшнее письмо я высказал кое-что из этого, но, конечно, в самой мягкой форме.

26. Сегодня получил от г-жи Керн в ответ на мое письмо записку следующего содержания: «Благодарю вас за доверие. Вы не ошиблись, полагая, что я умею вас понимать».

Июля 4. Был у г-жи Керн. Никто из нас не вспоминал о нашей недавней размолвке, за исключением разве маленького намека в виде мщения с ее стороны. Я застал ее за работой.

— Садитесь мотать со мною шелк,— сказала она.

Я повиновался. Она надела мне на руки моток, научила, как держать его, и принялась за работу.

— Говорят, что Геркулес прял у ног Омфалы,— заметил я,— хоть я не Геркулес, а очутился в подобном ему положении, с тою только разницей, что та госпожа Омфала вряд ли могла бы сравниться с той особою, которой я имею честь служить.

— Хорошо сказано,— отвечала она.— Однако посмотрите, вы все путаете шелк.— И начала опять учить меня, как его держать.

Это не помогло.

— Дайте, я сам это сделаю.

Я взял, поправил, надел на руки по-своему: дело пошло как следует.

— Теперь хорошо,— сказала она с приятною улыбкой.

— Это оттого, что я самостоятельно, собственным умом постиг эту тайну,— заметил я.

Она промолчала.

— Попробуйте вот так повернуть нитки,— начала она опять через несколько минут.

Я послушался, и в самом деле работа пошла еще гораздо лучше. Я заметил ей это.

— Вот видите,— сказала она с торжествующим видом,— ум хорошо, а два лучше.

Мне в мою очередь пришлось промолчать.

После пошли мы гулять в сад герцога Виртембергского. Народу было множество. В двух местах гремела музыка. Но мне гораздо приятнее было слушать малороссийские песни, которые пела сестра г-жи Керн по нашем приходе с гулянья. У ней прелестный голос, и в каждом звуке его чувство и душа. Слушая ее, я совсем перенесся на родину, к горлу подступали слезы...

Сентябрь 18. Вечером был у г-жи Керн. Видел там известного инженерного генерала П. П. Базена. Обращение последнего есть образец светской непринужденности: он едва не садился к г-же Керн на колени, говоря, беспрестанно трогал ее за плечо, за локоны, чуть не обхватывал ее стана. Анна Петровна встретила меня очень любезно и, очевидно, собиралась пустить в ход весь арсенал своего очаровательного кокетства».

Письма М. И. Глинки к А. П. Керн (Марковой-Виноградской) (стр. 303—313)

Печатаются по изданию: М. И. Глинка. Литературное наследие, т. II. Письма и документы. Л.—М., Музгиз, 1953.

Все тексты сверены с автографами, хранящимися в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, ф. 93, оп. 4, № 21. Собрание П. Я. Дашкова.

Мы располагаем далеко не всеми из существовавших писем Глинки к А. П. Керн; письма Керн к Глинке не сохранились вовсе.

Об отношениях М. И. Глинки с А. П. Керн, увлечении ее дочерью Екатериной Ермолаевной и событиях, о которых идет речь в публикуемых письмах, см. на с. 70—74 настоящего издания.

М. И. Глинка — А. П. Керн. 10 июля 1840 года. Петербург.
Это первое из известных нам писем М. И. Глинки к А. П. Керн (перевод с французского).

М. И. Глинка — А. П. Керн. 17 августа 1840 года. Смоленск.
[1] Маленький сын А. П. и А. В. Марковых-Виноградских.

М. И. Глинка — А. П. Керн. 30 января 1841 года. Петербург (перевод с французского).
[1] У Глинки здесь явная ошибка: 30 декабря вместо 30 января.
[2] Керн Ермолай Федорович умер 8 января 1841 года.
[3] Имеется в виду маленький сын Анны Петровны.

М. И. Глинка — А. П. Керн. 1 марта 1841 года. Петербург (первые два абзаца — перевод с французского).
[1] *Дело, о котором идет речь,* — хлопоты о пенсии за умершего Е. Ф. Керна.
[2] *Клейнмихель П. А.* (1793—1869) — главноуправляющий путями сообщений, пользовался особым влиянием при дворе.
[3] *Сестра М. И. Глинки* — Елизавета Ивановна.
[4] *Зять* — Яков Михайлович Соболевский, муж старшей сестры Глинки — Пелагеи Ивановны.
[5] Речь идет о квартире А. П. Керн на Дворянской улице.

М. И. Глинка — А. П. Керн. 28 марта 1841 года. Петербург (первый абзац — перевод с французского).
[1] *Пасынок А. П. Керн* — внебрачный сын Е. Ф. Керн Александр Ермолаевич.

М. И. Глинка — А. П. Керн. 21 апреля 1841 года. Петербург (перевод с французского).
[1] Билет на спектакль «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») в Петербургском Большом театре 21 апреля 1841 года.
[2] Глинка имеет в виду Е. Е. Керн, А. В. Маркова-Виноградского и маленького Сашу, оставшихся в Лубнах.

[3] Дело М. П. Глинки, которая без расторжения брака с М. И. Глинкой 15 марта 1841 года тайно обвенчалась с камер-юнкером Н. Н. Васильчиковым.

М. И. Глинка — А. П. Керн. 2 июня 1841 года. Петербург (конец пятого, шестой и седьмой абзацы — перевод с французского — от слов: «Сверх того, сей господин...»).

2 июня 1841 года Глинка вернулся в Петербург из имения матери Новоспасского.

[1] Петербургская гостиница, где останавливалась А. П. Керн, приезжавшая в Петербург из Лубен по делу о пенсии.

[2] *Племянник Глинки* — Николай Яковлевич Соболевский.

[3] *Дорогое дитя* — Екатерина Ермолаевна Керн.

М. И. Глинка — А. П. Керн. 1 июля 1841 года. Петербург (перевод с французского).

[1] *Штерич* Евгений Петрович (1809—1833) — приятель Глинки, камер-юнкер, способный музыкант (ему в 1827 г. давал уроки А. В. Никитенко).

[2] Намерение Глинки поехать в Лубны к А. П. и Е. Е. Керн осуществить ему не удалось: его задержали в столице хлопоты по бракоразводному делу.

М. И. Глинка — А. П. Керн (Марковой-Виноградской). 1 февраля 1856 года. Петербург.

[1] *Краевский* Андрей Александрович (1810—1889) — журналист и издатель, редактор «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду», журнала «Отечественные записки» и газеты «Санктпетербургские ведомости».

[2] *Бартенева* Прасковья Арсеньевна (1811—1872) — знакомая Глинки, певица-любительница.

Из писем А. П. Керн (Марковой-Виноградской) к Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной) и А. А. Бакунину

(стр. 314—326)

Печатается по копиям, снятым Б. А. Модзалевским. Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР (27529/CXCVIIбв).

Местонахождение оригиналов не установлено.

Ранее не публиковались.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной). 12 августа 1850 г. Сосницы.

[1] *Дядюшка Константин Маркович* — К. М. Полторацкий, брат отца А. П. Керн.

[2] *Татьяна Борисовна* — сестра жены К. М. Полторацкого, урожд. Потемкина.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной). 17 декабря 1850 г. Сосницы.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной). 18 декабря 1850 г. Сосницы.

[1] Повесть Евгении Тур «Долг» опубликована в «Современнике» 1850 г., т. 24.

[2] *«Домби и сын»* («Торговый дом Домби и сын») — роман Диккенса. В переводе И. И. Введенского опубликован в «Современнике», 1847 г., т. 1—5, 1848 г., т. 2—3 и т. 7—8 (Приложение).
[3] *Милая тетенька* — Феодосия Петровна Полторацкая.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной). 17 августа 1851 г. Сосницы.
[1] *Пезаровиус* — офицер одного из полков, стоявших в Сосницах.
[2] Роман Вальтер Скотта «Приключения Нигеля».

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной). 8 сентября 1851 г. Сосницы.
А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной. 9 января 1852 г. Сосницы.
А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной. 13 февраля 1852 г. Сосницы.
[1] *Шерли* — роман Ш. Бронте, английской романистки. Опубликован в «Библиотеке для чтения», 1851 г., т. 105—107.
[2] *Копперфильд* («Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим») — роман Чарльза Диккенса. Опубликован в «Современнике», 1851, №№ 1—9.
[3] *Пенденис* («Артур Пенденис») — роман В.-М. Теккерея. Опубликован в «Библиотеке для чтения», 1852, т. 107—113.
[4] «Прекрасная повесть Паньева», напечатанная в «Современнике» в 1852 г., — «Львы в провинции», т. 31—35.
[5] Повесть М. В. Авдеева «Иванов» опубликована в «Современнике», 1851, № 9.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной. 25 марта 1852 г. Сосницы.
А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной. 28 марта 1852 г. Сосницы.
А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной. 3 апреля 1852 г. Сосницы.
А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной. 13 апреля 1852 г. Сосницы.
[1] *Дженсон Самуил* — английский писатель XVIII века.
[2] *Юнг Эдуард* — английский поэт XVIII века.
[3] *«Векфильдский священник»* — роман О. Гольдсмита, английского писателя XVIII века, в переводе А. Огинского вышел в Петербурге в 1847 г.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной. 16 апреля 1852 г. Сосницы.
[1] *«Новоселье»* — альманах, издававшийся А. Ф. Смирдиным.
[2] Историческая повесть Брамбеуса «Счастливец» была напечатана в ч. II, 1834 г. Барон Брамбеус — псевдоним О. И. Сенковского, ученого-востоковеда, писателя и журналиста.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной. 1 мая 1852 г. Сосницы.
[1] *«Консуэло»* — роман Жорж Санд.
[2] *«Графиня Рудольштадт»* — роман Ж. Санд, являющийся продолжением «Консуэло». Александр Васильевич 14 мая писал сестре: «Мне Анна рассказывала «Consuelo», нам показалось, что Александр несколько смахивает на Альберта, а ты — на Consuelo».
[3] *Александр Михайлович* — А. М. Бакунин, отец Михаила и Александра Бакуниных.
[4] *Дедушка* — И. П. Вульф.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной. 23 июня 1852 г. Сосницы.

[1] *Шокальский* — Михаил Осипович, юрист (...— 1861).

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной. 15 июля 1852 г. Сосницы.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной. 7 августа 1852 г. Сосницы.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной. 20 августа 1852 г. Сосницы.

[1] *Анна Ивановна* — А. И. Вульф (см. стр. 446).

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной. 28 августа 1852 г. Сосницы.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной. 16 сентября 1852 г. Сосницы.

[1] *Брат Александр* — А. А. Бакунин. Осуждала Анна Петровна тетку Феодосию Петровну.

[2] *Бабушка Агафоклея Александровна* — см. о ней в примечаниях к «Из воспоминаний о моем детстве», стр. 442, 444.

[3] *Муж покойный* — Е. Ф. Керн.

[4] *Отправляли Дедушку* — т. е. портрет И. П. Вульфа. Портрет принадлежал Анне Петровне, но потом его у нее забрала тетка Анна Ивановна Вульф на время и не отдала. А. А. Бакунин сделал копию и прислал в Сосницы. Анна Петровна считала, что этот портрет любимого дедушки принесет ей счастье.

[5] *Михаил* — М. А. Бакунин.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной. 30 сентября 1852 г. Сосницы.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — А. А. Бакунину. 25 ноября 1852 г. Сосницы.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — Е. В. Бакуниной. 13 апреля 1853 г. Сосницы.

[1] *«Семейство Кокстанов»* — роман Бульвера-Литтона Э.-Д. Опубликован в «Отечественных записках», 1850 г., т. 70—73.

Письма А. П. Керн (Марковой-Виноградской) к П. В. Анненкову и П. В. Анненкова к А. П. Керн (Марковой-Виноградской)

(Стр. 327—339)

Автографы хранятся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР в Ленинграде и в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ) в Москве.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — П. В. Анненкову. Апрель — май 1859 года. Петербург.

Рукопись (16 страниц почтовой бумаги) хранится в Пушкинском доме (ф. 244, оп. 17, № 56).

Датируется на основании содержащегося здесь сообщения о появлении «Воспоминаний о Пушкине», напечатанных в апрельской книжке «Библиотеки для чтения» 1859 года.

Перевод французских фраз (конец 4-го и 5-й абзацы) выполнен А. Л. Андрес.

Письмо это позволяет уточнить историю создания и публикации «Воспоминаний о Пушкине» и других воспоминаний А. П. Керн,

определить, кто скрыт под инициалами Е. Н.— к кому обращены «Воспоминания о Пушкине».

[1] *Тютчев* Николай Николаевич (1815—1878) — чиновник и литератор, друг Белинского.

[2] *Пучкова* Екатерина Наумовна — см. с. 429.

[3] Елизавета Александровна Вындомская была замужем за Яковом Исааковичем Ганнибалом, двоюродным братом Н. О. Пушкиной, матери поэта.

[4] Анна Николаевна Вульф умерла 2 сентября 1857 года. В 40—50-х годах между П. А. Вульф-Осиповой и ее старшим сыном А. Н. Вульфом возник острый конфликт из-за раздела имения.

[5] Стихотворение «Признание» (1825); обращено к Александре Ивановне Осиповой, в замужестве Беклешовой (ок. 1805—1864), падчерице П. А. Осиповой.

[6] *Клопшток* Фридрих Готлиб (1724—1802) — немецкий поэт.

[7] Об этом вторичном посещении А. П. Керн Тригорского осенью 1825 года см. в письме Пушкина А. Н. Вульфу 10 октября 1825 года (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 237).

[8] В Смольном воспитывались дочери А. П. Керн Екатерина и Анна.

[9] Эти воспоминания А. П. Керн вскоре были написаны и переданы П. В. Анненкову.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — П. В. Анненкову. 9 июня — 4 июля 1859 года. Петербург.

Рукопись (8 страниц почтовой бумаги) хранится в Пушкинском доме (ф. 244, оп. 17, № 56).

Перевод французской части письма (3-й и 4-й абзацы) сделан А. Л. Андрес.

[1] Де Додт — мать жены Н. Н. Тютчева.

[2] См. об Ивелич на с. 433.

А. П. Керн (Маркова-Виноградская) — П. В. Анненкову. 1860 г. Петербург.

Рукопись (3 страницы почтовой бумаги) хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве (ф. 7, оп. 2, № 74).

Перевод с французского выполнен А. Л. Андрес.

Датируется на основании пометки на оригинале, сделанной П. В. Анненковым. Вероятно, было послано после отправки Анненкову «Воспоминаний о Пушкине, Дельвиге и Глинке».

О каких письмах идет речь, а также что имеет в виду Керн, прося включить в ее воспоминания «музыкальную фразу» А. С. Пушкина, не установлено.

П. В. Анненков — А. П. Керн (Марковой-Виноградской). 28 июля 1859 г., с. Чирсково.

Рукопись хранится в Пушкинском доме (62.Ic).

Является ответом на письмо А. П. Керн апреля — мая 1859 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ

(Стр. 340—427)

Приводимые отрывки из Дневника второго мужа Анны Петровны — А. В. Маркова-Виноградского (1820—1878) — относятся к 1840-м — началу 1850-х годов, периоду их жизни в старинном уездном городке Черниговской губернии Сосницы, где у Александра Васильевича была небольшая усадьба. К тому же времени относятся

и отрывки из его писем к сестре Елизавете Васильевне и ее мужу Александру Александровичу Бакунину.

Дневник свой А. В. Марков-Виноградский вел в течение 36 лет, записывая, по его словам, «все занимательное из вычитанного, слышанного, виденного, промысленного, прочувствованного». Позже он говорил: «Что касается до моих Записок, то я веду их постоянно, постоянно их дополняю, исправляю. Они превращаются в энциклопедию, но едва ли могут быть интересны для современников. Я их завещаю сыну или кому другому с тем, чтоб их напечатать, если признаются они достойными печати тогда, когда находящиеся в них очерки нравов, характеристики и биографии не могут никого задеть, а сделаются занимательными и поучительными, как безыскусственное сказание о прошлом. Маленький отрывок из них был напечатан в 1867 году в «Семейных вечерах», я получил за него 30 рублей».

Не содержащий большого общественно значимого материала, Дневник А. В. Маркова-Виноградского тем не менее представляет несомненный интерес, как ценный историко-бытовой документ, достоверное свидетельство о жизни определенных кругов русского общества 40—70-х годов прошлого века, своеобразная история жизни человека явно незаурядного.

А. В. Марков-Виноградский не имел ни серьезного систематического образования, ни выдающихся дарований, но, как явствует из всего, что мы о нем знаем, из написанного им, был человеком начитанным, а главное — мыслящим, живо интересующимся процессами современной жизни и литературы, подлинно интеллигентным, способным на самые высокие чувства и благородные поступки. По свойствам своего характера предпочитал скромную жизнь в кругу семьи сколь-нибудь активной деятельности, общественной или государственной, не говоря уже о службе военной. Крайняя скромность, недостаток воли мешали реализовать литературные способности, которые у него были. Он служил «по выборам дворянства» в уезде, позже в одном из департаментов в столице, но не сделал карьеры и не добился даже минимально обеспеченного существования. Последнее не могло не угнетать его, но не мешало сохранить в полной мере духовные интересы и чувство человеческого достоинства.

Письма Александра Васильевича — искренние, остроумные, не лишенные литературных достоинств — тесно связаны с его дневниковыми записями. Как и письма Анны Петровны, они отражают не только трогательно нежные отношения, существовавшие между супругами, но и широту их интересов, высокий уровень культуры, тонкий вкус в оценке явлений искусства, поразительную стойкость перед ударами несправедливой к ним судьбы.

Для нас дневниковые записи и письма А. В. Маркова-Виноградского имеют особую ценность благодаря их органической связи с литературным наследием А. П. Керн, дополняя или комментируя некоторые ее страницы.

Второе приложение — страницы из мемуаров Андрея Ивановича Дельвига, двоюродного брата поэта.

А. И. Дельвиг писал свои мемуары в конце жизни — в 1870—1880-е годы (родился 13 марта 1813 г., скончался 20 января 1887 г.), когда был уже генерал-инженером и сенатором. Они охватывают более чем полувековой период истории России — с 1810-х по 1870-е годы. Богатство и разнообразие содержащихся в них фактов, их достоверность, незаурядная наблюдательность и живость изложения снискали им признание как значительного явления русской мемуарной литературы, важного источника знакомства с российской действительностью прошлого века.

Вторая глава «Моих воспоминаний», из которой взяты приводимые страницы, посвящена годам юности автора (1826—1832), когда, обучаясь в Петербургском военно-строительном училище, а затем в Институте инженеров путей сообщения, он постоянно бывал и даже подолгу живал в доме своего двоюродного брата. А. А. Дельвиг и его жена относились к юноше с родственной теплотою. Он отвечал им искренней привязанностью и глубоким уважением. Будущий инженер вошел в число постоянных посетителей дельвиговского кружка — лучших русских писателей, разделяя их интересы и заботы.

Здесь встретил он и Анну Петровну Керн — в это время человека особенно близкого Дельвигам. Они не стали друзьями. Характеристика, которую дает Керн автор «Моих воспоминаний», не отличается симпатией, грешит неточностью и предвзятостью. Но в ней содержатся и некоторые интересные штрихи.

Главное же — многое из того, о чем рассказывает А. И. Дельвиг, мы читаем и в воспоминаниях А. П. Керн (иногда это одни и те же факты и события) и, сопоставляя оба рассказа, еще полнее, конкретнее представляем себе общественно-литературную атмосферу России 1820 — начала 1830 годов, жизнь того круга лучших русских писателей, в центре которого стоял Пушкин и немалую роль играли пушкино-дельвиговские собрания.

А. В. Марков-Виноградский.
Отрывки из записок и журнала неизвестного человека
(стр. 340—377)

Печатаются — первые шесть страниц по журналу «Литературные семейные вечера», старший возраст. 1868, стр. 120—125; 167—179; остальные — по рукописным тетрадям, хранящимся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР (ф. Марковых-Виноградских, № 14342). Текст подготовлен А. Г. Кожиной.

[1] Федор Полторацкий.

[2] Марк Федорович Полторацкий.

[3] *Катс* — голландский поэт (1577—1660).

[4] Собрание сочинений А. А. Бестужева (Марлинского), о котором говорится,— «Полное собрание сочинений», вышедшее в 1838 году, вскоре после гибели автора. Здесь не обошлось без фактических неточностей и домыслов. Но для того времени такое обстоятельное жизнеописание писателя-декабриста, столь сочувственно-заинтересованное отношение к его судьбе и его творчеству — явление примечательное.

[5] *Паскаль Б.* — французский математик, физик и философ (1623—1662).

[6] Майков А. Н. (1821—1897).

[7] Полонский Я. П. (1820—1898). В Кадетском корпусе не обучался.

[8] Роман Н. А. Некрасова и А. Я. Панаевой (псевдоним — Станицкий) «Три страны света» опубликован в «Современнике», 1848 г., №№ 10—12, и 1849 г., №№ 1—5.

[9] Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Когда для смертного умолкнет шумный день». У Пушкина: «Воспоминания безмолвно предо мной...».

[10] *Араго Ж.-Э.-В.* — французский писатель и путешественник (1790—1850).

[11] Статья о Веневитинове в «Современнике» (1850. Т. 22. С. 74 и след.)

[12] Роман в письмах С. А. Закревской «Институтка» был опубликован в «Отечественных записках», 1841 г., № 12.

[13] *«Нравы, обычаи и памятники всех народов земного шара»* изданы в 1846 г. Семеном и Стойковичем. Тютчев — один из авторов книги.

[14] *«Ярмарка тщеславия»* — роман В.-М. Теккерея.

[15] *Дмитревский И. А.* (1734—1821) — актер и переводчик.

[16] *Яковлев А. С.* (1773—1817) — актер.

Из писем А. В. Маркова-Виноградского Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной) и А. А. Бакунину. (стр. 378—384)

Печатаются по копиям, снятым Б. А. Модзалевским. Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР 275529/CXCVIIбв. Местонахождение оригиналов не установлено. Ранее не публиковались.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной). 5 сентября 1850 г. Сосницы.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной). 3 октября 1850 г. Сосницы.

[1] *Шарль Ребо* — французский писатель. Его повесть «Без приданого» печаталась в «Отечественных записках». 1850 г.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. Марковой-Виноградской (Бакуниной). 24 декабря 1850 г. Сосницы.

[1] *Бульвер-Литтон Э.-Д.* — о нем см. примеч. к воспоминаниям А. П. Керн «Дельвиг и Пушкин», стр. 439.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. и А. А. Бакуниным. 23 февраля 1852 г. Сосницы.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. и А. А. Бакуниным. 5 марта 1852 г. Сосницы.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. Бакуниной. 5 апреля 1852 г. Сосницы.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. Бакуниной. 2 мая 1852 г. Сосницы.

[1] *Александр Михайлович и Варвара Александровна* — Бакунины.

А. В. Марков-Виноградский — А. А. Бакунину. 14 мая 1852 г. Сосницы.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. Бакуниной. 15 июля 1852 г. Сосницы.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. Бакуниной. 25 июля 1852 г. Сосницы.

А. В. Марков-Виноградский — А. А. Бакунину. 2 января 1853 г. Сосницы.

[1] *Купер Д.-Ф.* — американский романист (1789—1851). Роман «Путеводитель в пустыне» в переводе И. И. Панаева издан в Петербурге в 1841 г.

А. В. Марков-Виноградский — Е. В. Бакуниной. 6 января 1853 г. Сосницы.

[1] *Готорн Н.* — английский писатель (1804—1864). Роман «Дом о семи шпилях» опубликован в «Современнике», 1852 г., №№ 9 и 10 (Приложение).

[2] *Сувестр Э.* — французский писатель (1806—1854). «Сцены и нравы приречных и приморских жителей», 5 повестей — опубликованы в «Современнике», 1852 г., №№ 2, 5, 7, 8, 10.

А. И. Дельвиг
Из «Моих воспоминаний»
(стр. 385—427)

Печатается по первому полному изданию московского Публичного и Румянцевского музея. М., 1912—1913, с некоторыми дополнениями по изданию: «Полвека русской жизни. Воспоминания А. И. Дельвига. 1820—1870. Academia, М.—Л., 1930 (издание сокращенное, но восстановившее цензурные изъятия, имевшие место в издании 1912—1913 гг.).

В цитируемых А. И. Дельвигом стихах допущено много неточностей в отношении как текста, так и авторской принадлежности.

[1] Ныне улица Каляева.

[2] «Соловей, мой соловей» («Русская песня») опубликована в альманахе «Северные цветы» на 1826 г. Широко известен как романс с музыкой А. А. Алябьева.

[3] Критические статьи и рецензии Дельвига известны. См.: А. А. Дельвиг. Сочинения. Сост., вступит. ст. и коммент. В. Э. Вацуро. Л., 1986.

[4] О лицейских песнях см.: Я. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Статьи и материалы. Изд. 2-е. СПб., 1899.

[5] *Семеновский полк* — район Петербурга, где находились казармы Семеновского полка (ныне вдоль Загородного пр. от Звенигородской улицы до Московского пр.).

[6] *Пономарева* Софья Дмитриевна — хозяйка петербургского литературного салона, пользовавшегося большой популярностью в начале 1820-х годов.

[7] Ныне улица Халтурина.

[8] Речь идет о Д. А. Истрицком, члене Северного тайного общества, и его брате.

[9] О «Северных цветах» см.: Вацуро В. Э. «Северные цветы». История альманаха Дельвига—Пушкина. М., 1978 г.

[10] Это не соответствует действительности.

[11] Это суждение мемуариста ошибочно.

[12] С. А. Соболевский — известный библиофил и автор эпиграмм, приятель Пушкина.

[13] Ср. с рассказом о «Песнях Беранжера» в воспоминаниях А. П. Керн, стр. 79.

[14] Сообщение, что А. П. Керн, разойдясь с мужем, жила в Тригорском у П. А. Осиповой, ошибочно. Она лишь гостила там непродолжительное время. «Старухе Осиповой» в это время было 46 лет. А. И. Дельвиг допускает здесь и некоторые другие неточности.

[15] Стихотворение «Подъезжая под Ижоры» написано в начале 1829 года и обращено к Е. В. Вельяшевой, а не Е. Н. Вульф.

[16] О «Литературной газете» и участии в ней Пушкина см.: Н. К. Замков. К истории «Литературной газеты» барона А. А. Дельвига. «Русская старина», 1916, № 5; Блинова Е. М. «Литературная газета» А. А. Дельвига и А. С. Пушкина. 1830—1831. Указатель содержания. М., 1966.

[17] Об отношении Пушкина к Французской революции 1830 г. см.: Б. В. Томашевский. Пушкин и Франция. Л., 1960. Статья «Французская литература в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово» и др.

[18] Заметки напечатаны без подписи в разделе «Смесь» «Литературной газеты», 1830 г., № 36, 25 июня и № 45, 9 августа.

[19] Об истории запрещения «Литературной газеты» см.: Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. 1827—1832. Л., 1927. С. 77—80.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

---

* В указатель вошли фамилии лиц, упоминаемых в воспоминаниях, дневниках и переписке А. П. Керн. Курсивом отмечены страницы примечаний.

СОДЕРЖАНИЕ

Керн (Маркова-Виноградская) А. П.

К 36 Воспоминания. Дневники. Переписка (Сост., вступ. ст. и прим. А. М. Гордина.— М.: Правда, 1989.— 480 с., 8 л. ил.

Мемуары А. П. Керн — современницы А. С. Пушкина, вдохновившей поэта на гениальные стихи «Я помню чудное мгновенье...» — представляют большой литературный и исторический интерес. В ее записках развернута семейная хроника старинного дворянского рода, насыщенная социально-бытовым материалом и дающая целую серию ярких, выразительных портретов представителей семей Вульфов, Полторацких, Керн. Наиболее ценные страницы посвящены Пушкину, Дельвигу, М. Глинке.

К $\frac{4702010100-1880}{080(02)-89}$ 1880—89 **84 Р 1**

Анна Петровна Керн
(Маркова-Виноградская)

ВОСПОМИНАНИЯ
ДНЕВНИКИ
ПЕРЕПИСКА

Составитель
Гордин Аркадий Моисеевич

Редактор
И. А. Бахметьева

Оформление художника
С. Н. Оксмана

Художественный редактор
В. В. Масленников

Технический редактор
Т. Б. Слизун

ИБ 1880

Сдано в набор 30.11.88. Подписано к печати 10.07 89.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 27,30. Уч.-изд. л. 27,02
Тираж 400000 экз. (4-й завод: 300 001—400 000 экз.)
Заказ 867 Цена 1 р. 90 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции
типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства
«Калининградская правда». 236000, Калининград обл., ул. Карла Маркса, 18.